

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2017

№ 38

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 19 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru;
Рыкун А.Ю. (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru
Агафонова Е.В. (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru;
Сукушина Е.В. (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru;
Скочилова В.Г. (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com
Борисов Е.В. (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;
Южанинов К.М. (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сиэтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чакор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Tomsk, Russia)
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia)
Syrov V.N. (Tomsk, Russia)
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia)
Ladov V.A. (Tomsk, Russia)
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia)
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia)
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviev A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shesto-pal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Боровинская Д.Н. О некоторых методологических проблемах исследования креативного мышления как процесса	7
Шапиро О.А. О понятии аргументативного гиперязыка: прагма-аналитический подход	15

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Алексеев Р.В. Информационная асимметрия повседневности в постиндустриальном обществе	23
Ардашкин И.Б. Смарт-общество как этап развития новых технологий для общества или как новый этап социального развития (прогресса): к постановке проблемы.....	32
Боровкова О.В., Боровков А.М. Воспоминания о потерянном будущем.....	46
Бралгин Е.Ю. К истории вопроса о феномене молчания в экзистенциализме. Роль молчания в диалоге.....	56
Головашина О.В. Политика памяти в условиях «времени Мебиуса».....	63
Грицков Ю.В., Львов Д.В. Архетип корпоративности в глобализационном процессе	71
Гулиус Н.С., Пак В.Д. Диагностика и изменение корпоративной культуры университета (опыт Национального исследовательского Томского государственного университета).....	79
Долин В.А. Конвергенция человека и новейших технологий: подход умственного биоконсерватизма.....	95
Железнов А.С. Понятие и форма морального поступка.....	104
Кирсанова Е.А. Социально-философский анализ концепций стрит-арта: генезис и подходы к определению феномена	121
Лысак И.В. Идентичность: сущность термина и история его формирования.....	130
Матросова Н.К. Маятник осмысления созданного	139

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Родин К.А., Шалдяков М.Н. Витгенштейн о законе исключённого третьего в математике.....	147
---	-----

СОЦИОЛОГИЯ

Большаков Н.В. Возможности применения стратегии смешивания методов при изучении сообщества глухих и слабослышащих	154
Воронкова А.И. Теоретико-концептуальный обзор феномена наследования малого семейного бизнеса в России: гендерный аспект	166
Колюдий В.В., Колюдий Н.А., Чайка Ю.А. Активизм и партисипаторность: социальные технологии сотрудничества с городским населением в процессе «производства» городского пространства	175
Логунова Л.Ю., Рычков В.А. Противоречия исторической и социальной памяти во взаимоотношениях Церкви и государства	186

ПОЛИТОЛОГИЯ

Селезнева А.В. Патриотизм как политическая ценность: политико-психологический анализ	200
---	-----

Сущенко М.А. Основные подходы к исследованию политической трансформации современного Китая.....	209
Хауер-Тюкаркина О.М. Процесс формирования позитивного имиджа политического актора в условиях кризиса.....	222
Чирун С.Н. Опыт участия в работе Пятой международной конференции в городе Торунь (Польша) по изучению постсоветского пространства Россия – ближнее зарубежье – ЕС	229

**Материалы Международной научной конференции
«МАЛЬЧИШЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН»
Томск, 17–18 ноября 2016 г.**

Бесценная В.В., Мпасси Г., Федяева Е.В. Под знаком войны, или Взгляд на культурные архетипы мальчишества Центральной Африки на примере Республики Конго	241
Быков Р.А., Быкова Е.Ю. Учителя и дети: проблема формирования коммуникативного пространства.....	252
Гизбрехт Е.С., Тарабанов Н.А. Формирование маскулинной идентичности в контексте асимметричной структуры организации родительства	260
Жапарова А.К., Да Силва И. Взросление мальчика в племени Маконде (Мозамбик): ритуальность социокультурного бытия	264
Осаченко Ю.С. Мифологические аспекты современных конфигураций мальчишеской идентичности.....	269
Подкладова Т.Д. Мальчишеское лицо социального сиротства в России: социализация мальчиков в условиях интернатного учреждения и замещающей семьи.....	275

АРХИВ

Оглезнев В.В., Суровцев В.А. В каком смысле определения могут быть истинными или ложными: о работе А. Папа «Теория определений».....	283
---	-----

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Красиков В.И. Доминантная группа в современном отечественном философском сообществе.....	296
Тимошук А.С. Рецензия на книгу Кутырёва В.А. Последнее целование. Человек как традиция. – СПб.: Алетея, 2015. – 312 с. – (Серия «Тела мысли»).....	308
Сведения об авторах	313

CONTENT

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Borovinskaya D. N. About some methodological problems of research of creative thinking as a process	7
Shapiro O. A. On the argumentative hyperlanguage notion: the pragma-analytical approach	15

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Alekseev R.V. Information asymmetry of everyday life in post-industrial society	23
Ardashkin I. B. Smart-society as a stage of development of new technologies for society or as a new of social development (progress): to the problem of the problem	32
Borovkova O.V., Borovkov A.M. Memories of lost future	46
Bralgin Y. U. On the question of the phenomenon of silence in existentialism. The role of dialogue	56
Golovashina O. V. Politics of memory in a "time Mobius"	63
Gritskov Y.V., Lvov D. V. Archetype of corporativity in globalization process	71
Gulius N. S., Pak V. D. Diagnosis and changing university's corporate culture (experience of National Research Tomsk State University)	79
Dolin V. A. Human being and latest technologies convergence: approach of moderate bioconservatism	95
Zheleznov A. S. The concept and the form of the moral action	104
Kirsanova E. A. Socially-philosophical analysis of concepts of street art: the approaches to the definition and origin of the phenomenon	121
Lysak I. V. Identity: the essence of the term and the history of its formation	130
Matrosova N. K. The pendulum of understanding of creation	139

HISTORY OF PHILOSOPHY

Rodin K. A., Shaldyakov M. N. Wittgenstein on the Law of Excluded Middle in mathematics	147
--	-----

SOCIOLOGY

Bolshakov N.V. The possibilities of mixed methods research in studying of the deaf community	154
Voronkova A. I. Conceptual theoretical analysis of the Russian family business inheritance phenomenon in gender aspects	166
Kolodii V.V., Kolodii N. A., Chayka Y. A. Activism and participation: social technologies of cooperation with urban population in the process of "production" of urban space	175
Logunov L. Y., Rychkov V. A. The contradictions of the historical and social memory in relations between church and state	186

POLITOLOGY

Selezneva A. V. Patriotism as a political value: political-psychological analysis	200
Sushchenko M. A. Basic approaches to study of political transformation of modern China	209
Hauer-Tyukarkina O. M. Aspects of constructing a positive image of a political actor in the crisis	221
Chyrun S. N. Experience of participation in the Fifth International Conference in the city of Torun (Poland), for the study of post-Soviet Russia CIS – EU	229

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE
"Boyhood as a socio-cultural phenomenon"
TOMSK, 17-18 November 2016

Bestennaya V. V., Mpassi G., Fedyaeva E. V. Under the sign of war, or a look at the cultural archetypes of boyhood in Central Africa (the example of the Republic of the Congo).....	241
Bykov R. A., Bykova E. Y. Teachers and children: the formation of communicative space	252
Gizbrekht E. S., Tarabanov N. A. Formation of masculine identity in the context of the asymmetrical structure of organization of parenting.....	360
Zhaparova A. K., Da Silva I. A boy growing in the Makonde tribe (Mozambique): funeral of socio-cultural life.....	264
Osachenko J. S. Mythological aspects of contemporary configurations of boyish identity.....	269
Podkladova T. D. Boyish face of social orphanhood in Russia: socialization of boys in institutional care and foster families.....	275

ARCHIVE

Ogleznev V. V., Surovtsev V. A. In what sense definitions may be true or false: Some remarks on the article of A. Pap's "Theory of definition"	283
---	-----

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Krasikov V. I. The dominant group in contemporary Russian philosophical community	296
Timoschuk A. S. Review of the book by Kutyrev V.A. Last kissing. Man as the tradition. – SPb.: Aletheia, 2015. –312 p. – ("Body of Thought" series).....	308
Informations about the authors.....	313

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 165.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/1

Д.Н. Боровинская

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ПРОЦЕССА

Выделены характерные черты креативного мышления как процесса, к числу которых стоит отнести наличие неравнозначных этапов и операций, а также наличие связи, которая организует и структурирует все эти этапы в одно целое. Любые действия в процессе креативного мышления подвержены разнонаправленности и неравномерности. Переход от одной задачи к другой не обязательно осуществляется последовательно. Представлены методологические принципы исследования креативного мышления с учетом деятельностного подхода. Определена взаимосвязь структуры знания креативного мышления и процесса мышления.

Ключевые слова: мышление, креативное мышление, процесс мышления, структура мышления, мышление как деятельность, мышление как фиксированное знание, интуитивное мышление, правильное мышление.

Весь комплекс знаний о мире существует в динамическом виде и расширяется посредством актуальных процессов или актов. Не исключением является и вся совокупность знаний о креативности. Предыдущие дискуссии в западной философии были ориентированы на процесс изобретательности, инновационность мышления, способность решать задачи.

В научном мире накоплен богатый опыт изучения мышления, в частности креативного мышления. Так, за рубежом исследования в области креативности ориентированы на практическое разрешение проблемных ситуаций современного общества. Основной акцент переносится на распространение инструментов и методов ускорения творческого процесса, направленных на развитие определенных аспектов мышления, в том числе и посредством искусственного интеллекта. Большая часть предлагаемых концепций ориентирована на определение возможностей применения результатов творческого мышления на практике [1].

Стремление к повсеместной автоматизации определенных процессов умственного труда обуславливает необходимость специального развития процессов мышления.

Учитывая постоянно растущие запросы и требования современного общества, становится очень сложно их удовлетворить из-за слабого знания природы и строения столь уникальных процессов.

Ранее в своем исследовании мы обозначили проблему в изучении процесса креативного мышления — основу составляют этапы и функциональная нагрузка. Наряду с этим большое внимание уделяется факторам, которые влияют на формирование и развитие готового продукта креативного мышления. Однако

практически без внимания остается вопрос взаимосвязи собственно процесса мышления и структуры знания, что не позволяет сформировать более полное и развернутое представление о предмете исследования [2].

Так, например, в психологии к самым распространенным критериям креативного процесса, как правило, относят наличие: конкретных последовательных этапов (от постановки проблемы до оценки и доработки его деталей); подпроцессов; создателя или создателей (люди, машины) с включенным дивергентным и/или конвергентным мышлением; результата в форме нового, оригинального и полезного продукта [3]. Процессный подход основан на исследовании креативности через серию хронологических стадий, составляющих полный процесс или так называемые подпроцессы: селективное комбинирование, кодирование информации, оценка идей и др. Креативный процесс, по мнению зарубежных исследователей, есть целенаправленная работа, предполагающая сложности в решении поставленных задач [4].

Основной недостаток теорий в психологии заключается преимущественно в том, что процесс рассматривается исключительно как деятельность. «Креативное мышление может выражаться в великих деяниях. Таких, как создание всемирно известных шедевров, или в обычном умении решать повседневные проблемы. Креативное мышление отражает то, как мы воспринимаем окружающий нас мир. Оно затрагивает как используемые нами методы, так и достигнутые результаты или последствия. Деятельность может считаться креативной, если она включает в себя новые или уникальные подходы и если результаты могут быть названы полезными или приемлемыми» [5. С. 27].

В свою очередь, цель нашего исследования – попытаться обозначить зависимость процессов креативного мышления от структуры используемых в них знаний. Для этого, во-первых, выделим требования и характерные черты процесса креативного мышления. Во-вторых, определим структуру знания креативного мышления. В-третьих, выявим методологические принципы исследования креативного мышления с учетом деятельностного подхода.

Опираясь на те представления, которые уже сложились в науке, в качестве основных требований, стандартно – точно и обобщающе – предъявляемых к процессу в целом, выделим такие, как наличие неравнозначных этапов и операций, а также наличие связи, которая организует и структурирует все эти этапы в одно целое.

Безусловно, мышление представляет собой осуществление логических операций. Однако сложность в изучении именного креативного мышления заключается в том, что, наряду с изучением процессов систематизации и изложения уже известного – комбинирование готовых элементов, актуальным становится исследование процессов обнаружения чего-либо «нового», формирования знаний.

Процессы рассуждений или мышления – последовательные комбинации из элементарных «кирпичиков» так называемых операций. «Изучая упомянутые операции, логика через них не изучает никаких процессов мышления.

Она изучает сами эти операции, а не что-то такое, что скрыто за ними и управляет ими» [6. С. 11–12].

В свою очередь, креативное мышление не всегда есть последовательное строение мысли, что усложняет изучение данного вопроса. Любые действия в процессе мышления подвержены разнонаправленности и неравномерности. Переход от одной задачи к другой не обязательно осуществляется последовательно. Мы можем наблюдать скачок, что обуславливает разрыв явной связи между этапами процесса мышления.

Деление мыслительного процесса на части так, чтобы в результате сумма этих частей могла быть объединена в единое целое, – обязательное, но не единственное требование к процессу. Трудности заключаются именно в установлении связей между этими частями.

В качестве важнейшей характеристики процесса обозначим и определенное строение процессов мышления.

«Разлагая процессы мышления на составляющие их операции и исследуя типы связей между операциями, мы переходим в новую и почти не разработанную область исследования деятельности мышления, в область исследования ее строения. Строение (элементарный состав и структура) процессов мышления будет, очевидно, их третьей важнейшей и притом специфически “процессуальной” характеристикой» [7].

Одним из требований является сформированность определенного результата мыслительной деятельности, выраженного в форме продукта. В случае креативного мышления – значимого нового продукта, представленного в форме знаний. В современном понимании это и есть ответ на поставленный проблемный вопрос.

«Представление о продукте, или, иначе, определенное требование к нему, есть то, что задается заранее, еще до начала процесса деятельности и определяет его течение. Ясно, что продукт есть результат и создание всего процесса, состоящего из многих операций» [8. С. 38].

Более того, по мнению Г.П. Щедровицкого, «каждая операция зависит как от характера того конечного продукта, который должен быть создан в результате всего процесса, так и от характера тех операций, которые будут следовать за ним. Эти положения, очевидно, справедливы в отношении любой операции, хотя сюда, естественно, входит еще и зависимость каждой последующей операции от предыдущих» [8. С. 38].

Соблюдение всех перечисленных выше требований позволяет сформировать весьма противоречивое представление о креативном мышлении как о процессе.

Далее перейдем к структуре знания о креативном мышлении.

При тщательном рассмотрении и безусловном учете некоторых моментов в развитии понятия «креативность» могут возникнуть определенные сложности в изучении креативности с точки зрения процесса. С одной стороны, у части существующих сегодня в научном мире понятий разный объект, т.е. они не отражают одно и то же атрибутивное свойство предметов объективного мира. Примером может служить развернутая типология подходов изучения креативности, в свое время представленная

Тейлором [9]. Особый интерес вызывает изучение *класса* определений, соотносящихся с мышлением, нацеленным на решение, где акцент делается на собственно процесс мышления, а не на фактическое решение проблемы. Степень креативности определяется с точки зрения коррелятов. Так, творческий процесс происходит всякий раз тогда, когда есть связь между двумя элементами, что способствует созданию третьего элемента. Для определений этого класса имеет место соотношение креативности с интеллектуальными способностями.

Граница области тех объектов, к которым применимо изучаемое нами понятие, размыта и представляет собой ряд контрастных ограничений. С другой же стороны, неточными являются и характеристики креативности. В отдельных случаях это свойство объектов может отражаться по-разному; например, значимость, полезность, утилитарность, рационализация, оригинальность, продуктивность и т.д.

Современное определение понятия «творчество» не соответствует ранее использовавшемуся, основу которого составляла духовность, – например, в русской художественной и религиозно-философской мысли.

Понимание творчества существенно изменилось с развитием таких философских направлений, как прагматизм, инструментализм, операционализм, получивших широкое распространение в США. Об этом свидетельствуют исследования по методологии в области логики и теории познания У. Джемса [10], Дж. Дьюи, П.У. Бриджмена.

Развитие идей неореализма, представленных в работах философов континентальной Европы Э. Гуссерля, А.Н. Уайтхеда, Н. Гартмана, способствовало иному пониманию творчества. Философы-неореалисты учитывали значимость опыта в столь сложном процессе, как творчество. А именно, выделяя два уровня онтологии (макроонтология и микроонтология), А.Н. Уайтхед утверждал, что процесс творчества является формой единства универсума. «Слово “потенциальность” говорит о пассивной способности, слово “реальное” – о творческой активности... Эта базисная ситуация, актуальный мир, первичная фаза или реальная потенциальность в целом активна и обладает внутренней креативностью, однако ее частями являются пассивные объекты, черпающие свою активность из креативного целого. Креативность есть актуализация потенциальности, а процесс актуализации – это и есть событие опыта. Таким образом, объекты, рассматриваемые сами по себе, пассивны, однако рассматриваемые в совокупности, они оказываются носителями креативности, которая движет мир» [11. С. 580].

Учитывая существующие представления о креативном мышлении, весьма трудно становится выделить основной показатель, наличие которого гарантирует, что на всех этапах развития понятия имеется в виду один и тот же объект или явление. Хотя, по мнению Г.П. Щедровицкого, в некоторых случаях таким показателем может служить чувственное представление о единстве объектов, тогда как в других это единство – специальный параметр, остающийся в ходе всех измерений неизменным.

Далее перейдем к выявлению методологических принципов исследования креативного мышления с учетом деятельностного подхода, активно развивающегося в психологии.

Любой мыслительный процесс как деятельность представляет собой сложное образование, которое может быть разделено на составляющие элементы, при этом движение мысли от незнания к знанию в случае креативного мышления обладает некоторыми особенностями, обусловленными уровнями познания. В процессе познания действительности мы приобретаем новые знания. Некоторые из них – непосредственно, в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств. Так, обнаруживается связь с интуитивным аспектом, что порой слабо соотносится с принципами правильного мышления. Например, восприятие аналогий между ментально не связанными элементами [12]. В этом случае с креативным мышлением коррелируют исключительно умеренно отдаленные ассоциации [13]. Другим примером могут послужить особенность категоризации идей и, как следствие, получение результата креативного мышления. Именно возможности более широкой категоризации позволяют усматривать связь между большим количеством элементов, в том числе и не связанных между собой [14].

Однако большую часть знаний мы получаем путем выведения новых знаний из знаний уже имеющихся, не исключением являются и процессы креативного мышления. При этом то знание, которое мы получаем в результате непосредственного контакта с окружающей средой, очень невелико. Более того, «мышление не является непосредственно данным объектом, и поэтому к нему не может быть непосредственно приложен эмпирический анализ. Исследователю в качестве объекта дан лишь материал знаковой формы мышления, а само оно в целом, чтобы стать предметом исследования, должно быть еще каким-то образом восстановлено, воспроизведено на основе этого материала. В зависимости от способа восстановления получают различные модели мышления. Одни из них больше соответствуют действительному объекту, другие – меньше. Ход развития науки определяется динамикой взаимоотношения между предметом изучения, представленным в модели, и его интерпретациями на объективную действительность» [15].

Человек формирует колоссальное сооружение, включающее в себя достижения и открытия в различных областях знания. С позиции научных исследований стоит отметить, что данные любых наблюдений и экспериментов всегда нуждаются в «осмыслении», которое есть не что иное, как сложная совокупность различных умозаключений.

Появление новых комбинаций известных идей основано на соблюдении законов правильного мышления, основу которых составляет принцип параллелизма формы и содержания мышления.

В свою очередь, стоит сказать, что и в этом случае возникает некоторая трудность в определении зависимости процессов креативного мышления от структуры используемых в них знаний, так как логика наследует не процессы обнаружения чего-либо «нового», не процессы образования знаний,

а процессы систематизации и изложения уже известного [16]. А при исследовании креативного мышления системного представления оказывается недостаточным.

Таким образом, подводя итог, отметим, что в качестве характерных черт креативного мышления как процесса, наряду с наличием неравнозначных этапов и операций, а также наличием связи, которая организует и структурирует все эти этапы в одно целое, выделим разнонаправленность и неравномерность, а также нарушение последовательности действий в процессе мышления.

Методологические принципы исследования креативного мышления с учетом деятельностного подхода обусловлены спецификой знания. С одной стороны, получение новых знаний на основе ранее не известных идей, с другой – выведение новых знаний из знаний уже имеющихся.

Литература

1. Боровинская Д.Н. Зарубежный опыт исследований креативности в XX веке // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 348. С. 42–47.
2. Боровинская Д.Н. Процесс креативного мышления: проблемы исследования // Наука и бизнес: пути развития. 2015. № 11 (53). С. 112–116.
3. Wallas G. The Art of Thought. New York: Franklin Watts, 1926.
4. Lubart T. Models of the creative process: Past, present and future, Creativity Research Journal. 2001. № 13 (3–4).
5. Роу А.Дж. Креативное мышление / пер. с англ. В.А. Островский. М.: НТ Пресс, 2007. 176 с.
6. Зиновьев А.А. Логика науки. М.: Мысль, 1971. 283 с.
7. Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г. О возможных путях исследования мышления как деятельности // Доклады АПН РСФСР 1957 №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/1> (дата обращения: 16.05.17).
8. Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. М.: Путь, 2003. 69 с.
9. Taylor C.W. Various approaches to and definitions of creativity / Sternberg, R.J. The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives. Cambridge University Press. Cambridge. New York. New Rochelle Melbourne Sydney, 1988. 454 p.
10. Джемс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии / пер. с англ. Изд. 3. М.: ЛКИ, 2011. 240 с.
11. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии / пер. с англ.; общ. ред. и вступ. ст. М.А. Кисселя. М.: Прогресс, 1990. 718 с.
12. Mednick S.A. The associative basis of the creative process // Psychological Review. № 69 (3). 1962. P. 220–232.
13. MacKinnon D.W. The nature and nurture of creative talent // American Psychologist. 1962.
14. Martindale C. Personality, situation and creativity // J. Glover, R. Ronning, C. Reynolds (Eds). Handbook of Creativity. N.Y.: Plenum. № 17 (7). 1989. P. 211–232.
15. Щедровицкий Г.П. Языковое мышление и методы его исследования: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1964.
16. Reichenbach H. Elements of symbolic logic. 1944.

Borovinskaya Daria N. Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation)

E-mail: sweetharddk@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/1

ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH OF CREATIVE THINKING AS A PROCESS

Key words: *thinking, creative thinking, process of thinking, structure of thinking, thinking as activity, thinking as the fixed knowledge, intuitive thinking, the correct thinking*

In the introduction part of the article the author gives a proof of the topicality issue, defines the goal and formulates the problem of the research. In the main part of the article the author, firstly, highlights the main features of the process of creative thinking. Secondly, determine the structure of knowledge of creative thinking. Thirdly, defines the methodological principles of research of creative thinking taking into account activity approach.

The thinking represents implementation of logical transactions. However complexity in studying of nominal creative thinking is that, along with studying of processes of systematization and a statement already known - the combination of ready elements, actual becomes research of processes of detection something "new", forming of knowledge. Creative thinking is not always consistent structure of thought, which makes it difficult to study the issue. Any action in the process of thinking and are subject to a multi-directional non-uniformity.

The transition from one task to another is not necessarily sequentially. The division into parts of the thinking process so that the resulting sum of these parts could be combined into a single unit, - mandatory, but not the only requirement for the process. The difficulty lies in establishing links between these parts. As the most important characteristics of the process, the author defines the structure of a certain thinking processes. One of the requirements is the formation of a certain result of intellectual activity expressed in the product form. In the case of creative thinking - a significant new product, presented in the form of knowledge. In modern understanding it is the answer to the problem question. Describing the structure of knowledge about creativity, the author notes, the main problem is that the part existing in the scientific world of concepts different object, that is, they do not reflect the same attribute property of subjects of the objective world. Methodological principles of the study of creative thinking given the activity approach due to the specific knowledge.

On the one hand, the acquisition of new knowledge on the basis of previously known ideas. On the other, the development of new knowledge from knowledge already available. At the end of the article the author summarizes and concludes.

References

1. Borovinskaya, D.N. (2011) Foreign experience in research of creativity in the 20th century. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 348. pp. 42–47. (In Russian).
2. Borovinskaya, D.N. (2015) The process of creative thinking: Problems of the study. *Nauka i biznes: puti razvitiya – Science and Business: Development Ways*. 11(53). pp. 112–116. (In Russian).
3. Wallas, G. (1926) *The Art of Thought*. New York: Franklin Watts.
4. Lubart, T. (2001) Models of the creative process: Past, present and future. *Creativity Research Journal*. 13(3-4). DOI: 10.1207/S15326934CRJ1334_07
5. Row, A.J. (2007) *Kreativnoe myshlenie* [Creative Thinking]. Translated from English by V.A. Ostrovskiy. Moscow: NT Press.
6. Zinoviev, A.A. (1971) *Logika nauki* [The logic of science]. Moscow: Mysl'.
7. Shchedrovitskiy, G.P. & Alekseev, N.G. (1957) O vozmozhnykh putyakh issledovaniya myshleniya kak deyatelnosti [On possible ways of studying thinking as activity]. *Doklady APN RSFSR*. 3. [Online] Available from: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/1>. (Accessed: 16th May 17).
8. Shchedrovitskiy, G.P. (2003) *Protsessy i struktury v myshlenii* [Processes and structures in thinking]. Moscow: Put'.
9. Taylor, C.W. (1988) Various approaches to and definitions of creativity. In: Sternberg, R.J. (ed.) *The Nature of Creativity. Contemporary Psychological Perspectives*. Cambridge University Press.
10. James, W. (2011) *Pragmatizm: novoe nazvanie dlya nekotorykh starykh metodov myshleniya: Populyarnye lektsii po filosofii* [Pragmatic: a new name for some old methods of thinking: Popular lectures on philosophy]. Translated from English. 3rd ed. Moscow: LKI.
11. Whitehead, A.N. (1990) *Izbrannye raboty po filosofii* [Selected Works on Philosophy]. Translated from English by M.A. Kissel. Moscow: Progress.
12. Mednick, S.A. (1962) The associative basis of the creative process. *Psychological Review*. 69(3). pp. 220–232. DOI: 10.1037/h0048850

13. MacKinnon, D.W. (1962) The nature and nurture of creative talent. *American Psychologist*. 17(7). DOI: 10.1037/h0046541
14. Martindale, C. (1989) Personality, situation and creativity. In: Glover, J., Ronning, R. & Reynolds, C. (eds) *Handbook of Creativity*. New York: Plenum. pp. 211–232.
15. Shchedrovitskiy, G.P. (1964) *Yazykovoe myshlenie i metody ego issledovaniya* [Linguistic thinking and methods of its investigation]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Moscow.
16. Reichenbach, H. (1944) *Elements of Symbolic Logic*. Macmillan Co.

УДК: 167.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/2

О.А. Шапиро

О ПОНЯТИИ АРГУМЕНТАТИВНОГО ГИПЕРЯЗЫКА: ПРАГМА-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД¹

Представлены теоретические основания прагма-аналитического подхода к исследованию аргументации. Отправной точкой этого подхода служит понимание аргументации как специфического гиперязыка, для которого задаются синтаксис, семантика и прагматика. Заявленный подход может быть продуктивен как для исследования современных аргументативных текстов, так и для изучения истории аргументативных практик.

Ключевые слова: аргументация, прагматика, гиперязык, текст.

Значение аргументации в наши дни трудно переоценить. Аргументация как обоснование лежит в основе всех научных исследований, от ее эффективности зависит признание той или иной концепции или открытия научным сообществом. Аргументация как убеждение – основание всех социальных коммуникативных практик, на ней строится институт выборов и маркетинг, аргументами пропитана повседневность с ее спорами и необходимостью принимать решения и находить компромиссы.

Аргументативная структура текста – одна из важных его характеристик. Аргументативны по своей природе не только тексты философские или научные, но и тексты рекламные, политические и пр. Но современность предлагает читателю такой обширный и неструктурированный массив разнородных текстов, порой взаимно противоречивых, что в конце концов стирается возможность их анализа и интерпретации, а воспринимаемая информация превращается в «аргументационный шум». Ориентация в многообразии современных текстов позволит «не заблудиться» в них и верно прочесть смысл каждого конкретного текста. Что может стать отправной точкой для такой ориентации?

Традиционной при исследовании текстов сегодня можно считать их жанровую классификацию. Однако если цель классификации – понимание смысла текста, то такой подход оказывается бесплодным при анализе текстов научных или философских: при внешнем сходстве жанров эти тексты могут быть совершенно разноплановыми, а их жанровая характеристика оказывается несущественным признаком для построения типологии (подробнее об этом см. [1]). Аргументативная специфика текста может стать отправной точкой, позволяющей найти ключи к прочтению текста. Но для достижения этой задачи необходим плодотворный подход к исследованию аргументативных структур, причем этот подход должен быть применим к текстам разного типа, позволять сопоставлять эти тексты между собой, позволять стро-

¹ Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 16-03-00120 «Влияние форматирования на смысл: изменения в текстовой культуре и трансформация коммуникации».

ить типологии или таксономии и при этом не быть чрезмерно обобщающим. Здесь мы сталкиваемся с серьезной методологической проблемой: многочисленные современные теории аргументации обычно или работают с текстами определенного типа (например, публичный монолог в неориторике или критическая дискуссия в прагма-диалектике), или же заостряют свое внимание на частностях, о чем говорит количество выходящих сегодня статей по теории аргументации, посвященных отдельным аргументативным ошибкам или уловкам.

Попыток конструирования обобщающего подхода к исследованию аргументации, позволяющего сопоставлять между собой самые разнообразные типы текстов, сегодня не слишком много. Так, профессор Университета Невады Морис А. Финоччиаро (Maurice A. Finocchiaro) предлагает «исторический подход» для исследования аргументации, который он характеризует как «эмпирический, нормативный, теоретико-ориентированный и текстуально-аналитический» [2. С. 88]. Этот подход представляет собой трехшаговую процедуру, где на первом шаге мы должны выбрать «подходящий» текст, на втором – погрузиться в социокультурный контекст, а на третьем – сформулировать обобщения касательно специфики используемой в тексте аргументации. Для нас здесь заминка происходит еще на первом шаге: несмотря на то, что изначальные интуиции подхода нам близки, особенность отсева «подходящего» текста сразу же уводит нас от наших целей. Финоччиаро заявляет, что для эффективного применения его подхода аргументация, содержащаяся в тексте, должна быть разнородна как по своим стратегиям и приемам, так и по тематике, к которой ее прилагает автор. Так, из-за узости тематики отбрасываются как неподходящие «Метафизика» Аристотеля, «Размышления...» Декарта, «Критика чистого разума» Канта. По-видимому, недостаточное разнообразие аргументации оказывается преградой для финального шага построения генерализаций. Для нас же подход, который сразу отмечает столь широкий спектр аргументативных текстов, не является оптимальным.

Второй вариант сопоставления аргументативных текстов мы находим у сторонников аналитического историко-философского подхода (J. Barnes, R. Cross, R.M. Dancy, из отечественных авторов – М. Вольф, П. Бутаков, И. Берестов). Этот подход представляется его сторонникам некоей амбицией, основанной на «презумпции нашей способности выявлять аргументацию, содержащуюся в древнем тексте, а также на презумпции рациональности автора этого текста» [3. С. 74]. Его адепты полагают, что роль связующего звена между различными текстами может выполнить формализация аргументации. Однако очевидно, что для формализации, к примеру, философской аргументации нам потребуется слишком широкий спектр логических средств выражения – языки логики высказываний и логики предикатов, многообразные модальные логики и пр.; т.е. каждый конкретный текст формализовать можно – но можно ли свести все эти формализации к общему знаменателю? Не получим ли мы при этом максимально богатый средствами выражения, но громоздкий и неповоротливый язык, который не столько выявит закономерности и связи в аргументации разноплановых текстов, сколько еще более усложнит задачу их интерпретации?

А.П. Алексеев полагает, что для решения задач соотнесения текстов, содержащих аргументацию, необходим специфический философский метаязык, который «должен включать средства, позволяющие работать с самыми разными текстами, идентифицируя в них аргументационные и парааргументационные составляющие, понимая и оценивая идеи и способы воздействия на читателя» [4. С. 242]; причем такой метаязык должен оказаться эффективным даже для «соотнесения столь разных направлений, как аналитическая философия и постструктурализм» [4. С. 314]. Впрочем, проект метаязыка автор не предлагает, делая вместо этого подробный обзор различных подходов к исследованию аргументации и предлагая частные методики анализа отдельных текстов. Любопытно, что Финоччиаро в недавних своих работах также переименовывает свой подход в «метааргументацию».

Эта лингвистическая интуиция обладает безусловным эвристическим потенциалом. Но я полагаю, что речь должна идти не о создании нового метаязыка, а о языковой интерпретации аргументативного процесса, т.е. понимании аргументации как специфического **гиперязыка**.

Термин «гиперязык» в современных научных исследованиях используется неоднозначно, а его разработкой занимаются преимущественно филологи и лингвисты. Если отбросить попытки рассматривать гиперязык как еще одно имя для метаязыка в стиле Ф. де Соссюра, то можно выделить два основных подхода к его интерпретации: 1) гиперязык рассматривается как «язык вообще», некий обобщенный язык, набор внекультурных и вненациональных закономерностей выражения мысли (см., например, [5]) и 2) гиперязык рассматривается в связке с гипертекстом и гиперссылкой и соотносится с феноменом компьютерно-опосредованной коммуникации (см. [6]).

Оба эти подхода грешат неточностями и недочетами. Так, например, представитель первого подхода Г.И. Тираспольский определяет гиперязык как «язык, на котором не сказана ни одна речь, не написана ни одна книга и не спета ни одна песня. Вместе с тем трудно (точнее – невозможно) найти в мире другой такой язык, который по степени долговечности был бы сравним с гиперязыком» [5. С. 13]; представитель второго подхода М.Н. Эпштейн определяет гиперязык как «расширение существующего языка, раздвижение его гипотетического объема, подобно тому, как воздушный задник живописной панорамы составляет одно целое с предметами на переднем плане» [6. С. 108]). Такие способы определения не могут не вызывать «логического возмущения» – того, о котором упоминает Э.Ю. Соловьев в своих воспоминаниях о Н.С. Юлиной [7. С. 9]. Однако если Нина Степановна испытывала такое возмущение в связи с образом мысли, который культивируется современными СМИ, лишенными логико-аналитической культуры, то теперь он, похоже (увы!), распространился и на научные тексты.

Мы будем определять гиперязык как язык (знаковую систему), базовыми элементами которого являются макроструктуры естественного языка. Таким образом, мы существенно расширим филологическое понимание гиперязыка как «виртуального новояза», обрастающего новым, технологически обусловленным функционалом (гиперссылки): исследуемый Эпштейном язык виртуальной коммуникации может быть рассмотрен как один из возможных гиперязыков.

Основными элементами аргументативного гиперязыка являются аргументативные макроструктуры:

1. Тезис – высказывание, требующее обоснования;
2. Аргументы – множество высказываний, обосновывающих тезис (могут включать в себя теоретические положения, научные факты, ранее доказанные утверждения и пр.).
3. Квазиаргументативные средства: приемы аргументации (логические, лингвистические, психологические), т.е. высказывания, не являющиеся подтверждениями тезиса, но создающие условия (задающие контекст) для его принятия. В зависимости от коммуникативной ситуации часть из них могут считаться неприемлемыми.

Все эти элементы формулируются на естественном языке.

Мы также можем задать **синтаксис аргументативного гиперязыка**, выделив правила построения аргументативных структур: 1) при построении корректной аргументации аргументы должны находиться с тезисом по крайней мере в отношениях подтверждения, а в более сильном варианте аргументации должно иметь место отношение логического следования; 2) аргументы и квазиаргументативные средства должны быть уместными в конкретной коммуникативной ситуации и приемлемыми для всех участников аргументативного процесса; 3) при отсутствии связи между аргументами и тезисом и/или замене аргументов на квази- и парааргументативные средства корректно квалифицировать процесс убеждения как «влияние», а не «аргументацию».

Выявление аргументативных макроструктур в конкретных текстах и исследование их синтаксиса требует соответствующей методологии; задача эта порой нелегка – помехой могут быть и многочисленные «лирические отступления», и культурно-обусловленные особенности стилистики и структуры текста, и нелинейность самой аргументации. А. Алексеев предлагает использовать для выявления в тексте аргументативных структур метод аргументативных карт, позволяющих наглядно представить все направления сложного аргументативного процесса [4]. Графическое выражение этих карт дает наглядное представление об особенностях использования в тексте базовых видов связи аргументов с тезисами (единичная, сходящаяся, связанная, расходящаяся и серийная аргументации [8]); но общая финальная схема при этом может выглядеть запутанно. Однако такой анализ «обнаруживает свою ограниченность, позволяя поставить вопрос об обогащении исследовательского инструментария средствами, соотносимыми с собственно аргументацией и позволяющими рассматривать те или иные составляющие философского текста в качестве парааргументационных... и квазиаргументационных» [4. С. 25]. Такими пара- и квазиаргументационными средствами мы как раз склонны считать многочисленные ошибки и уловки аргументации, встречающиеся в тексте. Пополнение ими карты (с соответствующими пометками) позволит более полно отразить всю структуру, хотя и создаст довольно громоздкую конструкцию.

Семантика аргументативного гиперязыка задается упорядоченной парой $\langle X, Y \rangle$, репрезентирующей **смысл** аргументативного процесса, где X – содержательная характеристика, выражающая значение тезиса, обосновываемого/опровергаемого в аргументации, а Y – модальная характеристика, а

именно приписываемая автором аргументативного текста тезису степень достоверности (вероятности). Тогда смыслом аргументативного текста будет обоснование/убеждение читателя в том, что тезис *X* имеет статус *У*. Таким образом, семантический уровень исследования аргументативного гиперязыка имеет явный прагматический оттенок.

Прагматическое исследование гиперязыка аргументации предполагает исследование включенности аргументативных текстов в широкий контекст текстовой культуры. Одним из важных параметров такой включенности является популярность выбранного способа аргументации в тот или иной исторический период, требующая анализа его «прагматического эффекта», выраженного в наличии и содержании текстов-ответов на исходный текст – комментариев, цитирований, прямых опровержений, пародий и пр. Так, если обратиться к тексту платоновского «Пира», то мы можем говорить об огромном массиве связанных с ним текстов, включающих и образовавшуюся традицию написания «пиров», и пародию Лукиана, и многочисленные комментарии и ссылки, начиная от Античности и до наших дней. Другие тексты Платона не менее показательны: например, его многочисленные выпады против софистов (диалоги «Горгий», «Протагор», «Софист» и др.) способствовали формированию устойчивого убеждения философского сообщества в течение многих веков в том, что софистическая школа представляла собой скорее «ложное мудрствование», а право называться философией имели только те учения Античности, которые Б. Кассен условно называет «Парменидовской веткой философии» [9].

Предложенный подход мы будем называть прагма-аналитическим, стремясь подчеркнуть как нашу приверженность аналитической традиции в философии, так и прагматические акценты, расставляемые нами при исследовании аргументативных текстов. Дополнительного комментария заслуживает очевидная ассоциация в названии с голландской школой прагма-диалектики.

Моделируя свою критическую дискуссию, классики прагма-диалектики Ф. ван Еемеерен и П. Хоотлоссер прямо формулируют необходимость адаптации к ожиданиям аудитории выбираемого на каждом шаге дискуссии «топического потенциала» и способов его презентации, а принимаемая ими презумпция разумности предполагает необходимость согласия с оппонентом в случае обоснования/критики им тезиса [10]. Эти положения близки нашему видению аргументации. При этом ограниченность прагма-диалектического подхода мы видим в его направленности на идеализированный дискурс критической дискуссии, в реальной практике аргументации реализуемый крайне редко. Кроме того, прагма-диалектический подход теряет свою эвристическую ценность в исследовании аргументативных монологов: он может быть применим только к живому спору с непосредственным присутствием обоих оппонентов. Однако не случайно в аристотелевском «Органоне» «Аналитики» предваряют «Топику». Если понимать аргументацию шире, чем «критическая дискуссия», исследовать не только убеждение, но и обоснование как его методическую и смысловую основу, то необходимо обратиться к анализу аргументативных схем и их языкового выражения, при этом схемы аргументации фактически будут представлять собой наборы умозаключений разного типа.

В прагма-аналитическом подходе мы стараемся снять ограничения на типы текстов, которые могут быть успешно исследованы прагматическими методами. Такой подход открывает перспективу не только синхронического, но и диахронического исследования аргументации, а значит, позволит не только исследовать аргументативные тексты в их современном состоянии, но и анализировать их историческое развитие, обращаясь к разным текстовым культурам как способам создания, хранения, трансляции и интерпретации текстов прошлого.

Заметим, что в современных работах в области теории аргументации все чаще отмечается необходимость исследования истории аргументативных практик. Например, Ю.В. Иванова в контексте исследования аргументации в научных текстах указывает на то обстоятельство, что до сих пор по изучению аргументативных практик можно найти лишь отдельные работы, не собранные в единую историю аргументации, что следует считать «удивительным и почти не объяснимым». Она полагает, что «...создание истории аргументации принципиально важно для реконструкции форм самосознания европейской науки. <...> История научной аргументации должна быть дополнена историей аргументативных практик в литературе, богословии, в том числе и популярном, позднее – в публицистике: подобное расширение предметной области позволяет пролить свет на функционирование рациональной аргументации и аналитических процедур, составляющих формальную структуру научного знания, в других областях интеллектуальной культуры» [11. С. 7–8]. Историческое исследование как свою цель заявляют и уже рассмотренные исторический подход Финоччиаро, и аналитический подход к истории философии. Представители последнего заявляют, что «усмотрение философского содержания любого текста – это понимание и видение в нем аргументации» [3. С. 69]; «мы понимаем историю философии как историю конкретных проблем и содержания аргументов» [3. С. 71]. То есть фактически история философии рассматривается как история философской аргументации – именно такой подход авторы полагают адекватным воспроизведению смысла философских текстов в их исторической перспективе.

Построение такой истории аргументативных практик – масштабный проект, для осуществления которого специалисты в области аргументологии делают сегодня лишь первые шаги. Даже Финоччиаро ограничивается узким кругом текстов Дж.С. Милля, Д. Юма и Галелея [12]. В топовых современных журналах по теории аргументации (журнал «Informal Logic», сборники статей под ред. Ф. ван Еемеерена и др.) среди многочисленных статей по формированию критического мышления и исследованию аргументативных ошибок лишь случайными вкраплениями оказываются статьи, посвященные анализу текстов прошлого; тематика монографий, издающихся сегодня по теории аргументации, демонстрирует ту же тенденцию. При этом чаще всего речь идет о текстах Античности и Нового времени, и в этом смысле коллективная монография «Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время», вышедшая под ред. Ю.В. Ивановой, является приятным исключением. Представленный в статье прагма-

аналитический подход к аргументации как раз может оказаться эффективным для упорядочивания этих разрозненных исследований и построения адекватной модели исторического развития аргументации.

Литература

1. Шапиро О.А. Диалог: жанр vs формат текстовой культуры // Ученые записки КФУ им. В.И. Вернадского. 2016. № 4. С. 21–30.
2. Finocchiaro, Maurice A. A historical approach to the study of argumentation // *Argumentation: Across the Lines of Discipline* / Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, J. Anthony Blair, Charles A. Willard (eds.). Dordrecht, Providence: Foris Publications, 1987. P. 81–91.
3. Вольф М., Бутаков П., Берестов И. Аналитическая история античной философии // *Sentenyaie*. 2013. № 1 (XXVIII). С. 68–80.
4. Алексеев А. П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 328 с.
5. Тираспольский Г.И. Язык и лингвистика. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. 194 с.
6. Эпштейн М.Н. О проективном подходе к языку. Неология времени // *Философские науки*. 2010. № 12. С. 94–111.
7. Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть I // *Философский журнал*. 2016. Т. 9, № 4. С. 5–17.
8. Walton D., Gordon T.F. Formalizing Informal Logic // *Informal Logic*. 35(4). 2015. P. 508–538.
9. Кассен Б. Эффект софистики. М.; СПб.: Московский философский фонд; Университетская книга; Культурная инициатива, 2000. 252 с.
10. Еемерен Ф. ван, Хоотлоссер П. Аргументация и разумность. О поддержании искусственного баланса в стратегическом маневрировании // *Мысль: Аргументация: сб. статей / под ред. А.И. Мигунова, Е.Н. Лисанюк*. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 7–22.
11. *Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время* / отв. ред. Ю.В. Иванова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 495 с.
12. Finocchiaro, Maurice A. *Meta-Argumentation: An Approach to Logic and Argumentation Theory*. London: College Publications, 2013. 279 p.

Shapiro Olga A. V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation)

E-mail: olalesha@rambler.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/2

ON THE ARGUMENTATIVE HYPERLANGUAGE NOTION: THE PRAGMA-ANALYTICAL APPROACH

Key words: argumentation, pragmatics, hyper-language, text

Contemporary argumentative texts variety by the one hand, and multiplicity of recommendations for their creation by the other, tell about daily necessity of forming the integrative approach, which would allow operating with argumentative texts of different types. The article is dedicated to researching the argumentative practices in their variety. The subject of investigation is methodological basis of argumentation analysis which allows to compare argumentative texts of different types. There are two attempts in the modern argumentation theory to formulate a generalizing approach to argumentative practices research: the analytical historical-philosophic approach (Barnes J., Cross R., Dancy R.M. and others) and the historical approach by Maurice A. Finocchiaro. The first one is to study argumentation in philosophical texts and is aimed at the clarifying the sense of philosophical text; it supposes using formalization as a method for correlating the texts of different types. The second one is a three-step method: 1) "suitable" text choice; 2) immersion into context; 3) formulating generalizations regarding the text argumentative specificity. The both approaches are focused on argumentative practices diachronic research, and both have serious disadvantages. So, in the analytical historical-philosophic approach we could get an overly cumbersome formal language as a result of text of different types formalization, its usage would not be effective. Finocchiaro's approach supposes too strict criteria of the text selection, as a result of which a huge array of argumentative practices remains "out of the study". However in later works Finocchiaro introduces the term "meta-argumentation", which has a serious heuristic potential. Developing further his ideas we will understand argumentation

as a specific hyperlanguage, which is a sign system, and its basic elements are macrostructures of a natural language. We can formulate syntax, semantics and pragmatics for the argumentative hyperlanguage. This approach we will name “pragma-analytic”. It supposes an explicit emphasis on the pragmatic side of argumentation and at the same time preserves the proximity of the language understanding in analytical tradition.

References

1. Shapiro, O.A. (2016) Dialog: zhanr vs format tekstovoy kul'tury [Dialogue: Genre vs format of text culture]. *Uchenye zapiski KFU im. V.I. Vernadskogo – Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University*. 4. pp. 21–30.
2. Finocchiaro, M.A. (1987) A historical approach to the study of argumentation. In: Eemeren, F.H. van, Grootendorst, R., Blair, J.A. & Willard, C.A. (eds) *Argumentation: Across the Lines of Discipline*. Dordrecht, Providence: Foris Publications. pp. 81–91.
3. Wolf, M., Butakov, P. & Berestov, I. (2013) Analiticheskaya istoriya antichnoy filosofii [Analytic history of ancient philosophy]. *Sentenyiae*. 1(28). pp. 68–80.
4. Alekssev, A.P. (2006) *Filosofskiy tekst: idei, argumentatsiya, obrazy* [Philosophical text: Ideas, arguments, images]. Moscow: Progress-Traditsiya.
5. Tiraspolskiy, G.I. (2015) *Yazyk i lingvistika* [Language and linguistics]. Syktyvkar: Syktyvkar State University.
6. Epstein, M.N. (2010) O proektivnom podkhode k yazyku. Neologiya vremeni [On the projective approach to the language]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 12. pp. 94–111.
7. Soloviev, E.Yu. (2016) Filosofiya kak kritika ideologiy. Chast' I [Philosophy as critique of ideologies. Part 1]. *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 9(4). pp. 5–17. DOI: 10.21146/2072-0726-2016-9-4-5-17
8. Walton, D. & Gordon, T.F. (2015) Formalizing Informal Logic. *Informal Logic*. 35(4). pp. 508–538. DOI: 10.22329/il.v35i4.4335
9. Kassen, B. (2000) *Effekt sofistiki* [The effect of sophistry]. Moscow; St. Petersburg: Moskovskiy filosofskiy fond; Universitetskaya kniga; Kul'turnaya initsiativa.
10. Eemeren, F. van & Khootlosser, P. (2006) Argumentatsiya i razumnost'. O podderzhanii iskusnogo balansa v strategicheskoy manevrirovanii [Argumentation and Rationality. On maintaining a skilful balance in strategic maneuvering]. In: Migunov, A.I. & Lisanyuk, E.N. (eds) *Mysl': Argumentatsiya* [Thought: Argumentation]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 7–22.
11. Ivanov, Yu.V. (2012) *Polemicheskaya kul'tura i struktura nauchnogo teksta v Srednie veka i rannee Novoe vremya* [Polemic culture and the structure of the scientific text in the Middle Ages and early New time]. Moscow: HSE.
12. Finocchiaro, M.A. (2013) *Meta-Argumentation: An Approach to Logic and Argumentation Theory*. London: College Publications.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 130.2, 304.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/3

Р.В. Алексеев

ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Данная работа позволяет рассмотреть коммуникационное сообщение как языковую модель передачи информации по каналам СМИ, которая способствует повседневной управляемости коллективного поведения. При этом информационное сообщение рассматривается не только как нормативно-ценностный стандарт «правильного образа жизни», но и как информационное поле с осознанными нравственными отклонениями.

Ключевые слова: асимметрия, аккультурация, коммуникация, эмоции, мораль, общество.

Введение

Стандарты массовой культуры претендуют на роль общечеловеческих норм поведения в информационном обществе. Коммуникационное сообщение как языковая модель передачи информации с ее стереотипными сюжетами способствует повседневной управляемости коллективного поведения. Тем самым все разнообразие и сложность современного человеческого бытия определяются средствами массовой информации. В силу того, что общество есть субъективно-объективная реальность, общественное бытие и общественное сознание дополняют друг друга. Без энергии сознания общественное бытие статично и даже мертво. И сам процесс материального производства обладает лишь относительной свободой от власти сознания. Общественное сознание при этом является воззрением людей в их совокупности на социальную реальность. Исторически взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания в их относительной самостоятельности реализовалась таким образом: на ранних этапах развития общества общественное сознание формировалось под непосредственным воздействием бытия, в дальнейшем это воздействие приобретало все более опосредованный характер через государство, правовые, нравственные и религиозные отношения, а обратное воздействие общественного сознания на бытие приобретает, напротив, все более непосредственный характер.

Сейчас именно средства массовой информации нацелены на создание образцов для подражания, которые позиционируются как привлекательные для массового сознания, благодаря единой структуре «общего знаменателя», роль которого играет коллективное бессознательное. Данная статья позволяет рассмотреть коммуникационное сообщение не только как

нормативно-ценностный стандарт «правильного образа жизни», но и как информационное поле с осознанными нравственными отклонениями.

Один из основоположников «социокультурной динамики» как отдельной научной дисциплины и как аспекта изучения любой конкретной культуры в ее историческом развитии Питирим Сорокин считал, что «всякая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее философии и религии, этики и права, ее основных форм социальной, экономической и политической организации, большей части ее нравов и обычаев, ее образа жизни и мышления (менталитета) – все они по-своему выражают ее основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. По этой причине важнейшие основные части такой интегрированной культуры также чаще всего взаимозависимы: в случае изменения одной из них остальные неизбежно подвергаются схожей трансформации» [1. С. 34].

Роль коммуникации в процессах аккультурации

Процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры обозначается в различных гуманитарных науках понятиями «инкультурация», «социализация» или «социокультурная адаптация». Эти понятия во многом совпадают друг с другом по содержанию, так как подразумевают усвоение людьми культурных форм какого-либо общества. Под вторым обычно понимают устойчивую совокупность различных культурных формул и символов, отражающих определенные представления о реальности.

При более строгом научном понимании термина "социализация" он предстает как процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей, благодаря которому происходит превращение человека в социального индивида. Получая в повседневной практике информацию о самых разных сторонах общественной жизни, человек формируется как личность, социально и культурно адекватная обществу. Таким образом, под социализацией понимается гармоничное вхождение индивида в социальную среду, усвоение им системы ценностей общества, позволяющего ему успешно функционировать в качестве его члена.

В отличие от социализации понятие «инкультурация» подразумевает обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Это происходит в процессе отношений взаимообмена между человеком и его культурой, при которых, с одной стороны, культура определяет основные черты личности, а с другой – человек сам влияет на свою культуру. Результатом инкультурации является эмоциональное и поведенческое сходство человека с другими членами данной культуры и его отличие от представителей других культур. По своему характеру процесс инкультурации более сложен, чем процесс социализации. Дело в том, что усвоение социальных законов жизни происходит гораздо быстрее, чем усвоение культурных норм,

ценностей, традиций и обычаев. В результате инкультурации человек становится способным ориентироваться в окружающей его социальной среде, обмениваться результатами физического и умственного труда, находить взаимопонимание с другими людьми. Этими качествами человек данной культуры отличается от представителей других культур. В результате социализации человек становится полноправным членом общества, свободно выполняя требуемые социальные роли.

«Выделим четыре психологических механизма инкультурации: имитация, идентификация, чувства стыда и вины. Имитацией называется осознанное стремление подражать определенной модели поведения. Идентификация – это способ усвоения чужого поведения, установок и ценностей как своих собственных. Если имитация и идентификация являются позитивными механизмами инкультурации, то стыд и вина – негативными. Первые способствуют формированию определенного поведения, вторые – запрещают или подавляют его» [2. С. 74].

Одним из средств социального контроля является субъективная предпосылка социальных действий масс – общественное мнение. Это явное или скрытое отношение людей к событиям общественной жизни, выражающее их мысли и чувства, осуждение или одобрение каких-либо явлений, входящих в компетенцию общественности. Общественное мнение может принадлежать как обществу в целом, так и отдельным социальным группам. Источниками общественного мнения могут служить различные каналы массовой коммуникации, а также слухи и разные формы коллективного и индивидуального опыта, выраженные в тех или иных видах социальной информации.

Все эти процессы и, прежде всего, усиление роли массовой коммуникации в обществе стали одной из основных тем в творчестве идейного лидера Чикагской социологической школы Роберта Парка, который с самого начала своей самостоятельной деятельности был связан с прессой. «Центральная тема исследований Парка – социальный контроль коллективного поведения. Социология, с его точки зрения, – наука о коллективном поведении, предметом которой является общество – совокупность структур социального контроля коллективного поведения» [3. Р. 73]. Стихийное коллективное поведение становится социальным, когда оно начинает регулироваться особыми формами социального контроля: традициями, нравами, обычаями, моральными нормами и законами. Коллективное поведение и социальный контроль – две стороны одного феномена: коллективное поведение – это «материя» общественного процесса, а социальный контроль – его форма, структурирующая поток поведения и дающая критерии для осмысления и классификации наблюдений. Посредством этой формы общество накладывает на свободную игру экономических и эгоистических сил ограничения политического и морального характера. Коммуникация – третий и в определенном смысле главный элемент общественного процесса. Способность к коммуникации признается Парком изначально присущей человеческой природе, ибо обычаи, конвенции и законы как формы проявления социального контроля есть в конечном счете продукт коммуникации. Коммуникация как интегрирующий и социализирующий

процесс делает возможным согласование действий и способность общества к возможному взаимодействию.

Сторонники деятельностного подхода описывают процесс психического развития как уникальное овладение общечеловеческим опытом, заключенным во внешнепредметной, экзотерической форме. По мнению А.Н. Леонтьева, «предметная действительность – это новая форма передачи филогенетического опыта, характерная только для вида *Homo sapiens* и базирующаяся на продуктивной, созидательной деятельности человека. В этом смысле информация является формой закрепления уровня развития, а изобразительное искусство, например, фиксирует развитие эстетических возможностей, уровень которых задается всем последующим поколениям» [4. С. 42].

Коммуникация играет гигантскую роль во взаимодействии личного и сверхличного, общественного сознания. Подобно тому как общество не есть простая сумма составляющих его людей, так и общественное сознание не есть сумма сознаний отдельных личностей. Это отдельная система, которая живет своей относительно самостоятельной жизнью. Личные идеи и убеждения приобретают характер общественной ценности, значение социальной силы, когда они выходят за пределы личного существования и становятся не только общим достоянием, но и общепринятыми правилами, убеждениями и нормами. Таким образом, общественное сознание не существует вне личного, при этом оно избирательно относится к результатам деятельности индивидуального сознания. Оно надличностно, но это не то же, что внеличностно. «Всеобщее сознание, дух определенного народа есть субстанция, акциденцию которой представляет собою сознание отдельного человека» [5. С. 108].

Информационная асимметрия повседневности как механизм общественного контроля

Рассмотрение современного сообщения с точки зрения истинности или ложности и что существуют простые и четкие критерии, позволяющие отделить их друг от друга, несомненно, наивно и часто служит причиной ошибок в научном познании. Повседневная коммуникация имеет сложное строение и регулируется на основе собственных критериев. В первую очередь в ее составе следует выделять неявные цели и стратегии, которые чаще всего отнюдь не сводятся к поискам истины, а направлены на подчинение людей, самоутверждение или реализацию иных потребностей. Исключительно сложными по своей природе являются морально-этические ценностные суждения, которые определяют поступки человека не с точки зрения соответствия фактам, а с позиций не существующих реально идеалов. Нравственные и эстетические идеалы не только не подлежат проверке на истинность, но, наоборот, могут служить основанием критики государства. Раньше эти идеалы считались божественными заповедями, однако в современном обществе ответственность за их эффективность должны взять на себя сами члены коммуникативного сообщества. В связи с этим коммуникация выступает как весьма сложная деятельность, в ходе которой ее участники повышают свою компетент-

ность, достигают консенсуса и принимают согласованные решения. Каждый человек как рядовой участник коммуникативного процесса должен отчетливо представлять возможности самореализации, предоставляемые ему сложившейся коммуникативной системой.

Неверно думать, что коммуникация является простым инструментом для самовыражения личности. Напротив, именно она и формирует личность, причем настолько, что подчас сливается с внутренними желаниями и потребностями человека. Персоналистский путь предполагает реализацию себя в сообществе, где каждый проявляет заботу о другом, помогая ему «подняться над собой во имя особых ценностей ее собственного признания, и сама личность начинает возвышаться вместе с каждой из них» [6. С. 79]. Важная роль культуры общения как раз и состоит в том, чтобы выявлять и контролировать установки общества и стремиться применить их в единой стратегии повседневной жизни. В целом процесс коммуникации должен протекать таким образом, чтобы усилить те параметры, которые обладают воздействующей силой на источник. Р. Чалдини рассмотрел такие воздействующие характеристики, как титулы, одежда и атрибуты. То есть в ряде ситуаций человек ведет себя автоматически, не задумываясь, и эти ситуации представляют особый интерес не только с психологической, но и с коммуникативной точки зрения.

Распространение идей может подчиняться теории диффузии Э. Роджерса. В соответствии с ней «критической точкой распространения становится 5% популяции, но чтобы их убедить, следует достичь своим сообщением 50% популяции. При переходе через 20% идея живет уже своей жизнью и более не требует интенсивной коммуникативной поддержки. Э. Роджерс предложил шесть этапов, через которые проходит процесс адаптации идеи: внимание, интерес, оценка, проверка, адаптация, признание» [7. Р. 119].

Необходимо также уделить внимание теории коммуникативных систем как подразделу теории коммуникации. В основе обеих теорий лежит понятие информационной асимметрии. Информационная асимметрия вызывает к жизни коммуникацию с тем, чтобы в результате ее прошедшая коммуникация уравнивала знания источника и получателя. В принципе о коммуникативной единице принято говорить в аспекте, когда решение одного индивидуума выполняется другим, т.е. когда имеется переход между двумя системами. Коммуникация – это всегда межуровневая передача информации. Коммуникативная система заинтересована в средствах создания и поддержания информационной асимметрии. В рекламной коммуникативной системе это позитивная прогрессивная установка коммерческой рекламы и негатив, страх и стыд социальной рекламы. Коммуникативные системы можно разделить на языковые и речевые (монологические и диалогические). В первом случае для эффективности сообщения наиболее значима чистота каналов коммуникации, чтобы сообщение без помех доходило до назначения. Сообщение потребителем воспринимается как неопровержимый факт или приказ к действию. Отсюда ориентация на консерватизм и строгость в первом случае и ориентация на доверие и инновационный характер во втором. В речевой сис-

теме сообщение исходно соответствует действительности, поскольку постоянно видоизменяется.

Умелое создание информационной асимметрии для полноценного функционирования коммуникативных систем является основной задачей отправителя сообщения в информационном обществе. И попадание в фокус общественного внимания происходит в борьбе сбалансированных сочетаний положительных и отрицательных высказываний об объекте. В ситуации тоталитарного советского прошлого негативные высказывания смещались в сферу неофициального дискурса, в то время как официальный дискурс знаменовался исключительно достижениями и лозунгами. По сути, достигалась задача информационной сферы – полное отсутствие негативных высказываний. Но этот позитив являлся лишь верхушкой айсберга, поскольку негатив накапливался в пределах неофициального дискурса. Стоит припомнить в качестве примера «кухонные» разговоры того времени. Официальный дискурс разрешал только негативные высказывания только о врагах государства. Такая информационная модель была возможной при контроле официального дискурса одним источником. В демократической информационной модели источников должно быть множество, но контроль должен осуществлять все тот же орган управления. Если за забором действует приказ, то вне его может действовать только убеждение. На примере советского прошлого можно сделать вывод, что прямое воздействие воспринимается населением в штыки, следовательно, необходимо прибегать и к косвенному убеждению. Свободному человеку не свойственно подчиняться приказам, следовательно, бессознательная модель убеждения, апеллирующая к культурным ценностям, должна подаваться в многополярной информационной интерпретации.

Во второй половине XX века в своем изложении сущности мозаичной культуры А. Моль в книге «Социодинамика культуры» объясняет, что в этой культуре «знания формируются в основном не системой образования, а средствами массовой коммуникации» [8. С. 19]. Средовые воздействия в исследованиях Д. Мейхенбаума, А. Эллиса, А. Бека стали рассматриваться не как отдельные элементы-стимулы, но как сложная система, включающая отношение между людьми, оперирующая эмоциональными и мотивационными компонентами. Дж. Уайт и Л. Мазур подчеркивают важность для public relations быть не столько техникой, как подходом, делать акцент на этических мотивах, которая не должна быть средством для сокрытия неприятных фактов. Глобальное информационное общение стало для миллионов людей повседневной реальностью. Поэтому неудивительно, что идеи Маклюэна о планетарно широком общении как норме повседневной жизни начинают представляться чуть ли не сами собой разумеющимися. Основная идея Маклюэна, впоследствии ставшая афоризмом, – «сообщением, передаваемым средством общения, является само это средство» [9. С. 86].

Неизбежность теоретических концепций маклюэновского типа заключается в том, что массовая коммуникация – это структурно оформившаяся сфера жизни современного общества, которая, будучи его частью, имеет над ним тем не менее определенную власть. Массовая коммуникация выступает

как возвышающаяся над обществом и государством идеологическая сила, которая повседневно сводит воедино и согласовывает их действия. Каждодневное восприятие человеком циркулирующей информации и должно приводить его к очевидным для массового сознания константациям, свидетельствующим об огромной роли фетишизации.

Маклюэн, обратив внимание на роль средств массовой коммуникации, по-новому понимает проблему их воздействия. Согласно его теории информационный миф сегодня – наиболее значимый принцип организации массового сознания, что, в свою очередь, предполагает возможность сознательной мифологизации общения посредством массовых коммуникаций. Но, как известно, сознание отвечает только за поведенческий процесс человека относительно внешнего мира, а о подсознательной установке, составляющей совокупность ценностных ориентаций, моральных запретов и социальных норм, в его работах ничего не сказано. Бессознательная информационная установка, разделяясь на материально-фетишистскую, морально-нравственную, агитационную и др., выражает основополагающий принцип и главенствующую ценность общества.

Обратим внимание на следующее:

Во-первых, решение проблем общественной жизни настоятельно требует их понимания как проблем глобально-целостной системы «человек – общество – природа», которая динамично развивается, имея верхний и нижний пределы своего существования.

Во-вторых, поскольку при этом в поле зрения оказывается все бытие человечества, то нельзя не обратить внимания, что само это бытие имеет напряженный, кризисный характер, рассчитывать на преодоление которого в обозримом будущем было бы заблуждением.

В-третьих, в этой связи неизбежно напрашивается вывод, что если все конфликты и кризисы современности пустить на самотек, то они могут довести человечество до глобальной катастрофы.

Доминантой глобалистского мироощущения в постиндустриальном обществе является управленческий императив как отношение к действительности, для которого естественно стремление понимать любую проблему главным образом в плане ее непосредственного практического решения. Таким образом, формирующееся в процессе глобальной информации управленческое отношение к жизни, направляя внимание на ее кризисное измерение, побуждает к повседневному упорядочиванию, ограничению и преодолению наиболее опасных конфликтов. Особая роль в этой связи не может не отводиться средствам массовой коммуникации с их огромными управленческими возможностями.

Заключение

Только через общение человек может соотносить свое поведение с действиями других людей, образуя вместе с ним единый общественный организм – социум. В процессах социального взаимодействия приобретают свою устойчивую форму нормы, ценности и институты той или иной культуры. Именно общение во всех своих формах наиболее полно раскрывает специфику человеческого общества.

В заключение можно с уверенностью сказать, что современная коммуникационная модель, передаваемая по каналам СМИ, является одной из составляющих массовой культуры, согласно которой определяются ценности, нормы и запреты. Коллективный страх и чувство вины как механизмы общественного контроля асимметричны нормативно-ценностным стандартам повседневности. Эмоции в экстровертированной установке ориентируются на объективно данное, каковым в данном случае знак или символ являются необходимым определителем при восприятии. Таким образом, в эмоциональном информационном поле формируется сообщение, с которым либо согласно, либо не согласно большинство, которое в свою очередь формируется коллективным бессознательным на примере архетипов. Ассоциации, стереотипы, архетипы и другие составляющие человеческой психики формируют подсознательный слой, который не только влияет на жизненный проект индивида, но и формирует общественно-культурные ценности.

Литература

1. Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар, 1991.
2. Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение. Казань, 2001.
3. Rauschenbush W., Robert E. Park: Biography of a Sociologist. Durham: Duke University Press, 1979.
4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001
5. Козер Л. Мастера социологической мысли: Идеи в историческом и социальном контексте. М., 2006.
6. Мунье Э. Персоналистская и общностная революция // Манифест персонализма. М., 1999.
7. Rogers E.M. Diffusion of innovations (5th ed.). New York, 2003.
8. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
9. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. М., 2005.

Alekseev Roman V. St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

E-mail: leop0ld@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/3

INFORMATION ASYMMETRY OF EVERYDAY LIFE IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Key words: asymmetry, society, ccommunication, emotions, morality, acculturation

This article is directly related to mass culture and is dedicated to one of its components - the modern communications model, transmitted through media channels. Information asymmetry is regarded not only as the information field with a conscious moral deviations, but also as a mechanism of social control. The relevance of this article is not in doubt, since communication plays a huge role in shaping public consciousness. The author of a major operation by the definition of the role of communication in the process of acculturation. Apply theoretical knowledge of foreign authors of the second half of the XX century and their view of popular culture from the perspective of "sociodynamics culture", "diffusion theory", as well as the submission of the supporters of active and personalistic approaches. It is also important that the R.V. Alekseev writes about collective behavior and social control as "matter" and "form", thereby referring to the materialist philosophical tradition. Just shows a comparison of modern communication model with the information field of the Soviet past. In conclusion, the author concludes that the communication message is the language model of information transfer with its stereotypical subjects, it contributes to the daily handling of collective behavior. Emotionally information field, thereby generating a message which either under or unconformably majority, which in turn formed the collective unconscious.

References

1. Golosenko, I.A. (1991) *Pitirim Sorokin: sud'ba i trudy* [Pitirim Sorokin: Fate and works]. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo.
2. Blumer, G. (2001) *Sotsial'nye problemy kak kollektivnoe povedenie* [Social problems as collective behavior]. Translated from English by I. Yasoveeva. Kazan: Kazan State University.
3. Rauschenbush, W. (1979) *Robert E. Park: Biography of a Sociologist*. Durham: Duke University Press.
4. Kleiberg, Yu.A. (2001) *Psikhologiya deviantnogo povedeniya* [Psychology of Deviant Behavior]. Moscow: Yurait.
5. Kozer, L. (2006) *Mastera sotsiologicheskoy mysli: Idei v istoricheskom i sotsial'nom kontekste* [Masters of sociological thought: Ideas in the historical and social context]. Translated from English by T.I. Shumilina. Moscow: Norma.
6. Mounier, E. (1999) *Manifest personalizma* [Manifest of personalism]. Translated from French by I. Vdovina, V. Volodin. Moscow: Respublika.
7. Rogers, E.M. (2003) *Diffusion of innovations*. 5th ed. New York: Free Press.
8. Mole, A. (1973) *Sotsiodinamika kul'tury* [Sociodynamics of Culture]. Translated from French. Moscow: Progress.
9. McLuhan, M. (2005) *Galaktika Guttenberga* [The Gutenberg Galaxy]. Moscow: Akademicheskii proekt.

УДК 316.42

DOI: 10.17223/1998863X/38/4

И.Б. Ардашкин

СМАРТ-ОБЩЕСТВО КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИЛИ КАК НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ПРОГРЕССА): К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ¹

Анализируются перспективы становления смарт-общества как этапа социального прогресса в результате активного применения смарт-технологий в социальной реальности. Рассматриваются концепции прогресса (Р. Нисбета, П. Штомпки, К.Х. Момджяна) для определения критериев оценки процессов социального прогресса. На основании выведенных критериев анализируются социальные трансформации, вызванные применением смарт-технологий. Делается вывод о невозможности однозначно считать подобные трансформации новой ступенью социального прогресса на современном этапе. В то же время нельзя исключать, что в дальнейшем смарт-общество станет таким новым этапом.

Ключевые слова: смарт-общество, смарт-технологии, прогресс, социальная динамика, социальное развитие.

Одним из современных и востребованных трендов социального развития является разработка, внедрение и эксплуатация смарт-технологий в различных сферах жизнедеятельности общества. По оценке разработчиков, эти технологии качественно меняют характер не только технологических процессов, но и характер социальных процессов. Поэтому сегодня очень часто говорят о становлении смарт-общества как особого типа общественной организации. В связи с этим возникает вполне естественный вопрос, а не ведут ли обозначенные процессы к появлению нового типа общества – смарт-общества (по принципу: традиционное общество – индустриальное общество – постиндустриальное общество – информационное общество – смарт-общество). Является ли выделение смарт-общества новым типом общества или новой стадией развития информационного общества или речь идет об использовании смарт-технологий, не влияющих на процессы социальной динамики?

Поставленная проблема относительно нова и актуальна для отечественных исследователей. Не так давно на базе НИУ «Высшая школа экономика», Финансового университета при Правительстве России и других организаций и вузов стали проходить конгрессы: «Пути развития смарт-общества в России: от информационного общества к обществу знаний» (2014 г.), SMART RUSSIA – Россия: от информационного общества к обществу знаний (2015), Россия: от информационного общества к обществу знаний (Международный конгресс «SMART RUSSIA 2016»), где смарт-общество в основном определяли как новую стадию развития информационного общества. Конгресс был представлен большей частью представителями экономического, управленческого (менеджмент) и информационно-технического спектра. В этом плане

¹ Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-16-70006.

было бы полезным провести и философский анализ происходящих процессов, в рамках которого обобщить имеющийся спектр существующих подходов и дать им целостную оценку. Данный круг вопросов и представляет собой проблемное и предметное поле, которое предстоит рассмотреть в рамках данной статьи.

Тем более, очень многие исследователи высказывают определенные оптимистические оценки относительно появления нового типа общества – смарт-общества. В частности, В. Тихомиров считает, что смарт является новой социальной парадигмой. Философия такой парадигмы (общества, построенного на ней) строится на основе постоянного создания новых идей и знаний людьми, которые обладают специальной подготовкой для того, чтобы формировать и поддерживать подобные процессы, признают ценность интеллектуального капитала [1]. В программной аннотации конгресса SMART RUSSIA 2015 в похожем ключе декларировалось, что «под термином «СМАРТ» понимаются не просто технологии, а коренное преобразование модели общества. В основе общества будущего будет лежать не финансово-экономическая модель, а интеллектуальный потенциал человека, многократно усиленный с помощью технологий» [2]. Естественно, что именно столь «радужные» прогнозы актуализируют стремление поиска взвешенной оценки происходящих процессов, выраженной в виде их философского анализа и осмысления.

В этом плане можно обозначить ряд ключевых проблемных моментов, чье осмысление придется затронуть в исследовании. Первый из таких проблемных моментов – вопрос об определении того, что такое смарт-технологии, о том, что делает любую технологию «смарт-технологией», насколько подобные специфические характеристики смарт-технологий выходят за пределы исключительно технологической и технической составляющих. Второй проблемный аспект – это вопрос о подходах к оценке того, что считать социальным развитием (прогрессом), вопрос о соотношении социальных и технолого-технических составляющих в этом процессе. И, наконец, третий аспект – вопрос о том, являются ли смарт-технологии специфическими технологиями, определяющими социальное развитие, непосредственно преобразующими характер социального взаимодействия общества на более качественный уровень, или это просто технологии, повышающие качество исключительно материальной составляющей общественной жизнедеятельности и не более того.

Автор не претендует на полноту и всеохватность исследования в поставленной теме, а предполагает посредством философского анализа наметить возможные варианты ответов как по проблеме в целом, так и по каждому из обозначенных аспектов в отдельности.

Подходы к определению смарт-технологий. Понятие «смарт» (умный) изначально появилось в системе менеджмента и было связано с постановкой целей руководством перед организацией (коллективом) и непосредственным выполнением поставленных задач.

П. Друкер в 1954 г. в своей работе «Практика менеджмента» предложил методику SMART [3]. Понятие представляет собой аббревиатуру, которая составлена из первых букв английских слов: specific (конкретная), measurable

(измеримая), *achievable* (достижимая), *relevant* (совместимая) и *time-bound* (определенная во времени). Использование данной методики П. Друкер, прежде всего, связывал с двумя важнейшими задачами менеджмента: обеспечением экономической эффективности компании и управлением компанией [3. С. 9–12].

Другой представитель из области менеджмента, Э. Локк, также обращался к понятию «смарт». Начиная с 60-х и по 90-е гг. прошлого века вместе с рядом других исследователей он занимался изучением процессов постановки целей, с помощью которых старался выявить связь между тем, как характер поставленной цели влияет на характер и качество выполнения сотрудниками профессиональных задач, связанных с этими целями. Постепенно сфера предлагаемого формата целеполагания (как *smart*-целеполагания) расширялась и стала касаться все более широкого круга сфер общественной жизнедеятельности: от сферы управления до сферы социальной (групповой) и индивидуальной (от масштабов компании (фирмы) до масштабов человечества, государства, с одной стороны, и отдельного человека – с другой).

Согласно Л. Коннели, который обращается также к анализу понятия «смарт», содержание этого термина меняется в зависимости от сферы применения. Например, в сфере кибернетики та система начинала считаться «смарт-системой», которая имела подключение к Интернету или какой-либо сети, соединенной с базой данных. То есть понятие «смарт» «обычно использовалось для обозначения “подключен к Интернету” или, по крайней мере, “подключен к сети”» [3].

Однако наличие подключения к Интернету (сети) не стало единственным критерием представления о том, что следует понимать под характеристикой «смарт». Под *смарт-технологией* стали понимать комплекс возможностей, включающий достаточно большой круг параметров. При этом говорить о единстве представлений не приходится, поскольку социальные и индивидуальные особенности обществ, групп, индивидов и т.д. накладывают свои отпечатки на содержание понятия. Одна из причин такой ситуации обусловлена тем, что каждый человек, группа, организация выражают разные потребности относительно разрабатываемых *смарт-технологий*. Как полагает тот же Л. Коннели, появление *смарт* (умных) – целей переносится на предметы, отношения, среду в надежде на то, что все перечисленные вещи обретут новые качества только за счет того, что их можно было бы соединить с Интернетом, Сетью. Ведь «если я подключу Wi-Fi чип к моему стандартному чайнику, лампе или вилке дома, станут ли они умными? “Очевидно, нет”... Однако мы считаем, что “умный” означает больше, чем “связанный”. Аппаратное обеспечение не может быть само по себе разумным – то, что делает его умным, – это программное обеспечение. Связанная вилка умна, если она советует нам, едим ли мы слишком быстро; подключенная лампа интеллектуальна, если она изменяет свой выход в зависимости от окружающего освещения или если ею можно управлять дистанционно с помощью телефона или другого устройства» [4].

Поэтому активное использование терминологии *смарт* (а это одна из особенностей употребления слова «смарт», поскольку его можно прикладывать к абсолютно любому предмету, явлению, процессу и т.д.) сталкивается

с огромным многообразием его значений. Под термином «смарт» имеют в виду абсолютно разные и порой несовместимые предметы и явления. Анализируя содержание понятия «смарт», можно выделить несколько значений, которые исследователи, как правило, вкладывают в него:

- современные технологии;
- информационные технологии;
- междисциплинарность научных разработок;
- люди с соответствующим (умным) сознанием и поведением (смарт-люди);
- организация эффективного взаимодействия людей и технологий, ведущая к повышению степени безопасности жизни и улучшению качества жизни (смарт-среда и смарт-взаимодействие);
- эффективное решение возникающих проблем.

Исключение хотя бы одной составляющей трансформирует смарт-технологию в просто технологию.

Это, конечно, далеко не полный анализ понятия «смарт» и смарт-технологий, но даже его достаточно для того, чтобы охарактеризовать комплекс аспектов, составляющих собой содержание рассматриваемого феномена. Именно данная комплексность и заставляет задаться вопросом о том, требуются ли какие-то существенные социальные трансформации в обществе в случае активного применения в рамках его жизнедеятельности смарт-технологий? Приведут ли обозначенные социальные изменения к тому, что общество качественно преобразуется (вступит в новую стадию своего развития)? Можно ли будет считать новую стадию (этап) социальной динамики прогрессом?

Эти вопросы имеют сегодня большое значение как для своего научного и философского осмысления, так и для самого общества, поскольку без определения сущности роли смарт-технологий в сфере социальной динамики фактически сложно оценить их роль для человека и общества. Следовательно, сложно повлиять на характер и результаты происходящих трансформаций.

К вопросу о подходах к оценке социального прогресса (развития). Чтобы ответить на поставленные вопросы о роли смарт-технологий для процессов социальной динамики, необходимо определиться с тем, что следует понимать в рамках статьи под термином "социальный прогресс" (социальное развитие). Без установления такой определенности оценить роль смарт-технологий для процессов социальной динамики будет непросто. Сегодня подобный контекст их исследования является наиболее актуальным, поскольку сами по себе смарт-технологии в контексте собственной эволюции могут оцениваться вполне эффективно и полноценно. Например, когда выходит новая модель смарт-телефона, ее новые технологические параметры демонстрируются очень активно с той целью, чтобы показать преимущества этой модели по сравнению с предыдущей. Демонстрация же того, имеются ли у произведенных технологических усовершенствований социальные аспекты, как правило, не проводится. Автор статьи постарается показать, что такая демонстрация опускается не по какому-то умыслу, а потому, что это нельзя сделать однозначно. Поэтому описанные выше оценки ряда иссле-

дователей относительно социально позитивных ожиданий результатов применения смарт-технологий в жизнедеятельности общества требуют необходимых комментариев и корректировки. И сложность здесь заключается не только в многозначности трактовок смарт-технологий и их социальной роли, но и в вопросе понимания того, что такое социальный прогресс (развитие).

Вопрос этот важен еще и в том плане, что социальный прогресс – это понятие, имеющее существенное значение в отношении смысловой составляющей общественной жизнедеятельности. Ведь не секрет, что европейская цивилизация весь ход своего исторического движения в лице различных представителей осознала как прогресс. Как тонко отметил в своей работе Р. Нисбет, «если идея прогресса на Западе умрет, то умрет и большая часть всего остального, что мы долго ценили в этой цивилизации» [5. С. 11]. Иными словами, без идеи прогресса существование цивилизации (в первую очередь, европейской) утрачивает всякий смысл. Поэтому поиск ответа на этот вопрос очень важен, особенно сегодня, когда как никогда идея прогресса получает много критических оценок, вплоть до отрицания прогресса как такового. В отношении роли использования смарт-технологий как наиболее современных технологий этот вопрос также существенно значим.

В то же время идея прогресса при всей своей важности для человеческой цивилизации никогда не характеризовалась как что-то однозначное и общепринятое. В этом плане имеет смысл обратиться к ведущим зарубежным и отечественным исследователям, чтобы продемонстрировать указанную особенность изучения прогресса. Из зарубежных исследователей имеет смысл обратиться к уже названному Р. Нисбету, а также к работам П. Штомпки, чьи подходы к прогрессу демонстрируют существенные различия. Из отечественных философов наиболее оригинальные идеи относительно понимания прогресса и его генезиса принадлежат К.Х. Момджану.

Р. Нисбет полагает, что идея прогресса связана с религиозными корнями, которые произрастают из иудео-христианских представлений. Он пишет: «Ведь если существует какое-либо общее и притом убедительное утверждение об истории идеи прогресса, то оно состоит в том, что на протяжении всей своей истории она была тесно связана с религией, зависела от религии» [5. С. 526].

В последние десятилетия идея прогресса подвергается критике или отрицается вообще в силу того, что религиозные основания последней утрачивают свою актуальность. Но Р. Нисбет полагает, что это время пройдет и религиозные убеждения в обществе возродятся, а вместе с ними и «оживет» идея прогресса. Сегодня он видит признаки того, что религиозные убеждения постепенно становятся вновь востребованными в обществе и что в перспективе приведет к возрождению роли религии в социуме, а идея прогресса станет ведущим направлением его жизнедеятельности. Р. Нисбет убежден в том, что «история ясно свидетельствует о том, что лишь в контексте подлинной культуры, ядром которой является широкое и глубокое чувство священного, мы будем в состоянии восстановить условия, необходимые как для самого прогресса, так и для веры в прогресс – в прошлом, настоящем и будущем» [5. С. 533].

П. Штомпка подходит к пониманию сущности идеи прогресса несколько шире, чем Р. Нисбет. Он полагает, что прогресс (буквально с латыни «успех») означает продвижение, продвижение вперед, изменение от худшего к лучшему и т.д. Но такого рода трансформации могут осуществляться по-разному и по множеству направлений, а значит, содержание прогресса будет неоднозначно и разнопланово. В этом заключается одновременно как широта (сложность) восприятия и понимания развития (социального развития), так и очевидность (возможность) оценки его значимости для общества.

Одна из существенных трудностей использования идеи прогресса, имеющих место и сегодня, проявилась в эпоху Возрождения, когда европейцы открыли для себя существование множества других человеческих цивилизаций, социальных образований, отличающихся по уровню и содержанию своего развития от Европы. В какой-то момент это поколебало идею прогресса как критерия оценки социальных изменений, поскольку опыт знакомства с африканскими, американскими, азиатскими и другими культурами больше наталкивал на рассуждения о движении назад, нежели на мысли о движении вперед. Приходилось определиться с вопросом о различии людей, их социальных общностей по отношению друг к другу либо признать единство человеческого рода, объясняя возникшие различия пребыванием на разных этапах социального развития.

Для Европы названная идея единства всего человечества явилась важнейшей ценностью, без которой прогресс (социальный прогресс) в принципе не мог бы интерпретироваться как критерий социального развития. Поэтому все множество оценок прогресса в его целеполагании, механизмов, природы и т.д. актуально только в случае признания, что человечество – это единое социальное образование. Без данного полагания у идеи прогресса утрачивается универсальное основание, что, следовательно, не позволяет оценить характер и качество социальной динамики человечества и его многообразных социокультурных образований. Отсюда и возможный плюрализм путей, механизмов прогресса, а также его потенциальных результатов. Как пишет П. Штомпка, среди «критериев прогресса мы находим следующие: спасение, знание, общность индивидов, свобода (негативная и позитивная), эмансипация, господство над природой, справедливость, равенство, изобилие, способность выбора и равные жизненные возможности» [6. С. 53].

При этом П. Штомпка понимает, что рассмотрение того, как прогресс осуществляется по одному из его критериев (допустим, знание), не позволяет сопоставить достигнутые результаты с тем, что можно было бы получить на основании другого критерия/критериев (допустим, равенство). Более того, социолог полагает, что помимо несоотнесенности видов прогресса, его оснований, механизмов и результатов между собой, важно видеть и такое измерение феномена, как наличие цены прогресса. Даже очевидные успехи социального прогресса, оцениваемые в материальном, финансовом, эмоциональном, экзистенциальном и т.д. измерениях, не позволяют сделать однозначного вывода о пользе прошедших социальных изменений, поскольку у них есть и обратная сторона. Он полагает очевидным то, что «прогресс в одной области зачастую возможен только за счет регресса в другой. Происходящие сейчас в посткоммунистических странах Восточной и Центральной

Европы процессы демократизации, развития предпринимательства и свободного рынка сопровождаются ростом безработицы и нищеты, ослаблением социальной дисциплины, повышением уровня преступности и правонарушений, локальными конфликтами, неуправляемостью и широким распространением масс-культуры» [6. С. 51].

Поэтому ключевым фактором, по П. Штомпке, будет являться поиск баланса между результатами прогресса и его ценой. В отличие от самой идеи прогресса, имеющей универсальное значение для человечества, поиск баланса не может обладать подобным универсализмом, а каждый раз может и должен определяться по ситуации.

Это не полный перечень проблемных аспектов осмысления идеи прогресса у П. Штомпки, но в приведенном анализе выражен ключевой момент важности прогресса для человека и общества, позволяющий нам понять неоднозначность и сложность данного социального феномена. В подобном анализе очень многое зависит от человека и общества, от той готовности, которую они демонстрируют в отношении как самого социального развития, так и его оценки. Как пишет П. Штомпка, «мы не можем утверждать, что прогресс необходим, поскольку не знаем, захотят и смогут ли люди реализовать свою способность к созиданию. Различные природные, структурные и исторические условия, а также факторы, подавляющие активность (например, пассивность, сформировавшаяся в результате социализации; подключение адаптивных, защитных механизмов или жестокие уроки, «шрамы» от прошлых неудач), могут воспрепятствовать расцвету этой способности. Точно так же может быть прерван процесс накопления, передачи традиций, причем как на индивидуальном, так и на историческом уровнях (решающую роль здесь играют семья, церковь, школа, средства информации и другие институты). В таком случае следует ожидать не прогресса, а скорее всего стагнации или регресса» [6. С. 64–65].

Такой подход особенно интересен сегодня, когда идущие процессы глобализации столь же явно, как это было в эпоху географических открытий, демонстрируют дифференциацию различных социальных образований в мире по отношению друг к другу. Сегодня становится очевидным, что идея прогресса зависит от желания этих социальных общностей воспринимать себя как нечто единое. А в этом вопросе, к сожалению, пока ясности нет.

Третий подход к оценке идеи прогресса связан с отечественным философ К.Х. Момджяном. Он, как и П. Штомпка, полагает невозможность единого подхода к пониманию и оценке феномена прогресса. Более того, К.Х. Момджян вообще предлагает два типа прогресса одновременно, соответственно два определения его сущности.

Отечественный философ считает, что можно говорить о прогрессе только в следующих форматах: прогресс в обществе, прогресс общества и прогресс человечества. В случае использования формата «прогресс в обществе» речь у К.Х. Момджяна идет об общественных подсистемах (экономической, технологической и т.д.), каждая из которых вполне способна меняться и совершенствоваться. Как он пишет, «этот прогресс представляет собой *технологическое улучшение* разных видов общественного производства, которое измеряется эффективностью исполнения возложенной на них функции. Хочу

подчеркнуть, что речь идет именно о технологическом аспекте прогресса, рассматривая который мы сознательно абстрагируемся от вопроса о том, каким образом улучшения (или ухудшения) в способе производства людей, вещей, социальных связей и информации влияют на иные сферы общества и на положение людей, живущих в нем» [7].

Формат «прогресс общества» предполагает оценку того, как изменения в каждой из социальных подсистем влияют на ситуацию в целом, на оценку того, представляет ли собой общество социальный организм, способный самостоятельно и самодостаточно развиваться. И здесь критерием оценки прогресса будет выступать не технологическая эффективность, как это было в предыдущем формате, а степень удовлетворенности потребностей всех членов общества. Третий формат («прогресс человечества») рассматривается как итоговый вариант оценки социальной динамики всех обществ, которые в истории человечества существовали. И критерием К.Х. Момджян предлагает использовать вклад каждого из обществ в единую копилку человечества.

Наиболее интересной и дискуссионной идеей отечественного философа выступает его предложение о двух типах прогресса, которые одновременно имеют место в процессе социального развития: прогресс как совершенствование и прогресс как прибавление. Эти два типа прогресса К.Х. Момджян приводит по причине того, что в ряде социальных подсистем сложно вычленить процессы, чьи результаты могли бы считаться прогрессивными по отношению к предыдущим (например, духовная сфера). Поэтому выходом он видит несколько иное понимание того, как идет прогресс в данной подсистеме.

В духовной сфере сложно наблюдать прогресс в его распространенной трактовке как совершенствование. Но если прогресс понимать как прибавление, то такая трансформация понятия «прогресс» позволяет его увидеть даже в духовной сфере. К.Х. Момджян приводит следующий аргумент для этого. Он пишет: «Прогресс в искусстве существует, выступая – как и в случае с валюативной философией – в качестве “прогресса как прибавления”. Можно утверждать, что музыка, в которой есть и Бах, и Шостакович, богаче музыки, в которой есть только Бах, а потому она лучше справляется со своей функцией доставлять наслаждение слушателям» [7].

В таком случае возникает другой вопрос, можно ли два различных процесса (совершенствование и прибавление) считать одним (общим)? В представлении автора статьи, подход К.Х. Момджяна приводит к логическому противоречию в отношении понятия прогресс, с одной стороны, а с другой стороны, лишает идею прогресса универсальной трактовки, благодаря которой эта идея и обрела ценность в европейской традиции. Это не отрицание вклада отечественного исследователя по теме проблемы, а иной взгляд на трактовку выдвигаемых идей. Кроме того, подобные противоречия могут быть вызваны и сложной природой такого феномена, как прогресс.

К вопросу о смарт-технологиях и социальном прогрессе. Проведенный анализ того, что такое смарт-технологии, какова оценка их роли в вопросе социального развития, а также рассмотрение основных представлений о прогрессе (социальном прогрессе) позволяют взвешенно поставить и осмыслить

вопрос о том, что такое смарт-общество. Можно ли данный тип общества считать новым этапом социального развития (следующая ступень социального прогресса) или это период общественной жизнедеятельности, в который активно используются смарт-технологии, не влияющие кардинально на процессы социального развития. Следовательно, обоснованно подойти к ответу на вопрос, насколько оправданы оптимистические оценки перспектив становления смарт-общества.

Вопрос этот важен и с позиции понимания перспектив общественного развития на современном этапе, поскольку само по себе общественное развитие ускоряется (в первую очередь, за счет интенсификации технологического развития), но как технологические процессы обусловлены социальными процессами – выявить непросто. Это вопрос неоднозначный по своему содержанию. И в рамках данной статьи дать однозначный ответ вряд ли получится, но можно постараться уточнить ряд моментов.

Дело в том, что ситуацию, когда общество в процессе своей эволюции переходит с одной ступени на другую, не так просто зафиксировать и репрезентировать. Во-первых, это растянутый во времени процесс, который может длиться не одно десятилетие. Во-вторых, выделить такие критерии, по которым можно было бы просто и однозначно отличить один этап развития общества от другого, очень сложно. Как выше было показано, само развитие общества (его прогресс) представляется исследователями существенно поразному и далеко не всегда способствует прояснению представлений. Но даже если ряд исследователей солидарны относительно того, что общество идет в своем развитии через определенные этапы и следующая стадия будет характеризоваться по какому-то единому критерию, то это абсолютно не значит, что обозначенная исследовательская солидарность позволяет все четко и ясно продемонстрировать в вопросе, за счет чего эта следующая стадия станет прогрессивней и как точно определить, что она уже наступила.

Классический пример – исследовательская традиция изучения информационного общества. В частности, речь идет о работе британского социолога Ф. Уэбстера «Теории информационного общества», где автор, рассмотрев достаточно большое количество подходов к пониманию информационного общества, его генезиса и перспектив (теории Д. Бэлла, Г. Шиллера, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, З. Баумана и др.), делает вывод, что информационное общество представляет собой определенную модель, доказательство реальности существования которой в общественной практике весьма проблематично. Ни рост информации, ни смена структуры занятости, ни другие критерии, характеризующие становление информационного общества, не позволяют четко определить, на основании какого параметра (увеличение, к примеру, информационных потоков) и при изменении какого процента структуры занятости одно состояние общества превращается в другое. Поэтому попытка связи роста производства информации с наступлением новой информационной эпохи (информационного общества) выглядит не убедительно. В таком подходе, по Ф. Уэбстеру, «лежит совершенно искаженное представление о причинах социальных изменений, потому что ключ к этим социальным изменениям пытаются найти вне социальных связей, сначала упорно изолируя технологию от общества (т.е. от сферы оценок и мнений),

а потом вводя ее снова, но уже как автономную силу, приводящую к изменениям в обществе. Поэтому неудивительно, что те, кто предвидят такие решительные, но асоциальные "революции информационных технологий" или радикальные сдвиги в производительности труда, так легко поддаются соблазну считать, что влияние ожидаемых изменений кардинальным образом изменяет лицо общества» [8. С. 372].

Ф. Уэбстер, по мнению автора статьи, несмотря на свое исследовательское «одиочество» в оценке определения современной стадии общественного развития как информационной, продемонстрировал очень важную вещь. Она заключается в том, что иногда очевидность каких-либо социальных трансформаций отвлекает внимание исследователей от сути этих трансформаций, от их генезиса. Как мне представляется, со смарт-обществом сегодня происходит нечто схожее.

Если обратиться к различным многочисленным зарубежным исследователям, изучающим влияние смарт-технологий на развитие общества, то мы можем обнаружить похожую тенденцию, описанную выше Ф. Уэбстером. Тенденцию установления зависимости технологических трансформаций и социальных изменений. Но насколько эти тенденции взаимообусловлены, до сих пор ясного понимания нет.

Возьмем, к примеру, понимание того, что такое смарт-общество, каков его генезис. В частности, обратимся к монографии «Коллективный социальный разум: интеграция усилий людей и машины для создания более умного общества» (2014). Описание этими авторами вопроса происхождения и становления смарт-общества осуществляется в духе влияния технологического развития на социальное. М. Харствуд, Б. Гримпл, М. Джиротка, С. Андерсон пишут: «"Смарт-общество" – термин, обозначаемый одноименным финансируемым ЕС интеграционным проектом (ИС), цель которого состоит в том, чтобы понять, как современные техно-социальные тенденции могут быть задействованы в решении проблем, связанных с современным обществом. "Смарт" является отсылкой на потенциальные возможности инновационных, социальных и мобильных технологий, которые по-разному предусматриваются для создания более продуктивных взаимосвязей между растущим спросом и ограниченными ресурсами во многих секторах и областях применения... "Смарт-общество" отчасти вдохновлено идеей "смарт-города", многогранной концепции, которая признает выгоды городской жизни, но также и напряжения, которые развиваются в рамках инфраструктур и ресурсов, которые в настоящее время увеличиваются» [9. С. 3–4].

Как видно из приведенной цитаты, действительно смарт-общество в первую очередь связывается со смарт-технологиями, с ожиданием того, что возможности новых технологий повлияют на социальные процессы. Эти ожидания достаточно сильны, особенно у отечественных соавторов (чи высказывания мы приводили выше). Но также они сильны и у ряда зарубежных исследователей. Следует при этом заметить, что влияние смарт-технологий на социальные процессы и феномены рассматривается пока через достаточно прямое воздействие, проявляющееся в добавлении соответствующей приставки «смарт» к рассматриваемым социальным формам. Город – смарт-

город, дом – смарт-дом, управление – смарт-управление, образование – смарт-образование, жизнь – смарт-жизнь, человек – смарт-человек и т.д.

От такого добавления меняются только количественные параметры, что касается качественных изменений, то говорить про это сложно, поскольку вопреки известному диалектическому закону, как полагает автор, количественные изменения не ведут напрямую к качественным трансформациям. Что, как правило, имеют в виду, когда говорят, к примеру, о смарт-управлении и смарт-жизни. Обратимся к статье Р. Lombardi, S. Giordano, H. Farouh, W. Yousef, где рассматриваются определения различных социальных феноменов и процессов с приставкой «смарт». Смарт-управление – это количество университетов и научно-исследовательских центров в городе, онлайн доступность электронного правительства, процент домохозяйств, имеющих доступ к Интернету в домашних условиях, использование физическими лицами услуг электронного правительства и т.д. [10]. Смарт-жизнь – это доля площадей для занятий спортом и отдыха, количество публичных библиотек, совокупность книжных кредитов и других источников информации, посещаемость музеев, посещаемость театров и кинотеатров [10]. Данные определения показывают, что под приставкой «смарт» авторы пытаются продемонстрировать количественные параметры востребованности смарт-технологий в управлении и жизни. Опускается момент изменения социальной составляющей управления и жизни в такого рода понимании.

Если попытаться проанализировать эти изменения на основе концепции прогресса (социального прогресса), которые были приведены выше, то тогда есть шанс получить более полную оценку происходящих трансформаций, поскольку автоматически автор будет использовать философский анализ. Во-первых, потому что концепции прогресса (социального прогресса) носят исключительно философский характер, во-вторых, их применение позволит придать рассматриваемому вопросу существенное критериальное основание.

Сразу же нужно уточнить, что не все из указанных концепций прогресса подойдут для оценки роли смарт-технологий. Концепция Р. Нисбета вряд ли позволит нам такую оценку произвести, поскольку генезис прогресса Р. Нисбет связывает с религиозными корнями, а не с технологическим развитием, что не очень позволяет рассмотреть влияние технологических процессов на социальные.

Концепция К.Х. Момджяна также будет выступать не лучшим критериальным основанием, поскольку для технологического и социального направлений прогресса у данного автора используются два различных понимания прогресса, не совпадающих по смыслу.

Получается, что наиболее удобной для проведения необходимой оценки будет концепция П. Штомпки. Можно выбрать три ключевых критерия концепции этого автора для оценки влияния смарт-технологий на прогресс (социальный прогресс), для понимания того, является ли развитие смарт-технологий источником становления смарт-общества: критерий единства (эти изменения носят универсальный характер); экзистенциальные критерии (или хотя бы один/два таких критерия) – счастье, общность индивидов, свобода (негативная и позитивная), эмансипация, справедливость, равенство, изобилие, способность выбора и равные жиз-

ненные возможности и т.д.; критерий цены прогресса (во что обходится обществу становление смарт-общества). Это далеко не полный набор критериев у П. Штомпки, но формат статьи не позволяет в полной мере обозначить весь его критериальный перечень.

Критерий единства (универсальности). Смарт-технологии имеют универсальный характер и могут быть использованы в любой стране. Но далеко не каждое общество готово это делать. Допустим, в развитии смарт-городов ряд европейских стран (Нидерланды, Германия, Бельгия) продвинулся достаточно далеко, но даже там говорить о том, что смарт-города воплотили в себе весь возможный потенциал имеющихся технологий, пока не приходится. Для смарт-технологий необходимо смарт-население (смарт-люди), но какой процент необходим, чтобы смарт-люди трансформировались в смарт-общество, определить пока сложно. Иными словами, критерий единства свидетельствует об универсальности смарт-технологий и о необходимости технологической компетентности людей для их применения, но о социальных изменениях, позволяющих судить о становлении смарт-общества, ничего не говорит.

Экзистенциальные критерии. Это самые проблематичные критерии для нашего анализа, поскольку очень сложно связать смарт-технологии со свободой, равноправием, счастьем и т.д. Данное критериальное основание, являясь одним из самых важных для оценки прогресса (социального прогресса), не может быть использовано.

Критерий цены прогресса. Напрямую использовать этот критерий сложно, поскольку, с одной стороны, смарт-технологии – это достаточно затратная сфера по технологическим основаниям. Но в этом критерии важен баланс технологической и социальной цены применения смарт-технологий. Поскольку вопрос социальной цены смарт-технологий не проводится, то осуществить оценку баланса определенно также не представляется возможным. Точнее, представить можно, но в таком случае назвать происходящее прогрессом будет сложно. Когда смарт-технологии увеличивают степень безработицы, повышая производительность труда, когда они приводят к росту стоимости коммунальных услуг, повышая комфортность проживания в домах и т.д., тогда сложно однозначно дать оценку.

Таким образом, можно констатировать, что рассмотрение становления смарт-общества как прогрессивное движение, как переход на новую ступень социального развития – преждевременный шаг. Рассмотрение этого вопроса с позиции философских и социологических концепций прогресса (социального прогресса) позволяет сделать такой вывод.

Подводя итоги, можно резюмировать, что смарт-технологии – это информационные технологии междисциплинарного плана, направленные на повышение качества жизни людей (по крайней мере, не ухудшить состояние социального объекта по сравнению с предыдущим). Смарт-технологии имеют универсальный характер и могут быть применены к любому социальному объекту или процессу (смарт-образование, смарт-управление, смарт-коммуникация и т.д.). Их использование способствует технологическому развитию.

Из трех рассмотренных концепций социального прогресса (Р. Нисбет, П. Штомпка, К.Х. Момджян) наиболее подходящей для оценки роли смарт-

технологий в их влиянии на социальный прогресс является предложенная П. Штопмкой хотя и сложная, но достаточно емкая система критериев для оценки социального прогресса. Эту систему можно редуцировать к трем основным критериям: единство (универсальность) изменений, экзистенциальные параметры изменений, цена прогресса.

Использование указанных критериев применительно к оценке роли смарт-технологий, исследованию их влияния на становление смарт-общества позволяет сделать вывод, что смарт-общество – это не новый этап социального развития, не новая ступень социального прогресса, а время активного применения смарт-технологий для потребностей человека и общества. Смарт-технологии способствуют технологическому прогрессу в обществе, имеют возможность в перспективе повлиять на социальный прогресс, но на данный момент утверждать, что смарт-технологии способствуют становлению смарт-общества преждевременно, поскольку не установлено никаких аргументов в пользу подобной зависимости.

Литература

1. Tikhomirov V. Smart Education as the Main Paradigm of Development of an Information Society // Smart Digital Futures 2014. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Vol. 262: Chania, 2004. P. 624–632
2. *Время СМАРТ: от информационного общества к обществу знаний* // Электронная публикация: Портал ИТМО. 07.04.2015. URL: <https://newtonew.com/tech/smart-congress-moscow-2015> (дата обращения: 10.04.2017).
3. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Вильямс, 2003. С. 397.
4. Connoley L. What does it mean to be 'smart'? // Электронная публикация: Unwork. Changing the way we work. 21.01.2013. URL: <http://www.unwork.com/wp/2013/01/21/what-does-it-mean-to-be-smart/> (дата обращения: 10.04.2017).
5. Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 557 с.
6. Штопмка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.
7. Момдзьян К.Х. Гипотеза общественного прогресса в современной социальной теории // Вопросы философии. 2016. № 10. Электронная публикация: 11.11.2016. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1506&Itemid=52. (дата обращения: 10.04.2017).
8. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект-Пресс, 2004. 400 с.
9. Hartwood M., Grimpe B., Jiroka M., Anderson S. Towards the Ethical Governance of Smart Society // Social Collective Intelligence Combining the Powers of Humans and Machines to Build a Smarter Society. Springer International Publishing Switzerland, 2014. P. 3–30.
10. Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. Modelling the Smart City Performance // Innovation: The European Journal of Social Science Research. 2012. № 25-2. P. 137–149.

Ardashkin Igor B. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/4

SMART-SOCIETY AS A STAGE OF DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES FOR SOCIETY OR AS A NEW OF SOCIAL DEVELOPMENT (PROGRESS): TO THE PROBLEM OF THE PROBLEM

Key words: smart society, smart technologies, progress, social dynamics, social development

The article analyzes the prospects for the formation of a smart society as a stage of social progress as a result of the active application of smart technologies in social reality. The concepts of progress (R. Nisbet, P. Shtompka, K.Kh. Momdzhyan) are considered to determine the criteria for assessing the processes of social progress. Based on the derived criteria, social transformations caused by the use of smart technologies are analyzed. It is concluded that it is impossible to consider such trans-

formations as a new stage of social progress at the present stage. At the same time, it cannot be ruled out that in the future the smart society will become such a new stage.

References

1. Tikhomirov, V. (2004) Smart Education as the Main Paradigm of Development of an Information Society. In: Neves-Silva, R., Tsihrintzis, G.A., Uskov, V., Howlett, R.J. & Jain, L.C. (eds) *Smart Digital Futures 2014*. Vol. 262. Chania: [s.n.]. pp. 624–632
2. Newtonnew. (2015) *Vremya SMART: ot informatsionnogo obshchestva k obshchestvu znaniy* [Time SMART: from the information society to the knowledge society]. [Online] Available from: <https://newtonnew.com/tech/smart-congress-moscow-2015>. (Accessed: 10th April 2017).
3. Drucker, P. (2003) *Praktika menedzhmenta* [Management Practice]. Translated from English. Moscow: Vil'yams. pp. 397.
4. Connoley, L. (2013) *What does it mean to be 'smart'?* [Online] Available from: <http://www.unwork.com/wp/2013/01/21/what-does-it-mean-to-be-smart/>. (Accessed: 10th April 2017).
5. Nisbet, R. (2007) *Progress: istoriya idei* [Progress: The history of the idea]. Translated from English by Yu. Kuznetsov, Gr. Sapov. Moscow: IRISEN.
6. Shtompka, P. (1996) *Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy* [Sociology of Social Change]. Translated from English by V. Yadov. Moscow: Aspekt Press.
7. Momdzhyan, K.Kh. (2016) Gipoteza obshchestvennogo progressa v sovremennoy sotsial'noy teorii [Hypothesis of social progress in modern social theory]. *Voprosy filosofii*. № 10. [Online] Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1506&Itemid=52. (Accessed: 10th April 2017).
8. Webster, F. (2004) *Teorii informatsionnogo obshchestva* [Theories of the Information Society]. Translated from English by M.V. Arapov, N.V. Malykhina. Moscow: Aspekt-Press.
9. Hartwood, M., Grimpe, B., Jirotko, M. & Anderson, S. (2014) Towards the Ethical Governance of Smart Society. In: Miorandi, D., Maltese, V., Rovatsos, M., Nijholt, A. & Stewart, J. (eds) *Social Collective Intelligence Combining the Powers of Humans and Machines to Build a Smarter Society*. Springer International Publishing Switzerland. pp. 3–30.
10. Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H. & Yousef, W. (2012) Modelling the Smart City Performance. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*. 25-2. pp. 137–149. DOI: 10.1080/13511610.2012.660325

УДК 165.9

DOI: 10.17223/1998863X/38/5

О.В. Боровкова, А.М. Боровков

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОТЕРЯННОМ БУДУЩЕМ

Анализируются изменения представлений о будущем социально-исторического времени в рамках модернистской и постмодернистской традиции. Показано, что образ будущего как самостоятельной реальности сменяется представлениями о его «утрате» в постмодернизме. К этому приводит распространение утопий и претензий их на истинность, невозможность предсказать случайные события, парадоксы прогнозов и проектов и др. Предпринята попытка выделения основных путей «обозначения» будущего в постмодернизме.

Ключевые слова: будущее, историческая наука, время истории, модернизм, постмодернизм.

Особенностью исторической науки, ее отличием от других наук является связь со временем. Можно сказать, что оно – неперенное условие исторического познания. Поэтому изменения представлений о месте, роли, основных категориях, субъекте исторической науки в условиях перехода от традиции модернизма к постмодернизму не могли не отразиться на облике времени истории.

Прежде всего, складывавшийся на протяжении веков образ так называемого единого «всемирно-исторического», «централизованного» времени модерна, которое «задает всем культурам единый ритм функционирования и развития» [1], не нашел места в представлениях постмодернизма и был подвергнут критике. По этому поводу Ж.-Ф. Лиотар заметил, что «западный человек» переживает упадок доверия к принципу «всеобщего прогресса человечества», который доминировал в течение двух столетий [2]. Одной из причин неприятия этой идеи времени явилось то, что она задает культурное неравенство. На смену линейной перспективе, по его мнению, приходит панорама жизни, предполагающая, что различные культуры отличаются друг от друга среди прочего и различным пониманием времени, которым измеряется жизнь общества, поэтому образы времени каждой культуры не зависят друг от друга.

Необходимо заметить, что как в модернизме, так и в постмодернизме признается факт особого понимания, осмысления времени каждой культурой, но в традициях модерна это своеобразие определяется путем сравнения с единым централизованным временем, а в постмодернизме путем сравнения со временем других культур. Другими словами, модернизму свойственна субординация культур, а постмодернизму – координация, хотя идея централизованного времени уже была подорвана исследованиями представителей школы «Анналов», школы исторической антропологии.

Позиция отрицания централизованного однонаправленного исторического процесса была выражена Ж. Делезом и Ф. Гваттари путем введения понятия «ризомы». Как известно, этот термин, заимствованный из биологии, оз-

начает в переводе с французского – «корневище», представляющее собой множество побегов, развивающихся во всех направлениях [3]. Главное здесь – это отсутствие центра и неопределенность путей роста и развития «побегов», независимых друг от друга. Таково, по их мнению, историческое время.

Утрата «социальности» – это еще одна характеристика исторического времени постмодернизма. Данная тенденция наметилась еще в работах М. Хайдеггера, отождествившего Мировое время с человеческим, а Ф.Р. Анкерсмит подчеркивал, что не видит большой разницы между «персональным» и «коллективным» прошлым [4. С. 367] и модели исторического времени, соответственно, могут принадлежать индивидуальному сознанию.

Потеря временем социальности сопровождается и потерей реальности, так как понятие «историческая реальность» практически изымается из оборота, – реальность полагается недоступной для познания. История выступает как нарратив, а историческое время предстает как условная темпоральность. Время в этом случае обозначает своеобразие исторического нарратива, так как в литературном произведении применяется пространственный способ описания.

В традиции модернизма, где историческая реальность прочно занимает свое место, прошлое, настоящее и будущее социально-исторического времени предстают, в свою очередь, как отдельные реальности, существенно различающиеся по своим свойствам. Но среди них будущее – модус, вызывающий больше всего вопросов. Оно выступает в роли некоего «указателя» движения и полагается одной из реальностей, отличающейся от прошлого и настоящего своей неукорененностью, так как создается человеком в виде образов мысли.

Несмотря на его преимущественно «идеальную» природу, будущее, с точки зрения сторонников модернизма, может присутствовать в настоящем в виде замыслов, планов, проектов и прогнозов. Предполагается, что в рамках закономерного исторического процесса события будущего вполне предсказуемы и как прогнозы, так и проекты непременно реализуются. Будущее наполняется событиями, которые, не занимая места в историческом пространстве, «закрепляются» на «шкале» календарного времени. Их неспособность стать историческими фактами в полном смысле этого слова не исключает их некоторой «фактичности», базирующейся на предопределенности, заданной единым закономерным историческим процессом, в который такое будущее логично вписывается. Случайные же события, которые могут произойти, не считаются значимыми для истории.

Роль будущего в социально-историческом времени представляется весьма важной, и, хотя исследователи-модернисты оценивали и оценивают его с различных позиций, влияние будущего на другие модусы довольно велико. Это, например, отмечал советский исследователь М.А. Барг, полагая, что без будущего «история была бы необратимо ослеплена. С этой точки зрения будущее является одним из измерений настоящего» [5. С. 97]. Он имел в виду будущее, предопределенное реалиями настоящего. Известный представитель экзистенциализма К. Ясперс, учитывая «проясняющую» функцию будущего, отмечал его вариативность, а не предопределенность. Он считал, что «наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое и настоящее». «От-

каз от будущего, – продолжает он, – ведет к тому, что образ прошлого становится окончательно завершенным и, следовательно, неверным» [6. С. 155]. Образы будущего как проекция наблюдаемых тенденций и прогноз последствий, так и модели желаемого будущего «проясняют» картины прошлого, изменяют отношение к различным эпизодам прошлого, актуализируют те из них, которые по той или иной причине оставались без внимания. Без осознания будущего историческая наука представляла бы собой раз и навсегда установившееся знание, так как каждое поколение могло бы опираться лишь на знания о прошлом, не имея собственного взгляда, т.е. взгляда из желаемого, проектируемого будущего.

В свою очередь, настоящее и даже прошлое, как полагается в модернистской традиции (как классического, так и неклассического периода), также влияют на будущее. Можно предположить, что его осознание было связано с обретением человеком ретроспективы, что позволило ему понять, что жизнь состоит из изменений, что любое событие приводит к последствиям. Осмысление роли своей деятельности, с помощью которой можно изменять события, привело к появлению прогнозирования и проектирования.

Прогноз может исходить, во-первых, из ситуации, сложившейся в обществе, но не исключать того, что она изменится. В этом случае прогноз предполагает различные варианты, является некоторой, но не единственной возможностью. Во-вторых, может основываться на закономерном порядке вещей. В этом случае будущее прогнозируется в общих чертах: прогноз основывается на представлениях об общем направлении движения общества.

Проект отличается от прогноза, с одной стороны, тем, что предполагает активную позицию, «вмешательство» в ход событий, предпринимаемые изменения, а с другой стороны, тем, что он не представляет вариаций. Изменение предполагает создание другого проекта. Можно охарактеризовать проект как попытку создать желаемое будущее и предотвратить нежелательные события. Проект включает в себя как замысел (задуманный план действий, деятельности, намерение) [7. С. 59], так и план (заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки исполнения чего-нибудь) [7. С. 149].

Замыслы и планы относительно будущего могут корректироваться с течением времени, так как на них влияют такие факторы, как усложнение развития социальных систем, социальной жизни в целом, активность и инициатива субъекта, а также иные, неподконтрольные человеку факторы (например, природная стихия). Но все это происходит в рамках проекта.

Особым образом представляется будущее социально-исторического времени историками-исследователями. Первый аспект представления связан с процессом исследования, когда ученый погружается в изучаемую эпоху, рассматривая ее через призму свершившегося, где будущее уже было, уже заняло место в пространстве исторического прошлого. Второй аспект связан с тем, что историк – человек своего времени и не может полностью отрешиться от своих установок в настоящем, поэтому он имеет дело и с будущим «своего» настоящего, появляющимся в виде зародившегося нового и в виде возможностей, уже возникших, которые могут быть реализованы.

С точки зрения американского исследователя А. Чернус, будущее в рамках традиции модернизма полагалось реальностью, существующей в возможностях, осознаваемых субъектом истории. Категория будущего была связана с острым ощущением течения времени. Люди эпохи модерна «могли почувствовать прошлое как нечто за ними и будущее, как то, что ждало впереди» [8].

В XX в. облик будущего начинает изменяться. Это находит отражение в работе представителей некоторых возникших в то время направлений: экзистенциализма, цивилизационного подхода и др. Они выделяют, во-первых, некое «всеобщее», предопределенное будущее, являющееся фоном для проявления уникальности, индивидуальности. Предопределенное будущее связывается с невозможностью влиять на него. Во-вторых, это непрогнозируемое будущее, основанное на случае.

Показательным в связи с этим является подход М. Хайдеггера, который наряду с «мировым временем» выделил и временность, ориентированную на будущее и полагающуюся его синонимом. Будущее у него отличается от прошлого и настоящего тем, что является возможностью смерти как завершения, с одной стороны, а с другой – выступает как Ничто, как то, что еще не проявилось и поэтому неизвестно. Оно намечает направление движения системы и ее структуру. Такое будущее каждый раз постигается заново.

Также для сторонников плюралистического подхода (например, культурно-исторические типы) не предполагается, что будущее можно предсказать событийно. С точки зрения Шпенглера, Тойнби, известным может быть лишь тот факт, что каждое общество и культура пройдут стадии зарождения, расцвета и угасания.

Представители данных направлений, усомнившись в возможности влиять на будущее, перенесли свой интерес на выявление его структуры, оформления, условий и принципов его существования. Содержание будущих событий, с одной стороны, отошло на второй план, с другой – «поле» будущего (в основном отдаленного) стало наполняться утопиями и все больше терять свое значение.

«Немилость» к будущему со стороны постмодернистов обусловлена рядом обстоятельств. Одним из них является протест против утопизма, с возникновением которого во второй половине XIX – первой половине XX в. связывают появление постмодернизма. Утопии, которыми «питались» идеология и тоталитаризм, вызывают отвращение, что приводит к тому, что будущее как предмет истории стало полагаться подобием прошлого. Это нашло выражение в известной теории Ж. Делеза, где он выдвинул понятия Эона и Хроноса, выступившие двумя прочтениями времени. Эон бестелесен, он «развернулся, стал автономным, освободившись от собственной материи, ускользая в двух смыслах-направлениях сразу – в прошлое и будущее» [9. С. 93]. Прошлое и будущее здесь различаются лишь направлениями, которые не имеют значения для времени и истории. Время физических явлений – Хронос – это лишь настоящее, включающее в себя не имеющие самостоятельности прошлое и будущее.

Следующее обстоятельство неприятия будущего как самостоятельной реальности связано с представлением о фрагментированности прошлого. Как

пишет А. Чернус, «мы остались играть с кусочками» [8], т.е. с «набором» того, что не только случилось, но и того, что будет происходить в будущем. Только эти фрагменты обладают реальностью, а их расположение и интерпретация – это дело субъекта познания. Подобная позиция присутствует в работе отечественного исследователя А.В. Гулыги, который, не отрицая модификаций в будущем, полагает, что «будущее возможно только как прошлое» [10. С. 158].

Еще одним обстоятельством, мешающим принять будущее как существующее, является неспособность модернистов, или, по словам Д. Стейли, «универсальных историков», предвидеть случайность и неожиданность [11. С. 74]. Он приводит слова Х. Арендт, которая полагает, что мечта футуролога о предвидении будущего может сбыться лишь в мире, в котором никогда ничего не происходит. События же, которые, по определению, являются случаями, прерывающими обычные процессы и стандартные процедуры, не дают возможности предсказания. Предсказания будущего, являясь всего лишь проекциями настоящего времени, скорее всего, сбудутся, если люди не будут действовать и если ничего неожиданного не произойдет [11. С. 74]. То есть прогнозы, предсказания будущего допускают лишь ситуацию, когда ничего не меняется.

Как отметил А.Н. Медушевский, какой-то долей достоверности может обладать лишь краткосрочный прогноз, так как он нуждается в меньшем информационном ресурсе и может отталкиваться от текущей информационной ситуации [12. С. 11]. Долгосрочное прогнозирование предполагает гораздо большее количество информации, которое к тому же включает и ретроспективную информацию, которая не признается достоверной. Но в этом случае выявляется еще одна проблема, связанная со спецификой гуманитарных наук и исторической науки в том числе. Это проблема знания прогноза, которое само изменяет реальность. Этого, по словам Г.Г. Малинецкого, не происходит в сфере естественных наук. Знание о том, «как падает тело, брошенное под углом к горизонту» [13. С. 21], ничего не меняет в реальности.

Критике подвергается не только прогноз или предвидение. Современные зарубежные и отечественные исследователи сомневаются и в возможности проектирования в истории. С помощью проекта, в отличие от прогноза и предвидения, предпринимаются попытки преднамеренного изменения реальности. А.В. Рубцов утверждает, что проектом жестко предопределяется «будущее и движение к нему». Такой образ ведет к остановке времени, так как «в ходе строительства реальность изменяется в сторону проекта, – пишет он, – но будущее оказывается фиксированным, неподвижным. Проект забегает вперед, но, неизбежно застывая, часто оказывается позади времени, морально устаревая еще до реализации» [14. С. 40]. Проектом не учитывается многообразие событий, высокая динамика общественных процессов: он всегда тоталитарен и не предполагает плюрализма. Результатом этого может быть появление новой утопии.

Сомнения в существовании исторической реальности, изменения представлений о времени истории, которое становится временем нарратива (условно обозначаемой реальности), не могли не коснуться модусов этого времени. Прежние модусы (прошлое, настоящее, будущее) теряют свое

значение, и вместо них модусом становится сам процесс письма, определяющий логику нарратива: начало (общая ориентация), середина (постановка проблемы, ее оценка и разрешение), конец (возвращение к настоящему) [15. С. 16].

Как мы видим, будущее в историческом познании теряет значение, практически не учитывается, перестает мыслиться как самостоятельная реальность, а движение мысли происходит между прошлым и настоящим. Модусы утрачивают «равенство», настоящее поглощает как прошлое, так и будущее и становится для них «вместилищем». В этой вновь образовавшейся иерархии будущее оказывается на периферии осознания времени истории, теряя свою ценность и свою онтологическую сущность. Постмодернизм не обращен в будущее, его представители не верят в возможность его познания, не задаются вопросами о судьбах общества и не имеют проекции в будущее как в модернизме. Будущее, в лучшем случае, полагается частью настоящего.

Образ будущего как порождения современной ситуации предстает в работе А. Чернуса. Он пишет, что симулякры, занявшие место событий прошлого и будущего и являющиеся результатом удовлетворения потребностей и решения проблем современного общества, предопределили разрыв между реальным прошлым и будущим, с одной стороны, и настоящим – с другой. Разрыв вызван тем, что, во-первых, настоящее опирается на время, а прошлое, благодаря средствам массовой информации, предстает как плоскость, на которой расположены события различных эпох и совершенно не важна их последовательность во времени. В этой ситуации связь между прошлым и настоящим утрачивается. Во-вторых, трудно провести границу между событиями, происходящими в реальности, и теми, что являются результатом фантазии. Люди столько видят на экранах телевизоров, что, то, что происходит в реальности, не впечатляет, не шокирует. «Для большинства из нас эти образы катастроф являются лишь фантазиями, – пишет Айра Чернус. – Они оказываются оторванными от повседневной жизни или какой-либо исторической реальности. Так что они легко превращаются в симулякры, лишенные смысла» [8].

В-третьих, трудность отделения подлинного события от фантазии в прошлом, по словам А. Чернус, приводит к тому, что «образы будущего являются еще более нереальными» [8]. Люди, в качестве опыта предпочитают медийные образы, а жизнь представляется голливудским фильмом. «Вся эта псевдореальность убеждает нас в том, что в потоке исторического времени нет ничего важного для нас. Так что мы даже не пытаемся найти себя в контексте истории. Мы живем, как будто поток времени не очень влияет на нас. Поэтому мы почти не задумываемся о том, как мы можем изменить общество в каком-нибудь основном направлении в будущем. На самом деле мы не думаем, слишком глубоко о будущем вообще» [8].

Но в постмодернистской традиции возникает образ и другого будущего, не детерминированного ни настоящим, ни прошлым. Это будущее, как «другое», имеющее, по Э. Левинасу, иную, отличную от пространственной, внешность. Это будущее, которое «застает нас врасплох», «сваливается на нас и завладевает нами» [16. С. 77]. Х. Уайт пишет, что будущее давит на

нас, как приливная волна, или вдруг встряхивает нас, как землетрясение [17]. «Ризомность» времени истории, о которой писали Ж. Делез и Ф. Гваттари, также дает образ неопределенного будущего, так как «побеги» или потоки могут создать различные сочетания, особенно если учесть, что их множество и содержание их неизвестно [18].

Трактовка исторического времени как «не вполне» социального еще больше усложняет положение, так как поле возможностей для «удара» будущего расширяется, захватывая не только социальную сферу, но и все другие. Поэт и философ Б. Пастернак считал будущее худшей абстракцией именно потому, что оно «никогда не приходит таким, каким его ждешь» (цит. по: [19. С. 166]).

Еще один образ будущего постмодернизма – это окончание чего-либо, финал. Как пишет Ф. Джеймисон, в культуре постмодернизма «предчувствия будущего, катастрофического или спасительного, заместились ощущениями конца того или этого (конец идеологии, искусства или социального класса; "кризис" ленинизма, социальной демократии или общества всеобщего благоденствия и т.д. и т.п.)» [20]. То есть можно знать лишь то, что существующее в настоящем так или иначе завершится, и находить предпосылки этого снова же в настоящем. Какую роль играет финал? Он «освещает», придает смысл, проясняет значение событий или объектов настоящего, с его помощью, как пишет В.Н. Сыров, события приобретают облик истории, помогают прояснить значение данных объектов» [21. С. 29].

Несомненно то, что исследователи, несмотря на критику модернистских представлений о будущем, занимаются поиском методов его «обнаружения». Одним из наиболее эффективных и наиболее близким к новым представлениям полагается «метод сценария». П. Шварц, являющийся одним из первых разработчиков этого метода в бизнесе, предназначением сценарного планирования полагает не предсказание будущего, а рассмотрение перспектив манипулирования различными возможностями, которые могут возникнуть в будущем (цит. по: [11. С. 79]). Сравнивая сценарии с предсказаниями, Д. Стэйли замечает, что если предсказание является окончательным утверждением о том, каким будущее будет, то сценарии являются эвристическими заявлениями, исследующими вероятности того, что может быть [11. С. 78]. Кроме того, в отличие от прогноза или проекта, здесь признается то, что «существует не один последовательный путь в будущее, – сложность взаимодействия между социальными силами может производить различные результаты» [11. С. 79].

Завершая данные рассуждения, необходимо заметить, что будущее из содержательного, предсказуемого в общих чертах, осознаваемого как один из видов исторической реальности, превращается в тенденцию, в возможность, наделяемую свойствами непознаваемости, неотличимости от прошлого, несамостоятельности.

В рамках постмодернистского понимания истории оно предстает: 1) как подобие прошлому, представляющему собой «набор» фрагментов; 2) как краткосрочный прогноз, так как долгосрочные предполагают большое количество информации из источников, не связанных между собой (ризомность); 3) как часть настоящего, порождение современной си-

туации, относящееся «только к потребностям и проблемам современного общества», удобный заменитель, который отрезает нас от реального будущего [8]; 4) как «другое» неопределенное, непостижимое будущее, проявляющееся лишь тогда, когда «сваливается» на нас, завладевает нами; 5) как окончание чего-нибудь, проясняющий финал; 6) как сценарий, набор перспектив манипулирования различными возможностями, которые могут возникнуть в будущем.

Литература

1. Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования / отв ред. Ю.Г. Волков [Электронный ресурс]. URL: do2.gendocs.ru/docs/index-411696.html (дата обращения: 21.08.2013).
2. Лиотар Ж.-Фр. Заметка о смыслах «пост» // После времени: французские философы постсовременности // Иностранная литература. 1994. № 1. С. 54–66.
3. Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома [Электронный ресурс]. URL: vk.com/doc184482549_189854454?hash=fad6578b6e212adfe0&dl. (дата обращения: 18.10.2016).
4. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 496 с.
5. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М.: Наука, 1986. 254 с.
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Издательство политической литературы, 1991. 528 с.
7. Ожегов С. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: ModernLib.ru...ozhegov_s/tolkoviy_slovar_russkogo... (дата обращения: 27.09.2016).
8. Churnus Ira. Fredrik Jameson's interpretation of postmodernism [Электронный ресурс]. URL: spot.colorado.edu...JamesonPostmodernism.htm (дата обращения: 01.05.2016).
9. Делез Ж. Логика смысла. М.: Издат. центр «Академия», 1995.
10. Гулыга А.В. Что такое постсовременность? Вопросы философии. 1988. № 12. С. 153–159.
11. Staley D.J. A History of the future // History and Theory, Theme Issue 41 (December 2002). P. 72–89. Wesleyan University 2002 ISSN: 0018-2656 [Электронный ресурс]. URL: www.medientheorie.com/.../staley_history_of_the_future.pdf... (дата обращения: 18.10.2016).
12. Медушевский А.Н. Знание о прошлом в современной культуре (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 3–45.
13. Малинецкий Г.Г. Знание о прошлом в современной культуре (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2011. № 10. С. 3–46.
14. Рубцов А.В. Архитектоника постмодерна. Пространство // Вопросы философии. 2012. № 4. С. 34–45.
15. Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. М.: Наука, 1996.
16. Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека / пер. с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998.
17. Domanska Ewa. A conversation with Hayden White // Rethinking History. Vol. 12, No. 1. March 2008, 3–21 The Journal of Theory and Practice. Adam Mickiewicz University, Poznan. Online Publication Date: 01 March 2008 [Электронный ресурс]. URL: staff.amu.edu.pl/~ewa/Domanska,A...with_Hayden... (дата обращения: 26.10.2016).
18. Егоров Б.Ф. Категории времени в русской поэзии XIX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
19. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма // Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, Duke University Press, 1991. P. 1–54. [Электронный ресурс]. URL: refdb.ru/look/1462340.html (дата обращения: 06.02.2016).
20. Сыров В.Н. Что может сказать текст историка? // Человек – текст – эпоха: сборник научных статей и материалов. Формирование жизненной среды и менталитета / под ред. В.П. Зиновьева, Е.Е. Дутчак. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 27–53.

E-mail: o.v.borovkova@gmail.com

Borovkov Alexander M. Rubtsovsk Institute, branch of Altay State University (Rubtsovsk, Russian Federation)

E-mail: o.v.borovkova@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/5

MEMORIES OF LOST FUTURE

Key words: future, historical science, time of history, modernism, postmodernism

Seizure of the concept of "historical reality" from the circulation, denial of the image of the time of history as centralized one-way process, the loss of "social" in the postmodern tradition by them has led to the transformation of the future to the periphery of historical consciousness. The future loses its ontological essence, independence, and, in the best case, is considered as part of the present or the semblance of the past. The arguments in favor of the revision of ideas about the future were as follows: first, a protest against the utopianism that has spread in the XX century, claims to truth and is a breeding ground for the ideology and totalitarianism. Secondly, the statement that the future can only repeat the past, while the past appears only as a set of fragments. Thirdly, the inability of the modernists to foresee random and unexpected events. Fourth, the specificity of social and human sciences, including history, consists in the fact that knowledge of the future changes reality itself. Fifth, the insolency of designing: projects claim the rigid predetermination of the future and motion to it. But this rigidity leads to the moral obsolescence of the project, it throws him back and he begins to be behind time. The researchers, despite the criticism of modernist ideas about the future, do not leave attempts of its "detect", put forward various hypotheses, are searching for methods of its cognition. The Future of time of history in the framework of postmodern conception of history appears: 1. As forecast, primarily short-term, as long-term forecasting should include retrospective information, which is not recognized as valid. It involves large amount of information from sources unrelated (rhizomatous). Modern foreign and domestic researchers have questioned not only in long-term forecasting, and the ability to design in history. With the help of the project, as opposed to the forecast and prediction, attempts are being made deliberately change the reality, and even her modeling. But the project can't take into account the diversity of events, it is fixed and morally outdated even before realization and is often behind the times. 2. As a part of the present, the similarity of the past, as "know" about it can only be based on a current situation or the fragments of the past. 3. As desired future, referring only to the requirements and problems of contemporary society. Such image of the future deprives of reality, because it is a convenient substitute for a real future. 4. As "other" unknowable future, manifested only when "falls down" on us, takes hold of us. 5. As the final, which "highlights", imparts meaning, clarifies the meaning of the events or facilities of present. In this case, it is possible only know what exists in the present way or another be completed and find conditions of it again in the same present. 6. As a set of prospects of manipulation of the various possibilities that may arise in the future. Thus, the future of the historical time from meaningful, predictable in general terms is transformed into a set of features of its detection, some trends.

References

1. Lubskiy, A.V. (2005) *Al'ternativnye modeli istoricheskogo issledovaniya* [Alternative models of historical research]. [Online] Available from: do2.gendocs.ru/docs/index-411696.html. (Accessed: 21st August 2013).
2. Lyotard, J.-F. (1994) Zаметка о смысле "post". Posle vremeni: frantsuzskie filosofy postsovremennosti' [A note on the meaning of "post"]. Translated from French by A.V. Garadzha. *Inostrannaya literature*. 1. pp. 54–66.
3. Deleuze, J. & Guattari, F. (n.d.) *Rizoma* [Rhizome]. Translated from French by Ya. Svirsky. [Online] Available from: vk.com/doc184482549_189854454?hash=fad6578b6e212adfe0&dl. (Accessed: 18th October 2016).
4. Ankersmit, F.R. (2003) *Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metafory* [History and Tropology: The rise and fall of the metaphor]. Translated from English by M. Kukartsev, E. Kolomoets, V. Kataev. Moscow: Progress-Traditsiya.
5. Barg, M.A. (1986) *Kategorii i metody istoricheskoy nauki* [Categories and Methods of History]. Moscow: Nauka.
6. Jaspers, K. (1991) *Smysl i naznachenie istorii* [The Meaning and Purpose of History]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury.

7. Ozhegov, S. (2003) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [The Explanatory Dictionary of the Russian Language]. [Online] Available from: ModernLib.ru>...ozhegov_s/tolkoviy_slovar_russkogo.... (Accessed: 27th September 2016).
8. Chernus, I. (n.d.) *Fredrik Jameson's interpretation of postmodernism*. [Online] Available from: <http://spot.colorado.edu/~chernus/NewspaperColumns/LongerEssays/JamesonPostmodernism.htm>. (Accessed: 1st May 2016).
9. Deleuze, J. (1995) *Logika smysla* [The logic of sense]. Translated from French. Moscow: Akademiya.
10. Gulyga, A.V. (1988) Chto takoe postsovmennost'? [What is postmodernity?]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 153–159.
11. Staley, D.J. (2002) A History of the future. *History and Theory*. 41. pp. 72–89. [Online] Available form: http://www.medientheorie.com/doc/staley_history_of_the_future.pdf. (Accessed: 18th October 2016).
12. Medushevskiy, A.N. (2011) Znanie o proshlom v sovremennoy kul'ture (materialy "kruglogo stola") [Knowledge of the past in modern culture (materials of the Round Table)]. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 3–45.
13. Malinetskiy, G.G. (2011) Znanie o proshlom v sovremennoy kul'ture (materialy "kruglogo stola") [Knowledge of the past in modern culture (materials of the Round Table)]. *Voprosy filosofii*. 10. pp. 3–46.
14. Rubtsov, A.V. (2012) Arkhitektonika postmoderna. Prostranstvo [Architectonics of post-modern. Space]. *Voprosy filosofii*. 4. pp. 34–45.
15. Zvereva, G.I. (1996) Real'nost' i istoricheskiy narrativ: problemy samorefleksii novoy intellektual'noy istorii [Reality and historical narrative: Problems of self-reflection of a new intellectual history]. *Odissey*. 1996. pp. 11–24.
16. Levinas, E. (1998) *Vremya i Drugoy. Gumanizm drugogo cheloveka* [Time and Other. Humanism of another person]. Translated from French by A.V. Paribk. St. Petersburg: Vysshaya religiozno-filosofskaya shkola.
17. Domanska, E. (2008) A conversation with Hayden White. *Rethinking History. The Journal of Theory and Practice*. 12(1). pp. 3–21. DOI: 10.1080/13642520701838744
18. Egorov, B.F. (1974) Kategorii vremeni v russkoy poezii XIX veka [Categories of time in Russian poetry of the 19th century]. In: Egorov, B.F. (ed.) *Ritm, prostranstvo i vremya v literature i iskusstve* [Rhythm, Space and Time in Literature and Art]. Leningrad: Nauka.
19. Jameson, F. (1991) *Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press. pp. 1–54. [Online] Available from: http://flawedart.net/courses/articles/Jameson_Postmodernism__cultural_logic_late_capitalism.pdf. (Accessed: 6th February 2016).
20. Syrov, V.N. (2004) Chto mozhet skazat' tekst istorika? [What can the text of the historian say?]. In: Zinovieva, V.P. & Dutchak, E.E. (eds) *Chelovek – tekst – epokha* [Man – Text – Era]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 27–53.

УДК 1 (091); 141.32

DOI: 10.17223/1998863X/38/6

Е.Ю. Бралгин

К ИСТОРИИ ВОПРОСА О ФЕНОМЕНЕ МОЛЧАНИЯ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ. РОЛЬ МОЛЧАНИЯ В ДИАЛОГЕ

Исследуется осмысление экзистенциальной философией феномена молчания. Автор рассматривает молчание в экзистенциализме на примере концепций М. Хайдеггера, М. Бубера, Ж.-П. Сартра. Определяются этические, социальные и, главным образом, эстетические причины необходимости особого внутреннего диалога с другим в экзистенциализме, выразителем которого становится молчание.

Ключевые слова: экзистенциализм, молчание, язык, диалог, творчество.

В древних мифах молчание имело скорее негативный смысл и рассматривалось как испытание или наказание человека. Примером такого рода наказания может служить греческий миф о нимфе Эхо, которая, будучи наказанной Герой, могла произносить только окончания слов, не зная их начала, хотя голос и сохранялся, но смысл произносимого был отнят. Такая архаическая трактовка молчания как формы, опасной для мифа, отчасти передалась и монотеистическим религиям (сюда можно отнести известный библейский сюжет о вавилонской башне). Политеистическую и монотеистическую трактовку объединяет одно: страх перед непонятым, когда слово-смысл трансформируется в звук-бессмыслие. Здоровый человек с точки зрения мифологического сознания есть говорящий человек. Осмысленное слово здесь будет продолжением той цепочки мифологических взаимосвязей, на которых и базируется сам миф. Миф без своего языка невозможен, укрепление мифа начинается с укрепления языка понимания внутри границ мифологической общности. Причём данная тенденция справедлива как для архаических мифологических форм, так и для современных (язык уголовного мира, язык подростков, язык корпораций). Непонимание мифологического языка – это выход из этой системы ценностей и противоречие ей. Таким образом, бессмысленно говорящий, немой или молчащий человек – это противник мифа и бунтарь против мифологических ценностей.

Как только миф извлёк из себя другие, уже более специализированные формы познания мира, сразу же меняется отношение и к молчанию. Молчание перестаёт быть внешним агрессором для мифа, а становится не просто объектом изучения, но и способом, методом изучения себя и мира. Было понято: для изучения внешних форм нужно развить внутренние качества, а значит, обратить взгляд на себя-молчащего. Так в древнегреческой философии возникает проблема растраты идеи, мысли, сказанной в мир. Вот с этого момента мы можем сказать, что молчание становится полностью экзистенциальным. Далее это понимание углублялось в христианстве (исихазм), в буддизме (медитативная практика обесмысливания слова, превращения слова в звук) и в других религиозно-духовных практиках. Вопросы, которые

впоследствии были поставлены экзистенциализмом, во многом вытекают из этой предыстории. Заслуга философов-экзистенциалистов не в новизне поставленных вопросов, а в их остроте и принципиальности и, наверное, в особой актуальности для человека XX–XXI вв. Именно благодаря экзистенциализму было заново открыто молчание, могущее передавать информацию очень высокого уровня. Все экзистенциалисты не прошли мимо этой экзистенциально-молчаливой фазы общения, оберегающей себя от разращения формой, т.е. от неискренности, игры в разговор. О роли молчания в диалоге говорили М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель и другие представители экзистенциальной философии.

Как важный экзистенциальный феномен рассматривает молчание М. Хайдеггер. Смыслы вертятся вокруг нас, не давая нам собраться. Черда смыслов течёт рекой: перед нами это и это и это... Думая об осмыслении, мы, на самом деле, находимся в рассеянности. За потоком смыслов мы разучились слышать речь как звук. «Музыкальность» речи – это потерянный нами в нашей бесконечной рассеянности навык самособирания. Этот экзистенциальный навык нужно тренировать. Первый этап, по М. Хайдеггеру, это попытка услышать «чистый шум». «Мы никогда не слышим сначала шум и комплексы звуков, но слышим скрипящий вагон, мотоцикл, колонну на марше...». Хайдеггер пишет, что «нужно обладать очень искусной и сложной ориентацией, чтобы "слышать «чистый шум»". Также и при слушании речи другого мы сразу понимаем сказанное, точнее, мы уже заранее с этим другим возле сущего, о котором идёт речь. Даже там, где говорение неясно или речь ведётся на чужом языке, мы сразу слышим незнакомые и непонятные слова, а не чистые звуковые сочетания» [1. С. 174].

Второй этап – это молчание, когда мы получаем более глубокое саморазвёртывание экзистенции. «Тот же экзистенциальный фундамент имеет и другая разновидность речи – молчание. Тот, кто молчит в обоюдном говорении, может дать понять больше, чем тот, кто беспрерывно говорит. Напротив, пространная речь ведёт к неясности понятого. Чтобы уметь молчать, здесь-бытие должно уметь что-то сказать, то есть обладать собственной и богатой раскрытостью самого себя» [1. С. 174]. Так же как молчание здесь позволяет не просто создать уникальный диалог с другим человеком, но вместе с ним пробиться за поверхность смыслов слов к мерным глубинам языка. «Язык основывается внутри молчания. Молчание – вот самое скрытое вымеривание меры. Оно *блюдёт* меру, впервые задевая её» [1. С. 11].

Роль молчания в экзистенциальном диалоге очень хорошо описал М. Бубер. Философ выделяет два вида отношений: Я – Ты и Я – Оно. Собственно экзистенциальный диалог возникает в отношении Я – Ты. «Основное слово Я – Ты может быть сказано только всем существом. Сосредоточение и сплавление в целостное существо не может осуществиться ни через меня, ни без меня: я становлюсь Я, соотнося себя с Ты; становясь Я, я говорю Ты» [2. С. 31]. Отношение Я – Оно характеризует другое взаимоотношение: «Я основного слова Я – Оно, то есть Я, которому не предстоит телесно Ты, но, окружённое множеством "содержаний", обладает лишь прошлым и не имеет настоящего. Иными словами: в той мере, в какой человек удовлетворяется вещами, которые он узнаёт из опыта и использует, он живёт в прошлом и его

мгновение не наполнено присутствием. У него нет ничего, кроме объектов; они же пребывают в прошедшем» [2. С. 31–32]. Соответственно, отношение Я – Ты есть встреча в настоящем, а отношение Я – Оно есть отторжение от себя в предметную среду чего-то, что в силу этого отторжения есть прошлое. Отсюда «любовь есть ответственность Я за Ты» [2. С. 33], а ненависть есть переживание чего-то не целого, а отторгнутого, частичного («ненавидеть можно лишь часть существа» [2. С. 34].). Творчество в этом контексте будет встречей, и даже инстинкт творчества, проявляющийся, например, у детей, «определяется воздействием врождённого Ты» [2. С. 44]. Между этими двумя формами общения нет принципиальной границы. Одна форма может регрессировать до другой, а другая, наоборот, развиваться до первой. «Отдельное Ты должно стать Оно, когда отношение исчерпано. Отдельное Оно может через вхождение в действительность отношения стать Ты» [2. С. 48]. В силу того, что «речь не заложена в человеке, но человек пребывает в речи» [2. С. 51], любой ответ, получаемый в процессе диалогического отношения, несёт на себе опасность превращения Ты в объект. Поэтому лучшая, с точки зрения Бубера, позиция по сохранению этой встречи – молчание. «Лишь безмолвие, обращённое к Ты, лишь молчание всех языков, безмолвное ожидание в неоформленном, в неразделённом, в доязыковом слове оставляет Ты свободным, пребывает с ним в потаённости, там, где Дух не обнаруживает себя, но присутствует. Всякий ответ вплетает Ты в мир Оно. В этом – печаль человека и в этом – его величие. Ибо так среди живущих рождается знание, творчество, образ и образец» [2. С. 51]. Любой ответ – это оформление. Вне этого оформления невозможно ни познание, ни творчество. Тем не менее это оформление уже несёт на себе печаль разрушения встречи. Задача художника – уже в явившемся образе сохранить его «вопрошающее молчание» [2. С. 98].

М. Бубер рассматривает образность религиозного искусства (так же как и светского искусства) как смешение Ты и Оно. Образ также «может застыть, превращаясь в объект; но из сущности отношения, которая продолжает жить в нём, образ будет снова и снова становиться присутствием в настоящем» [2. С. 109]. И всем нам стоит почаще обращать внимание на «говорящую немоту твари» [2. С. 98], на молчаливый, но настолько насыщенный смыслом взгляд животных, находящихся рядом с нами. Нам необходимо это умение – молча общаться. «Как самое горячее словесное общение ещё не составляет разговор, так и для разговора не нужен звук, не нужен даже жест. Язык может быть лишён всех чувственных знаков и оставаться языком... Знание не нужно. Ибо там, где между людьми установилась открытость, пусть даже не в словах, прозвучало священное слово диалога» [2. С. 124–125]. М. Бубер резюмирует: «Времена, в которые явлено сущное слово, суть те, в которые возобновляется связь Я с миром; времена, когда правит действующее слово, суть те, в которые сохраняется согласие между Я и миром; времена, когда слово становится обозначающим, суть те, в которые происходит утрата действительности, отчуждение между Я и миром, становление рока – пока не наступит великое потрясение, и дыхание не замрёт во мраке, и не воцарится предуготовляющее молчание» [2. С. 111].

Однако в наиболее развёрнутой форме феномен молчания описывается Ж.-П. Сартром применительно к проблемам прозаического творчества. В частности, философ предлагает художнику попытаться утратить имя, оставить только вещи, «в которых просвечивает душа» [3. С. 11]. Задача поэта также увидеть слова как вещи, «а не как знаки». Значение слова должно превратиться в звук – стать вещью. «Значение, переданное в слове, поглощённое его звучанием... – это тоже вещь» [3. С. 13]. Есть искусства, более склонные к «вещности» (практически – «вечности»), а есть – менее. По мнению Сартра, в иерархии искусства поэзия и изобразительные искусства всегда будут выше, чем проза.

По мнению Сартра, существует принципиальное непонимание автора и его произведения, когда сам автор открывает себе своё собственное произведение в процессе чтения такового (выступает посредником для самого себя). Автор никогда не сможет стать «чистым» читателем самого себя, абстрагироваться от своего авторства. Если настоящий читатель действительно открывает моё произведение, и оно в этом чтении полноценным произведением и становится (и в этом смысле вся литература – это литература для «другого», по словам Сартра), то сам автор этого сделать не может. Над нами главенствует проблема авторства: «Читать книгу – форма, а писать книгу – содержание». Так вот принцип «иерархичности» искусства возникает у Сартра именно в ответ на эту проблему. Дело в том, что в поэзии и в изобразительном искусстве нам легче переступить эту грань нашего авторства, чем в прозе. Нам легче переживать ту идею, которая нами руководила уже художественно, формально, но при этом не теряя эту идею и не профанируя её, как в модернизме. То есть в изобразительном искусстве и в поэзии находится некий способ гармонизации формы и содержания благодаря обнаружению некой гармонии между автором-писателем и автором-читателем (зрителем). Повторим: идея, как и авторство, здесь не теряется. К этой гармонии должна стремиться и проза. Однако на деле происходит обратное – автор прозаического произведения воспринимает своё авторство только содержательно и именно поэтому только как призыв, лозунг. В этом смысле в прозе автор-писатель всегда будет выше автора-читателя, идея выше формы. Именно на этом и построена известная теория Сартра об «ангажированности» прозаической литературы. Проза устарела, она менее поэзии и изобразительного искусства подвержена разнообразным формальным инновациям, но это её удел. Парадокс: сохранившись на последних местах в иерархии искусств (отвернувшись от гармонии формы и содержания), именно проза сохранила в себе воспитательное значение. Автор прозы орёт, он груб и буквален, его крики возмущают наши эстетические чувства, тем не менее это наиболее искреннее (а значит, наиболее ценное с точки зрения воспитательных возможностей) переживание настоящего момента.

Причём автор прозы, по мнению Сартра, не теряет навыков при разговоре с читателем – замолкать, – но эта потеря разговора не есть потеря авторства как в поэзии или в изобразительном искусстве. Более того, там, где автор кричит, на самом деле он замолкает, вопль переходит в хрип, который в конечном итоге захлебывается в молчании, в невозможности разговора, когда писатель срывает голос. Именно для этой ситуации характерны сле-

дующие слова Сартра: «У читателя возникает ощущение, что он одновременно разоблачает и созидает... Читатель должен сразу и почти без проводников взобраться на высоту молчания» [3. С. 38]. Повторим, не только созидает, но и разоблачает. Именно стык этих двух процессов и обеспечивает действенность молчания, которое является следствием авторской позиции, его «ангажированности». Зритель изобразительного искусства, наоборот, только созидает, и это, по мнению философа, является признаком более высокого положения изобразительного искусства, по отношению к прозе.

Сартр подчёркивает «неосведомлённое молчание» прозаика. Он пишет: «Если молчание, которое я подразумеваю, в самом деле является целью автора, то сам он об этом не осведомлён. Его молчание исполнено субъективности и предшествует речи. Объектом следует считать именно это отсутствие слов, недифференцированное молчание, вызванное вдохновением, которое очень скоро реализуется в тексте, а вовсе не молчании читателя» [3. С. 39]. Естественно, если автор замолкает, то читатель, наоборот, начинает разговаривать.

Однако в любом случае Сартр показывает связь молчания и формы, т. е. определяет форму, поставленную на службу смыслу. Наиболее содержательный язык тот, который потерял понятность и членораздельность и превратился в набор бессвязных звуков, которые ни в коем случае нельзя понимать как бессмысленность. Эта бессвязность (форма ни к чему не отсылает, а только к самой себе, возвращаясь к себе, она отталкивает себя как форму и становится содержанием) и будет показателем сверхчёткой авторской позиции – «ангажированностью» прозаика. Возникает такая диалектика: форма должна замолкнуть, замолчать, чтобы стать полноценным смыслом и показать авторскую позицию. Именно в этой связи для Сартра становится важно понять слово как слово, слово не как смысл, закрепляемый за словом, а как продолжение крика писателя. Когда писатель кричит словами, тогда писатель молчит словами. Высшая фаза крика – это умолкание. Крик взрывает традиционно-смысловую оболочку слова, превращая его в звук. Смысл не в самом слове, а в его форме. Точнее, когда слово теряет традиционную функциональность или традиционную форму, именно тогда оно становится истинным смыслом. Сначала форму понимаем как звук, а затем звук – как молчание. О таких словах-умолканиях говорит Сартр. Именно поэтому молчание в прозе «определяется словами и получает своё значение от них...» [3. С. 23]. «В этом «истинная», «чистая» литература: субъективность, в облике объективности, так хитро построенная речь, что она аналогична молчанию» [3. С. 30]¹.

Подводя итог, нужно сказать, что в экзистенциализме было понято главное – философия как жизнь невозможна вне диалога. Именно поэтому задача экзистенциальной философии состоит в разработке философских категорий, делающих философию возможной как диалог между свободными людьми. «Диалог, который не может претендовать ни на однообразие вступающих в него людей, ни на их полную унификацию или отождествление» [4. С. 28]. По сути говоря, экзистенциальная философия – это философия диалога. Лю-

¹ Философ не случайно слово «чистая» литература ставит в кавычки. Как мы поняли из философии самого Сартра, именно проза «чистой» не бывает.

бые формы обособления в ней будут показателем бегства от своего бытия. «Движение к внутренней обособленности иллюзорно. Человек, который стремится найти убежище в цитадели собственного внутреннего мира и тем самым освободиться от мира внешнего и сообщества, является жертвой иллюзии, считая, что он в состоянии обладать самим собой прежде, чем быть самим собой» [4. С. 45].

Молчание и обособление – это совершенно разные явления. Молчание – это форма предельного внутреннего диалога, а обособление и сознательное отчуждение от реальности в «своём мире» – это нежелание общения. «Поиск себя, ответственное решение столь мало является замыканием Я в самом себе, что его можно определить как поиск других в их инаковости. Я могу понять самого себя, только понимая других. Человек нуждается в помощи другого человека не столько для того, чтобы сохранить свою телесную жизнь, сколько для того, чтобы быть действительно самим собой» [4. С. 52–53]. Необходимо не внешний, а внутренний диалог. А молчание и стало показателем этого внутреннего общения. Совершенно неправильно понимать молчание как уход от диалога или нежелание такового. Наоборот, молчание будет показателем предельности, чистоты экзистенциального общения. В таком молчащем общении исключён момент идеализации своего диалогического оппонента (мы явно понимаем и его, и свои слабые стороны), исключён момент унификации (мы явно сознаём, что не похожи с ним, и поэтому к нему стремимся). В молчаливом диалоге нет проявлений неискренности (заискивающей лести, фальши и т.п.), коллективной, профессиональной солидарности и всех других уже внешних форм общения.

Все мы недостаточно открыты для диалога даже со своими близкими людьми. То, что мы боимся молчания, подтверждает это. Нам бы как можно быстрее прервать неловкую паузу, заполнить её поверхностными фразами. Мы боимся брать на себя ответственность молчания. Тем не менее экзистенциальная позиция показывает, что недооценить роль молчания в таком проникновенном диалоге невозможно. Молчание ко многому обязывает, но оно многое и даёт взамен. То, что мы корим себя, не воспользовавшись в какой-то момент жизни возможностями, открываемыми молчанием, доказывает, что в каждом из нас сохранилась тоска по такой наиболее проникновенной форме общения с другим человеком – тоска по молчанию.

Литература

1. Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический Проект, 2008. 528 с.
2. Бубер М. Два образа веры. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. 592 с. (Классическая философская мысль)
3. Сартр Ж.-П. Что такое литература? Слова / пер. с фр. М.В. Драко. Мн.: Попурри, 1999. 448 с.
4. Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм / пер. с ит., ком. и имен. указ. А.Л. Зорина. СПб.: Алетейя, 1998. 423 с.

Bralgin Yegor U. Altai state humanitarian-pedagogical University named after V. M. Shukshin (Biysk, Russian Federation)

E-mail: egor-bralgin@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/6

ON THE QUESTION OF THE PHENOMENON OF SILENCE IN EXISTENTIALISM. THE ROLE OF DIALOGUE

Key words: *existentialism, silence, language, dialogue, creativity*

The author locates the phenomenon of silence in the context of existential philosophy. The author interprets silence in existentialism using the theories by M. Heidegger, M. Buber, J.-P. Sartre. The article dwells upon ethic, social and mainly aesthetic reasons for the necessity of a special inner interpersonal dialogue in existentialism, with silence being the indication of such a dialogue. M. Heidegger describes silence as an important existential phenomenon. There is a chain of senses around us that are clear and inherently explained. Thinking about understanding we, in fact, are in the state of distraction. We are out of practice in hearing the speech as a sound, interpreting it as music behind the stream of senses. Speech melodiousness is our lost skill of discovering the world as new and secret. The given musical skill should be reactivated. According to M. Heidegger, the first step is to hear "pure noise". The second step is to find silence when we get a deeper understanding of existence – we do not merely hear the silence of the world, but interpret it as some dialogical opponent. The role of silence in the existential dialogue is described by M. Buber. The author differentiates between two types of relations: I – You and I – It. The existential dialogue arises in I – You type. In Buber's opinion, the best way in keeping the intimacy of I – You meeting is silence. J.-P. Sartre dwells upon silence in terms of prosaic creativity. J.-P. Sartre points out the prosist's "unaware silence". The philosopher puts forward the following dialectics: the form must become silent in order to get the full sense and to reveal the author's view. In this connection it is important for Sartre to understand the word not as the representation of sense but as the author's mouthpiece. When a writer screams using words he becomes silent. The highest note of the scream is silence. It is wrong to interpret silence as dialogue avoidance and reluctance to have it. On the contrary, silence will be the marker of irreducibility, purity of existential intercourse. In such a silent intercourse there is no possibility for a dialogue opponent to be idealized because we apparently realize his weak points as well as ours. The point of unification is excluded because we are well aware of the fact that we are different and that is why we tend to get in touch with our opponent as someone who is different from us. There is no sign of insincerity and flattery in the silent dialogue, no collective professional solidarity and any other external form of communication.

References

1. Heidegger, M. (2008) *Istok khudozhestvennogo tvoreniya* [The Source of Artistic Creation]. Translated from German by A.V. Mikhaylov. Moscow: Akademicheskii Proekt.
2. Buber, M. (1999) *Dva obraza very* [Two Images of Faith]. Moscow: AST.
3. Sartre, J.-P. (1999) *Chto takoe literatura? Slova* [What is literature? Words]. Translated from French by M.V. Drako. Minsk: Popurri.
4. Abbaniano, N. (1998) *Struktura ekzistentsii. Vvedenie v ekzistentsializm. Pozitivnyy ekzistentsializm* [The structure of existence. Introduction to existentialism. Positive Existentialism]. Translated from Italian by A.L. Zorin. St. Petersburg: Aleteyya.

УДК 115:316.4.06
DOI: 10.17223/1998863X/38/7

О.В. Головашина

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В УСЛОВИЯХ «ВРЕМЕНИ МЕБИУСА»¹

Рассматривается, можно ли в условиях информационного общества прийти к унификации контента, необходимого для формирования устойчивых образов прошлого. Конкуренция интерпретаций ставит перед государством новые задачи, но разрыв между «горизонтом ожиданий» и «пространством опыта» (Р. Козеллек) приводит к тому, что политика памяти оказывается не целенаправленным процессом, а ситуативной реакцией.

Ключевые слова: политика памяти, социальная память, Козеллек, релятивистский хронотоп.

Постановка проблемы

Если термин «политика памяти» стал популярным в научном дискурсе относительно недавно, то «целенаправленная деятельность по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в современном политическом контексте, посредством различных вербальных и визуальных практик» [1. С. 5–6] существовала практически с тех времен, как появилась возможность говорить о политическом контексте и способности на него влиять. Константинов Дар позволил Церкви легитимировать свои претензии на власть в Европе, а об Эхнатоне забыли на столетия, в течение которых власть жрецов находилась в относительной безопасности. В XIX в. рост амбиций национальных государств создал новый заказ на управление прошлым, который только усиливался с годами, особенно когда уже в XX в. на мировой карте появились новые государства с уже привычными амбициями. Чем более известным казалось прошлое, тем более ценным ресурсом в борьбе за власть над умами оно становилось; история вместо науки была объявлена политикой, опрокинутой в прошлое (М.Н. Покровский), которую все чаще используют не для расширения границ познанного, а усиления собственной значимости и оправдания претензий (географических, политических и т.д.). Однако только сейчас исследователи говорят о политике памяти как об определенном процессе, вольные интерпретации событий прошлого в котором имеют далеко не самое большое значение. В данной работе будет проанализировано, почему политика памяти стала возможна именно сейчас и в чем особенности современного этапа использования образа прошлого в качестве ресурса для реализации амбиций большинства сообществ.

Время Мебиуса

Мы живем во времени Мебиуса. «Событие должно иметь одну и ту же модальность как в будущем, так и в прошлом, в соответствии с которой оно

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, гранты № 15-33-01003 и № 16-33-01019

дробит свое настоящее до бесконечности» [2. С. 56]. С одной стороны, никогда раньше мир не был настолько коммеморативным: сейчас мы сохраняем память не только о свадьбе или рождении детей, но и приготовленный по свежему рецепту торт, новый макияж или посещение соседнего двора с относительно знакомыми людьми делаем значимым для настоящего с надеждой на память об этом в будущем. Но, с другой стороны, память не имеет смысла в мире без прошлого. Момент ценен не как Событие, разделяющее жизнь на до- и после-, а в качестве констатации существующей здесь-и-сейчас сети взаимодействий, поэтому он не может обладать протяженностью. У него нет начала и продолжения, и «до» и «после» оказываются присутствующими в моменте без развития. Привычная поколениям линейность ушла из-за «недоверия к метанарративам» (Ж.Ф. Лиотар), структурирующим социальную темпоральность. Когда религия, светлое будущее, второе пришествие Христа или коммунизм становятся только дискурсивными практиками, время оборачивается моментом между моментами, в каждом из которых объявленные ранее модусами прошлое, настоящее и будущее настолько перетекают друг в друга, что их различие и различение зависят исключительно от ситуативных действий акторов. В этих условиях вместо последовательности истории приходят разрывы (*historical gaps*. – Х. Аренд), происходит потеря «единства исторического времени, красивой прямой линии, соединявшей прошлое с настоящим и будущим... представление, которое любая нация, группа, семья имела о своем будущем, диктовало ей, что она должна удерживать из прошлого, чтобы подготовить это будущее; именно в этом заключался смысл настоящего, бывшего лишь связующей нитью» [3]. Любой проект объявлен нарративом, а значит, требующим деконструкции. Ценно только событие. Событийность – основа современной нелинейности, которая является следствием имманентной нестабильности среды. Прошлое теряет присущую ему в рамках линейной модели времени онтологичность. Поэтому стоит говорить не об отдельных случаях фальсификации прошлого или спорных интерпретациях исторического факта, а о политике памяти как явлении, которое стало возможно именно сейчас.

Таким образом, политика памяти имеет отношение не к прошлому, а к настоящему. То есть в исследуемом явлении политика важнее, чем память. Используя образ прошлого в качестве ресурса, акторы говорят не о том, какими были события, факты, а как их должны видеть сейчас и что это значит в современных условиях. Не важно, идет ли речь о другой интерпретации или подтасовке фактов, прошлое – не то, что может дать сдачи. Но конфликт возможен в настоящем, если тот или иной образ прошлого идет вразрез со сложившейся системой представлений. Если память всегда связана с конкретными телами [4. Р. 110], то политика памяти отделяет образы прошлого от тела. Опуская многочисленные споры об историческом факте, возможности реконструкции прошлого по достоверным источникам с использованием не менее достоверного метода, мы должны понимать, что, говоря о политике памяти, мы имеем в виду только «сейчас», изменения в котором могут повлиять на будущее.

Парадигма Нового времени утвердила представление о том, что любая репрезентация всегда менее значима, чем то, что она представляет. Отсюда

было недалеко до определенного отделения репрезентации от своего источника, что и постулировал так называемый постмодерн. В современном мире репрезентация существует сама по себе как симулякры третьего порядка Ж. Бодрийара, а значит, потеряв основу, она могут развиваться вне каких-либо законов, связанных с тем, что прежде называлось реальностью. «Чистое, неограниченное становление представляет собой материал для симулякров, поскольку оно уклоняется от действия Идеи, оспаривает одновременно и модель, и копию» [2. С. 23.]. Копия, потерявшая в ризомности времени представление об оригинале, становится симулякром, а в условиях времени Мебиуса только так можно мыслить события прошлого.

Прошлое как ресурс после печатного капитализма

Событием, которое, безусловно, способствовало росту использования прошлого в качестве ресурса, стало развитие «печатного капитализма». «Воображаемые сообщества» появились благодаря тому, что оказалось возможным воображать общее прошлое, на его основе представлять общее будущее и культивировать, таким образом, солидарность. Изначально стихийный, как отметил Б. Андерсон, в дальнейшем печатный капитализм стал одним из сильнейших орудий власти, ресурсом для сплочения сообщества и его стандартизации: «Соединение капитализма и техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого языка сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для современной нации. Потенциальная протяженность этих сообществ была неизбежно ограниченной и в то же время имела не более чем случайную связь с существующими политическими границами (которые, в общем и целом, были предельными достижениями династических экспансионизмов)» [5. С. 68–69].

Самое главное преимущество печатного капитализма перед современными технологиями формирования «воображаемого сообщества» – это унификация контента для всех возможных читателей. С известной степенью вероятности, пропорциональной количеству изданий, можно было предсказать, что будут знать члены сообщества, и, с опорой на это, строить дальнейшую работу по формированию того, что позволяло воображать относительное единство группы. Печатные издания и их распространение становятся, таким образом, одним из важных акторов официального национализма. В современном информационном пространстве подобная стратегия, в том числе и по отношению к образам прошлого, не будет успешна. Конечно, у власти остались учебники и официальные каналы, однако люди используют Интернет и кабельное телевидение, и нельзя быть уверенным, что воображать себя частью государства как единого сообщества имеет больше оснований, чем, например, клуба любителей покеру. Сообщества появляются и исчезают быстрее, чем можно запомнить слова, которыми они обозначаются.

Вместо печатного капитализма пришли электронные сети, интенсивное развитие которых не позволяет контролировать информацию, которую получает ее потребитель. Рост данных идет в геометрической прогрессии, количество разнообразных изданий вообще не поддается подсчету [6]. Дефицитом является не информация, а внимание потребителя. В этих условиях

прошлое оказывается товаром, нуждающимся в продвижении и рекламе. При наличии конфликтующих (скорее, конкурирующих) интерпретаций какого-либо образа прошлого, приоритет остается за той, которая будет доступнее и/или интереснее, и дело тут не в количестве приведенных достоверных источников. Тиражи многочисленных книг под авторством А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского растут, интернет-сообщества, посвященные раскрытию «тайн истории», имеют больше подписчиков, чем клубы профессионалов с занудными многостраничными комментариями. У сообществ свои «узелки на память» [7. Р. 243], и учебник истории, в особенности при нарушении современных механизмов трансляции опыта предыдущих поколений и практически полной потери авторитета школы, не выдерживает конкуренции с ними.

Конкуренция интерпретаций в «релятивистском хронотопе»

В современных «битвах памяти» участвует слишком много акторов. В отличие от, например, средневековых коммеморативных практик или формирования национальной идентичности при помощи исторического нарратива, сейчас ресурс прошлого используют продавцы лимонада в зеленых бутылках и «советского мороженого», пиар-менеджеры крупных и не очень компаний, специалисты по корпоративной этике, продюсеры очередных блокбастеров, протестантские проповедники, РПЦ и, в общем, все кому не лень. Ресурс доступен каждому и ничего не стоит, кроме идентификационных рисков, но для их осмысления нужно что-то большее, чем решение ситуативных задач, но именно этого в условиях дефицита внимания потребителей нет. В отличие от печатных изданий Нового времени, современный потребитель информации может вмешиваться в контент и частично создавать его таким образом. Чем больше потребителей (а их становится больше с каждым днем), тем более непредсказуемым оказывается контент и тем больше снижается возможность его управления.

Дело не только в появлении новых вещей, а в том, что эти появившиеся вещи изменили мир больше, чем нам кажется. Возможность писать тексты от руки соответствовала скорости мышления человека. Конечно, можно сказать, что я закрою ноутбук, если мне нужно обдумать свою мысль (и наверняка многие так делают), но зачастую гонка за моментами, вызывающая перманентный дефицит времени, заставит, скорее, писать не думая, чем думать больше, чем писать. Исследователь современных медиа Лев Манович обращает внимание на то, как логика компьютерной программы меняет не только способ передачи сообщения, но и его содержание, и в итоге не может не оказывать влияние на стиль мышления человека [8]. Сейчас потребитель информации легко может стать ее источником, придумать («скреативить») что-то новое, пусть и из уже имеющихся частей-пазлов, но он перестает быть «человеком понимающим» (М. Хайдеггер). Поэтому конструируемые образы прошлого требуют не осмысления, а восприятия и участия, как правило эмоционального, так как сильная эмоциональная реакция – один из наиболее эффективных способов привлечь внимание в условиях его дефицита. В свою очередь, потребитель, воспринимая информацию, начинает ее транслировать

дальше, если, конечно, она показалась ему достаточно занимательной для этого, и до тех пор, пока новая информация не привлечет его внимание.

Французский философ П. Вилирио считает, что основной характеристикой современного пространства и времени является «релятивистский хроно-топ». Огромное количество «теперь» больше не образуют процесс, длительность. А этих условиях «невозможно додумать до конца ни одной мысли. Глубокие размышления постоянно прерываются новыми фрагментарными сведениями, в результате мысль дробится, прерывается и вытесняется все, что осталось в наследство от прошлого, что может показаться слишком объемным и тяжеловесным» [6. С. 5].

Между «пространством опыта» и «горизонтом ожиданий»

Все вышесказанное приводит к появлению еще одной отличительной черты современного человека. Райнхарт Козеллек доказал, что «нет такой истории, которая бы не конституировалась посредством опыта и ожиданий действующих и переживающих людей» [9. С. 151], «причем это происходит посредством обнаружения и установления внутренней взаимосвязи прошлого и будущего вчера, сегодня или завтра» [9. С. 153]. Веками опыт одних поколений становился частью опыта следующих через институты трансляции, этот опыт влияет (может быть, даже определяет) ожидания от будущего. Козеллек писал про историю, однако его осмысление категорий «горизонт возможностей» и «пространство опыта» позволяет раскрыть некоторые аспекты политики памяти, которые не были проявлены в попытках управления представлением о прошлом раньше.

Пространство опыта складывается из опыта предков, собственного опыта, тех ожиданий, которые определили ранее полученный опыт. От всего этого зависят наши ожидания. Эта схема выступает у Козеллека своеобразным структурированием времени, где опыт и ожидания необходимы для восприятия прошлого и будущего соответственно, а настоящее находится где-то между ними. При этом схема могла носить линейный характер в традиционных обществах, когда ожидания соответствовали опыту, а если происходило что-то другое, то воспринималась как катастрофа, крах. Другие изменения, несомненно, возможные в мире, определяемом традицией, происходили настолько медленно, что опыт поколений мог адаптировать их под себя. Если ожидания осуществляются, нового опыта нет, поэтому раньше, когда мир казался более предсказуемым и катастрофы угрожали физическому существованию человека, но не его бытию, пространство опыта было меньше, чем сейчас, потому что осуществленные ожидания не приводили к появлению нового опыта.

Сейчас, когда «пространство возможностей» обернулось «пространством рисков», каждый новый шаг может принести новый опыт, и ожидания, следовательно, оказываются все более бесполезными. Человек тонет в деталях опыта и теряет перспективу. Козеллек называет конец света и прогресс горизонтами ожидания для своих эпох, но что бы мы сейчас могли бы называть им? Опыт подсказывает, что случиться может все, что угодно (в том числе и ничего), что предсказания подходят разве только для юмористических пабликов в социальных сетях или для коллекции курьезов. Благодаря ин-

формационному шуму вокруг опыт не ограничивается традиционными институтами трансляции. Теперь в нашем распоряжении не только опыт родителей, предков, но и бесчисленные анонимные пользователи, общение с которыми позволяет нам воспринять тот опыт, который был недоступен или невозможен, и – вполне возможно – не очень нам и нужен. Даже собственная смерть благодаря массовой культуре, десакрализации всего, до чего могли дотянуться мозги интеллектуалов, перестала быть частью горизонта ожидания. Человек не может знать, что с ним будет в ближайшие несколько часов, а те ожидания, которые, безусловно, еще остались, благодаря имеющемуся у него пространству опыта оказываются неотличимы от грез Манилова.

Сама по себе метафора пространства, которую Козеллек употребил, говоря об опыте, также раскрывает ту трансформацию, которую приходится учитывать при работе с образами прошлого сейчас. То есть мы имеем дело не как с каким-либо местом, наподобие комнаты, где живет опыт, а с мозаичностью «мест памяти» (П. Нора), «спутанных клубков воспоминаний» [10. Р. 11] и т.д. В условиях постоянно увеличивающегося бэкграунда и уменьшающихся ожиданий, к которым уже сложно применить термин «горизонт», политика памяти выступает как ситуативная акция, а не целенаправленный процесс. Решения принимаются в настоящем, в попытке воздействовать на момент, а не на будущее, тем более – на прошлое.

Выводы

Российское прошлое – это не пара столетий американского. Можно одновременно акцентировать положительные черты брежневской стабильности, надеясь на живую память свидетелей и известный принцип «тогда девки моложе были», можно и статую Владимира Святого поставить, а с ним уже столько смыслов связано, что контролировать это нет возможности, потому что будут другие ситуации с другими задачами. В бесконечном бэкграунде можно найти, например, необходимые для преодоления смутных времен символы единения народа, однако на деле это ситуативное решение оборачивается активизацией националистических тенденций, и «Русский марш» не способствует народному единству 4 ноября. Очередной мемориальный закон и его пропаганда пробуждают не только те смыслы, которые предполагает власть, ну и другие, находящиеся в пространстве опыта.

Говоря о большом опыте, нельзя отождествлять этот опыт с памятью. Опыт – это не воспоминания, а основа габитуса как «присутствие прошлого в настоящем, которое делает возможным присутствие настоящего в будущем» [11], режим историчности, «который определяет наши способы проговаривать и проживать свое собственное время. Режим историчности открывает и определяет пространство деятельности и мысли» [12]. Дело в смыслах, рождающихся или конструируемых из ситуативного взаимодействия акторов, того прошлого, которое в них содержится и которое может стать активным в рамках той или иной сети. Или не стать. Проблема в том, что акторов слишком много для того, чтобы, например, государство, до сих пор претендующее на определенную власть над умами, могло ими управлять. В хаосе акторов, связанных, в свою очередь, с экономикой, техникой, локальными или глобальными сообществами и т.д., государство в опреде-

ленный момент времени оказывается не более значимым, чем автор популярного канала на youtube.

Литература

1. Аникин Д.А. Политика памяти в современном российском обществе: урбанистический аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2011. Т. 11, № 1. С. 3–7.
2. Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с.
3. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 / URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html> (дата обращения: 1.07.16).
4. Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford University Press, 2003. 192 p.
5. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле, 2001. 288 с.
6. Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. М.: Весь мир, 2003. 202 с.
7. Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000. 301 p.
8. Manovich L. Software Takes Command. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 376 p.
9. Козеллек Р. «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» – две исторические категории // Социология власти. 2016. № 2. С. 149–173.
10. Sturken M. Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering. Berkley: University of California Press, 1997. 358 p.
11. Bourdieu P. Pascalian Meditations. Stanford University Press, 2000. 256 p.
12. Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 59 (3). С. 19–38.

Golovashina Oksana V. Tambov State University named G. R. Derzhavin (Tambov, Russian Federation)

E-mail: ovgolovasina@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/7

POLITICS OF MEMORY IN A "TIME MOBIUS"

Key words: *politics of memory, social memory, Koselleck, relativistic chronotope*

The article is devoted to the analysis and understanding of features of contemporary politics of memory. In particular, and successful, attempts to influence the political situation, using the resource of the past, existed quite a long time. But in "a mistrust of the grand narratives" (J. F. Lyotard), the structuring of social temporality, past, present and future flow into each other, creating a "time Mobius". The past is not considered as an ontological category, therefore, the contemporary politics of memory is related not to the past but to the present. Images of the past become simulacra of the third order (J. Baudrillard), and the past is perceived by actors as a resource that you can use to realize their ambitions. Print capitalism (B. Anderson) was allowed to broadcast uniform content that was required for the formation of the "imagined community". In the contemporary information space the official institutions of broadcast experience of previous generations not compete with new media. In these circumstances, the past is a product that needs promotion and advertising, and the state does not define a strategy for dealing with the past, and is forced to play by mature rules. In the presence of competing interpretations of any of the images of the past, the priority remains for the one that will be more accessible and/or more interesting, so the user can "imagine" themselves part of different communities, and civic identity will not act as a main. Things are changing our world more than it seems at first glance. Modern media have influenced the style of human thinking (L. Manovich), so the modern consumer of information easily become a source, but it ceases to be a "man of understanding" (M. Heidegger). "Relativistic chronotope" (P. Valerio) changes the relationship between the "horizon of expectations" and "space of experience" (R. Koselleck). Thanks to the information noise around, the experience is not limited to the traditional institutions of the broadcast. In the ever-increasing background and decreasing expectations, which is difficult to use the term "horizon", the politics of memory acts as a situational action and not a purposeful process. The state cannot compete with other actors using the resource of the past to achieve their goals.

References

1. Anikin, D.A. (2011) *Politika pamyati v sovremennom rossiyskom obshchestve: urbanisticheskiy aspekt* [The politics of memory in modern Russian society: The urban aspect]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*. 11(1). pp. 3–7.
2. Deleuze, J. (1998) *Logika smysla* [The logic of sense]. Translated from French. Moscow: Raritet; Ekaterinburg: Delovaya kniga.
3. Nora, P. (2005) *Vsemirnoe torzhestvo pamyati* [World Memory Celebration]. *Neprikosnovenny zapas*. 2–3. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html>. (Accessed: 1st July 2016).
4. Huyssen, A. (2003) *Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory*. Stanford University Press.
5. Anderson, B. (2001) *Voobrazhaemye soobshchestva* [Imaginary communities]. Moscow: Kuchkovo pole.
6. Eriksen, T.H. (2003) *Tiraniya momenta. Vremya v epokhu informatsii* [The tyranny of the moment. Time in the Information Age]. Translated from English. Moscow: Ves' mir.
7. Chakrabarty, D. (2000) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press.
8. Manovich, L. (2013) *Software Takes Command*. New York: Bloomsbury Academic.
9. Kozelleck, R. (2016) *Space of Experience, Horizon of Expectation. Two Historical Cathedrales* (Translated from German by Anton Kotov). *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power*. 2. pp. 149–173. (In Russian).
10. Sturken, M. (1997) *Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering*. Berkley: University of California Press.
11. Bourdieu, P. (2000) *Pascalian Meditations*. Stanford University Press.
12. Artog, F. (2008) *Poryadok vremeni, rezhimy istorichnosti* [The order of time, modes of historicity]. *Neprikosnovenny zapas*. 59(3). pp. 19–38.

УДК 316.322

DOI: 10.17223/1998863X/38/8

Ю.В. Грицков, Д.В. Львов

АРХЕТИП КОРПОРАТИВНОСТИ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Предпринята попытка выявить архетипические детерминанты глобализационного процесса. Исследуются особенности работы программ архетипа корпоративности в современном «западном глобализационном проекте».

Ключевые слова: глобализация, архетип корпоративности, Самость, двойные стандарты, социальные инстинкты.

Я постоянно говорю о том, что за нашей психологией тянется длинный ископаемый хвост, а именно: вся история нашей семьи, нашей нации, Европы и мира в целом... и никогда не следует забывать о том, что мы несём на себе всю тяжесть человеческого бытия – не больше и не меньше.

К.-Г. Юнг

Логику современного глобализационного процесса принято осмысливать в геоэкономической парадигме. При этом в качестве главных глобализационных детерминант рассматриваются закономерности функционирования мирового рынка, интересы международного капитала и деятельность транснациональных корпораций. Исследование механизмов коллективного бессознательного в рамках данной парадигмы не выглядит слишком актуальным, поскольку мировой рынок с его закономерностями сформировался *относительно недавно*, а архетипы по определению суть оформившиеся *в далёком прошлом* феномены социальной реальности. Однако было бы странно предположить, что эти прошедшие многовековой эволюционный отбор и глубоко укоренённые в общественном бытии структуры коллективного бессознательного никак не участвуют в глобализационном процессе. Ведь эти структуры закрепились в коллективном бессознательном именно потому, что оказались наиболее успешными «инвариантами» урегулирования постоянно возникающих в социуме проблемных ситуаций. В связи с этим нам представляется важным эксплицировать архетипические детерминанты глобализационного процесса.

Центральное место среди архетипов коллективного бессознательного занимает Самость – архетипическая программа, конституирующая переживание человеком разделённости бытия на внутреннее и внешнее («Я-бытие» и «Не-Я-бытие»), формирующая экзистенциальный самообраз человека как выделенного из окружающего мира и противопоставленного ему существа [1]. В результате работы архетипа Самости человек «обнаруживает себя в мире» – осознаёт своё «Я» как одновременно *субъекта и объекта собственного бытия*. Именно эта ситуация ставит человека перед «вечными фило-

софскими вопросами»: кто я, откуда и зачем?; что есть мир вне меня?; в чём смысл моего присутствия здесь и как мне следует взаимодействовать с миром, в том числе с другими «Я»?

В дискурсе парадигмы К.-Г. Юнга Самость представляет собой архетипическую программу, конституирующую задачу сохранения собственного присутствия в мире (задачу разработки и осуществления проекта присвоения-завоевания этого мира). Однако «жизненный ресурс» Я-Самости весьма ограничен, она отчаянно нуждается в его увеличении для отражения угроз со стороны Мира, в том числе со стороны других Самостей. В логике этой ситуации Я-Самости оказывается жизненно важно идентифицировать себя с каким-либо сообществом Самостей, которое будет восприниматься её членами как выделенная из мира, целостная и уникальная Мы-Самость. Гарантом могущества такой Мы-Самости служит экзистенциальное единение входящих в неё Я-Самостей.

Как мы показали в работе [1], в формировании всякой групповой идентичности задействована программа коллективного бессознательного, трансформирующая архетипический образ «Я и Мир» в архетипический образ «Мы и Мир». В результате такой трансформации члены группы начинают воспринимать себя как часть выделенной из остального мира целостности – «Мы-Самости». Эту программу, встраивающую Самость индивида в Самость группы, мы назвали *архетипом корпоративности*.

Архетип корпоративности конституирует в качестве базовой ценности доминирование общих для группы интересов над частными, обуславливает идентификацию в качестве «своих» тех, кто разделяет групповые ценности и нормы, и в качестве «чужих» – тех, кто их не разделяет, задаёт стандарты взаимодействия «своих со своими» и «своих с чужими».

Динамическим результатом работы данного архетипа является формирование коллективного социального субъекта с присущим ему набором принципов взаимодействия с окружающим миром. В соответствии с этим «любая организация, объединение или учреждение уже вскоре после своего создания начинают жить собственной жизнью, обретают свой характер и традиции, волю к жизни и волю к росту» [2. С. 259].

Таким образом, архетип корпоративности выстраивает у входящих в Мы-Самость индивидов восприятие себя как части социокультурной общности и восприятие остального мира через призму принадлежности к этой общности. Понятно, что складывающиеся у членов группы картины происходящего различаются в деталях, но единый для всех них «угол зрения» обеспечивает выработку согласованной позиции.

Интересно сопоставить работу программ коллективного бессознательного с работой закреплённых на генетическом уровне инстинктивных программ. Как те, так и другие являются результатом коллективного (популяционного) опыта. Как те, так и другие задают стандарты реагирования на стандартные вызовы внешней среды и тем самым способствуют выживанию группы. Базируясь в сфере неосознаваемого, они в то же время имеют существенное, зачастую определяющее влияние на вполне осознаваемое поведение, а также на восприятие окружающего мира в целом.

Пожалуй, важнейшим отличием архетипов от инстинктов, которое может послужить критерием разграничения этих понятий, является то, что инстинкты являются программами, обеспечивающими выживание биологического вида (филогенез), тогда как архетипические программы «заточены» на выживание социокультурной общности (социогенез). Важно подчеркнуть, что в процессе социальных взаимодействий архетипические программы способны блокировать инстинктивные программы поведения (поступать в обход инстинктов, вопреки инстинктам).

Из этого естественным образом вытекает ещё одно значимое отличие архетипов от инстинктов: в работе последних не задействованы никакие культурные знаки и символы, тогда как первые не могут функционировать без соответствующего символического наполнения, которое К.Г. Юнг называл архетипическими образами и отграничивал от собственно архетипов как бессознательных программ, участвующих в выстраивании этих образов. При этом архетипические образы намного более вариативны и существенно обусловлены особенностями культуры конкретного сообщества.

В отличие от иррациональных по природе архетипических программ, действующих в обход рационального мышления, программирующие социальное поведение *юридические законы* принимаются в полной мере осознанно, в соответствии с четко прописанными процедурами. В то же время они, как и архетипы, выступают инвариантными схемами регламентации единичных ситуаций. Юридические законы появляются в результате осознания необходимости государственного регулирования определённого типа ситуаций и накопления коллективного опыта такого регулирования. Важно подчеркнуть, что исполнение членами мы-сообщества рационально сформулированных юридических норм существенным образом зависит от согласованности этих норм с архетипическими программами.

Архетипические образы служат своего рода символическими «подсказками» коллективного бессознательного представителям культурного сообщества в процессе осмысления/интерпретации ими многообразных конкретных ситуаций. Будучи намного более вариативными и подвижными, нежели архетипические программы, они выступают своеобразным буфером между ними и постоянно обновляющейся реальностью. Таким образом, динамичность продуцируемых культурой архетипических образов-символов обеспечивает активизацию базовых архетипических программ в принципиально новых ситуациях. Из этого следует, в частности, что нынешний глобализационный процесс может фундаментализоваться теми же архетипическими программами, что действовали и ранее.

В качестве примера такого фундаментализации рассмотрим работу подпрограммы архетипа корпоративности, обуславливающей наличие в любой Мы-группе двойных стандартов: предвзято позитивного отношения к «своим» и предвзято негативного – к «чужим». Причём первое осмысливается членами группы как «естественный» общечеловеческий стандарт, а второе требует дополнительного обоснования. Легитимизация практики двойных стандартов достигается, как правило, идеализацией «своих» и демонизацией «чужих», приписыванием тем и другим наряду с действительными мифическими свойств. Двойные стандарты, создающие режим наибольшего благоприятствования

ования по отношению к «своим», обеспечивают Мы-группе сплочённость её членов и тем самым увеличивают ресурс её выживания.

В контексте нашего исследования интересна идея, высказанная А.И. Фетом [3]. По его мнению, биологический инстинкт деления особей своего вида на своих и чужих, в той или иной мере присущий всем высшим животным, у человека «глобализовался». Это означает, что идентификация «своих» у человека происходит не в соответствии с заложенными в инстинктивной (генетически наследуемой) программе метками, а в соответствии с метками, обозначенными в традициях (культурно наследуемыми). Таким образом, инстинктивная программа по распознаванию «своих» у человека открыта и не может существовать без культурного наполнения. Изменение такого культурного наполнения приводит к соответствующему изменению идентификационного кода и, как следствие, изменению круга людей, воспринимаемых как «свои».

При этом отношение к «чужим» может принимать самые радикальные формы, вплоть до трактовки их вообще как нелюдей или недолудей, как это имело место, например, в нацистской идеологической модели. Впрочем, в этом же смысле оформлялись и многие менее радикальные формы групповой идентичности. Например, с намного большим пиететом воспринимаемые нами эллины и древние римляне имели специальное слово для обозначения всех, кто не входил в их цивилизованный мир, – варвары. В этом смысле интересны рассуждения о связи античной концепции Ойкумены с процессом распространения на весь известный древнему эллину или древнему римлянину мир требований соответствия определенным цивилизационным стандартам, обозначаемым рядом авторов как «античная глобализация» [4]. Однако «античный глобализационный проект» перестал существовать вместе с Римской империей.

Крупнейшие «глобализационные проекты», претендовавшие на монополию в производстве социокультурных образцов в эпоху Средневековья, – христианство и ислам, в которых маркером разделения на своих и чужих выступает принятие/непринятие системы сакрализованных догматов и императивов, назначенных на роль «общечеловеческих социальных инстинктов». В рамках этих проектов сформировались поликультурные и полинациональные идентичности («христианский мир» и «мусульманский мир»). Однако и эти проекты «забуксовали», поскольку императивы христианской и мусульманской «Мы-Самостей» зачастую оказываются слабее императивов вошедших в них региональных, этнических и иных Самостей. В таких случаях, как мы уже выяснили, архетипическая программа корпоративности, идентифицирует единоверцев как «внутренних чужих» (еретиков) и проецирует на них «образ врага» со всеми вытекающими последствиями [5].

Современный «западный» глобализационный проект отличается от предыдущих тем, что ни этническая, ни религиозная, ни языковая, ни географическая, ни какая-либо иная традиционная групповая принадлежность не выступают маркерами для различения «своих» и «чужих». В качестве «своих» здесь воспринимаются те, кто разделяет убеждение в закономерности и справедливости процесса универсализации цивилизационных стандартов по образцам, разрабатываемым западной цивилизацией. Несогласные с тем, что общечеловеческая Мы-самость должна создаваться «по образу и подо-

бию» нынешнего мирового лидера, – «чужие» (отсталые варвары, недолjudы, лузеры эволюционного процесса).

Западный мир как субъект своего глобализационного проекта *в полном соответствии с архетипической программой корпоративности* стремится превратить собственную Мы-Самость во «всеобщую Самость всех». Чтобы преодолеть сопротивление исторически сложившихся «чужих» «Мы-Самостей», он пытается демонтировать их социокультурные коды, используя для этой цели обширный арсенал экономических, военных, политических, психологических и прочих рычагов. В частности, с целью разрушения чувства групповой идентичности противостоящих ему мы-групп атакует важнейшие области их картин мира – ядерные, священные символы, мифологемы, ценности, стандарты взаимоотношений.

Параллельно со стандартизацией в экономической, технологической и бытовой сферах (за этим процессом закрепился термин «макдональдизация» [6]) осуществляется стандартизация в сфере духовного производства: «мировым гегемоном» лавинообразно тиражируются и распространяются на все регионы планеты продукты массовой культуры; технологизируются и обезличиваются межчеловеческие взаимоотношения; нивелируются духовные потребности и запросы, стираются различия в политической, нравственной, культурной жизни.

Если какая-то мы-группа не во всём соответствует стандартам мирового лидера, то её следует «цивилизовать». И до тех пор, пока она не будет «подтянута» к соответствующим стандартам, её членов следует снисходительно рассматривать как еще-не-вполне-людей. Это означает, что по отношению к ним не просто можно, но даже следует занять менторскую позицию и наставлять их «на путь истинный».

Именно такой линии придерживается Евросоюз, который выставляет странам-кандидатам на принятие в свой состав целый ряд условий, которые подразумевают приведение дел (даже внутренних) потенциального неопита в соответствие с «европейскими стандартами», освященными «европейскими ценностями». При этом до принятия в Евросоюз страна-кандидат должна пройти по «дорожной карте», сдав своеобразный «экзамен» Еврокомиссии и получив предварительно статус «ассоциированного члена». И только после прохождения всего пути можно будет совершить над неопитом некий ритуал инициации и принять его как полноценного и равноправного члена.

Декларирование своих стандартов как универсальных, соответствующих человеческой природе и потому обязательных для всего человечества, происходит в миссионерской позиции, подразумевающей не только не подлежащую сомнению правоту, но и моральную обязанность распространять свои стандарты на все мы-группы, даже вопреки их желаниям. Отсюда-то и проистекает известная концепция о «бремени белого человека».

Те, кто недостаточно прилежно стремится соответствовать заданным стандартам, классифицируются как непослушные дети, которых следует пожеурить. Те, кто упорствует в своем несоответствии, воспринимаются уже скорее как хулиганы, которых необходимо наказать. Следующая ступень – преступники-рецидивисты, с которыми нужно вести систематическую целенаправленную борьбу. Наконец, особо провинившиеся – последовательно

отстаивающие собственные ценности и стандарты, обозначаются как противостоящее цивилизованному человечеству абсолютное зло. Причем сторона, на которую навешивается ярлык абсолютного зла, очень скоро отвечает тем же. Ведь это идеально ложится в архетипическую схему корпоративности, в которой для сплочения мы-группы необходимо противопоставление они-группе. И чем жестче это противопоставление, тем быстрее и эффективнее разворачивается архетипическая программа корпоративности и реализуется идентификационное сплочение мы-группы. Таким образом, взаимная враждебность двух общностей в определенном смысле венчает собой архетипическую схему корпоративности.

Так, например, на вершине холодной войны президент США напрямую назвал СССР «империей зла», а другой президент спустя двадцать с небольшим лет вбросил в политический дискурс еще одно примечательное словосочетание – «ось зла». И подобное восприятие характерно отнюдь не только для современности. Чем иным, кроме как средоточением зла, в Средневековье были друг для друга христианский запад и мусульманский восток?

В данном контексте интересно также упомянуть о концепции столкновения цивилизаций С. Хантингтона [7], который постулирует неизбежность не просто противостояния, но активного конфликтования цивилизаций, понимаемых как очаги возникновения ценностных систем и идентификационных кодов для больших социокультурных общностей.

Очевидно, что реализация западного глобализационного проекта фактически означала бы либо исчезновение всех незападных социокультурных общностей, либо их деградацию до периферийных «сырьевых придатков» мирового лидера. По нашему мнению, неизбежность крушения данного проекта обусловлена неизбежностью осознания большинством субъектов современного исторического процесса того, что его реализация выгодна лишь самому западному миру. Но в настоящее время только сильные, самодостаточные культурно-исторические общности способны открыто противостоять «глобализационному давлению» западного мира. Большинству стран приходится приспосабливаться, откладывая «до лучших времён» свои принципиальные возражения против такого развития событий.

Как видим, архетип корпоративности задействован в любом глобализационном проекте, причём диалектически противоречивым образом. С одной стороны, он обеспечивает его сторонникам возможность экзистенциального переживания принадлежности к потенциально самой мощной, общечеловеческой Самости. С другой стороны, эта архетипическая программа запускает механизмы предвзятого отношения – позитивного к «своим» и негативного, даже враждебного, к «чужим». То есть экзистенциальное единение со «своими» достигается благодаря наличию «чужих», которых в случае осуществления глобализационного проекта просто не должно остаться. При фактическом расширении мы-группы до всего человечества придётся признать, что бывшие «чужие» стали «своими». Но насколько чужие перестают восприниматься как чужие, настолько свои перестают восприниматься как свои. Значит, в случае отсутствия «чужих» экзистенциальное единение уже не может быть обеспечено архетипом корпоративности.

В связи с этим возникают вопросы:

– Возможен ли в принципе осуществимый глобализационный проект или смысл любого глобализационного проекта, как считает, например, Е.В. Пензина [8], заключается не в осуществлении, а в самом его существовании?

– Как возможно такое объединение человечества, в котором не будет деления на антагонистические фракции, имеющие среди своих моральных оснований обязательную и понимаемую как необходимую борьбу с иными фракциями?

– Реализуем ли на практике космополитический проект неразделенного на антагонистические группы, управляемого «мировым правительством» человечества?

Можно предположить, что преодолению порождаемых архетипом корпоративности противоречий будет способствовать популярный в настоящее время проект объединения человечества в единое целое перед лицом так называемых глобальных угроз – глобального потепления, демографического взрыва, истощения природных ресурсов, вопиющего неравенства в распределении материальных благ, пандемий и тому подобных проблем, которые не могут быть решены усилиями отдельных глобальных игроков. В этом проекте культурно-символическое наполнение архетипической ситуации «Мы и Мир» модифицируется таким образом, что в позиции «Мы» («свои») оказывается всё человечество, а «Мир» предстаёт в образе «чужого» – враждебного и смертельно опасно-госубъекта. Таким образом, заложенное в архетипической программе требование противостояния с они-группой «чужих» выполняется.

Однако осуществление данного проекта возможно лишь в том случае, если императивы общечеловеческой «Мы-Самости» окажутся сильнее императивов составляющих её более мелких Самостей, что позволило бы надёжно блокировать работу архетипической программы «свой-чужой» на уровнях вошедших в человечество мы-групп. А это вряд ли может произойти раньше, чем случится глобальная катастрофа. Во всяком случае, решение этой задачи представляется невозможным без усиления культурно-символического компонента в связке коллективного рационального и коллективного бессознательного, что инструментально является весьма трудноразрешимой задачей.

И ещё одно замечание. Из того, что архетипы есть intersубъективное, коллективное отражение *типических для человеческого сообщества ситуаций*, следует, что если типическими станут иные объективные ситуации (например, вследствие генетического перепрограммирования человека), то со временем должны неизбежно произойти соответствующие изменения и в коллективном бессознательном. Значит, если глобализация действительно имеет фундаментальный характер, т.е. порождает принципиально новые типические экзистенциальные ситуации, то это повлечет за собой, пусть и по прошествии длительного времени, соответствующие изменения в архетипическом ядре коллективного бессознательного всего человечества. Что само по себе поднимает множество вопросов.

Литература

1. Грицков Ю.В., Львов Д.В. Архетипы внутригруппового единства // Вестник ОмГПУ. Гуманитарные исследования. 2015. № 3 (7). С. 17–20.
2. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. М.: Политиздат, 1990.

3. Фет А.И. Инстинкт и социальное поведение. Новосибирск: Издательский дом «Сова», 2005. С. 25–46.
4. Артановский С.Н. Глобализация и де-глобализация // Вестник СПбГУКИ. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. № 4 (9). 2011. С. 6–14.
5. Львов Д.В. Архетипическая составляющая организационной культуры: дис. ... канд. филос. наук. Красноярск, 2012. 145 с.
6. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 688 с.
7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.
8. Пензина Е.В. Феномен глобализации: глобализация и вестернизация // Вестник КрасГАУ. Красноярск, 2012. № 8. С. 228–233.

Gritskov Yuri V. Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation)

E-mail: devlal86@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/8

Lvov Denis V. Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation)

E-mail: devlal86@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/8

ARCHETYPE OF CORPORATIVITY IN GLOBALIZATION PROCESS

Key words: *globalization, corporativity archetype, the Self, double standards, social instincts*

In the formation of any group identity is enabled the collective unconscious program, transforming the archetypal image of "I and the World" in the archetypal image of "We and the World". This program, embedded the individual Self in the Self group, we have called the archetype of corporativity. The current globalization process can substantiate the same archetypal programs that worked before. The Western world, as the subject of its globalization project, in full compliance with the archetypal program of corporativity seeks to make its own We-Self in the "universal-all-of-us-Self". If any we-group doesn't fit in all the world's leading standards, it should be "civilize". And as long as it will not be "tightened" to the appropriate standards its members should be regarded still-not-quite-human. Corporativity archetype is involved in any Globalization project, with dialectically contradictory manner. On the one hand, it provides the possibility of its supporters existential experience of belonging to a potentially very powerful universal Self. On the other hand, the program starts the archetypal mechanisms bias - positive to "ours" negative and even hostile to the "others". We can assume that overcoming the contradictions generated by the archetype of corporativity will promote through the popular at the moment project of humanity unification into a single entity in the face of the so-called global threats. However, the implementation of this project is possible only if the imperatives of the universal "we-self" will be stronger than the imperatives of its constituent smaller selves, that would reliably block the work of the archetypal program "ours-others" on the levels of the we-groups included in the humanity. And this is unlikely to happen before a global catastrophe. Anyway, the solution to this problem is impossible without strengthening the cultural and symbolic components in the bundle of collective rational and collective unconscious, which instrumentally is rather formidable task.

References

1. Gritskov, Yu.V. & Lvov, D.V. (2015) Archetypes of in-group unity. *Vestnik OmGPU. Gumanitarnye issledovaniya – Newsletter of Omsk State Pedagogical University Humanitarian Research*. 3(7). pp. 17–20. (In Russian).
2. Parkinson, S.N. (1990) *Zakony Parkinsona* [Parkinson's Laws]. Translated from English. Moscow: Politizdat.
3. Fet, A.I. (2005) *Instinkt i sotsial'noe povedenie* [Instinct and social behavior]. Novosibirsk: Sovo. pp. 25–46.
4. Artanovskiy, S.N. (2011) Globalization and de-globalization. *Vestnik SPbGUKI – Bulletin of Saint Petersburg State University of Culture and Arts*. 4(9). St. Petersburg: Sankt-Petersburgskiy gosudarstvennyy universitet kul'tury i iskusstv, 2011. pp. 6–14. (In Russian).
5. Lvov, D.V. (2012) *Arkhetipicheskaya sostavlyayushchaya organizatsionnoy kul'tury* [Archetypal component of organizational culture]. Philosophy Cand. Diss. Krasnoyarsk.
6. Ritzer, J. (2002) *Sovremennye sotsiologicheskie teorii* [Modern sociological theories]. 5th ed. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
7. Huntington, S. (2003) *Stolknovenie tsivilizatsiy* [The Clash of Civilizations]. Translated from English by T. Velimeev. Moscow: AST.
8. Penzina, E.V. (2012) Fenomen globalizatsii: globalizatsiya i vesternizatsiya [The phenomenon of globalization: Globalisation and westernisation]. *Vestnik KrasGAU – The Bulletin of KrasGAU*. 8. pp. 228–233.

УДК: 37.07.005.95

DOI: 10.17223/1998863X/38/9

Н.С. Гулиус, В.Д. Пак

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА (ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Статья посвящена диагностике и актуальным изменениям корпоративной культуры университета и разработке рекомендаций по изменению корпоративной культуры университета в связи с решением задачи вхождения в сто лучших университетов мира глобального рейтинга «QS University Ranking», становления университета мирового уровня. Приведены и проанализированы результаты диагностики корпоративной культуры Томского государственного университета как одного из участников проекта «5-100» (рамочная конструкция конкурирующих ценностей К. Камерона и Р. Куинна, метод «Метафора» А.И. Пригожин, фокус-группы).

Ключевые слова: корпоративная культура университета, диагностика корпоративной культуры, изменение корпоративной культуры.

Введение

Актуальность обращения к теме диагностики изменения корпоративной культуры университета связана с идеей трансформации системы высшего образования в РФ, в частности, в связи с участием университета в программе «5-100».

Программа «5-100» вносит в университет тенденцию превращения образования в образовательную услугу. Таким образом, существование требований старой – бюрократической и клановой – культуры классического университета и одновременное требование новой академической культуры, частью которой является рынок, адхократия и клан, – закладывает базовый кризис, комплексную «умную проблему» современного университета.

ТГУ с самых первых дней формировался как исследовательский университет классического типа, органично сочетающий в себе естественнонаучное, социогуманитарное, физико-математическое и инженерное образование и не фокусирующийся на нескольких приоритетных направлениях. В основу была положена немецкая модель гумбольдтовского университета. В основе такой модели лежит представление об университете как о храме науки и культуры, миссия которого – развитие национального государства, следовательно, и исследования в таком университете обычно сфокусированы на национальных и региональных интересах. Однако современные тренды, такие как критическая междисциплинарность, рост спроса на креативные навыки, разрыв между образовательными стандартами и потребностями рынка, распространение электронных курсов, которые позволяют получать информацию от лучших профессоров из любого университета мира, ставят под вопрос существование такой модели университета в чистом виде и постепенно обрушивают традиционные символические столпы образования – учебный

план, технологии обучения, оценка результатов. В этом смысле метафора разрушения классических устоев и вхождения рыночной культуры в традиционно интеллектуальную среду ярко отражена в названиях книги Билла Ридингса «Университет в руинах» [1] и книги «Как платят профессорам» [2].

Современные организации динамичны, даже такие консервативные и сложно структурированные, как университет. Любые изменения в организации часто болезненно воспринимаются сотрудниками, возникают трудности адаптации к изменениям [3], особенно, если они проводятся в огромном количестве, как того требует программа повышения конкурентоспособности «5-100» [4]. В помощь реализации этих процессов в Дорожной карте ТГУ заложены не только особенные направления работы с инновационно-активной средой, но и профессиональная поддержка силами привлеченных консультантов по организационному развитию.

Комплексно в настоящее время диагностируется: отсутствие кооперации между преподавателями, существование бюрократических барьеров, отсутствие действительной конкуренции между преподавателями; отсутствие открытых карьерных возможностей роста; отсутствие стратегического планирования, ощущения планируемости событий; так называемое «ручное» управление и – в довершение – отсутствие чувства дружелюбности, доверия, действительной вовлеченности, отсутствие осознания, что изменения реальны и возврата к прежней культуре не будет.

И если в 2013 г. в Дорожной карте ТГУ (2013–2014 гг.) в поддержку трансформации корпоративной культуры были заложены грантовые конкурсы и разработка и внедрение кодекса этики, то в 2014–2015 гг. во второй Дорожной карте ТГУ и в 2016–2017 гг. в Третьей Дорожной карте есть отдельное направление по системной работе с корпоративной культурой университета.

Корпоративная культура – это то, что мотивирует людей ходить на работу, определяет возможности развития сотрудников в организации, ее позиционирование во внешней среде и многое другое. Корпоративная культура пронизывает организацию целиком, она определяет практически всю жизнь организации.

В последние десятилетия корпоративную культуру стали признавать одним из показателей, необходимых для правильного понимания и управления организационным поведением сотрудников. И хотя термин зародился в бизнес-среде и применяется для построения эффективной работы, чтобы обеспечить получение максимальной прибыли организации, впоследствии он стал использоваться шире – для описания ценностной структуры, для описания делового и морального климата любого другого типа организаций, где люди в принципе объединены целями и задачами [5].

В контексте университетов, где царствует «сложносочиненный тип корпорации» [6], множество определений корпоративной культуры может быть сведено к двум типам определений, как считает Н.Л. Яблонскене. В первом случае корпоративная культура представляет собой нечто такое, что организация имеет, т.е. корпоративная культура является атрибутом – совокупностью норм, символов, ритуалов, мифов, традиций, которые соответствуют

ценностям и определяют восприятия культуры для самой себя и для других организаций.

Второй блок определений корпоративной культуры является собой то, чем организация является, то, как она реализует свою миссию внутри и вне самой себя, ее способ существования, ее способ бытия. С практической точки зрения выбор определения задает способы ее изменения и развития, а именно такие задачи стоят перед Томским государственным университетом сегодня, в эпоху трансформации корпоративной культуры.

Особенный аспект связан со смешением терминов корпоративной и организационной культуры. В нашем случае мы будем говорить о корпоративной культуре университета – культуре университета как корпорации со времен Средневековья, где администрирование и управление – функция образовательного учреждения. В нашем исследовании организационная культура – это часть корпоративной культуры, компонент деловой культуры. Корпоративная культура связана с терминами «ценность», «миссия», «убеждения», «негласные соглашения». Деловая, организационная культура – в терминах «права и обязанности», «стиль руководства», «морально-психологический климат коллектива», «нормы поведения», «нормы работы». И то, и другое в культуре организации присутствует.

Таким образом, рабочим определением нашего кейса является следующее: корпоративная культура – это «целостный комплекс общих для большинства сотрудников организации мировоззренческих аксиом, ценностей, знаков, взаимосвязанных и иерархически структурированных» [7].

Диагностика конфигурации корпоративной культуры университета (пример ТГУ)

В нашем исследовании мы опирались на работы Э. Шейна, К. Камерона и Р. Куинна, О. Соломанидиной; нами были использованы методы: включенное наблюдение, теоретический анализ, метод проективной самодиагностики «Метафора» (А.И. Пригожин), построение профиля организационной культуры на основе опросника OCAI (К. Камерон и Р. Куинн), анализ документов, были использованы материалы фокус-групп со студентами и сотрудниками ТГУ (В.В. Кашпур, завкафедрой социологии философского факультета ТГУ, Л. Дмитриева, Н. Гулиус).

Диагностика конфигурации организационной культуры НИ ТГУ по методике К. Камерона и Р. Куинна охватывает ключевые характеристики культур, позволяет получить их качественные и количественные оценки и осуществлять диагностику изменений корпоративной культуры в организации.

Основу диагностики составляет рамочная конструкция конкурирующих ценностей (рис. 1), которые были разработаны авторами на основе исследований главных индикаторов эффективных организаций. Было выявлено 39 индикаторов, определяющих полноценный набор измерителей организационной эффективности. Конфигурация определяет критерии эффективности, расположенные между внутренней ориентацией, интеграцией и единством и внешней ориентацией, дифференциацией и соперничеством (внутренняя гармония считается эффективной в фирмах IBM, Hewlett-

Packard; настрой на внешние факторы и конкуренцию отмечается в фирмах Honda, Toyota).

Оба измерения образуют четыре квадранта, каждый из которых соответствует своим представлениям об эффективности, ценностях, стилях руководства и образует свою культуру: иерархическая \ бюрократическая, клановая, адхократическая, рыночная.



Рис. 1. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей К. Камерона и Р. Куинна

Параметры диагностики

В исследовании университета как организации (май, 2014) приняли участие 50 студентов, 60 преподавателей, 7 факультетов ТГУ (ХФ, ФП, ЮИ, БИ, ФТФ, ММФ, ФИЯ). Диагностика конфигурации культуры в 2015 г. – 150 человек (6 корпусов ТГУ, 10 факультетов), из которых треть – обучающиеся, треть – ППС, треть – АУП.

Для диагностики конфигурации были выбраны представители всех поколений университета, так как в университетской корпорации наблюдается определенная тенденция к «старению» сообщества, традиционная для такого типа организаций.

Анализ результатов диагностики «Метафора» 2014 (А.И. Пригожин)

Диагностический инструмент «Метафора» [8] позволяет выявить общее представление сотрудников об организации и ее функционировании (2014, 2015 гг.). Большинство рисунков и в 2014 и в 2015 г. – с изображением незыблемого главного корпуса или других корпусов университета, практически на всех рисунках отсутствует изображение людей. Справедливо отметить, что в 2015 г. на рисунках стали появляться люди, однако везде, где они есть, они несоразмерны с изображением университета.

Анализируя рисунки, можно говорить о трех основных проблематизирующих вопросах.

Во-первых, осознаются ли изменения, проблемы периода трансформации представителями университетского сообщества? На рисунках много массивных зданий, башен, отсутствует динамика – правомерен, по А.И. Пригожину, вопрос: есть ли у организации своя стратегия? Как обстоит дело с нововведениями? Разве организация развивается?

Исключением являются два рисунка с изображением огня и лавы (студенческий и преподавательский вариант). В случае методики самодиагностики, по А.И. Пригожину, это означает дезинтеграцию между категориями персонала, в нашем случае – между студентами и преподавателями, между преподавателями и управленческим составом университета. Таким образом, вырисовываются три основные категории персонала, разрыв между которыми наиболее велик – преподаватели и управленческий состав университета, который увеличился за два года трансформации университета примерно вдвое.

В основном университет изображен статично. Единственный рисунок, где есть динамика, – это грузовик (студенческий вариант), который на большой скорости несется, перевоза знания (они в кузове), однако за рулем грузовика отсутствует водитель. Довольно жесткая метафора 2014 г. – бешенно мчащийся грузовик в ситуации отсутствия управления (тут вспоминается знаменитый текст Н.В. Гоголя из поэмы «Мертвые души» – «Русь, куда же мчишься ты...»).

Любопытно, что отсутствие динамики, стратегии развития, отсутствие управления показывают рисунки в ситуации повышенного, избыточного потока информации, когда сотрудники и студенты информированы о глобальных изменениях в университете, решаются принципиально новые стратегические задачи, однако в рисунках это никак не отражено. На основании этого можно сделать предположение: члены университетского сообщества относятся к процессу изменений скептически, в большом потоке информации не удается выявить главное и второстепенное, разные категории персонала не придают происходящему значения, не вовлечены в процессы изменений и не ассоциируют происходящие перемены в университете с собой. Такая ситуация будет серьезным барьером на пути реализации изменений, проектов и формирования новой культуры в ТГУ.

В-третьих, где клиент? Ни на одном рисунке не было изображено клиента в любом его облики: будь то человек, группы студентов и их родителей, выпускников, какая-нибудь другая компания или метафоричное сравнение. В ситуации, когда университету необходимо повернуться к внешнему рынку, «слепота» неприемлема.

Некоторые рисунки ННР и ППС свидетельствуют о позитивной семантике восприятия университета – образ дерева, иногда с могучими корнями, иногда на подставке (на основании) – это означает, что у университета есть своя большая, интересная, многолетняя история, крепкий фундамент. Верхушка дерева – в основном пышная, развивающаяся организация, в методике А.И. Пригожина это означает развитие, представление о позитивном, плодотворном будущем.



Рис. 2. Результаты диагностики «Метафора», 2014 г.

Одним из вариантов решения данной трудности является создание коммуникативных площадок с открытым обсуждением «трудных вопросов университета», с организацией онлайн трансляций (как посчитать нагрузку преподавателя? Как отразить количественные и качественные показатели в эффективном контракте? Где место обратной связи о качестве преподавания от студентов? Нужны прозрачные схемы формирования нагрузки. Какие студенты нужны организациям Томска, Томской области и Сибири? Чем отличается выпускник нашего университета от выпускников других вузов?

Площадки позволят проявить «клиентов» организации (студентов, родителей, партнеров, конкурентов), озвучат реальные «проблемы», десятилетиями требующие решения, проинформируют университетское сообщество о наличии площадок для обсуждения трудных вопросов университета, снимут напряжение от бесконечного каскада изменений.

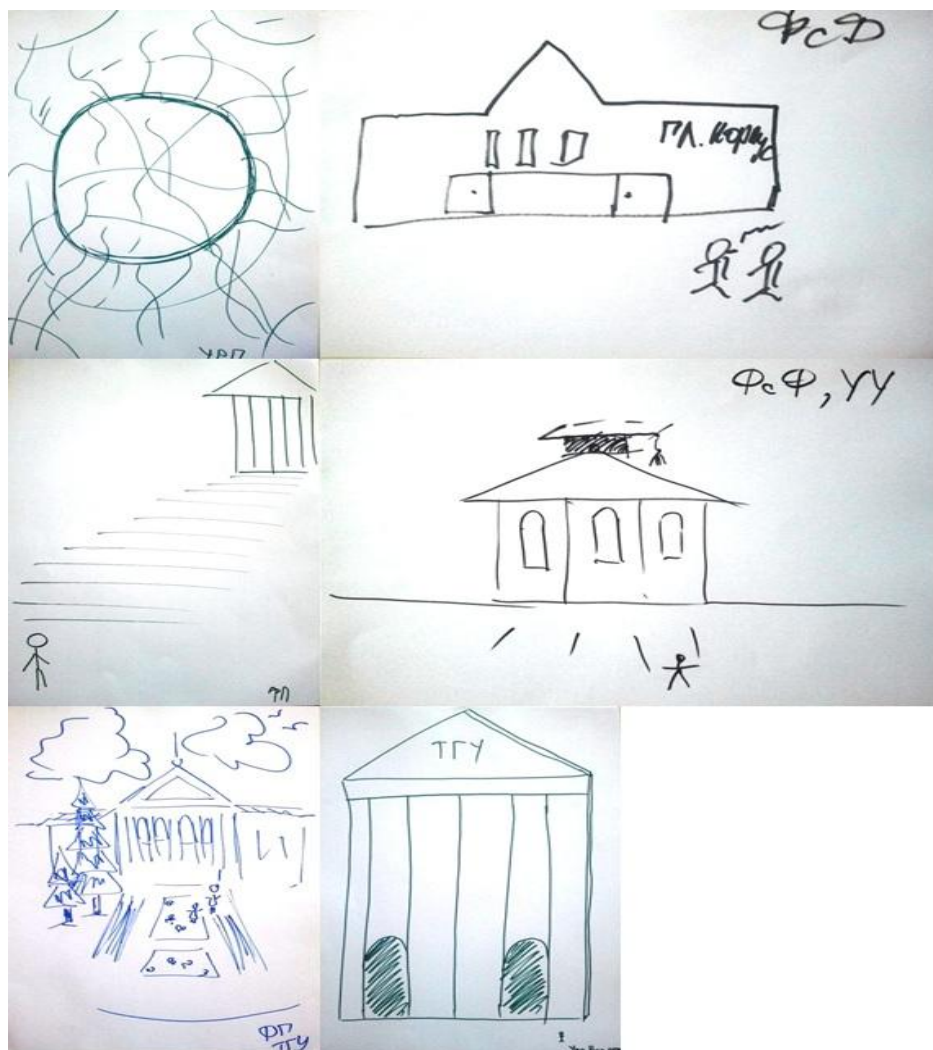


Рис. 3. Результаты диагностики «Метафора», 2015 г.

Анализ результатов диагностики корпоративной культуры по К. Камерону, Р. Куинну (2014, 2015 гг.)¹

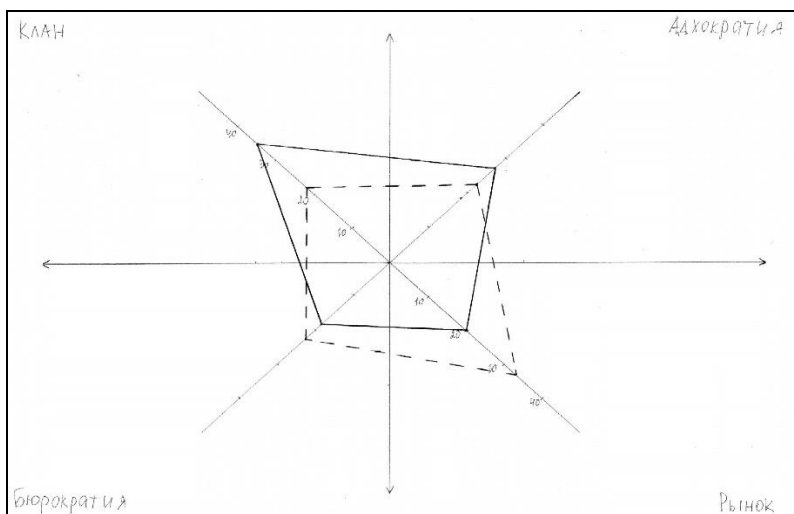


Рис. 4. Общий профиль корпоративной культуры ТГУ, 2014 г.
(сплошная линия – теперь, пунктир – предпочтительно)

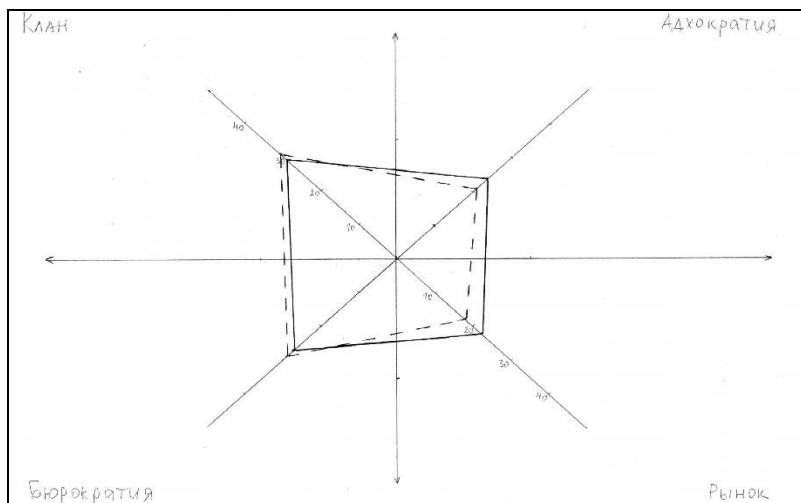


Рис. 5. Общий профиль корпоративной культуры ТГУ, 2015 г.
(сплошная линия – теперь, пунктир – предпочтительно)

Если сравнивать общие профили корпоративной культуры студентов, преподавателей и административного персонала в 2014 и 2015 гг., то можно утверждать следующее:

¹ Данные по диагностике собраны коллективными усилиями студенческих групп 20005 (2014), 20205 (2015); озвучены доц. Н.С. Гулиус совместно со студентами В.Д. Паком, Н.С. Гугушвили, В. Лапиной на Открытом семинаре в НИ ТГУ в мае 2015 г. и оформлены в дипломной работе В.Д. Пака, научный руководитель – доц. Н.С. Гулиус.

В 2014 г. профиль корпоративной культуры был сильно смещен в сторону клановой культуры, это говорит о том, что главными критериями эффективности на тот момент сотрудники ТГУ видели сплоченность и комфортный моральный климат в организации. При этом лидер (руководитель) в их понимании – это воспитатель или родитель, т.е. тот, кто заботится о своих подопечных.

Для того чтобы организация была наиболее эффективна в сложившейся ситуации, реципиенты предположили, что акцент в корпоративной культуре должен сместиться на рыночный тип культуры, критериями эффективности для которого являются доля рынка, поражение конкурентов и достижение целей. Типичный руководитель для этой культуры – надсмотрщик, соперник. Однако динамика за год показала, что изменение культуры пошло не в сторону рыночного типа, а в сторону бюрократии.

При таком раскладе деятельностью людей руководят в первую очередь процедуры. Объяснить такое, на первый взгляд, странное смещение можно тем, что в ТГУ за прошедший год, конечно, были созданы хорошие условия для инициации проектов (Школа проектного лидерства, проведены два грантовых конкурса), которые свою задачу выполнили – в университете в 2014–2015 гг. было запущено множество проектов. Но их реализацию затрудняет очень строгое администрирование, строгие требования к срокам и результатам, количество отчетности. Основная работа менеджера практически любого проекта – предоставление отчетности. Такая ситуация внутри университета и привела, по нашему мнению, к тому, что начальный курс на рыночную или даже на адхократическую культуру, которая была бы более адекватна внешним обстоятельствам и стратегии ТГУ, в итоге сильно сместился в сторону бюрократической культуры.

В дальнейшем, по мнению опрошенных, развитие культуры должно идти в сторону адхократии за счет ослабления усилившейся за последний год бюрократической культуры, при этом второй доминирующей культурой должна остаться клановая. Это говорит о том, что в основе деятельности людей, работающих в университете, должно лежать новаторство и творческая составляющая, но должны отсутствовать жесткая конкуренция и соперничество, вместо которых предполагаются сплоченность, командность и атмосфера семейственности.

Оппозиционность разных категорий персонала Университета подтверждается на уровне второй доминирующей культуры. У административного персонала второй доминирующей культурой стала рыночная, а вот у обучающихся и преподавателей – бюрократическая. С одной стороны, это нормальная ситуация, когда руководство, осуществляя контроль над деятельностью персонала, не считает его чрезмерным и, вполне естественно, не замечает этот контроль на себе, являясь его субъектом. С другой стороны, такая оппозиционность может стать серьезным препятствием для развития корпоративной культуры, поскольку в своей деятельности люди видят разные критерии эффективности. Для административного персонала критерий эффективности – достижение поставленных целей, а для обучающихся и преподавателей – соблюдение всех формальных процедур и своевременная отчетность перед руководством.

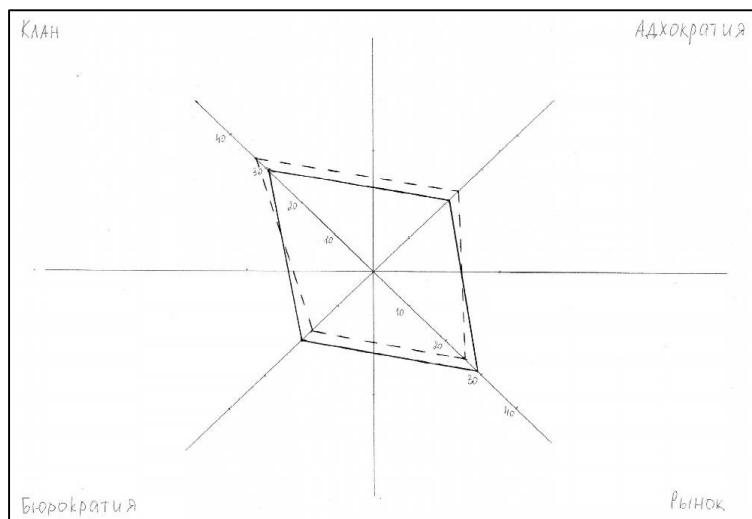


Рис. 6. Профиль корпоративной культуры АУП
(сплошная линия – теперь, пунктир – предпочтительно)

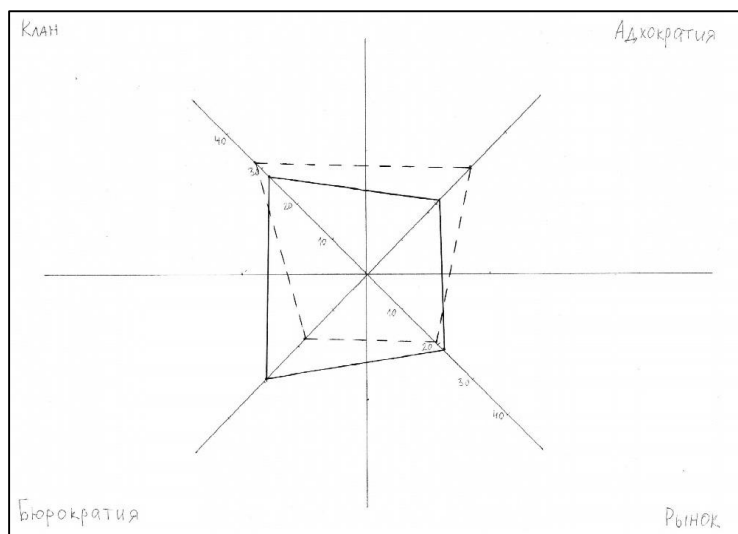


Рис. 7. Профиль корпоративной культуры ППС
(сплошная линия – теперь, пунктир – предпочтительно)

Если же говорить о предпочтительном профиле культуры, то у административного персонала он остался без существенных изменений – ориентация на клановую и рыночную культуру, что, в общем, является странным сочетанием, поскольку эти два типа культуры являются полностью противоположными друг другу. Возможное объяснение в этом видится в ориентации руководства на жесткое выполнение поставленных целей и достижение запланированных результатов, но при этом в отношении персонала была выбрана «гуманная» стратегия: максимальное вовлечение персонала и минимальное количество увольнений.

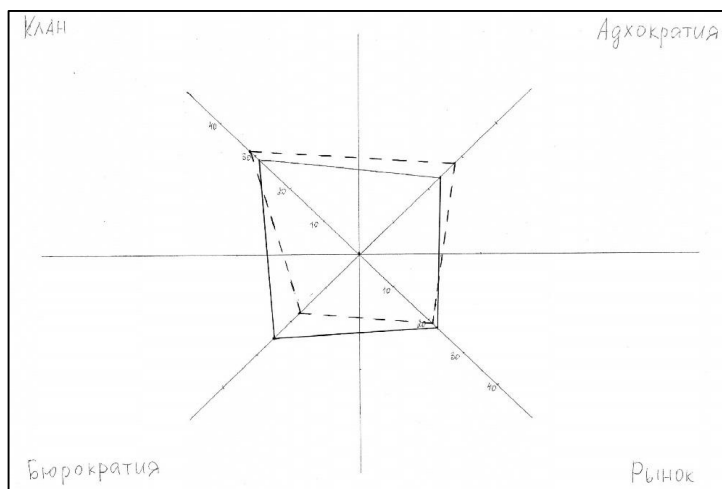


Рис. 8. Профиль корпоративной культуры обучающихся
(сплошная линия — теперь, пунктир — предпочтительно)

У преподавательского состава несколько другое представление об эффективной корпоративной культуре: первой доминирующей культурой преподаватели назвали также клановую, однако вторым типом культуры, который должен в дальнейшем доминировать в университете, должна стать адхократия. То есть в то время, когда руководство считает наиболее эффективным путем развития жесткое выполнение поставленных целей, преподаватели утверждают, что им необходимы уменьшение контроля со стороны администрации и свобода творчества, без которой проведение качественных исследований и созидание новых знаний в принципе невозможны.

Гипотеза о причинах разрывов и проблем
(из материалов работы группы: В. Кашпур, Л. Дмитриева, Н. Гулиус)

Проблема	Высказывания с фокус-групп
1	2
Отсутствие общего коммуникативного поля. В генах системы образования в Российской империи — прусская система обучения, жесткая система кафедр и факультетов; новое содержание обучения с его проектным типом обучения, стремлением гибко реагировать на запросы клиентов — студентов \ родителей \ работодателей не укладывается в устаревшую систему организации процессов. Соответственно, нужны площадки для обсуждения стратегии реагирования на запрос извне — клиентов, работодателей	<i>Информант (фокус-группа от 25.05.2015):</i> «Университет не понимает сейчас как некое единое тело, где и что происходит, не понимает, где и каков студент и в какой он позиции находится, и каков лектор и в какой позиции он находится. И, условно говоря, есть некая закупорка этих коммуникационных систем». «Нет общего видения, каков университет в целом... у университета, как у организма, который много работал, писал диссертацию, много курил при этом, а наутро не понимает, что у него где происходит, у университета точно так же есть какая-то неотзывчивость к самому себе»

1	2
Разрыв декларируемых и реальных норм работы в университете (все сделать к назначенному сроку, возможно, даже в ущерб качеству) требует комплексного решения, в том числе с помощью комиссии по проектированию адекватной нагрузки преподавателя, «горловой» и содержательной. За адекватную зарплату преподаватель имеет время и на разработку курсов, и на проектирование новых дисциплин, и на написание качественных статей в Scopus (скажем, в США в Гарварде норма гуманитарных факультетов – 1 статья в год или глава монографии \ монография в год). Когда наука и образование не находятся в разрыве, а помогают, обуславливают друг друга, «усилиют» подачу предмета преподавателя. Одновременное функционирование разных норм, двойных стандартов регламентов, оценок порождает и некачественно подготовленных университетом студентов. С другой стороны, в Университете на настоящий момент состав ППС качественно изменился в связи с легкостью попадания в сферу академической науки во второй половине девяностых – начале нулевых: появилось много преподавателей со степенями, полученными в короткие промежутки, когда ВАК принимал решение о присуждении докторской степени, к примеру, по наличию монографии (1998–2000) и пр. примеры	<i>Информант (фокус-группа 25.05.2015):</i> «А чтобы они (показатели) улучшались, нужно хотя бы соблюдение нормальных регламентов, которые прописаны, то есть меньше лжи. То есть огромное количество вранья и лжи при обучении, при образовании, которое развращает студентов, когда люди получают оценки, дипломы ни за что и по разным вот этим причинам». <i>Информант (фокус-группа 25.05.2015):</i> «А я говорю, что надо, во-первых, сделать нормальную нагрузку преподавателю, создать условия, чтобы приходили подходящие нам студенты, абитуриенты...». <i>Информант (фокус-группа 25.05.2015):</i> «Допустим, молодой преподаватель и перспективный исследователь, который вчера защитился, у него 1100 часов нагрузка, 0,25 ставки, обещают надбавки – забывают заплатить. Потом, допустим, в учебном плане запланировано одно количество часов, а реально надо провести больше и т.д., то есть совершенно обыденные проблемы организации труда совершенно не решаются, они пущены на самотек». <i>Информант (фокус-группа 25.05.2015):</i> «...У меня курс, 60 человек по списку, реально университетское образование получают семь, не больше. Вовремя сессию сдали 12, в течение семестра многочисленные пересдачи, количество их доведено, по-моему, до 23, а их 60 по списку, все остальные числятся уже второй семестр, продолжают учиться, ходить на занятия. На занятия приходит один, который хочет учиться, а остальные не могут сложить две дроби, просто не могут»

Таким образом, общее для всех профилей корпоративной культуры – это развитие в сторону **адхократии** за счет ослабления бюрократической культуры, при этом второй доминирующей культурой должна остаться **клановая**. Это говорит о том, что в основе деятельности людей, работающих в университете, должно лежать новаторство и творческая составляющая, но

должны отсутствовать конкуренция и соперничество, вместо которых предполагаются сплоченность и атмосфера семейственности.

Заключение

Таким образом, анализ организационной диагностики показывает, что университет мыслится и преподавателями, и студентами, и административно-управленческим составом как довольно закрытая общность, без учета партнеров, клиентов, разных категорий участников университетского сообщества. Существует разрыв между тремя группами университетского сообщества – преподавателями, студентами и административно-управленческим составом. При этом сотрудники университета доверяют существующей власти в университете, но также ценят академическую свободу, возможность увлеченно работать над проектами, склонность к экспериментированию и творчеству.

В клановой культуре каждый сотрудник, независимо от занимаемой им должности и профессионального статуса, ждет от руководства внимания к его личности, готовности включать его в общую систему совместного решения производственных проблем и т.д.

В адхократии необходимо выделить динамичное, предпринимательское и творческое место работы, преданность экспериментированию и новаторству. Руководители рассматриваются как новаторы, предприниматели. Успех означает предоставление уникальных и новых образовательных услуг».

В ходе рабочих встреч с экспертами группы по кодексу Н.Ю. Буровой, Т.В. Трубниковой было выработано решение о замене существующего Положения о корпоративной культуре НИ ТГУ (2005) на Корпоративный кодекс Университета (2015), как отвечающий актуальному запросу времени. Основным принципом работы нового локального нормативного документа станет его ежегодный пересмотр, внесение актуальных правил. Также в ноябре 2015 г. был определен состав комиссии по этике, который будет заниматься реальными случаями нарушения Этического кодекса университета.

Этапы работы с трансформацией корпоративной культурой, диагностика конфигурации организационной культуры ТГУ (К. Камерон, Р. Куинн, А.И. Пригожин), анализ работы фокус-групп позволили нам выявить пять основных разрывов в корпоративной культуре университета:

1. Разрыв в представленности поколений в Университете (35–55 лет – 18 %, после 60 лет – 30 %, до 30 лет – 10 %), трудность налаживания коммуникаций. Проблема частично может быть решена за счет грейдирования персонала, создания открытых информационных площадок с обсуждением требований к различным позициям – младший сотрудник, ассистент, эксперт, консультант, профессор практики – как элемент системы внутренней мотивации разных категорий сотрудников.

2. Отсутствие честности в открытых разговорах администрации и сотрудников университета относительно реальных проблем и способах их решения. Проблема может быть решена за счет открытого диалога администрации и представителей факультетов, получении обратной связи и информационной открытости университетского сообщества.

3. Согласно проведенным фокус-группам (май 2015), представители университетского сообщества не видят, эффективны ли действия руководства. Эффективны ли нововведения в практике университета? Если в отношении преподавателей запущен эффективный контракт, то оценка эффективности действий руководства (не отчетность по рейтингам, которую предоставляют, по сути, студенты и преподаватели своими показателями, а индивидуальные показатели эффективности работы администрации) – актуальна. Здесь возможно применение таких технологий, как мгновенная электронная обратная связь по завершении коммуникаций с руководством университета, постоянный мониторинг качества управления.

4. В рисунках про университет очень мало картинок как о «внутреннем клиенте» университета – преподавателях и студентах, родителях, выпускниках, так и о внешних клиентах – партнерах, конкурентах и пр. Соответственно, здесь мы видим отдельную работу по брендированию университета для внутреннего клиента – администрации, студентов и преподавателей.

Здесь также видится решение в создании коммуникативных площадок с открытым обсуждением «трудных вопросов университета» с организацией онлайн трансляций. Темы могут быть конкретными, практическими: Как посчитать нагрузку преподавателя? Где в эффективном контракте могут быть «вшиты» качественные показатели? Где место обратной связи о качестве преподавания от студентов? Как студенты могут влиять на учебный план автономного образовательного учреждения? Какие студенты нужны работодателю? Чему не учит университет, а это востребовано на рынке труда?

5. Сегодня основными критериями эффективности своей деятельности представители административного сектора университетского сообщества видят гладкое функционирование, рентабельность и своевременность («все сделать к назначенному сроку, возможно, даже в ущерб качеству»). Такие ценностные основания не могут обеспечить победы университету в долгой перспективе. В дальнейшем, по мнению опрошенных, развитие культуры должно происходить в сторону адхократии (свободной, творческой организации, ответственности за свой проект, исследование и пр.) за счет ослабления бюрократической культуры, при этом второй доминирующей культурой должна остаться клановая, семейственная.

Возможно, новые регламенты, такие как «Нормы времени», «Обновленный эффективный контракт», помогут сбалансировать оставшиеся от прежнего времени стандарты работы преподавателя и новые нормы работы в современном социокультурном пространстве.

Преодоление пяти разрывов частично возможно за счет появления нового типа документа – «Этического кодекса Университета», ежегодный пересмотр которого является гарантией актуальности темы, подвижности, гибкости реагирования системы на происходящие изменения в корпоративной культуре университета.

Специалисты в сфере управления изменениями называют три основных принципа работы в ситуации глобальных изменений в организации – информирование, честность и личный пример топ-менеджеров (и линейных менеджеров – заведующих кафедрами) [9].

Ключевые тренды в области управления корпоративной культурой связаны с представлением о новых вызовах мира и отчасти дублируют основные идеи современной корпоративной культуры: VUCA [10] (V – volatility – изменчивость; U – uncertainty – непредсказуемость изменений; C – complexity – сложность, взаимосвязь; A – ambiguity – двойственность) — как базовой характеристики современного мира. Второй момент — неэффективность управления с помощью регламентов, на смену которым приходит культура принятия решений на основе «принципов, целей и единых подходов». Принцип управления на основе целей дополняется принципом на основе ценностей (MBV – management by values). В своей статье Т. Ананьева выделяет четвертый тренд, связанный с гармоничностью культуры, поддерживающей стратегию компании, – если компания внедряет инновации, то следует избавиться от иерархичной культуры с доминирующим управлением на основе «кнута». Пятый тренд связан с управлением культурой на основе реальных, а не декларируемых ценностей: «Люди смотрят не на то, что написано, а на то, что реально делается».

Или, как пишут гуру в сфере диагностики и изменений оргкультуры К. Камерон и Р. Куинн, если ничего не применять и «если вы делаете то, что делали всегда, то и результат получите тот, который всегда получали».

Литература

1. Ридингс Б. Университет в руинах / пер. с англ. А. М. Корбута. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2010. 304 с.
2. Альтбах Ф. Как платят профессорам? Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов / под ред. Ф. Альтбаха, Л. Райсберг, М. Юдкевич, Г. Андрушака, И. Пачеко / пер. с англ. Е.В. Сивак; под науч. ред. М.М. Юдкевич. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 439 с.
3. Растеряева Л. Методология управления изменениями // Справочник по управлению персоналом. 2015. № 2. С. 67–74.
4. Дружилов С.А. Социально-психологические проблемы университетской интеллигенции во времена реформ: взгляд преподавателя. М.: Accent Graphics Communications, 2015. 241 с.
5. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. М.: Инфра-М, 2007. 624 с.
6. Яблонскене Н. Л. Корпоративная культура современного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://ksp-ed-union.ru/doc/yablonskene.pdf> (дата обращения: 22.08.2015).
7. Василенко С. В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. М.: Дашков и К, 2009. 136 с.
8. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 863 с.
9. Бармакова Н. Методология управления изменениями // Справочник по управлению персоналом. 2015. № 2. С. 72.
10. Ананьева Т. Ключевые тренды в области управления корпоративной культурой. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-prof.ru/about/life.php?ID=19449> (дата обращения: 13.02.2016).

Gulius Natalia S. National research Tomsk state university (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: guliusn@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/9

Pak Vadim D. National research Tomsk state university (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: vadick.pak@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/9

**DIAGNOSIS AND CHANGING UNIVERSITY'S CORPORATE CULTURE
(EXPERIENCE OF NATIONAL RESEARCH TOMSK STATE UNIVERSITY)**

Key words: university's corporate culture, diagnosis of corporate culture, change of corporate culture

The article is devoted to the diagnosis and the actual changes of the University's corporate culture and the development of recommendations for changes in the university's corporate culture in connection with the solution of the problem of entering in the hundred best universities of the global ranking «QS University Ranking», becoming a world-class university. The article describes and analyzes the diagnosis of corporate culture of Tomsk State University, as one of the participants of the project "5-100" (The competing values framework of management developed by K. Cameron and R. Quinn, the method of "metaphor" by AI Prigogine, focus groups).

References

1. Readings, B. (2010) *Universitet v ruinakh* [University in Ruins]. Translated from English by A. M. Korbut. Moscow: HSE.
2. Altbach, F. (2012) *Kak platyat professoram? Global'noe sravnenie sistem voznagrazhdeniya i kontraktov* [How are professors paid? Global comparison of remuneration systems and contracts]. Translated from English by E.V. Sivak. Moscow: HSE.
3. Rasteryaeva, L. (2015) Metodologiya upravleniya izmeneniyami [Methodology of change management]. *Spravochnik po upravleniyu personalom*. 2. pp. 67–74.
4. Druzhilov, S.A. (2015) *Sotsial'no-psikhologicheskie problemy universitetskoy intelligentsii vo vremena reform: vzglyad prepodavatelya* [Socio-psychological problems of the university intelligentsia in the days of reforms: Educator's perspective]. Moscow: Accent Graphics Communications.
5. Solomanidina, T.O. (2007) *Organizatsionnaya kul'tura kompanii* (Organisational culture of the company). Moscow: Infra-M.
6. Yablonskene, N.L. (2006) *Korporativnaya kul'tura sovremennogo universiteta* [Corporate culture of the modern university]. [Online] Available from: <http://ksp-edunion.ru/doc/yablonskene.pdf>. (Accessed: 22nd August 2015).
7. Vasilenko, S.V. (2009) *Korporativnaya kul'tura kak instrument effektivnogo upravleniya personalom* [Corporate culture as a tool for effective personnel management]. Moscow: Dashkov i K.
8. Prigozhin, A.I. (2003) *Metody razvitiya organizatsiy* [Methods for organisation development]. Moscow: MTsFER.
9. Barmakova, N. (2015) Metodologiya upravleniya izmeneniyami [Methodology of change management]. *Spravochnik po upravleniyu personalom*. 2. pp. 72.
10. Ananieva, T. (2015) *Klyuchevye trendy v oblasti upravleniya korporativnoy kul'turoy* [Key trends in corporate culture management]. [Online] Available from: <http://www.e-prof.ru/about/life.php?ID=19449>. (Accessed: 13th February 2016).

УДК 111 + 504.75
DOI: 10.17223/1998863X/38/10

В.А. Долин

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОДХОД УМЕРЕННОГО БИОКОНСЕРВАТИЗМА

С позиций умеренного биоконсерватизма анализируется проблема конвергенции человека и новейших технологий. На основе сопоставления эссенциализма и антиэссенциализма в философской антропологии показана ее онтологическая возможность. Конвергенция человека и новейших технологий определяется как сопряжение энергий и особенностей функционирования систем при сохранении их качественной определенности. Сформулированы основные положения умеренно-биоконсервативного понимания человека.

Ключевые слова: NBIC-конвергенция, конвергентные технологии, природа человека, биоконсерватизм, антиэссенциализм.

В начале XXI века возникает понятие «NBIC-технологии» [1]. Нано- (N), био- (B), информационные (I) и когнитивные (C) технологии также называют конвергирующими, а сам процесс – NBIC-конвергенцией [2–5]. Последняя предполагает взаимовлияние и даже взаимопроникновение технологий, которые в перспективе могут сформировать единую область знания и практики.

Проблемное поле NBIC-конвергенции находится на пересечении философской антропологии и философии науки и техники [6–8]. Понимание антропологических аспектов названной проблемы носит противоречивый характер. С одной стороны, NBIC-технологии открывают возможности «расширения человека» вплоть до изменения его идентичности или природы [9]. С другой стороны, NBIC-конвергенцию возможно рассматривать как звено пути, который Ж. Бодрийяр назвал «концом антропологии, тайком изъятый машинами и новейшими технологиями» [10. С. 85]. Выделенное противоречие делает актуальным рассмотрение с философско-антропологических позиций проблемы *конвергенции человека и новейших технологий*, а не просто антропологического аспекта проблемы NBIC-конвергенции.

На основе анализа диады «человек – технологии» по критерию соотносительной значимости элементов пары возможно выделить три сценария конвергенции:

- радикальный биоконсерватизм (технофобия [11. С. 9], «неолуддизм» [12. С. 67]) с лозунгом «руки прочь от человека»;
- технологический радикализм (технофилия [11. С. 9]), вдохновляемый призывом «объединим человека с новейшими технологиями»;
- умеренный биоконсерватизм как «срединный путь», признающий ценность исторически сформировавшейся природы человека и важность развития новейших технологий.

Умеренный и радикальный биоконсерватизм едины как варианты биоконсервативного подхода (Н.Н. Моисеев, Г. Йонас, В.А. Кутырев, Ю. Ха-

бермас, Ф. Фукуяма, Дж. Нейсбит и соавт.). В рамках умеренного биоконсерватизма постулируется «равновесие весов, на чашах которых соседствуют технологии и человек» [12. С. 67] и признается возможность «*воспитывать*» власть технологии, вместо того, чтобы отрицать ее... или слепо бросаться в ее объятия...» [11. С. 9] (курсив авт. – В.Д.). В результате отрицание представлений о технологическом «поглощении» природы человека дополняется признанием значимости развития новейших технологий. Разделяя гуманистический и экологический пафос радикального биоконсерватизма, сложно согласиться с категоричным отказом от новейших технологий. Даже если они «негуманны», их можно изменить и адаптировать под человека. Поэтому в качестве методологической основы статьи выступает умеренный биоконсерватизм.

Для рассмотрения предмета статьи следует решить три задачи: 1) осмыслить онтологическую возможность конвергенции в контексте диалога эссенциализма и антиэссенциализма в философской антропологии; 2) дать определение понятию «конвергенция человека и новейших технологий»; 3) сформулировать понимание человека с позиций умеренного биоконсерватизма (в сравнении с технологическим радикализмом).

Начнем с осмысления онтологической возможности конвергенции человека и новейших технологий в контексте диалога эссенциализма и антиэссенциализма в философской антропологии (первая задача). Онтологической основой названной возможности выступает открытость, незавершенность природы человека, представления о которой обосновываются в антиэссенциалистской антропологии. Наиболее категоричен Ж.-П. Сартр: «человек – это ничто». Антиэссенциализм закономерен в контексте осознания историко-культурного развития человека. Вместе с тем в философии продолжает существовать и эссенциалистская традиция, опирающаяся на концепт «природа человека» [13]. Обе программы постижения человека по-прежнему идут параллельными курсами. Подобный «методологический раскол» непродуктивен: если «человек – это ничто», то с ним в контексте NBIC-конвергенции можно сделать все что угодно.

Несоответствие традиционного антиэссенциализма изменившемуся положению человека в мире очевидно на примере программного тезиса технологического радикализма о возможности и желательности «технологического преобразования» человеческой природы. Концептуальная основа данного утверждения – интерпретированный в духе платонизма и сциентизма антиэссенциалистский тезис о трансценденции человека. В этой связи следует согласиться с Б. Латуром: «Нам *запрещено повторять ловкий ход Сартра*, который определяет человека через свободное существование, вырывающееся из природы, лишенной каких бы то ни было значений, поскольку мы наделили все квазиобъекты¹ действием, волей, значением и даже речью» [14. С. 219] (курсив мой. – В.Д.). Выделенное Б. Латуром противоречие не осознается сторонниками технологического радикализма, хотя его методология признается «самым подходящим инструментом для адекватной концептуализации всего проблемного поля конвергирующих технологий...» [15. С. 265].

¹ Объекты, наделенные признаками субъектности (прим. мое. – В.Д.)

Возможной точкой пересечения антиэссенциализма и эссенциализма как антиномичных и формально несовместимых дискурсов о человеке выступает признание существования антропологических констант в антиэссенциализме и динамического понимания природы человека в эссенциализме неклассической философии (К. Маркс, М. Шелер, А. Гелен, П.А. Сорокин). Это пересечение не упраздняет специфику названных дискурсов, но позволяет в рамках концептуальных средств каждого размышлять о будущем человека.

Таким образом, в ситуации NBIC-конвергенции на первый план выходит понимание природы человека как исторически и онтогенетически не завершенной. Данный тезис соответствует эссенциализму неклассической философии, но принципиально совместим с антиэссенциалистской программой. В последнем случае понятие «природа человека» либо заменяется представлением об антропологических константах, либо понимается метафорически, как «то, что называют «природой человека».

Понимание природы человека как незавершенной можно выразить в двух тезисах: 1) конкретно-историческая завершенность при потенциальной открытости; 2) детерминированность природы человека характером взаимодействия со средой. При их синтезе получаем: открытость природы человека реализуется при изменении взаимодействия социально и исторически обусловленного человека с окружающей средой. Хотя сложно отрицать принципиальную возможность реализации открытости природы человека и на индивидуальном уровне.

Подводя итог, следует отметить, что конвергенция человека и новейших технологий возможна на основе открытости природы человека, которая реализуется при изменении взаимодействия социально и исторически обусловленного человека с окружающей средой. Поскольку конвергентные технологии проникают «вглубь материи», на уровень атомов, генов, битов и нейронов, то они изменяют взаимодействие человека с окружающей средой. В результате неизбежно раскрытие ранее неизвестных измерений природы человека. В контексте полученного вывода противопоставление эссенциализма и антиэссенциализма как двух программ постижения человека является непродуктивным.

Для формулировки понятия «конвергенция человека и новейших технологий» (вторая задача) необходимо обобщить понимание термина «конвергенция» (от лат. *con* – вместе и *vergere* – сближаться) в различных областях знания. В биологии под конвергенцией понимается сближение признаков неродственных систематических групп, связанных общностью среды обитания. Например, дельфины и киты – это водные млекопитающие, схожие с рыбами. Синонимом понятия «конвергенция» в биологии выступает понятие «параллелизм». Данное понятие используется и в языкознании, где оно означает схождение, уподобление элементов языка или различных языков. В политологии, а также в социологии и социальной философии второй половины XX в. возникает теория конвергенции, утверждающая сближение социально-экономических характеристик СССР и США как сверхдержав через создание новых форм объединения их достижений (А.Д. Сахаров, Р. Sorokin). В итоге родовым явлением для конвергенции выступает сближение разнородных элементов при сохранении их качественной определенности.

Понятие «конвергенция» предпочтительнее близких по содержанию понятий «синтез» (объединение разнородных элементов в единое целое) и «интеграция» (процесс взаимного согласования элементов в некую целостность). Во-первых, оно точнее выражает факт, что сближение человека и новейших технологий в настоящее время скорее тенденция, нежели реализованная возможность. Во-вторых, оно предпочтительнее и для оценки результата, так как понятиям «синтез» и «интеграция» соответствует более глубокий и целостный вариант объединения.

Вместе с тем конвергенция как сближение может быть интерпретирована с позиций как технологического радикализма (слияние систем), так и умеренного биоконсерватизма (сопряжение энергий и особенностей функционирования систем без их слияния). В последнем случае сопряжение реализуется в рамках человеческой деятельности как совокупности трансформирующих практик, проникающих в «жизненный мир» человека и потенциально способных усиливать его природу и (или) компенсировать ее несовершенства. Таким образом, с позиций умеренного биоконсерватизма конвергенция человека и новейших технологий есть *сопряжение* энергий и особенностей функционирования систем *при сохранении их качественной определенности*.

Сформулируем понимание человека с позиций умеренного биоконсерватизма (третья задача). Предварительно следует обсудить тезис «мы уже постлюди», с помощью которого в современной философии техники обосновывается инерционный сценарий развития взаимодействия человека и новейших технологий. Можно выделить два значения понятия «постчеловек» (см. также [16]), фундирующих альтернативные сценарии будущего. В узком значении это продукт радикальной трансформации его природы технологическими средствами, а в широком – результат взаимодействия традиционного человека с изменившейся окружающей средой. Узкое значение термина «постчеловек» соответствует сценарию технологического радикализма («адаптация человека под среду»). Широкое значение термина «постчеловек» фундирует сценарий умеренного биоконсерватизма («адаптация среды под человека»). Без данного уточнения тезис «мы уже постлюди» является двусмысленным.

В рамках статьи умеренно-биоконсервативное понимание человека будет сформулировано в форме тезисов. Для большей обоснованности некоторые тезисы будут дедуцированы из фундаментальных философско-антропологических представлений.

Умеренный биоконсерватизм в понимании природы человека исходит из представлений Л.А. Фейербаха о человеке как разумно-эмоционально-волевом существе. Концептуальное основание данного понимания – аристотелевская трактовка человека как *двуединства тела и души*. Технологический радикализм, напротив, рассматривает человека с позиций платонизма (человек – это душа) и в духе сциентизма. В результате человек в рамках названного подхода понимается как «бестелесный разум», что снимает концептуальные ограничения на его трансформацию.

С точки зрения неклассической антропологии человека создает то, что находится вне его. При осмыслении проблемы конвергенции человека и новейших технологий наиболее значимы два типа отношений: «человек – при-

рода» и «человек – техника и технологии». Начнем с отношения «человек – природа». В умеренном биоконсерватизме *человек есть неотъемлемая часть биосферы*. По В.И. Вернадскому, прогресс в освоении микро- и мегамира и переход человечества к ноосфере не изменяют эту закономерность. В результате человек и в ситуации NBIC-конвергенции сохраняет свою естественно-эволюционную связь с биосферой. Это противоположно пониманию технологического радикализма, сторонники которого негативно относятся к «гнету биологических законов» (А.П. Назаретян) и стремятся к формированию «природы 2.0» [17] как технологизированной среды обитания «денатуризованного» постчеловека.

Постулаты о двуединстве тела и души и о человеке как части биосферы объединяют умеренный и радикальный биоконсерватизм. По мнению С.С. Хоружего, «человека неотвратно ждут радикальные изменения. Если он сумеет осмыслить заново свою "человечность", точно определив, чему в ней надлежит быть строго хранимым, а чему – меняться и обновляться, эти изменения еще могут стать не крахом Человека, а его обновлением. А парк новых технологий – стать частью ресурсов обновления» [18. С. 30]. Для умеренного и радикального биоконсерватизма двуединство тела и души, а также единство человека с биосферой – важные составляющие «человечности», без которых любые достижения прогресса обесцениваются.

Варианты биоконсерватизма различаются пониманием отношений в системе «человек – техника и технологии». Если радикальный вариант стремится дистанцироваться от новейших технологий или даже игнорировать их, то умеренный биоконсерватизм не против сближения с ними, но при условии категорического принятия двух выделенных ранее тезисов. Проанализируем позицию умеренного биоконсерватизма относительно техники и технологий. Во-первых, в отличие от технологического радикализма, для нее характерен антисциентизм, но без технофобии: не все технологические возможности достойны практического воплощения (алармизм), но опасения относительно антропологических перспектив новейших технологий не переходят в страх перед ними. Кроме того, всегда проводится четкая граница между восстановлением и изменяющим человека улучшением [19; 20. С. 21–22]. Данную особенность возможно обозначить как *умеренно-алармистское понимание значения техники и технологий*. Например, вместо восхищения технологического радикализма по поводу «вращивания в сознание» компьютерных и цифровых артефактов [21] умеренный биоконсерватизм признает, что оборотной стороной технологического расширения человека выступает его инвалидизация в результате «утраты привычных технологических расширений» [12. С. 66]. Во-вторых, взаимодействие техники и технологии в рамках умеренного биоконсерватизма носит коэволюционный характер и предполагает их «высокое соприкосновение» в социальном, человеческом и природном измерениях [22]. Это означает, что для данного подхода характерен *коэволюционный механизм взаимодействия человека и новейших технологий*.

Для умеренного биоконсерватизма *человек есть трансцендирующее существо*, причем трансценденция носит духовный характер и соответствует экзистенциально-феноменологической традиции с ее аристотелевским пониманием человека как двуединства тела и души. Названная позиция про-

типоволожна технологическому радикализму, который либо исходит из платоновско-бестелесного понимания человека, либо сожалеет в связи «с невозможностью для разума преодолеть ... конечность индивидуального сознания, и для мозга – биологическую константность нервной системы...» [23. С. 36]. Кроме того, в технологическом радикализме понимание трансценденции часто ограничивается стремлением кардинально преобразовать человека технологическими средствами, что заметно беднее понимания трансценденции в экзистенциально-феноменологической традиции.

Наконец, умеренный биоконсерватизм исходит из *оптимистического понимания человека* в натуралистическом и в духовно-аксиологическом аспектах. Устремленность к изменению человека в технологическом радикализме, напротив, фундируется пессимистическим пониманием его как несовершенного существа, нуждающегося в радикальной коррекции [24. С. 117–119].

Подведем итоги. Умеренный биоконсерватизм является вариантом сциентистской антропологии, альтернативным технологическому радикализму. Но комплекс фундирующих его идей позволяет создать (или внести весомый вклад в создание) синтетическое учение о человеке, отвечающее его новому положению в мире. В частности, изложенные тезисы о человеке сближают вторую и третью идеи человека М. Шелера – человек как носитель разума («*homo sapiens*»), противопоставленный природному миру, и позитивистско-натуралистическое понимание человека («*homo faber*»), рассматривающее его как часть природного мира [25]. Кроме того, в данных тезисах через интеграцию экзистенциально-феноменологических представлений о трансценденции человека аристотелизм сциентистско-эссенциалистской антропологии диалектически дополняется антиэссенциалистским платонизмом.

Принципиальным условием конвергенции человека и новейших технологий в понимании умеренного биоконсерватизма выступает сохранение качественной определенности человека как телесно-душевно-духовного существа. Техника и технологии есть инструмент дальнейшего улучшения человека и его жизни, но не самоцель. С процессуальной точки зрения конвергенция человека и новейших технологий не является объективной тенденцией по типу биологической эволюции, так как определяется выбранным сценарием будущего. Как отмечает Ф. Фукуяма, «мы не обязаны считать себя рабами неизбежного технологического прогресса, если этот прогресс не служит человеческим целям» [26. С. 308]. Ведь способность сказать эволюции «нет» и отвоевать себе отсрочку приговора – особенность существования человека в культуре [27].

В этой связи следует расширить объем понятия «экологический императив», под которым Н.Н. Моисеев понимает «ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах» [28. С. 78]. Будет обоснованным утверждать, что «экологический императив» относится не только к «внешней природе» как окружающей среде, но и к «внутренней природе» самого человека. В итоге существует достаточно широкий (в силу пластичности природы человека), но ограниченный «коридор возможностей» для дальнейшего развития человека.

Конвергенция человека и новейших технологий с позиций умеренного биоконсерватизма предполагает максимальное соответствие технологий телесно-разумной природе человека для ее сохранения и дальнейшего раскры-

тия ее потенциала. В итоге названная конвергенция возможна и в определенной мере необходима, но требует осторожности в способах реализации ради сохранения качественной определенности природы человека, которую следует рассматривать не только как данность, но и как ценность.

Литература

1. Roco M., Bainbridge W. (ed.) Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. NSF/DOC-sponsored report. National Science Foundation, June 2002. Arlington, Virginia. 468 p.
2. Прайд В., Медведев Д.А. Феномен NBIC-конвергенции. Реальность и ожидания // Философские науки. 2008. № 1. С. 97–116.
3. Ястреб Н.А. Конвергентные технологии как фактор развития фундаментальных и прикладных наук // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2012. № 3. С. 156–160.
4. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий (материалы круглого стола) // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 3–23.
5. Ястреб Н.А. Конвергентные технологии: философско-эпистемологический анализ. Вологда: Вологодский государственный университет, 2014. 250 с.
6. Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека / отв. ред. Г.Л. Белкина. М.: ЛЕНАНД, 2012. 496 с.
7. Иванова С.И., Алиева Н.З., Шевченко Ю.С. Природа человека в технонаучном аспекте // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 325–332.
8. Храпов С.А. Техногенный человек: проблемы социокультурной онтологизации // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 66–75.
9. Черникова И.В., Шеренкова В.В. Проблема сохранения природы человека как новый аспект кризиса идентичности // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 4 (32). С. 222–229. DOI: 10.17223/1998863X/32/25.
10. Бодрийяр Ж. Ксерокс и бесконечность // Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 75–87.
11. Нейсбит Дж., Нейсбит Н., Филипс Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. 381 с.
12. Емелин В.А. Киборгизация и инвалидизация технологически расширенного человека // Национальный психологический журнал. 2013. № 1(9). С. 62–70.
13. Черникова Д.В., Черникова И.В. Проблема природы человека в свете NBIC-технологий // Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316, № 6. С. 88–91.
14. Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. 240 с.
15. Аршинов В.И. Конвергирующие технологии в перспективе будущего человека // Человек и его будущее: Новые технологии и возможности человека / отв. ред. Г.Л. Белкина. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 262–272.
16. Моторина Л.Е. Исторические основания и смысловые границы понятия «постчеловек» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2010. № 3. С. 5–10.
17. Чеклецов В.В. От industry 4.0 к природе 2.0 // Философские науки. 2014. № 11. С. 112–120.
18. Хоружий С.С. Проблема постчеловека, или Трансформативная антропология глазами синергичной антропологии // Философские науки. 2008. № 2. С. 10–31.
19. Черникова Д.В., Черникова И.В. Расширение человеческих возможностей: когнитивные технологии и их риски // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 114–119.
20. Юдин Б.Г. О человеке, его природе и будущем // Вопросы философии. 2004. № 2. С. 16–28.
21. Файлола Э., Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Человек дополненный: становление киберсознания // Вопросы философии. 2016. № 3. С. 147–162.
22. Моисеев Н.Н., Фролов И.Т. Высокое соприкосновение. Общество, человек и природа в век микроэлектроники, информатики и биотехнологии // Вопросы философии. 1984. № 9. С. 24–41.
23. Леицёв С.В. Конвергентная парадигма искусственной субъективности: антропологические и технологические нюансы // Полигнозис. 2013. № 1–4 (45). С. 35–42.

24. Денисов С.Ф., Денисова Л.В. Философско-антропологические образы природы и человека в сциентистском мировоззрении // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2013. № 2 (12). С. 115–121.
25. Шелер М. Человек и история // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 132–154.
26. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, ЛЮКС, 2004. 349 с.
27. Мадзарела Э. Будущее и эволюция. Человек, который не согласен уходить // Философский журнал. 2015. Т. 8, № 4. С. 47–67.
28. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Изд-во МНЭПУ, 1988. 205 с.

Dolin Vyacheslav A. Belgorod Law Institute of Ministry of the Internal of the Russian Federation named after I.D. Putilin (Belgorod, Russian Federation)

E-mail: v.a.dolin@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/10

HUMAN BEING AND LATEST TECHNOLOGIES CONVERGENCE: APPROACH OF MODERATE BIOCONSERVATISM

Key words: NBIC-convergence, convergent technologies, human nature, biological conservatism, antiessentialism

The article considers the problem of human being and latest technologies convergence. There are three its directions: radical bioconservatism; technological radicalism; moderate bioconservatism. The latest one is the methodological basis of the article. To consider the subject of the article it is necessary: 1) to comprehend ontological possibility of convergence in the context of dialogue between essentialism and antiessentialism in philosophical anthropology; 2) to formulate the definition of the concept "human being and latest technologies convergence"; 3) to formulate the understanding of human (in comparison with technological radicalism). The ontological possibility of convergence is determined by openness of human nature which is realized by change of interaction between human being and environment. As convergent technologies are changing this interaction, so the disclosure of unknown sides of human nature is inevitable. In this regard the inefficiency of the opposition of essentialism and antiessentialism is recognized. The concept of "human being and latest technologies convergence" is defined as the conjugation in framework of transformative practices of converging elements while maintaining their quality certainty. The article formulates thesis that expresses the human understanding from the standpoint of moderate bioconservatism: human being as unity of body and soul; human being as integral part of the biosphere; moderately alarmist understanding of engineering and technology value; co-evolution mechanism of human being and the latest technology interaction; human being is transcending concerned being; optimistic understanding of human being. Moderate biological conservatism is considered as kind of scientist anthropology which is alternative to technological radicalism. However, the complex of ponderous ideas allows us to create (or make significant contribution to the creation) of universal doctrine about the person meeting his newly position in the world. The concept of "ecological imperative" (by N.N. Moiseev) is proposed to refer not only to the environment but also to human nature. human being and latest technologies convergence from the standpoint of moderate bioconservatism implies maximum matching of technology to corporeal and rational human nature for its preservation and further development of its capacity.

References

1. Roco, M. & Bainbridge, W. (eds) (2002) *Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science*. NSF/DOC-sponsored report. National Science Foundation, June 2002. Arlington, Virginia.
2. Pride, V. & Medvedev, D.A. (2008) Fenomen NBIC-konvergentitsii. Real'nost' i ozhidaniya [The phenomenon of NBIC-convergence. Reality and expectations]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 1. pp. 97–116.
3. Yastrebtsev, N.A. (2012) Convergence technologies as a factor of fundamental and applied sciences development. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki – MRSU Magazine. Philosophy*. 3. pp. 156–160. (In Russian).
4. Lektorskiy, V.A. et al. (2012) Konvergentitsiya biologicheskikh, informatsionnykh, nano- i kognitivnykh tekhnologiy (materialy kruglogo stola) [Convergence of biological, information, nano- and cognitive technologies (materials of the round table)]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 3–23.
5. Yastrebtsev, N.A. (2014) *Konvergentnye tekhnologii: filosofsko-epistemologicheskii analiz* [Convergent technologies: philosophical and epistemological analysis]. Vologda: Vologda State University.
6. Belkina, G.L. (2012) *Chelovek i ego budushcheye: Novye tekhnologii i vozmozhnosti cheloveka* [Man and their future: New technologies and human capabilities]. Moscow: LENAND.

7. Ivanova, S.I., Alieva, N.Z. & Shevchenko, Yu.S. (2012) Priroda cheloveka v tekhnonauchnom aspekte [The Nature of Man in the Techno-Scientific Aspect]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education*. 5. pp. 325–332.
8. Khrapov, S.A. (2014) Tekhnogennyy chelovek: problemy sotsiokul'turnoy ontologizatsii [Technogenic person: Problems of socio-cultural ontologisation]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 66–75.
9. Chernikova, I.V. & Sherenkova, V.V. (2015) The problem of human nature conservation as a new side of identity crisis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4(32). pp. 222–229. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/32/25.
10. Baudrillard, J. (2000) *Prozrachnost' zla* [Transparency of Evil]. Translated from French by L. Lyubarskaya, E. Markovskaya Moscow: Dobrosvet. pp. 75–87.
11. Neysbit, J., Neysbit, N. & Philips, D. (2005) *Vysokaya tekhnologiya, glubokaya gumannost': Tekhnologii i nashi poiski smysla* [High Tech, High Touch. Technology and Our Search for Meaning]. Moscow: AST: Tranzitkniga.
12. Emelin, V.A. (2013) Cyborgization and disability of technologically extended human. *Natsional'nyy psikhologicheskii zhurnal – National Psychological Journal*. 1(9). pp. 62–70. (In Russian). DOI: 2079-6617/2013.0108
13. Chernikova, D.V. & Chernikova, I.V. (2010) Problema prirody cheloveka v svete NBIC-tekhnologiy [The problem of human nature in the light of NBIC-technologies]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Tomsk Polytechnic University*. 316(6). pp. 88–91.
14. Latur, B. (2006) *Novogo Vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoy antropologii* [There was no new time. Essays on symmetric anthropology]. Translated from French by D. Kalugin. St. Petersburg: St. Petersburg European University.
15. Arshinov, V.I. (2012) Konvergiruyushchie tekhnologii v perspektive budushchego cheloveka [Converting technologies in the perspective of the future person]. In: Belkina, G.L. (2012) *Chelovek i ego budushchee: Novye tekhnologii i vozmozhnosti cheloveka* [Man and their future: New technologies and human capabilities]. Moscow: LENAND. pp. 262–272.
16. Motorina, L.E. (2010) Istoricheskie osnovaniya i smyslovye granitsy ponyatiya “post-chelovek” [Historical grounds and semantic boundaries of the “post-human” concept]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Filosofiya – RUDN Journal of Philosophy*. 3. pp. 5–10.
17. Chekletsov, V.V. (2014) Ot industry 4.0 k prirode 2.0 [From industry 4.0 to nature 2.0]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 11. pp. 112–120.
18. Khoruzhiy, S.S. (2008) Problema postcheloveka, ili Transformativnaya antropologiya glazami sinergiyon antropologii [The problem of the posthuman, or Transformative anthropology in terms of synergistic anthropology]. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 2. pp. 10–31.
19. Chernikova, D.V. & Chernikova, I.V. (2012) Human enhancement: cognitive technologies and their risks. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Tomsk Polytechnic University*. 321(6). pp. 114–119. (In Russian).
20. Yudin, B.G. (2004) O cheloveke, ego prirode i budushchem [About man, their nature and future]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 16–28.
21. Faylola, E., Voyskunskiy, A.E. & Bogacheva, N.V. (2016) Chelovek dopolnennyy: stanovlenie kiber-soznaniya [Augmented human: the formation of cyberconsciousness]. *Voprosy filosofii*. 3. pp. 147–162.
22. Moiseev, N.N. & Frolov, I.T. (1984) Vysokoe soprikosnovenie. Obshchestvo, chelovek i priroda v vek mikroelektroniki, informatiki i biotekhnologii [High touch. Society, man and nature in the age of microelectronics, informatics and biotechnology]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 24–41.
23. Leshchev, S.V. (2013) Konvergentnaya paradigma iskusstvennoy sub'ektivnosti: antropologicheskie i tekhnologicheskie nyuansy [Convergent paradigm of artificial subjectivity: anthropological and technological nuances]. *Polignozis*. 1–4(45). pp. 35–42.
24. Denisov, S.F. & Denisova, L.V. (2013) The philosophical and anthropological images of nature and man in the scientism worldview. *Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya – Science of the Person: Humanitarian Researches*. 2(12). pp. 115–121. (In Russian).
25. Sheler, M. (1993) Chelovek i istoriya [Man and History]. *THESIS*. 3. pp. 132–154.
26. Fukuyama, F. (2004) *Nashe postchlovecheskoe budushchee: Posledstviya biotekhnologicheskoy revolyutsii* [Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution]. Translated from English. Moscow: AST.
27. Mazzarella, E. (2015) Future and evolution. Man who absolutely ought to remain. *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 8(4). pp. 47–67. (In Russian).
28. Moiseev, N.N. (1988) *Sud'ba tsivilizatsii. Put' razuma* [The fate of civilization. The path of the mind]. Moscow: MNEPU.

УДК 17.02

DOI: 10.17223/1998863X/38/11

А.С. Железнов

ПОНЯТИЕ И ФОРМА МОРАЛЬНОГО ПОСТУПКА

Описывается и анализируется практический моральный опыт. В качестве моральных поступков рассматриваются осознанные действия, которые сами индивиды называют моральными, т.е. считают, что они совершаются из моральных соображений и в расчете на определенный результат. Примерами таких поступков являются дружеский поступок, прощение, преданность, справедливость. В объяснении каждого из них обнаруживается противоречивость или антиномия: моральный поступок не может совершаться как ради некоторой внешней цели, так и ради ценности самой морали. Мы приходим к выводу, что моральный поступок совершается в расчете на новое, неопределенное будущее, которое и рассматривается в качестве его практического результата.

Ключевые слова: мораль, этика, практика, дружеский поступок, прощение, справедливость, преданность.

Понятие морального поступка

Рассуждения о морали всегда вызывают очень много споров. Это могут быть споры о природе морального, о формулировке императива, о применимости моральных принципов в конкретной ситуации или, наконец, о личности спорящих. Причем согласие по одному из пунктов никак не гарантирует согласия по остальным. Идея начинать новое рассуждение о сущности или содержании морали может поэтому показаться неуместной, а то и безумной: только задумавшись об этом, мы тут же окажемся вовлеченными огромным количеством живых и еще большим количеством ушедших философов, писателей, моралистов, ученых и политиков.

Вместе с тем рассуждения о морали содержат не только спорные моменты, мы можем найти там и некоторые очевидности. Первая из таких очевидностей – это практическая цель этики или практическая сущность морали. Любое исследование морали проводится «не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а затем, чтобы поступать добродетельно» [1. С. 79]. Этика имеет своей целью не просто оценку, категоризацию или классификацию поступков, а выработку рекомендаций к действию. По большому счету выражение «этика как практическая философия» в каком-то смысле (например, в том смысле, который придавали этике стоики) противопоставляет «практическую», т.е. применимую в реальной жизни (любым профаном), этику остальной теоретической философии.

Практическая сущность морали, в свою очередь, приводит нас к следующей очевидности. Если мы говорим о том, что мораль существует ради практического ее воплощения, то нам следует задать вопрос о том, как именно моральные суждения воплощаются в действиях. Иными словами, мы должны признать, что есть определенные действия, которые направляются именно моральными соображениями. Аналогично тому, как для описания

или понимания экономики мы выделяем хозяйственные операции, или правовые акты в праве, или политические действия в политике, для того, чтобы мыслить мораль как некоторую практику, мы должны дать понятие морального действия. Завершая мысль, которую мы выше уже цитировали, Аристотель скажет, что этика должна дать нам ответ на вопрос, «как следует поступать». И этот термин «поступок» мы и будем в дальнейшем использовать по отношению к тому действию, в котором реализуется мораль. Итак, мы будем говорить о моральном поступке как о таком осознанном действии, которое совершается, исходя из специфических моральных соображений или целей. Можно сказать, что безотносительно конкретной трактовки должного моральный поступок требует предпочтения и практической реализации этого должного. Он может представлять собой ситуацию, в которой я предпочитаю поступить в соответствии с моральными требованиями, презрев, например, экономическую выгоду, тогда моральный поступок имеет форму морального выбора.

Здесь стоит проговорить отличие от иной альтернативы практического описания морали. Так, вместо того, чтобы утверждать существование морального поступка, мы могли бы обнаруживать в каждом действии (хозяйственном, политическом, биологическом и т.д.) некоторый моральный аспект, который позволял бы утверждать приемлемость или неприемлемость этого действия с точки зрения морали. В таком ключе можно, например, говорить, что «клонирование человека аморально», предполагая, что клонирование – это, вообще говоря, научная процедура, осуществляемая в научной логике, но мы можем рассматривать ее и с точки зрения морали. Этот подход содержит, однако, очевидное противоречие: говоря о том, что некоторое действие имеет моральный аспект и может расцениваться как аморальное, мы тем самым предполагаем, что совершать или воздерживаться от совершения этого действия нужно, исходя из моральных соображений. Говоря о том, что медицинское или научное действие не следует совершать или следует совершать определенным образом, мы, по большому счету, призываем индивида пренебречь соображениями медицины или науки и действовать, исходя из моральных соображений. И, таким образом, требуем от него совершения морального поступка в том смысле, который мы описали выше.

Факт опыта морального поступка является второй очевидностью, с которой мы можем иметь дело. Иными словами, нелепо отрицать, что все мы имеем очевидный для нас опыт моральных поступков. То есть опыт таких поступков, которые совершались нами или кем-то другим, исходя из моральных соображений, исходя из представления о моральном должном. Можно много спорить о том, как именно должно поступать, но невозможно не признать, что поступать в соответствии с представлением о моральном должном – это и значит совершить практическое моральное действие.

Что нам дает очевидность морального поступка? Она дает нам возможность начать рассуждение об этике и морали, минуя спорные и неочевидные темы. Вместо рассуждения о том, какова должна быть мораль и что определяет этику, мы можем заняться анализом реального опыта моральных поступков. И уже, исходя из этого анализа, делать общие выводы о форме и содержании морального поступка вообще и о том, как должна быть устроена

этика в принципе. Поэтому же мы собираемся воздержаться от сравнения собственного взгляда на этику с другими концепциями до того, пока не перейдем от анализа практического опыта к выводам о форме морального поступка. Это осознанное избегание дискуссии необходимо для того, чтобы наш анализ направлялся только его предметом, но не отношением к другим трактовкам.

Однако несмотря на это, наши предварительные замечания следует завершить указанием на близость нашего замысла кантовскому подходу к морали. Собственно, сам вопрос о поиске «формы», а не цели, результата или свойств дружеского поступка близок кантовской мысли о том, что «моральность» поступка заключается не в результате, но только в принципе воли, где априорный принцип по определению формален [2. С. 235]. Эта близость в замысле, однако, не должна нас отвлекать до того, как мы проведем собственно анализ реальной практики морального поступка.

Дружеский поступок

Начнем мы с анализа опыта дружеского поступка. Понимание дружеского поступка как поступка, направляемого именно моральными соображениями, является достаточно распространенным и привычными. Здесь мы вновь можем обратиться к Аристотелю, который трактует дружбу (здесь, вообще-то, употребляется термин «*philia*», который также можно переводить и как любовь) в качестве «добродетели или причастного к добродетели» [1. С. 219] и в качестве явления, «не только необходимого, но и нравственно прекрасного» [1. С. 220]. Аристотель же описывает и форму дружеского поступка, которая заключается в том, чтобы желать другу блага самого по себе, безотносительно собственной пользы [1. С. 223], указывая, таким образом, на два характерных аспекта дружбы: отрицание расчета и утверждение желания блага.

Отрицание расчета не вызывает сомнений: истинная дружба предполагает отсутствие каких-либо меркантильных мотивов, а дружеский поступок совершается вне расчета на собственную пользу. Собственно, в своем повседневном опыте мы не называем дружеским поступком такой, который совершен, исходя из какого-либо рационального расчета и стремления получить пользу. Есть некоторая «мера искренности», предполагающая, что дружеский поступок должен совершаться только ради друга, но не ради чего-то еще.

Важно заметить, что отрицание расчета относится не только к целям удовольствия или выгоды, но и к расчету на личное моральное совершенство. Так, дружеский или вежливый поступок не может совершаться ни ради достижения некоторых внешних целей, ни ради того, чтобы казаться дружеским (здесь, кстати, язык благоразумно не различает «казаться» и «быть»). Деррида формулирует эту сложность в качестве антиномии: «Но соблюдение обязательства уклоняться от правила ритуализированной благопристойности заставляет также выйти за рамки самого языка долга. Не следует быть дружелюбным или вежливым из чувства долга ... Недружественным жестом было бы также ответить другу только из чувства долга» [3. С. 21–22]. Иными словами, совершить дружеский поступок только для того, чтобы соответствовать эталону друженности, было бы неискренним и недружеским.

Если дружеский поступок не может совершаться в расчете на какую-либо выгоду для себя самого (в том числе в расчете на собственное моральное совершенство), то ради чего тогда он совершается? У Аристотеля мы находим простой ответ, который прекрасно соотносится со здравым смыслом и повседневным опытом: дружеский поступок совершается ради блага друга (друзья «желают друг для друга собственно блага») [1. С. 223]. Важно здесь, однако, помнить, что для Аристотеля, во-первых, благо универсально для всех и может быть известно, а, во-вторых, само совершение добродетельного поступка («благо-получение в поступке») и есть уже благо само по себе [1. С. 174]. Поэтому, приняв формулировку Аристотеля без отдельного разбора, мы рискуем начать споры относительно природы человека или относительно уместности вообще рассуждений о благе. Чтобы обойти этот риск, попробуем понять, что же означает в контексте дружеского поступка «желать блага» (или совершать благо), вынеся за скобки любую конкретную трактовку.

Очевидно, что желание блага другому не предполагает ни потакания его желаниям, ни навязывания собственного представления о том, каким должен быть другой. Предполагается (и Аристотелем четко это проговаривается), что деятельность обоих друзей должна определяться общим пониманием блага, но не их личным представлением о благе другого. Совершеннейшая дружба – это потому дружба добродетельных, что они не потакают дурным склонностям друг друга, а, напротив, укрепляют друг друга в добродетели. И это происходит из-за того, что оба друга действуют в соответствии с истинным благом. В этом смысле вопрос о благе другого у Аристотеля – это вопрос о бытии другого (по сути). Совершение блага здесь – это действие в соответствии с собственным бытием, а желание блага другому – это содействие ему в раскрытии его собственного бытия. Остановимся на этом месте. Получается, что, желая моему другу блага, я желаю ему нечто, выходящее за пределы как моих, так и его наличных свойств и желаний. Я желаю ему то, что непосредственно имеет отношение к его бытию.

Вспомним, что в самом начале «Никомаховой этики» Аристотель прямо указывает на близость понятия бытия и блага: «Благо имеет столько же значений, сколько "бытие" (to on) (так, в категории сути благо определяется, например, как бог и ум, в категории качества – как добродетель, в категории количества – как мера (to metron), в категории отношения – как полезное, в категории времени – как своевременность (kairos), в категории пространства – как удобное положение и так далее)» [1. С. 59]. Получается, что, желая моему другу блага, я желаю ему нечто, выходящее за пределы как моих, так и его наличных свойств и желаний. Я желаю ему то, что непосредственно имеет отношение к его бытию.

Здесь просматривается интересная связь, которую можно обнаружить, вспомнив, что Аристотель использует понятие «*philia*» для того, чтобы описать дружбу. Мы можем найти такую традицию осмысления любви, в которой на первом плане находится тот факт, что любовь выходит за пределы конкретного существования другого к его бытию. Речь здесь может идти о той аналитике любви, которую делают, например, Левинас [4] и Агамбен [5]. Любовь описывается тут не в качестве отношения к существу, обладаю-

шему определенными характеристиками, а в качестве отношения к бытию этого сущего: «Любовь никогда не следует за теми или иными качествами любимого человека (быть блондином, маленьким, чувствительным, хромым), но она также никогда и не абстрагируется от них во имя пресной всеобщности (всеобщая любовь): она желает эту вещь со всеми ее предикатами, ее бытие такое, какое оно есть. Она желает такое лишь постольку, поскольку оно такое – и в этом проявляется ее специфический фетишизм» [5. С. 10–11]. Указывая на то, что любовь фактически не имеет отношения к конкретным свойства любимого, Агамбен буквально утверждает, что любовь – это и есть отношение к бытию другого. Фраза «желает ее бытие такое, какое оно есть», очевидно, имеет отношение не к сущему, не возможному варианту наличного существования, она имеет отношение к возможности другого быть любимым, т.е. быть вообще. В обыденном опыте любовь опознается в качестве действий, имеющих своим результатом «быть вместе с», но в этом «быть вместе с» акцент ставится не на том «с кем», а на «быть». Это не действия для того, чтобы быть «вместе с индивидом, характеризующимся вот этими чертами», но это осуществление совместного бытия или осуществление события. При этом мы не говорим об абстрактном всеобщем бытии, но о бытии этого другого. Опыт любви для своего объяснения требует допустить возможность отношения к бытию, возможность ценностного отношения к неизвестному будущему. Любовь реальна тогда, когда мы предполагаем способность индивида последовательно совершать действия, способствующие бытию, ведущие к его совершению.

Разговор о цели дружеских отношений, однако, можно рассматривать и в другой плоскости. Так, мы могли бы утверждать, что в качестве цели дружеского поступка не благо другого (субъекта), а сами отношения между вами. Иными словами, можно было бы утверждать, что целью дружеского поступка является не другой (и достижение им чего бы то ни было), а построение или сохранение определенных отношений, которые могут (например) определять нас как субъектов дружбы. Но на этом пути мы также придем к необходимости некоторого отсутствующего основания. Дружеский поступок не формирует никаких конкретных отношений, не обязывает другого, но дает другому саму возможность ответить или не отвечать. Он создает возможность встречного жеста, возможность создания новых (не определенных ничем имеющимся) отношений, где это будущее совершенно неопределенно, не задано ничем из существующего (настоящего или прошлого) [3. С. 31]. Результат дружеского поступка – это не присутствие чего-либо, а отсутствие, открытость, которая и дает возможность совершиться новому совместному (бытию). Дружеский поступок не эксплуатирует существующую связь и не устанавливает новую необходимую связь. Но он дает нам возможность новой связи. Освобожденный от исходной логики обязательности или от призыва к конкретной форме наличного существования дружеский поступок имеет форму обращения к возможному будущему.

В любом случае мы приходим к тому, что результатом дружеского поступка оказывается нечто превосходящее наличное. Желая другому блага, мы желаем ему чего-то большего, чем дано ему или нам в наших актуальных представлениях, расчетах и целях. Совершая дружеский поступок как при-

глашение к новому совместному бытию, мы обращаемся только к возможности этого бытия, но не к его необходимости. Находясь вне целей, связанных с настоящим моментом, и вне целей абсолютного морального совершенства, дружеский поступок был бы невозможен, если бы он не рассчитывал на эту неопределенную возможность быть. И, таким образом, получается, что моральность дружеского поступка заключается не в чем ином, как в том, что в нем мы находим странный опыт отношения к возможному новому.

Прощение

Следующий пример морального поступка, который мы рассмотрим, – это пример прощения. В отличие от дружеского поступка, прощение может пониматься как некоторое прагматичное действие, направленное на восстановление социального порядка. Эта двоякость приводит к необходимости разводить понятия «прощения» и «примирения» в духе Деррида [6]. Примирением здесь называется действие, которое либо реализует уже существующую социальную норму, предписывающую сторонам прекратить конфликт на определенных условиях, либо устанавливает новую норму, исходя из политической (прагматической, гуманистической и т.п.) ценности общественного единства. Логика примирения предполагает, что обиды, которые нанесли друг другу враждующие, «простительны», что есть ряд высших соображений, ради которых их можно преодолеть.

В опыте прощения мы имеем дело с чем-то иным. Так, если бы мы прощали то, что допустимо исходя из каких-то рациональных соображений, то, что «следует» простить, это бы отменяло саму необходимость прощения в качестве какого-то особенного акта, особенного действия. В прощении нуждается только то поведение, которое должно подвергаться абсолютному порицанию, поведение, которое ставит преступника за рамки социально приемлемого. И в этом смысле прощение само сродни преступлению: «Молчаливое, секретное и во многих случаях действительно опасное, нарушающее любые нормы прощение означает, что прощающий оказывается в двойном противопоставлении: и обществу, чьи нормы и безопасность нарушаются (повторно), и преступнику вместе с совершённым им злом» [7. С. 60].

Суть опыта прощения можно сформулировать как антиномию: простить можно только непростительное: «From which comes the aporia, which can be described in its dry and implacable formality, without mercy: forgiveness forgives only the unforgivable» [6. С. 32–33]. Прощение может иметь место только там, где нет никаких оснований для прощения, где необходимость или возможность прощения не может ни из чего следовать. Прощение может иметь место в ситуации, когда преступление или обида делает невыносимым любые отношения с преступником. Где невозможно искупление, компенсирующее (пусть ритуально) ущерб от совершенного преступления. Прощение действует в ситуации, в которой сама связь с преступником прервана, преступник за пределами человеческого бытия.

Но как тогда может осуществляться прощение? Деррида будет писать о том, что прощение начинается и становится неизбежным как только продолжается контакт преступника и прощающего. Это очень значимое замеча-

ние. Если непростительное преступление означает прекращение любого взаимодействия с другим, то просто возобновление общения, установление связи – это уже начало прощения. Логика прощения, однако, не в том, чтобы принять непростительное как допустимое, не в том, чтобы разрешить его или установить новую социальную норму. Но опыт прощения по существу заключается в том, чтобы игнорировать преступление, действовать так, как будто его не было. Прощение делает возможным строить новые отношения с преступником, как с человеком, который не совершал проступка.

Этот факт говорит сразу о двух значимых чертах функционирования прощения. Во-первых, прощение утверждает инаковость другого. Инаковость его от поступка и от отношений. В этом смысле прощение практически возможно только в том случае, когда мы предполагаем в человеке нечто большее, чем то, что он есть сейчас, или то, что выражается в любых его делах. Сама прерывистая структура прощения, возможность разорвать опыт и оставить в нем белое пятно предполагает необходимость видеть возможность перемены другого человека и ваших с ним отношений. Во-вторых, прощение (так же как и дружеский поступок) функционирует в качестве утверждения новых отношений. Прощение – это не восстановление отношений, ведь предыдущие были уже разорваны и разрушены, это предоставление возможности для новых отношений.

Мы приходим к тому, что опыт прощения представляет собой опыт допущения неопределенного будущего для преступника или неопределенного будущего для ваших отношений. Это неопределенное будущее оказывается достаточно ценным для того, чтобы ради его возможности обиженный отказался от мести или смирился с обидой. Прощение представляет собой акт, который не оказывает воздействия на определенный социальный порядок, но осуществляет саму способность быть вместе как таковую. В моральном опыте прощения мы имеем дело с бытием другого, мы имеем опыт выхода за пределы наличного существования и опыт отношения к будущему бытию.

Сохранение преданности

Еще один пример опыта морального в нашей повседневной жизни дается таким явлением, как сохранение преданности, или лояльность. В отличие от дружеского поступка и прощения, «моральность» преданности является спорной, достаточно традиционным является вопрос о том, можно ли вообще считать преданность добродетелью [8. С. 3]. В частности, вопросы вызывает возможность преданности тому, кто не прав или просто зол. И не следует ли вместо этого считать лояльность некоторым аналогом социального консерватизма или способом достижения не-моральных целей. (Здесь стоит заметить, что спорное отношение к преданности характерно, в общем, именно западной философской традиции. В рамках конфуцианства, например, преданность (чжун) является очевидной и ключевой моральной ценностью.)

Сам этот спор, однако, достаточно явно выводит на передний план именно моральный аспект обсуждения преданности. Так же как с дружеским поступком или прощением, опыт преданности содержит требование искренности [8. С. 8]: именно искренность является тем, что отличает истинную

преданность от простого следования своим интересам. В своем повседневном опыте мы, очевидно, отличаем преданность от выгодного сотрудничества. Сохранение отношений с другим ради получения определенной выгоды не является преданностью, и, если мы видим смысл преданности в заботе о сохранении выгодных отношений, то, по сути, превращаем ее в подвид рационального расчета.

По большому счету, нужно признать, что мы видим и ценим разницу между теми, кто выбрал нас, исключительно исходя из выгоды нашего предложения, и теми, кто истинно лоялен (так же как в политическом контексте может проговариваться разница между верноподданными и «конъюнктурщиками»). Мы называем преданными тех людей (друзей, клиентов, сотрудников или партнеров), которые как раз действуют нерационально: они сохраняют преданность, прощая нам наши ошибки и поступаясь собственной выгодой. Просто рациональный (расчетливый) клиент или партнер отслеживает лучшие предложения и меняет поставщика в тот момент, когда видит выгоду, или абсолютно рациональный гражданин или сотрудник меняет политическую партию или фирму в тот момент, когда находит того, кто больше соответствует его интересам, также и «не настоящий друг» предан нам до той поры, пока ему выгодно с нами общаться. По-настоящему преданным мы называем человека, готового прощать нам наши ошибки и пожертвовать собственной выгодой ради того, чтобы сохранить отношения с нами.

В этом нам дан важный аспект преданности: она проявляется в моменты кризиса, в ситуациях, когда рационально не необходимо или даже вредно сохранять прошлые отношения (выражение про «пуд соли» именно отсюда). Преданность проверяется или утверждается готовностью партнера принести жертву со своей стороны. И принципиально, что эта жертва не является рациональной в смысле «гамбита», т.е. жертвы, приносимой в расчете на будущий более крупный выигрыш. Если бы преданность заключалась только в способности мыслить в среднесрочной или долгосрочной перспективе – она опять же не отличалась бы от расчетливости. Однако мы говорим о лояльности именно тогда, когда сохранение отношений не гарантирует никакой выгоды. Или мы говорим о лояльности, когда сохранение отношений не просто является рискованной инвестицией, а когда решение о нем принимается вне логики расчета и заботы о собственной выгоде.

Окончательно разводя преданность и расчет, заметим, что к результатам, на которые не может быть рассчитана преданность, следует относить не только простые материальные выгоды или выгоды социального статуса и власти, но также выгоды самоопределения (типа «я продолжаю поддерживать отношения, чтобы сохранить семейную идентичность» или «я продолжаю покупать это, чтобы утвердить собственную идентичность») и выгоды сохранения текущего порядка (сохранения собственных привычек и удобств). Лояльность проявляется в момент изменений и обновления других людей (близких, бренда или политической партии), а не в ситуации сохранения старого, где именно эта сохранность привычного порядка и является предметом, на который рассчитывает лояльность.

Здесь уместно спросить о цели и результате сохранения преданности. Мы уже знаем, что преданность не гарантирует будущую выгоду тому, кто её хранит, так же как и не гарантирует сохранение удобной ситуации в целом.

При этом результатом преданности (и это очевидно) является сохранение отношений с другим. Получается, что преданность сохраняет отношения ради неясного совместного будущего. Она представляет собой аванс другому на то, чтобы он изменился и преобразовал ваши отношения. Причем аванс, выдаваемый в ситуации, когда совершенно неизвестно еще, как именно будут преобразованы ваши отношения и останется ли другой необходимым или приятным. Преданность дается «наперед» в ситуации, когда результаты этого доверия являются неопределенными и сомнительными, она заключается в сохранении отношений ради неясного совместного будущего. Она представляет собой аванс не просто на конкретное будущее, это готовность к новому совместному становлению, это открытость к этому будущему.

Рассуждая о форме дружеского поступка и прощения, мы отмечали, что они возможны только при том, чтобы другой отделялся от его конкретного, наличного существования, а неизвестное будущее воспринималось в качестве цели и блага. В отношении преданности мы можем обнаружить эту же логику. Сохраняя преданность, мы признаем, что в другом человека нас волнуют не его наличные качества – мы преданны не тем его свойствам, которые можем оценить и которые могут исчезнуть в процессе той перемены, которая и требует преданности. Опыт сохранения преданности является и опытом предоставления другому возможности меняться, стать новым в отношении тебя. И так же точно преданность предполагает не сохранение отношений, но только предоставление возможности изменить отношения с тем, кто сам изменится. Поэтому в преданности обнаруживаются отношение к будущему (т.е. к неизвестному и неуправляемому будущему) и вера в то, что само будущее, изменение или становление нового всегда лучше.

Установление справедливости

Последний пример морального опыта, о котором мы будем говорить, – это опыт справедливости. Это пример содержит несколько существенных отличий от тех, которые мы разбирали выше.

Во-первых, справедливость имеет непосредственное отношение к материальным или социальным благам и интересам. Мы можем быть справедливы (или несправедливы), очевидно, только в отношении распределения благ или положения в социальных связях, но не сами по себе. И если до сих пор могло сложиться впечатление, что моральные действия существуют в некотором параллельном мире, принципиально свободном от экономических, политических и социальных интересов, то анализ справедливости должен его разрушить. В этом смысле анализ справедливости может показать нам, что мораль – это не отдельная сфера специфической «моральной» деятельности, но скорее особенная форма действий, которая может быть обнаружена в любой сфере. Справедливым (и моральным) может быть политическое или экономическое действие – неважно, по отношению к чему

оно осуществляется: к производству благ, их распределению или к дистрибуции власти.

Во-вторых, для справедливости характерно некоторое привилегированное положение среди моральных добродетелей. Часто справедливость рассматривается в качестве базового принципа моральности как таковой. Например, «золотое правило нравственности» не просто предполагает должность эквивалентного обмена поступками, но и предполагает необходимость или неизбежность справедливой расплаты. «Поступать так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой», имеет смысл, если ты, во-первых, предполагаешь возможность определить «так же» для любого поступка, а во-вторых, если ты уверен, что другой не будет уклоняться от действия. Здесь можно заметить, что идея справедливости связана вообще с идеей честного обмена. И эта связь нам пригодится в дальнейшем: благодаря ей мы сможем вести анализ опыта справедливости не в контексте возвышенных и абстрактных моральных суждений, а в контексте простого, повседневного опыта обмена.

И, наконец, во-третьих, если разобранные до сих пор примеры моральных поступков явно носили характер действий (дружеский поступок, прощение или сохранение преданности), то в отношении справедливости велик соблазн начать трактовать ее в качестве «свойства», будь то свойство человека (добродетель) или свойство поступка или ситуации («справедливое решение»). Для того чтобы начать разбор справедливости, нам нужно научиться определять справедливость как некоторое особенное действие. С этого и следует начать.

Что означает справедливый поступок или поступок, который совершается в целях справедливости? Кажется достаточно очевидным и простым ответить, что это поступок, который «устанавливает» или «достигает» справедливости. Важно заметить, что мы не говорим о справедливом поступке, как о поступке, который признается таковым со стороны и не имеет цели быть справедливым: если мы хотим анализировать моральную и практическую сущность справедливости, мы должны говорить именно о действии, имеющем своей целью быть справедливым или достичь справедливости.

Итак, установление или достижение справедливости. Сама по себе эта формулировка указывает нам на особенную черту, которая свойственна справедливому поступку. Справедливость нужно устанавливать потому, что в наличии ее нет. Требуется усилие или поступок для того, чтобы достичь справедливости. Интересно, что это усилие еще нужно понимать не только в контексте преобразования ситуации, изменения «положения вещей», но и в контексте «переубеждения» или изменения субъектов. Достижение справедливости часто предполагает, что некоторые участники исходного положения считают текущее положение дел уже справедливым или, если говорить шире, участники не имеют общего мнения о справедливом положении. Установление справедливости, таким образом, предполагает переход из несправедливого положения к справедливому. Давайте теперь спросим о том, каким образом осуществляется этот переход, как достигается справедливость.

Здесь нам важно вспомнить о связи понятия справедливости и логики эквивалентности. Например, можно было бы сказать, что справедливое – это

равное в некотором отношении и достижение справедливости – это достижение равенства. Поэтому достижение справедливости сводится только к тому, чтобы перераспределить блага или социальное положение пропорционально известному эквиваленту. Или же добиться простого равенства кусков пирога. Можно предположить еще какой-то способ измерения эквивалентности, однако справедливость в любом случае поверхностно может рассматриваться в качестве достижения определенного равенства.

Но как можно достичь этого равенства или утверждать эквивалентность? Если принцип, в соответствии с которым происходит распределение, известен заранее и по его поводу нет споров, то сам вопрос о достижении справедливости снимается, справедливость приравнивается к разумности или естественности. Справедливость необходимо устанавливать только тогда, когда принцип измерения равенства неочевиден, а сюжет достижения справедливости заключается в достижении консенсуса относительно справедливого положения.

Очевидно, что нам не следует сейчас пытаться определить истинный принцип справедливости – это приведет к нескончаемым спорам. Для того чтобы продвинуться к решению задачи описания справедливости, нам следует вынести за скобки принцип установления равенства. И в этом нам приходится на помощь реальный опыт. Спуская споры о справедливости с моральных высот на уровень бытовых или экономических сделок, мы заметим, что у справедливой сделки есть одна характерная черта: она состоялась. Справедливой называется та цена, по которой сделка состоялась. Не так важно, как именно стороны пришли к договоренности и тождественны ли принципы соизмерения выгоды в разных сделках, важен сам факт согласия обеих сторон. Это наблюдение указывает на то, как следует анализировать опыт установления справедливости: его следует анализировать через опыт переговоров или опыт заключения сделки.

Что интересно, переговоры могут показаться местом, слабо связанным с моралью или этикой, однако само практическое представление о переговорах прекрасно раскрывает сюжет движения к справедливости. Хотя дальше мы будем говорить о переговорах исключительно в ключе простого повседневного опыта, стоит обратить внимание на социально-философский контекст интереса к теме переговоров. Переговоры в качестве процесса создания типизаций или создания интересов сторон разбирают Бергер и Лукман: «Типизации другого подвергаются вмешательству с моей стороны так же, как мои – вмешательству с его стороны. Другими словами, две схемы типизации вступают в непрерывные переговоры в ситуации лицом-к-лицу. В повседневной жизни такие "переговоры", вероятно, должны быть упорядочены в определенной типичности как процесс типичной сделки между покупателями и продавцами» [9. С. 57]. Здесь в терминологии «типизации» проговаривается то, что мы затем покажем в практическом осмыслении переговоров: переговоры представляют собой не просто отношения или игру между «уже готовыми» личностями, а то место, в котором мое представление о другом и мое представление о себе активно изменяются.

Практический опыт переговоров, вопреки традиционному представлению их в виде рационального взаимодействия сторон, имеющих представле-

ние о собственных интересах, возможностях и правилах взаимодействия с оппонентом, показывает, что переговоры являются тем местом, где производятся и сама договоренность, и позиции сторон, и формируются правила отношений. Это наблюдение мы находим в далекой от академизма и научности практической бизнес-литературе, в приемах ведения успешных переговоров. Мы можем рассмотреть несколько типовых приемов ведения переговоров, которые имеют смысл только в том случае, если переговоры именно формируют принцип эквивалентности и справедливости, а не просто являются обменом информацией.

Приемы, используемые в практических рекомендациях относительно ведения переговоров имеют смысл именно в том случае, если мы мыслим переговоры как место установления интересов, а не их прояснения. Именно так работают приемы, предполагающие, что вместо прямого несогласия со второй стороной или спора с ней по конкретному вопросу мы должны перейти к более широкому контексту (например, ввод возражений через «да, но» или перевод разговора с цены на условия поставки и т.д.). Так работают приемы, предполагающие разрушение уверенности второй стороны в своей позиции (начать с чрезмерно завышенной цены, подвергать сомнению убеждения собеседника). Опытный переговорщик знает, что бессмысленно и вредно пытаться конструировать выгоды другой стороны, а вместо попыток определить справедливую цену или сделать «мое лучшее предложение» имеет смысл лучше сконцентрироваться на самом течении переговоров, на том влиянии, которое оказывают стороны на представления друг друга о справедливом и выгодном исходе. Здесь мы имеем дело не только с практическим советом «быть более чутким и наглым». Кардинально меняется само представление о переговорном процессе: вместо состязания, в котором стороны обсуждают и согласуют заранее существовавшие у них интересы, мы говорим о переговорах. Цели, ценности, представления, существовавшие до переговоров, не имеют значения. Позиции, с которых мы будем оценивать результат, сформируются только по окончании переговорного процесса как элементы (но не источники) возникших отношений.

Действительно, переговоры не были бы необходимы, если бы у сторон изначально был консенсус относительно их интересов и оценки предложений. И переговоры не были бы практически осмыслены, если бы они не позволяли достичь изменений сторон. Переговоры, так же как и прощение, необходимы там, где нужно преодолевать текущую ситуацию. Именно поэтому установление справедливости, которое мы видим в переговорах, представляет собой не прояснение и согласование наличных позиций сторон, а выход за пределы их наличных интересов и представлений о себе. Переговоры – это конструирование новой социальности и новых субъектов, ведь старые субъекты не могли бы договориться, если бы не изменились.

«Моральная задача» переговорщика заключается не в том, чтобы учесть интересы, возникшие до отношений, мораль и забота о другом заключаются в том, чтобы сами отношения определенным образом «зарядить», сделать их насыщенными и способными реально запустить процесс изменения позиций и изменения личностей переговорщиков. Критерии успешности, т.е. критерии выгоды, на самом деле не существуют до того, как мы вступили в сами

переговоры. Более того, эти сами переговоры являются одним из тех благ и выгод, ради которых затеваются переговоры. В этом смысле переговоры аморальны – они осуществляются еще до того, как мы определили пользу для второй стороны. (И это, кстати, значит, что не имеет смысла иметь чаяния на справедливые или взаимовыгодные переговоры). Польза другой стороны должна нами совместно создаваться в результате самих переговоров, а не предугадываться. Установление справедливости, которое имеет место быть в результате переговоров, возможно, именно благодаря практической реализации выхода за пределы наличного существования в рамках переговорного процесса.

Интересно заметить, что установление справедливости работает аналогичным образом и вне повседневно-экономической логики, а, например, когда мы говорим о социальной или политической справедливости. Аналогию мы можем увидеть в концепции популизма в политической теории в духе Лакло [10]. Тут мы говорим о том, что как только требования справедливости признаются элементом социально-экономических интересов, мы тут же теряем саму возможность их выдвигать: они становятся элементом текущей политической структуры и теряют само моральное значение. Моральные требования справедливости в политике оказываются в конечном итоге чем-то, что не может иметь оснований по определению, но что конструирует собственные основания в новом политическом порядке и в новом понимании народа как целого. Таким образом, моральная забота о справедливости может быть представлена только в том случае, если она теряет почву под ногами, если она не имеет явных целей или оснований, находящихся внутри социального порядка. Моральность справедливости обосновывается антонимичными требованиями, схожими с другими моральными ситуациями: ее нельзя желать по расчету.

Наконец, призыв к социальной или политической справедливости, предполагающий забвение собственных интересов, имеет смысл тогда, когда его результатом оказывается перестройка социальных и политических отношений. Политика становится событием в тот момент, когда она выдвигает «невозможное» требование [11. С. 63, 73]. А эта «невозможность требований», с которых должно начаться событие политики, следует именно из того, что эти требования имеют моральную природу. Сама возможность вообще поставить нереальные требования предполагает необходимость выйти из контекста «реальной политики» в какое-то внешнее пространство, она предполагает наличие иной опоры для требования, нежели логика (прагматика и рационализм) действующего режима. Моральные требования политической справедливости позволяют произвести реальность или онтологию, в которой возможна пересборка всего порядка политического целиком. Практические поиски политической справедливости имеют своим результатом производство (или попытку производства) позиции, находящейся вне наличного сущего. И, таким образом, создают определенную социальную онтологию.

Итак, что же значит устанавливать справедливость в практическом смысле? Установление справедливости происходит всегда как поиск некоторой новой внешней точки зрения, с которой мы можем достигать консенсуса. Переговоры и установление справедливости – это поиски нового. И эти по-

иски сами происходят только потому, что мы верим, что вне наличного существования есть некоторая новая позиция, которая делает наши отношения справедливыми или делает наши отношения возможными вообще. Форма установления справедливости оказывается схожей с тем, что мы видели в дружбе, прощении или преданности: она основана на утверждении возможности нас самих, других и отношений между нами быть совершенно новыми, не следовать из текущего состояния, а превосходить его.

Форма и смысл морального поступка

После того, как мы разобрали несколько примеров моральных поступков, имеет смысл обобщить их общие черты и поговорить об общей форме и смысле морального поступка. В первую очередь мы должны обратить внимание на то, что в реальном опыте моральный поступок обнаруживается в качестве сложности или апории. Суть этой сложности заключается в том, что мы не можем определить цель морального поступка ни в достижении некоторого внешнего результата, ни в самой моральности как таковой. (В терминологии Аристотеля можно сказать, что моральное действие не представимо ни как праксис, ни как поэзис.) Так, если мы говорим о том, что моральный поступок реализует некоторые рациональные цели (приносит пользу) или соотнобразуется с природной (или социальной) необходимостью, то в таком случае сама его моральность оказывается производной от рационального расчета или природной необходимости. Моральность такого поступка теряет собственный смысл, и в своем реальном опыте мы это прекрасно чувствуем и не называем рациональный поступок моральным. Аналогично этому представление цели морального поступка в самой моральности как таковой также выглядит неверно и противоречит нашему опыту морального. Совершение «хорошего» поступка ради собственного морального удовлетворения выглядит обманом.

В чем же тогда фактически заключается результат дружеского поступка? А на что рассчитывает человек, который действует морально? Моральный поступок всегда соотнобразуется с чем-то, что мы не можем найти ни в своем существовании, ни в существовании другого, ни в отношениях между нами, ни в наших актуальных возможностях. Он имеет смысл, если мы предполагаем результатом новые отношения с другим и (или) новую идентичность другого. Моральный поступок совершается в расчете на новое, неопределенное будущее. Он открывает возможность неопределенного будущего. Об этом можно сказать по-другому: моральный поступок дает нам возможность иметь отношение к этому выдающемуся или неопределенному будущему.

В этом месте проходит очень важная грань, которая определяет наш подход от традиционных этик. В достаточно общей классификации этики можно разделить на консеквенционалистские либо деонтологические. Первые предполагают, что моральность действия определяется его отношением к наилучшим последствиям, которые можно трактовать в духе пользы, счастья, личной добродетели и т.д. Вторые считают, что есть некоторый универсальный и абсолютный моральный закон, соответствие которому и определяет моральную правильность поступка.

Однако этика, которую мы встречаем в реальном опыте, не может быть конвенционалистской из-за специфичности результата морального поступка. Мы, конечно, говорим о результате, с которым соизмеряется моральность поступка, но это не тот результат, на который можно рассчитывать. Говоря более точно, неопределенное будущее по определению не может являться результатом морального поступка, так как не может быть гарантированным результатом в принципе. Моральный поступок поэтому, хоть и практичен, однако это специфическая практичность: моральный поступок совершается в расчете на рискованный результат, на результат, который нельзя просчитать и на который можно только надеяться. Моральное не есть нечто, привнесение чего в ситуацию делает ее открытой новому. Но скорее совершение таких действий, которые производят открытость, мы называем моральным.

С другой стороны, наша этика не является и деонтологической. Кант описывает моральность как способность (в тех же самых условиях) устанавливать всеобщие законы [2. С. 276], как способность воли устанавливать собственный закон [2. С. 280–283], и этим самым действительно очень точно вычерчивает один из аспектов формальной сущности морали. Мораль действительно всегда действует с позиции «абсолютного», выходящего за пределы наличного, несводимого к его свойствам или тенденциям.

Однако это определение, хотя и является верным, но остается далеким от реальной практики, оно не отвечает на вопрос о том, «ради чего я буду так действовать». И, как только сама эта форма начинает трактоваться в качестве абсолютного морального закона или эталона, мы рискуем утратить мораль. С одной стороны, она может превратиться в самолюбование, заботу о собственной моральности как таковой и утратить искренность – этот аспект критики категорического императива можно найти, например, у Адорно [12. С. 190], с другой – быть сведена к необходимости теоретического плана, когда мы вслед за Кантом начнем утверждать, что разумная природа человека должна быть выражена в конце концов в его способности устанавливать закон собственного поведения.

Когда же мы говорим о том, что моральный поступок только воспроизводит форму наступления будущего, мы утверждаем нечто совершенно иное. Мы не говорим о его соответствии природе разума или устройству мира. Утверждение о том, что моральный поступок совершается в расчете на неопределенное будущее, не трактуется нами в качестве морального закона или принципа, который ценен сам по себе. Моральный поступок возможен именно тогда, когда неопределенное будущее рассматривается в качестве цели и ценности само по себе. Это неопределенное будущее, несводимое ни к будущему конкретных отношений (например, дружбы или общности), ни к будущему конкретного человека.

Выше мы формулировали уже апорию морального опыта в контексте поступка и его результата. Можно ее сформулировать и ближе к языку этической теории. А именно, мы можем сказать, что моральное должное предполагает, что я одновременно и хочу и не хочу должного. Я не должен относиться к морально должному как к должному. А как к чему я тогда могу к нему относиться? Я могу к нему относиться только как к возможности,

причем как к возможности совершенно неопределенной, как к чистой возможности. Почему, говоря об опыте морального поступка, мы будем говорить о том, что этот опыт дан нам в качестве опыта отношения к бытию.

Литература

1. *Аристотель*. Никомахова этика // Аристотель Сочинения в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 53–295.
2. *Кант И.* Основы метафизики нравственности. Сочинения в шести томах. М.: Мысль 1965. Т. 4, ч. 1. 540 с.
3. *Деррида Ж.* Эссе об имени. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 190 с.
4. *Левинас Э.* Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 416 с.
5. *Агамбен Дж.* Грядущее сообщество. М.: Три квадрата. 2008. 144 с.
6. *Derrida J.* On Cosmopolitanism and Forgiveness. Psychology Press, 2001. 60 p.
7. *Томильцева Д.* Опыт прощения. Екатеринбург: Изд-во Урал. фед. ун-та, 2012.
8. *Gert B.* Loyalty and Morality (2013) // Loyalty: NOMOS LIV (Ed. Sanford Levinson, Paul Woodruff, Joel Parker). NYU Press. P. 3–21
9. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.
10. *Laclau E.* On Populist Reason. Verso, 2005. 276 p.
11. *Бадью А.* Этика: Очерк о сознании Зла. СПб.: Machina. 2006.. 126 с.
12. *Адорно Т.* Проблемы философии морали. М.: Республика. 2000. 238 с.

Zheleznov Andrey S. Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia)

E-mail: andrey.zheleznov@live.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/11

THE CONCEPT AND THE FORM OF THE MORAL ACTION

Key words: moral, ethics, practice, moral action, friendly action, forgiveness, justice, loyalty

In the experience of the moral action we can find such obviousness, which could give us a way to find the ethics. Moral actions are the conscious or reasonable actions caused by moral considerations or by idea of the moral due. Examples of moral actions are the friendly action, the forgiveness, the loyalty and the justice. Description of friendly act contains important difficulty: a friendly act can't take place or for the sake of some external purposes or in order to seem friendly. And the is not so much that it is not defined in any state of things (rational or social definition), but the fact that it generally difficult to describe as a reasonable, sequential action: the presence of intention makes a friendly act as such makes it impossible. Therefore, to understand as possible friendly act as a conscious or sequential action, we have to assume such motives, or a position that would not be reduced to the status quo, or to an value morality as such. Similarly, can be described the experience of forgiveness. As well as a friendly act, forgiveness contains rational contradiction: "forgiveness can only be unforgivable". Indeed, if in the act of forgiveness we dealt with what should (or allowed) to forgive, it would have abolished the very need of forgiveness as some special act, special actions. Forgiveness (as well as a friendly act) is inexplicable in terms of "reality" - the real situation and the actual social relations. It is explicable only if it involves an uncertain future, or if it admits that future surpasses any opportunities to present themselves or to present the relationship with the abuser. Thus, the analysis of the experience of acts done for moral reasons, shows us that the ethical experience is essentially an experience of openness to the future or to the possibility of being. Description of the real ethical experience it requires the identification of rational contradictions: moral actions violate current order relations, they have no reason in the order of things, but also have no reason in the independent value of morality as such. We recognize as moral such act as gives an opportunity to make the future or being realized.

References

1. Aristotle. (1983) *Sochineniya v 4 t.* [Works. In 14 vols]. Vol. 4. Moscow: Mysl'. pp. 53–295.

2. Kant, I. (1965) *Osnovy metafiziki npravstvennosti. Sochineniya v shesti tomakh* [Fundamentals of metaphysics of morality. Works in 6 vols]. Translated from German. Vol. 4. Moscow: Mysl'.
3. Derrida, J. (1998) *Esse ob imeni* [Essays about the name]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteyya.
4. Levinas, E. (2000) *Izbrannoe. Total'nost' i Beskonechnoe* [Selected Works. Totality and Infinite]. Translated from French by I.S. Vdovina, B.V. Dubin, N.B. Mankovsky. Moscow; St. Petersburg: Universitetskaya kniga.
5. Agamben, J. (2008) *Gryadushchee soobshchestvo* [The Coming Community]. Translated from Italian by D. Novikov. Moscow: Tri kvadrata.
6. Derrida, J. (2001) *On Cosmopolitanism and Forgiveness*. Psychology Press.
7. Tomiltseva, D. (2012) *Opyt proshcheniya* [Experience of Forgiveness]. Ekaterinburg: Ural Federal University.
8. Gert, B. (2013) Loyalty and Morality. In: Levinson, S., Woodruff, P. & Parker, J. (eds) *Loyalty: NOMOS LIV*. New York Press. pp. 3–21
9. Berger, P. & Lukman, T. (1995) *Sotsial'noe konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [Social construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge]. Translated by E. Rutkevich. Moscow: Medium.
10. Laclau, E. (2005) *On Populist Reason*. Verso.
11. Badiou, A. (2006) *Etika: Ocherk o soznanii Zla* [Ethics: Essay on the Consciousness of Evil]. Translated from French by V.E. Lapitsky. St. Petersburg: Machina.
12. Adorno, T. (2000) *Problemy filosofii morali* [Problems of the philosophy of morality]. Translated from German by M.L. Khorkov. Moscow: Respublika.

УДК 304.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/12

Е.А. Кирсанова

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ СТРИТ-АРТА: ГЕНЕЗИС И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА

За последние десять лет отмечен активный рост исследовательского интереса к такому глобальному социально-культурному феномену, как стрит-арт. При этом до настоящего момента идут академические дискуссии относительно сущности стрит-арта, его генезиса и даже легитимности самого термина. Рассмотрены основные концепции генезиса стрит-арта и достигнутые научные конвенции в понимании сущности данного социально-культурного феномена.

Ключевые слова: стрит-арт, граффити, социальные практики, художественные практики.

В настоящее время существует достаточно большое количество версий определения такого глобального социально-культурного феномена, как стрит-арт (Street Art, уличное искусство). При этом до сих пор проблема дефиниции является достаточно актуальной в научном дискурсе о художественных практиках в современном городском пространстве. Как отмечает немецкий исследователь городской визуальной культуры Ули Бланш, попытки создания единого определения стрит-арта, легитимация данного термина и споры о сущности стрит-арта продолжают носить характер международной академической дискуссии [1. С. 33].

Одним из ключевых и открытых вопросов является вопрос генезиса стрит-арта. Подавляющее большинство исследователей говорит о формировании стрит-арта из более ранней практики, граффити. В то же время вопросы о генезисе самого граффити и проблемы преемственности и разделения граффити и стрит-арта также остаются достаточно дискуссионными.

На данный момент обозначились две основные версии генезиса граффити/стрит-арта. В рамках первого подхода граффити рассматривается как коммуникативная практика, которая возникает и развивается начиная с периода древних культур, прежде всего Древнего Рима. Определяя исторические граффити, Большая советская энциклопедия дает такое описание: «Граффити (итал. graffiti, множественное число от graffito, буквально – царапанный) – посвятительные, магические и бытовые надписи на стенах зданий, металлических изделиях, сосудах и т.п. Граффити в большом количестве находят во время раскопок древних и средневековых городов и поселений во многих странах мира. Почти на всех древнерусских зданиях имеются граффити; особенно интересные в Софийских соборах Киева и Новгорода. Граффити вводят в малоизученную область живого языка древнего населения, пополняют сведения по палеографии» [2]. Исследователи древнеримских или средневековых граффити изучают их как культурный феномен открытой коммуникации, фиксируя смыслы, формы и цели

разнообразных посланий. Говоря об исследованиях исторических граффити в российской науке, необходимо вспомнить о работах таких ученых, как С.А. Высоцкий, И.И. Толстой и А.А. Медынцева, для которых граффити становятся базой в изучении различных аспектов средневековой истории, прежде всего в её повседневно-коммуникативном аспекте: бытовая и интимная переписка, заклинания, молитвы, посвящения, проклятия и обличения и т.д.

Подобный вариант традиционных текстовых граффити как открытых сообщений в пространстве города сохранился и в современности. Самыми известными и изученными жанрами в настоящее время являются граффити в учебных заведениях (школьные, студенческие), фанатские и политические граффити и даже такая отдельная разновидность, как *bathroom graffiti* (граффити в общественных уборных).

Исследовательская парадигма, включающая современное американское граффити, возникшее в 1960-е годы, в историческую цепочку развития традиционных граффити (с древних времен), обосновывает данный подход через идею коммуникативных практик. В ситуации с современными граффити мы также имеем дело с коммуникацией, но теперь закрытого типа: параллельно с традиционными текстовыми граффити возникают граффити-тэги (авторский логотип, подпись, никнеймы), которые изначально осуществлялись криминальными молодежными группировками как способ обозначения границ территорий влияния или представителями различных молодежных субкультур. В любом варианте (криминальном или субкультурном) данные изображения были понятны только представителям соответствующих сообществ, замыкая коммуникацию посредством тэгов внутри данных сообществ. Стрит-арт в данном контексте также считается продолжением существующих с древности городских практик – здесь вспоминаются незаконные изображения на стенах храмов и домов, не относящиеся к храмовым росписям или декоративной живописи.

Второй подход к генезису граффити/стрит-арта основывается на необходимости выделения современного граффити как уникального культурного феномена, берущего своё начало в протестных явлениях европейской и американской истории второй половины 1960-х годов и связанного не с длинной цепочкой эволюционного развития настенных росписей, а с кардинальной трансформацией в культуре XX века.

Данный подход впервые предложил Ж. Бодрийяр в работе «Символический обмен и смерть», где граффити посвящена отдельная глава («KOOL KILLER, или Восстание посредством знаков»). Бодрийяр рассматривает американские граффити в контексте своей концепции симулякров как феномен, подрывающий тиранию знаков и знаковых систем, сложившихся в рамках капиталистической системы. Основным пространством властной тирании знаков/кодов становится современный город. Появление и массовое распространение граффити Ж. Бодрийяр определяет как новый тип протестного выступления на сцене города. Город, по Ж. Бодрийяру, превратился в сплошное гетто знаково-символических систем. На смену городу как политико-индустриальному полигону приходит город как полигон знаков, кодов, средств массовой информации. Подобное устройство современной жизни городов Ж. Бодрийяр называет «семиократией». В современном городе все

разобщены, власть кодов и знаковых систем встраивает человека в определенные жизненные траектории, апеллирующие к индивидуализму и разрушающие все виды солидарности – соседскую, фабричную, классовую.

Как отмечает Ж. Бодрийяр, «в подобных условиях радикальным бунтарством становится уже заявить: “Я существую, меня зовут так-то, я с такой-то улицы, я живу здесь и сейчас”. Но это было бы еще только бунтарством ради идентичности — борьба против анонимности, отстаивание своего имени и своей реальности. Нью-йоркские граффити идут дальше: всеобщей анонимности они противопоставляют не имена, а псевдонимы. Они стремятся вырваться из комбинаторики не затем, чтобы отвоевать все равно недостижимую идентичность, а чтобы обернуть против системы сам принцип недетерминированности — обратить ее в истребительную экстерминацию. Код оказывается обращен сам против себя, по своей же логике и на своей же территории, что позволяет победить его, превзойдя в ирреференциальности» [3. С. 159].

Граффити-тэг – это пустой, не содержащий информации знак, противостоящий тотальному манипулированию обществом посредством знаковых систем современного социума. Именно эта пустота становится той силой, которая одним своим бытием в пространстве города разлагает его знаковую систему, декодирует городские пространства. «Непобедимые в силу самой своей скудости, они противятся любой интерпретации, любой коннотации, да и денотата у них нет никакого; избегая как денотации, так и коннотации, они тем самым оказываются неподвластными и самому принципу сигнификации и вторгаются в качестве пустых означающих в сферу полновесных знаков города, разлагая ее одним лишь своим присутствием ... Это вытекает из революционной интуиции – догадки о том, что глубинная идеология функционирует теперь не на уровне политических означаемых, а на уровне означающих, и что именно с этой стороны система наиболее уязвима и должна быть разгромлена» [3. С. 160–162].

Ж. Бодрийяр противопоставляет граффити и возникший в 1970-е проект City Walls, который манифестировал преобразование городских пространств посредством росписи стен и других поверхностей с целью создания дружественной среды обитания для горожан. Ж. Бодрийяр считает, что попытки социального преобразования неблагополучных районов через приобщение к искусству (художник выходит из пространства галереи и работает на улице, видя свою миссию в просвещении через искусство социальных низов), по сути, являются симулякром, так как родились и существуют в той системе знаковой диктатуры, против которой выступает Ж. Бодрийяр. «Все, что они могут сделать, это оживить, очеловечить, переоформить городской пейзаж, «оформить» его в широком смысле слова. То есть симулировать обмен и коллективные ценности, симулировать игру и нефункциональные пространства» [3. С. 164].

Ещё одним важным аспектом, согласно Ж. Бодрийяру, становится представление о граффити как о коллективной практике, возвращающей в город подобие архаических ритуалов. Тэги, покрывающие все возможные городские поверхности, Ж. Бодрийяр уподобляет татуировкам, которые проявляют, делают видимым бытие города как некоего тела. Таким образом, тоталь-

ное распространение граффити позволяет обрести телесность самому современному городу. При этом проявленное тело эротизировано их начертанием, как эротизирован и сакрализован сам акт создания граффити. «Покрывая стены татуировкой, Supersex и Superkool освобождают их от архитектуры и возвращают их в состояние живой, еще социальной материи, в состояние колышущегося городского тела, еще не несущего на себе функционально-институционального клейма. Исчезает квадратная структура стен, ведь они татуированы как архаические медали. Исчезает репрессивное пространство/время городского транспорта, ведь поезда метро несутся, словно металлические снаряды или живые гидры, татуированные с головы до пят. В городе вновь появляется что-то от родоплеменного строя, от древней наскальной живописи, от дописьменной культуры, с ее сильнейшими, но лишенными смысла эмблемами – нанесенными прямо на живую плоть пустыми знаками, выражающими не личную идентичность, но групповую инициацию и преемственность» [3. С. 164].

Таким образом, для Ж. Бодрийера граффити – это новая уникальная форма восстания против диктатуры знаковых систем современного капиталистического мира, которая осуществляется через подрыв и декодирование этой системы посредством «пустоты» как родового признака граффити-тэгов и в то же время возвращает в современный город несимулятивные виды человеческой солидарности/общности и акты/практики архаичного коллективного творения бытия. При этом современное американское граффити является совершенно новым социальным феноменом, родившимся как протест против современного общественного устройства и не имеющим прямых аналогов в предшествующих эпохах.

В связи с этим Ж. Бодрийер выступает резко против возможного идеологического перехвата граффити-протеста, который, по его мнению, начал осуществляться двумя способами:

1) через переосмысление граффити как искусства, т.е. через эстетическую редукцию как фундаментальную форму господствующей культуры. Данная редукция возникла одновременно с появлением нью-йоркских граффити и осуществлялась через описание данного феномена как уходящей в глубину тысячелетий первобытнообщинной, незлитарной формы абстрактного экспрессионизма или нового проявления народного творчества.

2) через истолкование граффити в понятиях борьбы за идентичность и свободу личности. «Это буржуазно-гуманистическое толкование, исходящее из нашего чувства фрустрации в анонимности больших городов» [3. С. 166].

Оба способа, соответственно, наделяют пустоту граффити смыслами, что приводит к искажению «сущности граффити как протеста в сфере означающих, призванного разрушить семиократическую природу общества» [3. С. 165].

Ж. Бодрийер полностью исключает художественный компонент из граффити. Более того, отнесение граффити к художественной практике, по мнению Ж. Бодрийера, разрушит сам феномен, включив его в систему капиталистического мира, в воспроизведение массовых общественных отношений и лишит его революционного подрывного характера.

Такой радикальный взгляд на природу граффити противоречил эстетическим импульсам, характерным для развития самих американских граффити. Уже к 1973 г. начинают складываться стили граффити, и от простого, сделанного маркером или спреем буквенного автографа райтеры всё больше уходят в сторону технической изощренности и мастерства исполнения надписи, экспериментируя с различными шрифтами и визуальными эффектами. Буквы уже не только быстро пишутся, но и рисуются на поверхностях как прихотливая вязь. Яркие, броские, виртуозные в исполнении надписи начинают привлекать внимание представителей художественного сообщества именно как новая *художественная* практика в общественном городском пространстве. Поэтому если брать за основу трактовку американских граффити Ж. Бодрийяром, то, во-первых, нам придется признать не развитие граффити, а его деградацию при усилении художественной компоненты. А, во-вторых, такой феномен, как стрит-арт, не может иметь корней в «бодрийяровском» граффити или может восприниматься как дальнейший процесс разрушения сущности и природы граффити.

При этом необходимо отметить, что многие выводы в отношении граффити, сделанные Ж. Бодрийяром, стали базовыми для современных исследователей. Прежде всего, это касается хронологии современного граффити и стрит-арта, начинающейся во второй половине XX в., а не уходящей корнями в глубь веков. Ж. Бодрийяр говорит об уникальности американских граффити как нового феномена, поскольку они не базируются на текстовом послании, как это было ранее. Также большинством исследователей признается факт возникновения современных граффити внутри протестных движений второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. Поэтому активно сохраняется идея протестного, оппозиционного характера граффити и стрит-арта и нелегитимного захвата/присвоения городских поверхностей как одних из главных характеристик данных практик. Безусловно, взгляды Ж. Бодрийяра повлияли на проблематику телесного и телесности в исследованиях граффити и стрит-арта.

В то же время процесс трансформации граффити является объективным и зафиксирован начиная с начала 1970-х гг. Граффити всё более усложняются технически, шрифтовой вариант обогащается фигуративными изображениями. На улицу приходят профессиональные художники и самоучки, которые используют стилистику граффити для создания своих произведений как открытых коммуникативных посланий, выходящих за рамки субкультуры граффити. Появляются популярные уличные художники со своей индивидуальной манерой (Баския, Кит Харинг). Кроме того, появляются и новые техники создания настенных изображений, такие как трафарет и постеры/стикеры/наклейки. Данные изменения провоцируют разговоры о необходимости дать определение новой художественной активности, происходящей на улицах североамериканских и европейских городов. Существовавший к тому времени термин «граффити» не позволял адекватно отразить возникшее явление. Поэтому появляются новые термины, такие как Urban Art, Street art, Post-graffiti.

Термин стрит-арт (Street art) появился ещё в 1970-х, но использовался по преимуществу для обозначения легальных настенных росписей и муралов,

как в книге Роберта Коммера 1975 г. «Street art». Также в 1990 г. вышел перевод советского издания книги «Street Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918–33», рассказывающей об искусстве пропаганды в новом советском государстве. В современном значении как определение новой художественной активности, не связанной с государственными институтами или общественными/коммерческими заказами, а возникающей спонтанно и нелегально на улицах города, термин «стрит-арт» начал использоваться только со второй половины 1990-х годов, одновременно с Urban Art и Post-graffiti. Джулия Рейнеке отмечает, что этот термин впервые испытал информационный «прорыв», заняв главенствующее положение в СМИ в 2005 г. После 2004 г., термины Post-graffiti и «стрит-арт» конкурировали друг с другом за доминирование в англоязычных интернет-форумах, где художники, райтеры (граффитисты) и другие представители культурных сообществ вели бурные дискуссии по вопросам терминологии. Каждый из этих терминов подчеркивает различные аспекты того, что мы сейчас называем стрит-артом спустя десять лет. «Пост-граффити ложно подразумевает, что граффити – это то, что ушло в прошлое, в то время как стрит-арт по сути вырос из граффити, особенно в свете техник и используемого материала и биографических траекторий уличных художников» [4. С. 12]. Дискуссии, разворачивавшиеся в интернет-пространстве, имели своё продолжение в академической среде, но уже к 2007 г. определилось лидерство в использовании термина «стрит-арт» и разграничение в обозначениях таких явлений, как «стрит-арт» и «граффити».

На данный момент большинство исследователей стрит-арта соглашаются с тем, что данное явление эволюционировало (выросло) из американского граффити, но не идентично ему.

Известный исследователь граффити и стрит-арта Анна Вацлавек в своей книге «Graffiti and Street Art» [5] описывает граффити «как часть городского опыта новых значимых агентов – молодежи и молодежных субкультур, использующих доступные городские пространства для манифестации своего существования» [6. С. 138]. Здесь А. Вацлавек отчасти встает в оппозицию Ж. Бодрийяру, считавшему, что рассмотрение граффити как попытки создания/обретения идентичности является только поверхностной интерпретацией данного явления. Но при этом А. Вацлавек также отмечает, что граффити – «это обретение собственного голоса, декларативной идентичности в ситуации анонимности и обезличенности современного мегаполиса, как способ формирования действенных солидарностей» [6. С. 139]. Таким образом, как и Бодрийяр, она говорит о протестном характере граффити и о формировании новых солидарностей. Практика граффити-райтинга, как разделенный опыт городской молодежи, рождает новый тип городских самоорганизующихся сообществ и групп. Можно сказать, что А. Вацлавек придерживается ставшего классическим понимания природы раннего нью-йоркского граффити как формы самоидентификации личности чаще всего через причастность к определенной субкультуре и проявление себя в городском пространстве посредством тэгов. А. Вацлавек отмечает, что граффити является достаточно закрытой формой коммуникации, понятной только посвященному зрителю.

Стрит-арт в отличие от граффити формируется как более демократичный медиум, направленный на коммуникацию с максимально широкими аудиториями. На смену тэгам приходят различные по содержанию послания: порой остросоциальные, иногда юмористически отражающие повседневность или стремящиеся украсить её, созданные в разнообразных техниках и с помощью различных материалов. Как отмечает А. Вацлавек, «стрит-арт значительно более символичен и фигуративен: интересный и запоминающийся шрифт, составляющий основу современного граффити-высказывания, заменяется здесь интересным и запоминающимся образом» [7. С. 221]. Она также подчеркивает открытость стрит-арта: в отличие от граффити-райтеров художники стрит-арта нацелены на коммуникацию с горожанами, их послания должны быть понятны как можно большему числу горожан. Более того, художник стрит-арта зачастую делает горожанина соучастником своей работы, включая его в рефлексию как в отношении произведения, так и собственно городского пространства и города в целом.

Необходимо заметить, что в стрит-арте меняется и автор – теперь это не только мальчишки из неблагополучных районов, но и более подготовленные, иногда имеющие профессиональное образование, художники, которые продолжают традиции «подрывного характера» городских художественных практик.

По мнению российского культуролога Дмитрия Голынка-Вольфсона, «для уличных художников принципиально важно сохранить за собой репутацию независимых захватчиков городской среды, обживающих и присваивающих ее через нанесение графических тэгов. Стрит-арт сознательно балансирует на грани между искусством и вандализмом, между свободным самовыражением и разнузданным хулиганством, между разрешенным и уголовно преследуемым, между эстетическим и правовым полем» [8]. Другой исследователь стрит-арта, Наталья Самутина, относит к стрит-арту все типы изображений, которые не производятся непосредственно властями и партиями (как памятники и агитация) или коммерческими организациями (как реклама). Она включает в него всё то, что люди и сообщества людей производят сами. Основным признаком стрит-арта становится «неформальность изображений» [9. С. 5].

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время достигнута определенная исследовательская конвенция в понимании генезиса стрит-арта, возникшего как продолжение развития американских граффити 1970-х годов. Версия развития современного, американского граффити (а также выросшего из него стрит-арта) из традиционного граффити постепенно вытесняется из научного дискурса, уступая место концепции, предложенной Ж. Бодрийяром. Также можно говорить и о достигнутой конвенции в понимании сущности данного социально-культурного феномена. Несмотря на коммерциализацию и институционализацию стрит-арта, его главными характеристиками большинство исследователей считает: стремление к борьбе за перераспределение публичного пространства; нелегальный захват городских пространств и поверхностей; открытую экспансию и тотальное распространение новых символических систем, кодов и образных посланий; протестный характер; свободное высказывание на политические и социальные темы;

выстраивание диалога с горожанами (открытая, диалогическая коммуникация); недолговечность создаваемых объектов; балансирование на грани между искусством и вандализмом.

И хотя дискуссии о специфике стрит-арта продолжаются, сегодня наблюдается, как отмечают Н. Самутина и О. Запорожец, постепенный переход «от более простых эссенциалистских вопросов (таких, как «Что такое стрит-арт и чем он отличается от граффити?»; «Перестает ли легальный стрит-арт быть стрит-артом?» и т.п.) к более подвижным контекстуальным логикам, а от исследований самого стрит-арта – к тем социальным отношениям, коммуникативным механизмам, проблемным конфигурациям, которые можно исследовать с помощью стрит-арта» [9. С. 6].

Литература

1. *Blanché U.* Street Art and related terms – discussion and attempt of a definition // *Street & Urban Creativity. Scientific Journal.* 2015. Vol. 1, №. 1. P. 32–40.
2. *Большая советская энциклопедия.* М., 1969–1978.
3. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2000.
4. *Reinecke J.* Street-Art. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz – Bielefeld: Transcript, 2012.
5. *Waclawek A.* Graffiti and Street Art. London, 2011.
6. *Запорожец О.* Anna Waclawek. Graffiti and Street Art // *Laboratorium: Журнал социальных исследований.* 2012. № 3. С. 238–240.
7. *Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В.* Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной городской культуры // *Неприкосновенный запас.* 2012. № 86 (6). С. 221–244.
8. *Голышко-Вольфсон Д.* Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды // *Художественный журнал.* 2011. № 81. [Электронный ресурс]. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/225> (дата обращения: 17.05.17).
9. *Самутина Н., Запорожец О.* Стрит-арт и город // *Laboratorium: Журнал социальных исследований.* 2015. № 2. С. 5–7.

Kirsanova Ekaterina A. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russia)

E-mail: ekirsanova@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/12

SOCIALLY-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CONCEPTS OF STREET ART: THE APPROACHES TO THE DEFINITION AND ORIGIN OF THE PHENOMENON

Key words: *street art, graffiti, social practice, art practice*

The last ten years researching street art as a large-scale socio-cultural phenomena has increased many times over. But until now, researchers discuss about the nature of street art, its genesis, and even the legitimacy of the term. One of the key open issues is the question of the Genesis of street art. One of the key open questions is the question of the genesis of street art. The vast majority of researchers speak about the formation of street art from the earlier practice of graffiti. At the same time, questions about the genesis of the graffiti and the problem of continuity and separation of graffiti and street art are quite controversial. Currently, the research Convention is achieved in the understanding of the Genesis of street art, which appeared as the continuation of the development of American graffiti 1970-ies.. Most researchers agree with the concept of Baudrillard, which considers the American graffiti as a new socio-cultural phenomenon, born in the protest movement of American cities and different in their characteristics from traditional graffiti. Thus, the version of the genesis of modern American graffiti (but also grew out of his street art) from traditional graffiti is gradually replaced by scientific discourse. In addition, researchers have reached the Convention in understanding the essence of this socio-cultural phenomenon. Despite the commercialization and institutionalization of street art, most researchers consider it the essential signs of the desire to fight for the redistribution of public space, illegal occupation of urban spaces and surfaces, an open expansion and the total spread of new symbolic systems, codes and descriptive messages; the nature of the protest, free expression on political and social issues, and building dialogue with citizens (open, dialogical communication);

the fragility of created objects; balancing on the verge between art and vandalism. While discussions about the specifics of street art have continued, there is a gradual transition from a simple essentialist questions about the nature of street art to a more mobile contextual logic, allowing through street art to explore the various aspects of social relationships and practices.

References

1. Blanché, U. (2015) Street Art and related terms – discussion and attempt of a definition. *Street & Urban Creativity. Scientific Journal*. 1(1). pp. 32–40.
2. Prokhorov, A.M. (ed.) (1969–1978) *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
3. Baudrillard, J. (2000) *Simvolicheskiy obmen i smert'* [Symbolic Exchange and Death]. Translated from French by S. Zenkin. Moscow: Dobrosvet.
4. Reinecke, J. (2012) *Street-Art. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz* [Street Art. A subculture between art and commerce]. Bielefeld.
5. Waclawek, A. (2011) *Graffiti and Street Art*. London: Thames and Hudson.
6. Zaporozhets, O. (2012) Anna Waclawek. Graffiti and Street Art. *Laboratorium: Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy – Laboratorium. Social Research Journal*. 3. pp. 238–240.
7. Samutina, N., Zaporozhets, O. & Kobysheva, V. (2012) Ne tol'ko Banksy: strit-art v kontekste sovremennoy gorodskoy kul'tury [Not only Banksy: Street art in the context of modern urban culture]. *Neprikosnovenny zapas*. 86(6). pp. 221–244.
8. Golyenko-Wolfson, D. (2011) Strit-art: teoriya i praktika obzhivaniya ulichnoy sredy [Street art: The theory and practice of obtaining the urban environment]. *Khudozhestvennyy zhurnal – Moscow Art Magazine*. 81. [Online] Available from: <http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/225>. (Accessed: 17th May 2017).
9. Samutina, N. & Zaporozhets, O. (2015) Strit-art i gorod [Street art and the city]. *Laboratorium: Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy – Laboratorium. Social Research Journal*. 2. pp. 5–7.

УДК 130.122+159.923.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/13

И.В. Лысак

ИДЕНТИЧНОСТЬ: СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА И ИСТОРИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Рассматривается история возникновения понятия «идентичность», показана эволюция термина: от характеристики свойства вещей, позволяющего им сохранять свою специфику при всех изменениях и преобразованиях, до обозначения сложных характеристик целостности внутреннего мира человека. Обосновывается, что идентичность в ее современном понимании присуща только субъекту – активному, действующему лицу, способному мыслить и осознавать себя.

Ключевые слова: идентичность, идентификация, тождество, самотождественность, самость.

В последние годы слово «идентичность» все чаще используется как в научном дискурсе, так и в публицистике. Оно звучит с телеэкрана, встречается в заголовках статей, к месту и не к месту используется в повседневной языковой практике в самых разных словосочетаниях: от вполне академичного – «национальная идентичность» – до абсурдных – «гастрономическая идентичность региона» [1]. Менеджеры всерьез рассуждают об «идентичности бренда» [2], представители модной индустрии дают проводимой ими конференции «громкое» и «модное» название: «Национальная идентичность бренда. Made in Italy и Made in Russia». Название сериала «Dupla Identided» переводят с португальского не как «Раздвоение личности», а «Двойная идентичность». В СМИ постоянно встречаются «странные» фразы, типа: «Папа римский Бенедикт XVI назвал однополые браки попыткой людей манипулировать данной им Богом идентичностью» или «Пока ученые лишь приблизительно понимают идентичность Ульяновской области» [3, 4]. Такая широкая практика словоупотребления побуждает обратиться как к анализу сущности самого термина «идентичность», так и к истории его формирования, во многом проливающей свет на существующую неоднозначность трактовок.

Как известно, понятие «идентичность» (англ. *identity*) происходит от латинского корня «*idem*», означающего «то же самое». В этом первичном смысле оно использовалось мыслителями Древности и Средневековья, выяснявшими, что делает вещь именно этой вещью, отличной от других. Идентичность обозначала свойство вещей оставаться теми же самими, сохранять свою сущность, свою специфику при всех изменениях и преобразованиях. В русских переводах понятие «идентичность», как правило, заменялось словом «тождество» или «тождественность».

Постепенно термин «идентичность» начинает использоваться для характеристики уже не бытия вещей, неодушевленных предметов, а для обозначения единичного человеческого существования, бытия личности, ее «самости», приобретая значение «самотождественности» или «личного тождества». Считается, что ранее других проблему «личного тождества» (англ. *personal*

identity) начинает осмысливать в XVII в. английский педагог и философ Дж. Локк. В работе «Опыт о человеческом разумении» («*Concerning Human Understanding*») Дж. Локка есть глава «О тождестве и различии» («*Of Identity and Diversity*»), в которой он анализирует и переосмысливает существующие концепции тождества (англ. *identity*). Английский мыслитель значительно расширил прежние представления об идентичности или тождестве, разделив идентичность предметов, заключающуюся в их полной тождественности друг другу (например, так тождественны два экземпляра одной и той же книги), и идентичность личности, заключающуюся в ее способности приписывать себе свои прежние состояния. Дж. Локк полагал, что залогом существования личности является непрерывность сознания и наличие памяти. Он опровергал господствовавшее в то время утверждение, что тождественность личности может быть задана душой, ведь душа бессмертна, и если признать ее в качестве критерия, это открыло бы возможность для перемещения душ. Тогда, указывает Дж. Локк, люди, жившие в различное время, были бы одной и той же личностью, что абсурдно. Не душа, а сознание обеспечивает тождество личности. Сама же личность определяется Дж. Локком как «разумное мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее существо, в разное время и в различных местах благодаря тому сознанию, которое неотделимо от мышления, <...> благодаря этому каждый бывает “самим собой”, тем, что он называет Я (*self*), причем в этом случае не принимается во внимание, продолжается ли то же самое Я в той же самой или различных субстанциях» [5. С. 387]. Дж. Локк показывает, что с течением времени человек меняется, однако изменение физического облика человека, его «материальной субстанции» не приводит к утрате идентичности (тождественности). Этот тезис он поясняет на примере взросления, а затем старения человека: юноша и старец считаются единой личностью. Это единство обеспечивается способностью человека помнить о совершенных им в прошлом действиях и осознавать, что это были именно его действия. Таким образом, идентичность личности, по Дж. Локку, отличается от тождественности неодушевленных предметов, она обусловлена наличием у человека сознания и памяти и не исключает изменчивости.

Для обозначения того неуловимого, что создает основу личности и обеспечивает ее единство, в XIX – начале XX в. исследователи использовали понятие «*Self*», в русских переводах – «самость». Известные социологи Г. Зиммель, Дж. Мид, Ч. Кули показали, что «самость» формируется у человека только в контексте социального взаимодействия. Так, немецкий ученый Г. Зиммель полагал, что человек обретает «самость» в ходе самоприписывания к определенным социальным группам, рассматриваемым как «свои», и самопротивопоставления иным общностям, осознаваемым в качестве «чужих» [6]. В результате указанных процессов индивид, с одной стороны, осознает свою принадлежность к определенному социальному окружению, общность с ним, с другой стороны, выделяет себя из этого окружения, понимая свою особость, «самость».

Американский философ и социолог Дж. Мид обосновывал, что формирование «самости» происходит в ходе становления у человека образа

«обобщенного Другого» [7]. «Самость» – это своего рода умение видеть себя глазами других людей. В структуре «самости» Дж. Мид выделял две составляющих, которые обычно приводят без перевода: «*Me*» (англ. *me* – «меня») и «*I*» (англ. *I* – «я»). *Me* – это совокупность норм, ценностей, установок, которыми руководствуется человек, и которые формируются у него в процессе социальных взаимодействий и являются результатом социальных ожиданий. Это осознаваемые, но не критически усвоенные правила поведения в том или ином сообществе, это то, как индивиды видят себя глазами других, социальная сторона «самости». *I* представляет собой специфическую, индивидуальную реакцию человека на установки общности, это проявление импульсивности, спонтанности индивида, эмоционально окрашенный отклик на социальное окружение. *I* отражает индивидуальность и своеобразие человека. В свою очередь, *Self* выступает как единство *Me* и *I*, являющихся двумя половинками одного целого, что может быть выражено формулой $Self = Me + I$. То есть «самость», по Дж. Миду, включает как социокультурный, так и индивидуальный компоненты, находящиеся в неразрывном единстве.

Развивая представления о «самости», американский социолог и социальный психолог Ч. Кули в своих работах предложил концепцию так называемой зеркальной самости (англ. *looking-glass self*), в русскоязычных переводах обычно обозначаемую как «теория зеркального Я». Он пытался показать неразрывную связь общества и личности, показывая, что общество формирует личности, а личности, в свою очередь, конструируют общество. Теория «зеркальной самости» строится на трех базовых положениях: во-первых, в процессе взаимодействия люди способны представлять, как они воспринимаются другими людьми, во-вторых, люди могут прогнозировать ответные реакции других, в-третьих, представление человека о самом себе зависит от того, каким ему видится представление о нем других людей. «Самость» человека, его восприятие самого себе является своего рода зеркальным отражением реакций на него окружающих. Ч. Кули пишет: «Социальную самость такого рода можно назвать отраженной, или зеркальной, самостью... Мы видим наше лицо, фигуру и одежду в зеркале, интересуемся ими, поскольку все это наше, бываем довольны ими или нет в соответствии с тем, какими мы хотели бы их видеть, точно так же в воображении воспринимаем в сознании другого некоторую мысль о нашем облике, манерах, намерениях, делах, характере, друзьях и т. д., и это самым различным образом на нас воздействует» [8]. В основе «социальной самости», по Ч. Кули, лежит врожденная конкуренция с другими. Именно в условиях конкурентного взаимодействия с другими человек понимает, чем он отличается от других, выявляет свои характерные особенности и свои конкурентные преимущества.

Хотя указанные авторы не использовали само понятие «идентичность», выдвинутые ими идеи были использованы в XX в. исследователями, изучающими ее сущность. Сам же термин «идентичность» начинает входить в социологию с 1960-х гг. благодаря работам американских ученых Э. Гоффмана и П. Бергера. Именно Э. Гоффман в книге «Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью» (*Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*), изданной в 1963 г. в Нью-Йорке, вместо понятия «самость» стал использовать понятие «идентичность» [9]. В том же году

П. Бергер пишет об идентичности в контексте ролевой теории в своей книге «Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива» (*«Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective»*) [10].

Параллельно с социологами термины «идентичность» и «идентификация» начинают использовать психологи и психиатры. Так, о «перцептивной идентичности» писал основатель психоанализа австрийский психиатр З. Фрейд. Он определял идентификацию, с одной стороны, как бессознательную связь ребенка с родителями, с другой – как «важный механизм взаимодействия между личностью и социальной группой» [11]. Немецкий психиатр К. Ясперс в защищенной им в 1913 г. докторской диссертации «Общая психопатология» называл идентичность одним из четырех формальных признаков сознания «Я». Идентичность, по его мнению, это осознание того, что я остаюсь тем, кем был всегда, и все происходящие в моей жизни события происходят именно со мной и ни с кем другим. Свидетельством нарушения идентичности, по К. Ясперсу, являются утверждения больных шизофренией о том, что происходившее с ними до начала психоза на самом деле было не с ними, а с кем-то другим [12]. В психиатрии утвердился и особый диагноз: «кризис идентичности», свидетельствующий об утрате психически больными людьми представлений о самих себе и о событиях своей жизни.

По-настоящему популярным термин «идентичность» стал после выхода в свет в 1968 г. книги американского психолога Э. Эриксона «Идентичность: юность и кризис» (*«Identity: Youth and Crisis»*) [13]. В этой работе Э. Эриксон рассматривает идентичность как внутреннюю непрерывность и тождественность личности, формирующуюся в процессе развития и выполняющую адаптивные функции. Исследуя проблему, Э. Эриксон выделил три уровня идентичности: индивидуальный, персональный и социальный. На индивидуальном уровне идентичность рассматривалась им как результат формирования у человека представления о себе как о некоторой относительно неизменной данности, определенного физического облика, темперамента, задатков, с определенным прошлым и осознаваемым будущим. Персональный уровень идентичности, согласно Э. Эриксону, представляет собой ощущение человеком собственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта. На социальном уровне идентичность определяется исследователем как тот личностный конструкт, который отражает внутреннюю солидарность человека с идеалами и стандартами определенных социальных групп.

В своем исследовании Э. Эриксон показал, что идентичность начинает формироваться у ребенка с первых дней жизни под влиянием его взаимодействия с окружающими. Постепенно у индивида формируется представление о непрерывности и устойчивости своего «Я» в меняющихся ситуациях. Развитие идентичности продолжается на протяжении всей жизни человека по мере того, как расширяется круг значимых для него лиц. Э. Эриксон выделил восемь стадий психосоциального развития личности. Первая стадия связана с выделением ребенком себя из окружения в физическом и социокультурном отношениях. Затем идут две фазы детства, характеризующиеся приобретением опыта индивидуальных успехов и неудач во взаимоотношениях с другими. Далее следуют стадии отрочества и юности, в ходе которых

формируется «Я-идентичность» и происходит осознание своих отличий от других. За ними идут три стадии взрослости – ранняя, характеризующаяся социокультурным самоопределением, средняя, с присущим ей самостоятельным социокультурным статусом, и поздняя, предполагающая, в зависимости от разрешения «кризиса среднего возраста», либо дальнейшее развитие, либо постепенное угасание процесса личностной самореализации. При переходе от одной стадии жизненного цикла к другой человек испытывает некоторую неопределенность, переживает кризис, который нужно преодолеть, перейдя к следующему стабильному состоянию. Этот процесс не является патологическим, наоборот, он свидетельствует о становлении зрелой личности.

Концепция идентичности Э. Эриксона получила научное признание и способствовала значительной распространенности самого термина. В работах практически всех психологов и психиатров, изучавших идентичность в дальнейшем, присутствуют ссылки на работы Э. Эриксона. Под влиянием его концепции в психологических теориях идентичность связывается в первую очередь со способностью личности оставаться той же самой, претерпевая постоянные изменения.

С начала 1980-х гг. термин «идентичность» начинает активно использоваться в работах, затрагивающих проблемы расовых, национальных и этнических различий. Ученые обращаются к изучению национальной и культурной идентичности, предполагающей наличие самоидентифицированности у нации или народности, позволяющей им определить свое место в мире. Национальная идентичность формируется как осознание сходства в мировоззрении, ценностях, традициях и образе жизни определенной общности, что предполагает четкое разграничение «своего» и «чужого». Использование термина «идентичность» в исследованиях политологов привело к его еще большей распространенности и использованию в многообразных, порой причудливых сочетаниях, о которых говорилось в начале статьи. Такому многообразию трактовок при неопределенности содержания способствует двусмысленность самого термина, подмеченная Дж. Локком и подробно проанализированная уже в XX в. французским философом П. Рикёром (фр. *Paul Ricœur*, 1913–2005).

Выделенные Дж. Локком два вида идентичности П. Рикёр назвал «*idem*-идентичностью» (идентичностью тождества) и «*ipse*-идентичностью» (идентичностью «самости»). «*Idem*-идентичностью» обладают предметы, полностью тождественные друг другу, как два автомобиля одной и той же марки, сошедшие с одного конвейера (в переводе с латыни «*idem*» – «то же самое»). «*Iipse*-идентичность» присуща только личности, осознающей саму себя («*ipse*» в переводе с латыни означает «сам»).

Однако два указанных латинских корня «*idem*» и «*ipse*», заложенные в термине идентичность, накладываются друг на друга, привнося, два, казалось бы, несовместимых смысловых значения: устойчивость и постоянство, с одной стороны, и изменчивость – с другой. В работе «Повествовательная идентичность» П. Рикёр пишет: «Согласно первому из них “*idem*”, “идентичный” – это синоним “в высшей степени сходного”, “аналогичного”. “Тот же самый” [“*même*”], или “один и тот же”, включает в себе некую форму

неизменности во времени. Их противоположностью являются слова “различный”, “изменяющийся”. Во втором значении, в смысле “*ipse*” термин “идентичный” связан с понятием “самости” [“*ipse*”], “себя самого”. Индивид тождествен самому себе. Противоположностью здесь могут служить слова “другой”, “иной”. Это второе значение включает в себе лишь определение непрерывности, устойчивости, постоянства во времени...» [14. С. 19]. Эту противоречивость, по мнению П. Рикёра, позволяет преодолеть выдвинутая им концепция «повествовательной идентичности». Суть ее заключается в том, что идентичность не дана человеку непосредственно, как некий внутренний опыт. Она формируется лишь посредством повествовательной деятельности, в ходе рассказа, повествования о ней. Предельно упрощенно суть концепции П. Рикёра можно выразить следующим образом: только рассказывая о себе, о своих особенностях и отличиях от других, о принадлежности к тем или иным группам, о своих склонностях и талантах, о своей уникальности, своем прошлом и будущем, человек формирует собственную идентичность. Этот рассказ совсем не обязательно буквально ведется перед широкой или не очень широкой аудиторией. Более того, это может быть глубоко личностный внутренний диалог с самим собой, но он обязательно должен иметь речевое выражение. К идентичности человек может прийти только посредством повествовательной деятельности.

Итак, термин «идентичность» прошел длительную эволюцию: от буквального значения тождества вещи самой себе, которая может быть выражена формулой $A = A$, до сложных характеристик целостности внутреннего мира человека. В настоящее время понятие «идентичность» используется в следующих основных значениях: постоянство во времени, самобытность, «самость» как подлинность индивида, психофизиологическая целостность, психологическая определенность, непрерывность жизненного опыта, степень соответствия социальным ожиданиям, принадлежность к той или иной общности. Сложность однозначного определения идентичности объясняется нерешенностью важного вопроса о том, кто или что является ее носителем. Правомерно ли говорить об идентичности применительно к неодушевленным предметам, можно ли всерьез рассуждать об идентичности вещей, будь то конкретная вещь или бренд – торговая марка, имеющая определенный статус и сформированное отношение потребителей. В подавляющем большинстве работ философов, психологов, психиатров, социологов и политологов идентичность рассматривается только как характеристика субъекта, т.е. того, кто является источником свободной активности. Спорят исследователи и о том, обладает ли идентичностью социальная общность, или это понятие применимо лишь к индивиду, ощущающему и осознающему в том числе и свою групповую принадлежность.

По-разному определяется в науке соотношение понятий «идентичность» и «идентификация». Одни исследователи полагают, что идентификация представляет собой процесс или механизм, способствующий формированию идентичности, а идентичность является результатом этого процесса. Другие считают, что сама идентичность носит процессуальный

характер. Например, российский философ М.В. Заковоротная пишет: «Идентичность можно определить как процесс становления человека на основе выбора и формирования жизненной модели в социальном взаимодействии во имя исторической самореализации» [15. С. 49]. Действительно, идентичность не является раз и навсегда данной, она динамична и требует постоянных усилий по формированию.

Таким образом, первоначально понятие «идентичность» использовалось в рассуждениях философов о природе вещей, их сущности, однако начиная с Нового времени указанный термин стал применяться для характеристики ощущения личностью самотождественности и непрерывности своего существования во времени и пространстве. Под идентичностью понимается также некая устойчивость индивидуальных, социокультурных, национальных или цивилизационных параметров, позволяющих ответить на вопросы: «Кто я?» или «Кто мы?». То есть в настоящее время в науке доминирует представление, что идентичность присуща только субъекту – активному, действующему лицу, способному мыслить и осознавать себя. В таком случае говорить об идентичности можно лишь применительно к человеку или группе лиц, способных осознавать себя и отличать себя от других. Применительно к неодушевленным предметам, будь то «бренд» или «область», употреблять термин «идентичность» не следует. Можно говорить лишь об их идентификации людьми, т. е. об установлении думающими существами их специфичности и принадлежности к определенному виду, классу, группе.

Литература

1. Сильчева Л.В., Балынин К.А. Гастрономическая идентичность региона. Сущность и практическое значение // Естественные и математические науки в современном мире: Сборник статей по материалам XXXII международной научно-практической конкуренции. № 7 (31). Новосибирск: СибАК, 2015. С. 86–92.
2. Домнин В.Н. Идентичность бренда – ключевое понятие «бренд-менеджмента» // Бренд-менеджмент. 2009. № 3. С. 130–144.
3. Новиков В. Отдайте ему его идентичность. [Электронный ресурс]: Свободная пресса // URL: <http://svpressa.ru/society/article/62627/> (дата обращения: 02.07.2016).
4. Пензин Е. И об идентичности [Электронный ресурс]: Симбирский курьер // URL: <http://sim-k.ru/2012/12/20/i-ob-identichnosti/> (дата обращения: 02.07.2016).
5. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 78–582.
6. Simmel G. Group Expansion and the Development of Individuality // Classical Sociological Theory. Blackwell Publishing, 2006. P. 251–293.
7. Mead G. The I and the Me // Mead G. Mind, Self and Society. Chicago, 1934. P. 152–164.
8. Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль / под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 320–321.
9. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Prentice-Hall, 1963. 147 p.
10. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. 168 с.
11. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Я и Оно: Хрестоматия по истории психологии / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 170–192.
12. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. 1053 с.
13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 342 с.
14. Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М.: АО «КАМИ», 1995. С. 19–37.

15. Заковоротная М.В. Идентичность человека: Социально-философские аспекты. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. 200 с.

Lysak Irina V. Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

E-mail: ivlysak@sfsu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/13

Identity: the essence of the term and the history of its formation

Key words: *identity, identification, self-identity, self*

The term «identity» has gone through a long-term evolution: from the literal meaning of an object's equivalence to itself, to complex characteristics concerning the integrity of a human inner world. Originally, the notion of identity was used in philosophical reflections about the nature of things; however, starting from the early modern age, this term has been applied to characterize a person's sense of sameness and of continuity of their existence through time and space, which is based on the continuity of consciousness and ability to remember. In the 19th and early 20th centuries, they used the concept of «Self» for unity of personality, which may be formed only in a context of social interaction. The basic formation mechanism for «Self» was considered to be a person's self-categorizing as a part of social groups, viewed as «friendly» and self-opposing to other communities, recognized as «foreigners». As a result of these processes, a person recognizes, on one hand, his affiliation and alliance with a certain social environment and, on the other hand, detaches himself from this environment through awareness of his peculiarity, his selfness. Nowadays, the concept of «identity» is used in the following basic meanings: constancy in time, uniqueness, «selfness» as a personal authenticity, psychophysiological integrity, psychological determinacy, continuity of life experience, degree of conformity to social expectations, and affiliation with a certain community. Along with personal identity there is a notion of «national identity», involving national or ethnic sameness, which allows a nation or ethnicity to determine their place in the world. The article suggests to interpret the concept of identity as a certain fixed combination of individual, sociocultural, national and civil parameters that answer the questions: «Who am I?» or «Who are we?». We can speak of identity only in relation to subjects – a person or a group of persons able to recognize themselves and separate themselves from others. We should not apply this term to inanimate objects. We can speak only of their identification by people, that is, of the determination by intellectual beings of their specificity and affiliation with a certain type, class and group.

References

1. Silcheva, L.V. & Balynin, K.A. (2015) Gastronomicheskaya identichnost' regiona. Sushchnost' i prakticheskoe znachenie [Gastronomic identity of the region. Essence and practical significance]. *Estestvennyye i matematicheskie nauki v sovremennom mire*. 7(31). pp. 86–92.
2. Domnin, V.N. (2009) Identichnost' brenda – klyuchevoe ponyatie “brend-menedzhmenta” [Brand identity is a key concept of “brand management”]. *Brend-menedzhment*. 3. pp. 130–144.
3. Novikov, V. (2012) *Otdayte emu ego identichnost'* [Return him his identity]. [Online] Available from: <http://svpressa.ru/society/article/62627/>. (Accessed: 2nd July 2016).
4. Penzin, E. (2012) *I ob identichnosti* [And on the identity]. [Online] Available from: <http://simk.ru/2012/12/20/i-ob-identichnosti/>. (Accessed: 2nd July 2016).
5. Locke, J. (1985) *Sochineniya: v 3 t.* [Works. In 3 vols]. Translated from English. Vol. 1. Moscow: Mysl'. pp. 78–582.
6. Simmel, G. (2006) Group Expansion and the Development of Individuality. In: Calhoun, G. et al. (eds) *Classical Sociological Theory*. Blackwell Publishing. pp. 251–293.
7. Mead, G. (1934) *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press. pp. 152–164.
8. Coulee, C. (1994) *Sotsial'naya samost'* [Social Self]. In: Dobrenkov, V.I. (ed.) *Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl'* [American sociological thought]. Moscow: Moscow State University. pp. 320–321.
9. Goffman, E. (1963) *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall.
10. Berger, P. (1996) *Priglasenie v sotsiologiyu: gumanisticheskaya perspektiva* [Invitation to Sociology: Humanistic Perspective]. Moscow: Aspekt Press.
11. Freud, Z. (1980) *Massovaya psikhologiya i analiz chelovecheskogo “Ya”* [Mass psychology and analysis of the human “I”]. In: Galperin, P.Ya. & Zhdan, A.N. (eds) *Ya i Ono: Khrestomatiya po*

istorii psikhologii [I and It: Anthology on the History of Psychology]. Moscow: Moscow State University. pp. 170–192.

12. Jaspers, K. (1997) *Obshchaya psikhopatologiya* [General Psychopathology]. Translated from German by L.O. Akopyan. Moscow: Praktika.

13. Erickson, E. (2006) *Identichnost': yunost' i krizis* [Identity: Youth and crisis]. Translated from German by A. Andreeva, A. Prikhozhan, V. Rivosh, N. Tolstykh. Moscow: Flinta.

14. Ricoeur, P. (1995) *Germenevtika. Etika. Politika: Moskovskie leksii i interv'yu* [Hermeneutics. Ethics. Politics: Moscow lectures and interviews]. Translated from French. Moscow: KAMI. pp. 19–37.

15. Zakovorotnaya, M.V. (1999) *Identichnost' cheloveka: Sotsial'no-filosofskie aspekty* [Human Identity. Socio-philosophical aspects]. Rostov on Don: SKNTs VSh.

УДК.1.14

DOI: 10.17223/1998863X/38/14

Н.К. Матросова

МАЯТНИК ОСМЫСЛЕНИЯ СОЗДАННОГО

Рассмотрены варианты осмысления понятия «сделанность». Указано различие смысловых насыщений понятия в отечественной и зарубежной художественной практике. Отмечено, что понятие «сделанность» способно отразить представление о художественном образе как духовной целостности, тогда как понятие «сделано» (Р. Киплинг) отражает позитивистский взгляд, связанный с приоритетами предметно-практической деятельности людей. Зафиксирована трактовка понятия «сделать» в приложении к историческому знанию.

Ключевые слова: конструирование, сделанность, целостность, прагматизм, художественный образ, историческое познание, творчество.

Существуют разнообразные онтолого-методологические позиции, определяющие постижение мира. Одна из них была сформулирована Р. Декартом, обозначившим соотношение бытия и мышления. Как известно, французский мыслитель полагал, что онтологическое определение действительности, представление о ней как о реальности невозможны без участия мышления. Реальность не получает своего статуса без подведения под соответствующую форму мышления. Еще в большей степени эта позиция была усилена И. Кантом. Для Канта реальность, не сконструированная субъектом, устраняется. Бытие как объективная реальность, существующая вне сознания, подменяется реальностью, зависимой и производной от субъекта. По Канту, модификации реальности зависят от определений субъекта. Так, если реальность рассматривается через чувства, рассудок и разум, мы получаем гносеологическую реальность, если субъект наделен способностью суждения, то реальность будет выступать как чувственно-эстетическая. Но в любом случае, какой бы характер она ни обретала, она будет производна от сознания и позиции субъекта.

В XX в. активность познающего субъекта, провозглашенная в свое время И. Кантом, послужила стимулом разработки многих познавательных приемов, в том числе идей конструктивизма, яркие проявления которых мы встречаем как в научно-познавательной, так и в художественной деятельности. Созидательно-творческая активность придавала новые смысловые насыщения устоявшемуся видению мира, способствовала выявлению в нем скрытых связей, «вдыхала» новые тенденции в отстраненные на первый взгляд положения.

Феномен конструктивизма, кроме эпистемологической составляющей, стал одним из ведущих художественных стилей. В России он нашел воплощение в творчестве многих мастеров. Его, наряду с биомеханикой, полагали базой театра В.Э Мейерхольда [1], он послужил опорой для создания работ В.Е. Татлина, стал одним из ведущих стилей в архитектуре первой половины XX века.

В России понятие «конструирование» как проявление деятельностного начала в терминологическом плане оказалось соотносимо с понятием «сделанность» как проявлением созидательного начала. В художественной практике первой трети XX в. императивом аналитико-созидательных исканий становится понятие «сделанность». К нему прибегают многие представители творческой интеллигенции. Указанное понятие мы встречаем в литературоведческих работах, сопредельных идеям конструктивизма как художественного направления. Назовем работу Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель”», статью В.Б. Шкловского «Как сделан “Дон Кихот”». В живописи реализацией указанной тенденции явился знаменитый манифест П.А. Филонова и его единомышленников под названием «Сделанные картины». Понятие «сделанность» становится лейтмотивом художественных поисков. Какие идеи вкладывали мастера в указанное понятие? В литературоведении это понятие было связано с поисками, сопряженными со структуралистской направленностью, с исследованием архитектурного строя художественного произведения. Но, несмотря на то, что главной установкой «формальной школы» отечественного литературоведения объявлялся «прием», нацеленный на то, чтобы вывести произведение из привычных связей, показать его в неожиданном ракурсе, изъять, по возможности, из потока истории, понятие «сделанность» несло в себе духовно-творческое начало. Оно не было отражением стремления разделить анализируемое на сегменты в ущерб целостному видению произведения, хотя, отмечу еще раз, статичность анализа была определяющей. Тем не менее интенцией творческих дерзаний во многом было не только (и не столько) желание «разложить на части» исходный материал, но, прежде всего, стремление вскрыть в нем глубинные, сущностные характеристики, которые позволили бы представить предмет анализа в «разложимой целостности». Поиск структур, связей, фрагментов, о которых говорили мастера, был освещен желанием достичь полноты видения исходного материала. За анализом, дроблением с неизбежностью следовал синтез, который и был определяющим. Констатация необходимости «разложить» создаваемое на части несла в себе потенцию целостности. Так, живопись П.А. Филонова, получившая название «аналитической», исходным тезисом имела, несмотря ни на что, признание значимости целостности создаваемого художественного образа. Призыв к аналитичности явился лишь первым шагом на пути поиска пластической формы, способной отразить полноту и законченность создаваемого образа. Признание значимости исходных «кирпичиков», необходимых для создания образа, которое мы встречаем в аналитической живописи и литературоведческих исканиях отечественных мастеров первой трети XX в., не отторгало стремления выявить их целостность, не было механическим соединением частей. В художественных исканиях отечественных мастеров внешнее во многом служило проявлением внутреннего. Мазок кисти, о котором говорил П.А. Филонов, содержал колоссальную творческую потенцию, потенцию целого. Не случайно Филонов, разъясняя в письме к В.А. Шолпо принцип «сделанности», указывал на единство «видящего» глаза, улавливающего только цвет и форму, и глаза «знающего», способного увидеть предмет объективно полно, в его органической целостности. Закономерен призыв Филонова к пристальному рассмот-

рению капли росы ибо, по мысли художника, она наделена неразложимой целостностью, соотносимой со структурами мироздания. О силе метафоры росы, капли слезы как олицетворения полноты и единства бытия говорит ее многократное использование в отечественной художественной культуре. Так, Д.С. Мережковский писал о присутствии солнца во всех каплях росы как скрепляющего их единства. Спустя десятилетия, вслед за признанием Мережковского и Филонова, мы встречаем стихотворные строчки Е. Винокурова, отмечавшего невозможность «разложить слезу» – малую целостность мира. Примечательно, что и Филонов, и Винокуров противопоставляют свое творчество, насыщенное органикой, наследию П. Пикассо, которое воспринималось ими как механическое «разложение на части» в противовес целостному видению мира. Именно это противостояние позволило исследователю творчества Филонова выразить позицию художника словами: «организм» против «механизма» [2. С. 219]. Биологическая метафора, столь характерная для художественных исканий начала XX в. и наполненная витальной силой, имела своеобразное проявление. Так, в 20-х гг. прошлого века в ГИНХУКЕ существовал отдел с примечательным названием «Отдел органической культуры», что само по себе указывало на значимость феномена целостности, получившего неоспоримое воплощение в природном органическом мире. В филологии критику механицизма, присущего школе неограмматиков, отторгавших целостность языковых образований и утверждавших приоритеты дробных, фрагментарных форм, проделали Р. Якобсон и В. Жирмунский [3].

Своеобразное преломление идей «сделанности» в приложении к литературно-художественному творчеству мы встречаем в небольшой заметке К. Чуковского [4]. Ее автор отмечал, что «...презрение к машинизму и механике стало в русской литературе инстинктом» [4. С. 6]. Русская душа, отмечал Чуковский, не сумела «влюбиться» в механику, представлявшуюся ей лишенной духовности и возвышенности. Чуковский иллюстрирует сказанное реакцией на развитие авиации, начавшей в XX в. победное шествие. В противовес одам в ее честь Чуковский приводит строки стихотворения А. Блока, с удивлением отмечавшего бездушие механически «сделанного»:

Как ты можешь летать и кружиться,
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить Творца?

В творчестве А. Блока, Л. Андреева, А. Толстого, указывал К. Чуковский, мы встречаем противопоставление «полета души в бесконечность» полету авиатора, служащему свидетельством духовной бескрылости. Безусловно, отечественные мастера понимали, что механически сделанное – реалии мира, которые нельзя не признать. Однако в творческом наследии отечественных литераторов и художников начала века мы встречаемся с актом самопревышения, позволяющим выйти за пределы данности, заглянуть за границы освоенного, с признанием того, что техническая реальность во многом производна от духовного первоначала мира. Их творческий пафос связан с признанием бесконечной широты мира, его целостности, далекой от скупой монолитности «механически сделанного».

Конечно, отмеченная позиция в художественных исканиях России не могла не претерпеть изменений. В культуре послереволюционного времени нарастало иное прочтение реалий мира. Феномен созидания, как и эстетическое прочтение созданного, уже не был окрашен призывом единения истины, добра и красоты. Постепенно «сделанность», о которой говорили отечественные мастера, соотносимая с поисками глубинного духовного начала, перестает быть фундаментом творческих порывов. Творчество переходит в конструирование, пронизанное стремлением отразить не более чем предметно-практическую деятельность людей. Новый стиль мышления требовал, прежде всего, создания, внесения энтузиазма в общее направление общественного развития. Проявлением позитивистской направленности мышления, сопряженного с прославлением механистически-сделанного, явилась приводимая К. Чуковским позиция английского писателя Р. Кипплинга. В рассказе «The man who was» Кипплинг, как пишет Чуковский, презрительно отзываясь о славянском мире, лишенном способности «сделать», т.е. произвести что-то полезное, вроде гвоздя или какой-либо машины, в чем, по Кипплингу, состоит высшее призвание человека. Сделать, в этом случае, – вовсе не создать что-то возвышенно-духовное, полное творческих потенций и наделенное призывом к нематериальному видению мира. Речь идет именно о «сделанной», сконструированной реальности, приспособленной к адаптированному миру как результату деятельности *homo faber*. И если в начале XX в. в художественных исканиях отечественных мастеров реальность была соотносима с природной целостностью мира, наполненной поэтическим началом, то уже в тридцатые годы она сменяется трезвым реализмом, практицизмом и прагматизмом. Мир не воспринимается онтологически целостным, он становится незавершенным, во многом несовершенным, что рождает желание «сделать», «доделать», сконструировать, изменить.

Конечно, разрыв в осмыслении мира, определяемый тремя десятками лет, не мог не вносить диссонансы в сознание людей. Новая стадия развития воспринималась в ряде случаев как трагический срыв, падение в бездну, забвение своего предназначения. Реальность разламывалась, к ней нужно было «приспособиться». Подтверждением служат слова П.А. Флоренского: «Когда нет ощущения мировой реальности, тогда распадается и единство вселенского сознания...» [5. С. 341]. Нельзя сказать, что Россию догоняло новоевропейское сознание, связанное с избыточным оптимизмом, с верой в могущество техники, в возможность организации всего по схемам рациональности. В техническом оснащении Россия была далеко не последней державой. Произошла утрата стремления не только создавать, но и постигать созданное. Онтологические антиномии, отражавшие разорванность бытия, порождали отличное от предшествующих времен восприятие мира, складывался менталитет, отторгающий духовные приоритеты, росло прославление инженерно-технической деятельности, что не могло не сказаться в художественных исканиях. И если прежние художественные формы стремились вобрать весь спектр ассоциаций, несли неисчерпаемый потенциал образности, наделенный «памятью о целом», то к концу тридцатых годов творческие поиски вылились в прославление предметно-практической, утилитарной деятельности людей, лишенной поэзии. Романтизм уступает дорогу трезвому

реализму. Новые тенденции не стали продолжением художественных установок предшествующих десятилетий. Нельзя не вспомнить полные горечи слова А. Белого, отмечавшего, что цельность, глубина и неповторимость создаваемого художественного образа сменяются в начале XX века штампом, анализировать который не представляется возможным. По мнению А. Белого, это служит свидетельством перерождения творческого процесса в процесс создания канонического, связанного с «механистичностью» мышления и творчества [6]. Отмеченная тенденция «создавать-делать» имела яркие проявления в нашей стране. Мажорные тридцатые годы рождали установку на отражение «технически сделанного», что находило воплощение и в литературе, и в живописи. Живопись А. Лабаса, «триумфальная» эстетика АХРа, литературные произведения В.П. Катаева служат подтверждением сказанному. Маятник осмысления реалий, уходя от целостного видения мира, соотносимого с позицией мастеров начала XX века, качнулся в сторону «сделать» Р. Кипплинга. И если «сделанность» Б.М. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского, П.А. Филонова выступала отражением желания проникнуть в глубины исследуемого, а возможность «разлагать» исходное на части опиралась на признание его изначальной целостности, то кипплинговское «сделать» – не что иное, как создать предмет и прославить инженерно-техническую деятельность. Позиция такого рода толкала не к размышлению над созданным, а к безоговорочному принятию материальной «данности».

Конечно, альтернативные позиции всегда сохранялись. Творчество Вяч. И. Иванова, молодого А.Ф. Лосева, В.Ф. Эрна, художественной группировки «Маковец» и созданного позднее объединения «Московские живописцы» вбирало одухотворенность и целостность восприятия мира, отторгая его трезвую аналитичность. Не случайно С.С. Аверинцев в предисловии к трудам Вяч. Иванова «указывал на специфически русский, более того, специфически славянофильский характер своего (Иванова. – *Н.М.*) универсализма, своей (Иванова. – *Н.М.*) ориентации на “вселенское”» [7. С. 15]. Указанная ориентация на «вселенское» позволяет художнику, избегая внешних заимствований и временных положений, достичь смысловой глубины реальности. В исследованиях ряда авторов, в противовес набравшему силу лозунгу союза философов и естествоиспытателей, размежевания механицистов и диалектиков-органицистов, мы встречаем идею правомерности союза философии и художественной мысли как способа зафиксировать живую органику бытия. Попытку объединить отмеченные положения мы находим в социально-художественном наследии А.А. Богданова, в идеях представителей русского космизма.

Конечно, установка на признание значимости «материально-сделанного» сама по себе не нова. Она зародилась в Новое время и во многом обусловила европейский цивилизационный прорыв, неизменно связанный с активно-преобразующей деятельностью человека. Рождение европейской цивилизации, наполненное оптимизмом и подкрепленное идеями деизма, сказывалось не только в развитии материального производства, становлении новых производственных отношений. Так, деятельностное начало и признание значимости материально-созданного стало ориентиром в формировании историософии. Подтверждением служит наследие Дж. Вико и его фундаментальный

труд «Основания новой науки об общей природе наций». Известно, что в Новое время и эпоху Просвещения нарождающееся историческое знание было занято поисками закономерностей исторического процесса, константных понятий, способных объективно отразить смену эпох. Поиск истин истории имел различные преломления. В противовес положениям Р. Декарта, апеллировавшего к истине, соотносимой с ясностью и очевидностью, Дж. Вико считал такую позицию субъективной и, в силу этого, шаткой. Он выдвигает свой критерий, связанный с единением истинного и ...«сделанного». Вико полагал, что истины истории должны быть соотносимы с тем, что можно сделать, воспроизвести, с тем, что, говоря словами отечественного поэта, «весомо, грубо, зримо». Критерий истины, по мнению Вико, в «сделанном», ибо сделать нечто – значит реализовать возможность быть повторенным, проверенным и, тем самым, достичь правомочности выдвигаемых положений.

Признание артефактов, «сделанного» в качестве критерия истины в приложении к социально-историческому знанию имело последователей в последующие века. Исследовательская практика современности убеждает нас в существовании, наряду с множеством других, двух концептуально-методологических установок, которые могут быть охарактеризованы, с одной стороны, как «бытийное начало» социально-исторической реальности, а с другой – как скрытая интеллигибельность исторических событий. И если последняя из приведенных установок может быть соотнесена с позицией Декарта, добивающегося достижения очевидности как абсолютного критерия истины, то в первой установке прочитывается призыв опираться на «конкретность», «вещность», на «сделанное». Значимость в этом случае приобретают различные варианты материализации духовной жизни, которые мы находим в артефактах. Такого рода установку мы встречаем, в частности, в работах Ф. Боаса [8] и Б. Малиновского [9], считавших, что реальная задача представителя социально-исторического знания – изучение реальных процессов, происходящих в культуре, с неременной опорой на конкретный этнографический, в том числе и предметно-вещный, материал. В этом случае исследователь способен добиться полноты анализа.

Рассмотренный материал предоставляет различные варианты прочтения феномена «сделанности». С одной стороны, они соотносимы с признанием значимости предметно-практической деятельности людей, с тем, что может быть охарактеризовано как «произведенное». С другой стороны, нельзя не отметить позицию отечественных мастеров начала XX в., для которых приоритетным в анализе материала было его полновесное духовно-целостное прочтение, не констатация предметности как таковой, но проникновение в конструктивные детали произведения, выявление ее «сделанности» как неповторимого художественного явления, демонстрирующего единство духа и мира.

Литература

1. Херсонский Х. Идеология или невольный авантюризм? // Жизнь искусства. Петроград, 1923. № 5. С. 7–8.
2. Ковтун Е.Ф. Из истории русского авангарда (П.А. Филонов): Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома 1977. Л.: Наука, 1979. С. 216–235.

3. Чугунников С. Протофеномен в теориях русского формализма: формальная поэтика и немецкая морфологическая традиция // *Русская теория: 20–30-е годы*. М.: РГТУ, 2004. С. 273–294.

4. Чуковский К. Портреты, буквы, имена // *Жизнь искусства*. Петроград, 1923. № 1. С. 6–7.

5. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. Ч. 1. 446 с.

6. Белый А. На перевале. 3. Кризис культуры. Петербург: Алконост, 1920. 89 с.

7. Аверинцев С.С. Разноречия и связность мысли Вячеслава Иванова // *Иванов Вяч. И. Лик и личности России. Эстетика и литературная теория*. М.: Искусство, 1995. 668с.

8. Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук; Границы сравнительного метода // *Антология исследований культуры* / отв. ред. Л.А. Мостова. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 499–518.

9. Малиновский Б. Научные принципы и методы исследования культурного изменения // *Антология исследований культуры* / отв. ред. Л.А. Мостова. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 371–384.

Matrosova Nadezhda K. St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

E-mail: matrosovank@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/14

THE PENDULUM OF UNDERSTANDING OF CREATION

Key words: *creation, construction, madeness, wholeness, pragmatism, artistic image, historical knowledge, creativity*

The article «The pendulum of understanding of creation» touches the ontologi-metodological basis of the analysis of the world, put forward by Descartes and Kant. With this purpose the phenomenon of constructivism is examined that can serve as epistemological, artistic and aesthetic reception (constructivism) and is correlated with other concepts, including the concept of «madeness» that have received a resonance in the artistic quests of Russian writers and painters of the early twentieth century (B.M. Eichenbaum, V.B. Shklovski, P.A. Philonov). It is shown that the concept of «madeness», used by Russian craftsmen was intended to demonstrate the wholeness of the organic vision of the world as opposed to its mechanistic interpretation. The confrontation of the organic and the mechanistic perception of the world, reflected in the creation of artistic images had their supporters. The semantic meaning of ‘madeness’ was analyzed on specific examples which used by homeland authors as opposed to the concept of «done» as the manifestation of subject-practical activities of the people who has been removed from the spiritual-holistic vision of the world. The resonances of the positivist style of thinking were marked and served the creation of article by R. Kipling «The man who was» praising the engineering and technical activities of people, as opposed to the spiritual meaning which we find in Russian artistic surroundings. It is shown that a natural extension of the fledgling pragmatism was the formation in Russia bravura aesthetics of the 30-ies, which had, however, alternative positions. It is provided in my work that the origins of the development of the mechanistic vision of the world as a pan-European phenomenon, dating back to the worldviews of the New time, which were the basis of the formation of Western civilization. The article touches the historical-philosophical aspect for research of the ponderously concepts for historical knowledge and theoretical positions. In this regard, the position of J. Vico was reviewed, who admitted as a criterion of the truth of the history reliance on «material created» artifacts, and was continued in the theoretical and methodological researches of the twentieth century. In particular it is the position of F. Boas and B. Malinowski.

References

1. Khersonskiy, Kh. (1923) *Ideologiya ili nevol'nyy avantyurizm?* [Ideology or involuntary adventurism?]. *Zhizn' iskusstva*. 5. pp. 7–8.

2. Kovtun, E.F. (1979) *Iz istorii russkogo avangarda (P.A. Filonov): Ezhegodnik rukopisnogo otdela Pushkinskogo doma 1977* [From the history of the Russian avant-garde (P.A. Filonov): Year-book of the manuscript department of the Pushkin House. 1977]. Leningrad: Nauka. pp. 216–235.

3. Chugunnikov, S. (2004) *Protopenomen v teoriyakh russkogo formalizma: formal'naya poetika i nemetskaya morfologicheskaya traditsiya* [Protopenomenon in the theories of Russian formalism: formal poetics and the German morphological tradition]. In: Zenkin, S. (ed.) *Russkaya teoriya: 20–30-e gody* [Russian theory: the 1920–1930s.]. Moscow: Moscow State Aviation Technological University. pp. 273–294.

4. Chukovsky, K. (1923) Portrety, bukvy, imena [Portraits, letters, names]. *Zhizn' iskusstva*. 1. pp. 6–7.
5. Florensky, P.A. (1990) *U vodorazdelov mysli* [At the watersheds of thought]. Moscow: Pravda.
6. Belyy, A. (1920) *Na perevale*. 3. *Krizis kul'tury* [On the pass. 3. The crisis of culture]. Peterburg: Alkonost.
7. Averintsev, S.S. (1995) Raznorechiya i svyaznost' mysli Vyacheslava Ivanova [Verges and coherence of thought of Vyacheslav Ivanov]. In: Ivanov, Vyach.I. *Lik i lichiny Rossii. Estetika i literaturnaya teoriya* [The face and masks of Russia: aesthetics and literary theory]. Moscow: Iskusstvo.
8. Boas, F. (1997) Nekotorye problemy metodologii obshchestvennykh nauk. Granitsy sravnitel'nogo metoda [Some problems of the methodology of social sciences. Boundaries of the comparative method]. In: Mostova, L.A. (ed.) *Antologiya issledovaniy kul'tury* [Anthology of Cultural Studies]. Vol. 1. St. Petersburg: Universitetskaya kniga. pp. 499–518.
9. Malinovsky, B. (1997) Nauchnye printsipy i metody issledovaniya kul'turnogo izmeneniya [Scientific principles and methods of investigating cultural change]. In: Mostova, L.A. (ed.) *Antologiya issledovaniy kul'tury* [Anthology of Cultural Studies]. Vol. 1. St. Petersburg: Universitetskaya kniga. pp. 371–384.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

ДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/38/15

К.А. Родин, М.Н. Шалдяков

ВИТГЕНШТЕЙН О ЗАКОНЕ ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО В МАТЕМАТИКЕ¹

Рассматриваются замечания Витгенштейна о статусе закона исключенного третьего в математике – в контексте интуиционизма. Демонстрируется ограниченное влияние соответствующих идей Брауэра и Вейля на философию математики Витгенштейна после 1929 г. Прослеживается параллель между отказом Витгенштейна от теории квантификации Логико-философского трактата и вопросом о природе общих пропозиций в работах интуиционистов. Подробно реконструируется логика обсуждения Витгенштейном закона исключенного третьего в IV части «Замечаний по основаниям математики».

Ключевые слова: Витгенштейн, Брауэр, Вейль, интуиционизм, закон исключенного третьего.

По свидетельству Георга фон Бригга, Витгенштейн в одной из частных бесед назвал ошибкой идею Логико-философского трактата об общих пропозициях как о бесконечных конъюнкциях и дизъюнкциях [1. С. 123]. Отказ от сформулированной в ЛФТ теории квантификации (совершился в 1929) мог идти одновременно с критической рецепцией философом некоторых положений интуиционистской философии математики (вспоминается известный сюжет о возвращении Витгенштейна в философию после посещения лекции Брауэра). Влияние интуиционизма Вейля и Брауэра на Витгенштейна непосредственно связано со статусом закона исключенного третьего в математике.

Матью Марион считает близкими Витгенштейну некоторые положения из статьи Вейля «Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik» [2]. Вейль общие математические пропозиции не относит к утверждениям. Он считает утверждение с квантором существования не полноценным утверждением, но абстрактной формой утверждения (judgement-abstract). {пропозицию $\exists x F(x)$ для любого разрешимого предиката F можно утверждать, когда существует некоторое число n – выполняющее предикат F (нужно уметь продемонстрировать выполнение предиката F числом n): $F(n) \rightarrow \exists x F(x)$ }. Утверждение же с квантором всеобщности – общим правилом для высказывания утверждений (в пример приводится пропозиция «для любого числа m справедливо: $m+1 = 1+m$ »). Выражение «для любого числа m » не может быть аббревиатурой или сокращением для бесконечной дизъюнкции (такая аббревиатура осмысленна только в случае конечной дизъюнкции). Утвер-

¹ Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-5659.2016.6).

ждение с квантором всеобщности – не есть утверждение, но гипотеза (или claim). Гипотеза может быть обоснованной или необоснованной. Утверждение может быть истинным или ложным. Подобное различие справедливо и относительно арифметических пропозиций с квантором существования.

Марион связывает тему общих пропозиций с законом исключенного третьего [3. С. 88–89]. Если мы не располагаем частным случаем $F(n)$ и, следовательно, не можем утверждать общую пропозицию $\exists x F(x)$, одновременно мы не можем утверждать и $\neg F(n)$ (тем более утверждать $\forall x \neg F(x)$). Из подобного понимания природы общих пропозиций сразу следует неприменимость к ним закона исключенного третьего. Иначе: если мы не располагаем выполняющим предикат F конкретным числом n , мы не можем утверждать ни $\Box x F(x)$, ни $\forall x \neg F(x)$ (общие пропозиции относятся здесь к бесконечному множеству чисел). Брауэр представил бы ситуацию так:

формула $\exists x F(x) \vee \forall x \neg F(x)$ подразумевает возможность эффективно обнаружить некоторое m (пусть x пробегает бесконечное множество некоторых последовательностей). Возьмем число π . Правило для вычисления десятичного разложения числа π не позволяет знать, встречается ли в десятичном разложении π определенная последовательность 0123456789. Поэтому, пока мы не нашли последовательность 0123456789 в десятичном разложении π , мы не можем утверждать $\exists x F(x)$. Не можем мы утверждать и $\forall x \neg F(x)$. Используя десятичное разложение числа π , Брауэр конструирует известный пример числа-маятника (pendulum number) [4. С. 337]. Пусть будет: d_v – v -ая цифра в десятичном разложении π . И $m=k_n$ если в n -й раз с цифры d_m сегмент десятичного разложения $d_m d_{m+1} \dots d_{m+9}$ формирует последовательность 0123456789. Далее пусть $c_v = (-1/2)^{k_1}$ в степени k_1 , если $v \geq k_1$ и $c_v = (-1/2)^v$ в степени v в противном случае. Пусть бесконечная последовательность $c_1, c_2, c_3 \dots$ формирует действительное число g . Относительно числа g нельзя утверждать ни что оно больше или меньше нуля, ни что оно равно нулю. Пример Брауэра, как видно, работает против закона исключенного третьего. Брауэр в ранней статье 1908 г. «Ненадежность логических принципов» соотносит закон исключенного третьего с вопросом о существовании неразрешимых математических проблем (или пропозиций) [5. С. 109].

Немногочисленные фрагменты о Брауэре в тестах и заметках Витгенштейна позволяют реконструировать рецепцию Витгенштейном интуиционизма.

§173 «Философских заметок» (ФЗ) [6]:

Брауэр прав, когда утверждает, что свойства числа-маятника несовместимы с законом исключенного третьего. Однако в подобном утверждении не выявляется специфика пропозиций о бесконечных множествах. Скорее утверждение основано на факте – который предполагает логика – что не может быть априори – т.е. логически – невозможным сказать, истинна пропозиция или ложна. Ведь если вопрос об истинности/ложности пропозиции априори неразрешим, пропозиция теряет смысл. Отсюда следует, что предложения логики становятся к подобной пропозиции неприменимыми.

...если пропозиция применима в одной математической области, она не должна с необходимостью быть применима также в другой области – подобный подход совершенно неуместен в математике и полностью противоречит

природе математики. Хотя некоторые авторы и считают подобный подход особенно проникательным и направленным против заблуждения.

Брауэр в статье 1908 г. считает надежными закон силлогизма (principle of syllogism) и закон противоречия, но дисквалифицирует закон исключенного третьего. Под сомнение ставится, однако, универсальность закона исключенного третьего: закон все же сохраняет силу в применении к «конечной» математике. Витгенштейн в процитированном фрагменте не соглашается с выборочной применимостью закона исключенного третьего (подобный подход противоречит природе математики). Одновременно Витгенштейн утверждает: пропозиции логики – любые – становятся не применимы к математической пропозиции, если к математической пропозиции не применим закон исключенного третьего. В общем, можно сказать, что Витгенштейн соглашается с Брауэром относительно неприменимости закона исключенного третьего в ряде случаев, но обнаруживает и некоторые расхождения с позицией интуиционизма. Понять Витгенштейна помогает §151 Ф3: «Я должен сказать резко: где неприменим закон исключенного третьего, неприменимы и другие законы логики – ведь в подобном случае мы не имеем дела с математическими пропозициями (против Вейля и Брауэра)». Витгенштейн, выходит, отрицает существование неразрешимых математических пропозиций. Мысль Витгенштейна не до конца ясна. Несогласие Витгенштейна с интуиционизмом касается, по-видимому, аргументов Брауэра и не затрагивают тезиса об ограниченной применимости закона исключенного третьего. Так, Ф. Вайсман записывает следующее замечание Витгенштейна [7. С. 71]:

Не может быть вопроса: встречаются ли цифры 0, 1, 2... 9 в числе π . Я могу спросить, встречаются ли они в определенном месте или среди первых 10000 чисел. Никакое разложение – насколько бы длинным оно ни было – не может опровергнуть утверждение, что такие числа встречаются. Следовательно, это утверждение не может быть и верифицировано. Верифицируется совершенно отличное суждение, а именно, что такая последовательность встречается в том или ином месте. Поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть это утверждение, и, следовательно, не можем применить к нему закон исключенного третьего.

Понимать следует так: неправомерный вопрос о наличии в десятичном разложении числа π некоторой последовательности чисел навязан ложной картинкой: будто кому-то в некотором актуальном порядке доступно обозрение бесконечного множества чисел десятичного разложения π . Поэтому для Витгенштейна правомерны лишь вопросы, ограниченные принципиально обозримым множеством чисел. Для Витгенштейна невозможно актуальное бесконечное множество, поэтому и пропозиции о бесконечном множестве не похожи на «обычные» пропозиции. Можно, следовательно, так понять Витгенштейна: неприменимость закона исключенного третьего не говорит о характере и свойствах соответствующих пропозиций: для Витгенштейна не существует отдельной математики для актуальных бесконечных множеств (§173 Ф3). Когда априори невозможно считать пропозицию истинной-или-ложной, перед нами «странная» пропозиция, к которой неприменимы логические законы. Из невозможности априори некоторую пропозицию рассмат-

ривать как истинную-или-ложную следует неприменимость к ней закона исключенного третьего: именно потому, что перед нами «нетипичная» пропозиция, но не потому, что подобная пропозиция связана с некоторым свойством бесконечных множеств. (Логика применима, когда априори существует возможность утверждать истинность или ложность пропозиции (следовательно, закон исключенного третьего не применим в рассматриваемых случаях)).

Существует и другое объяснение позиции Витгенштейна. Невзирая на сходство пропозиций «конечной» математики с обычными эмпирическими пропозициями (в возможности верификации), нам трудно представить обстоятельства, когда можно было бы утверждать ложность доказанного математического утверждения (тогда как подобные обстоятельства для истинного сейчас эмпирического высказывания вполне представимы). Отсюда: математические пропозиции не могут отрицаться подобно эмпирическим (или отрицание будет иметь другой смысл). Относительно доказанного математического утверждения не соблюдается условие быть истинным-или-ложным. Поэтому несогласие Витгенштейна с Брауэром следует понимать сразу в двух аспектах: через отрицание актуального подхода к рассмотрению бесконечных множеств и через отказ признавать любые математические пропозиции пропозициями в «обычном» эмпирическом смысле (а логика ЛФТ применима только к эмпирическим, не к математическим, пропозициям). Отрицание в арифметике совершенно отличается от отрицания некоторого эмпирического утверждения (ФЗ §202). Справедливо замечание Матью Мариона: для Витгенштейна логическое исчисление истинностных функций целиком не применимо в математике (а не только закон исключенного третьего) (см. более подробно: [3. С. 169]). Фрагмент параграфа 173 ФЗ: «если вопрос об истинности или ложности пропозиции априори неразрешим, пропозиция теряет смысл» – соотносит неприменимость закона исключенного третьего с теорией осмысленных пропозиций в ЛФТ: по сути говорится, что математические пропозиции не есть пропозиции осмысленные (соотносимые с некоторым положением дел).

Без обращения к интуиционистам и более подробно Витгенштейн рассматривает закон исключенного третьего в IV разделе «Замечаний по основаниям математики» [8] (1942–1943 гг.). Предположим: в некоторой странной арифметике счет не идет дальше определенного числа, и тогда вопрос о сумме двух чисел, превосходящей данное число, не будет иметь смысла. Например, счет не идет дальше 5. Тогда вопрос о сумме $4+3$ не имеет никакого смысла, как и положение об исключенном третьем (§11). Мы не можем осмысленно утверждать, что в подобной арифметике $4+3$ либо равняется какому-то числу, либо нет. Витгенштейн проводит следующую аналогию: в ряду десятичного разложения числа π определены члены ряда от 1 до 1000, до 1010 и т.д. – значит, определены все члены ряда. Однако подобная определенность не позволяет ответить на вопрос о появлении в ряду некоторой последовательности (если еще такая последовательность не появилась). Дезориентирует слово все: будто возможен некоторый взгляд со стороны, из другого измерения (как бы перемещение с линии на окружающую линию плоскость). На самом деле подобного другого измерения не существует самого по себе, как в урезанной арифметике еще нет суммы $4+3$. И сразу воз-

никает вопрос о технике или правиле разложения (которое и диктует определенность). Можно спросить: разве закон разложения не полностью детерминирует ряд – и тогда определены все члены ряда. Но здесь речь идет только о конечных рядах. Другой мысленный эксперимент: в некотором примитивном сообществе люди приучены при вычислении располагать знаки по известным правилам (§ 9). И теперь мы спрашиваем: будет ли выписана когда-нибудь последовательность 777 в десятичном разложении π . Тем самым мы выходим за пределы «прикладной» математики {в одном месте Витгенштейн задает такой вопрос: когда учат ребенка умножать, учат ли также возможности умножения}. И если мы утверждаем: в ходе бесконечного разложения мы придем или не придем к последовательности 777, – устанавливается некоторое дополнительное к правилам примитивного сообщества правило или постулат. И сам вопрос есть взгляд со стороны на процесс деятельности в соответствии с некоторыми исходными правилами. При чтении Витгенштейна нужно иметь в виду решающее различие между внутренними и внешними отношениями (любая доказанная пропозиция находится во внутреннем отношении с предшествующими доказанными пропозициями, любая недоказанная – выступает как бы внешней гипотезой). Вопрос перестает быть внешним вопросом – как только оказывается решаемым: устанавливается новая внутренняя взаимосвязь, которой раньше не было (сравните § 9). Приведем аналогию: если автор романа говорит, что еще не решил, есть ли у главного героя сестра или брат – вопрос разрешим (и наличие и отсутствие брата или сестры может быть приведено в согласие с уже написанной частью романа). Но вопрос о разрешимости вопроса: встречается ли в десятичном разложении числа π некоторая последовательность – исключительно внешний вопрос, и невозможно внутренне согласовать такой вопрос с исходными правилами примитивного сообщества. Обращаясь мыслью к усвоенной технике разложения, часто используется ложная картинка завершеного разложения. Поэтому вопрос о наличии некоторой последовательности в десятичном разложении π , правомерен относительно конечного сегмента такого разложения (в подобном случае вопрос внутренне связан с техникой разложения и актуальным результатом разложения). Предполагать ряд не содержащим определенную последовательность имеет смысл, когда закон данного ряда может исключить (или исключает) такую последовательность (сравните § 11).

Витгенштейн рассматривает закон исключенного третьего в контексте темы следования правилу (и здесь нет влияния интуиционизма). Я понимаю выражение «последовательность m не встречается в ряду» из употребления подобных выражений. Примеры употребления подобных выражений служат основанием для существования некоторого правила (предписывающего или запрещающего появление некоторой последовательности в некотором ряду). Если выражение «ты получишь такую-то последовательность» (P) значит: ты должен получить такую-то последовательность. А фраза «ты не получишь такую-то последовательность» ($\neg P$) значит: ты не сможешь (должен не) получить такую последовательность, то тогда не будет предложением об исключенном третьем выражение « P или $\neg P$ » (сравните § 17). Или, допустим, у нас есть правило или закон. Правило диктует некоторую возможность

или исключает некоторую возможность (в данном примере – возможность получить некоторую последовательность). Утверждение «есть такой закон, что ты получишь такую-то последовательность» (Р) не противоположно утверждению «есть такой закон, что ты не получишь такую-то последовательность (эквивалентно не-Р) (сравните § 13). В случае с десятичным разложением числа π подобного правила-закона не существует. Здесь интересно такое замечание Витгенштейна: есть различие между «как далеко ты бы ни зашел, никогда не найдешь такой-то последовательности» и «как далеко ты бы ни зашел, ты не должен найти такой-то последовательности». Во втором случае – перед нами приказ (обучающий нас некоторому правилу) и правило. Таким образом, вопрос о наличии или отсутствии последовательности 777 в десятичном разложении π был бы правомерен только в контексте правила или закона (такого закона нет – вопрос неправомерен). Для Витгенштейна спрашивать, «появляется ли в некотором разложении такая-то последовательность», $\square$ значит задавать вопрос о правиле появления такой последовательности, а альтернатива существованию или не-существованию подобного правила – не математическая проблема (сравните § 20). Вопрос «появляется ли в некотором разложении последовательность m » имеет математический смысл только в рамках математической структуры (вопрос должен быть внутренне связан с математической структурой).

Справедливо видеть в заметках Витгенштейна о законе исключенного третьего оригинальность: контекст следования правилу и контекст различия между внутренними и внешними отношениями задают своеобразие подхода. Несмотря на параллели с интуиционизмом, больший интерес представляет не степень возможного влияния или даже заимствования, но реконструкция логики рассуждения Витгенштейна.

Литература

1. Wright G. H. Wittgenstein's Views on Probability // Wittgenstein et le problème d'une philosophie de la science. Paris: CNRS, 1971. P. 113–33.
2. Weyl H. Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik // Gesammelte Abhandlungen (ed. K. Chandrasekharan). Berlin: Springer, 1968. P. 143–80.
3. Marion M. Wittgenstein, Finitism, and the Foundations of Mathematics. Oxford, 1998.
4. Brouwer L.E.J. On the Significance of the Principle of Excluded Middle in Mathematics, Especially in Function Theory // From Frege to Gödel: A Sourcebook in Mathematical Logic (ed. van Heijenoort). Cambridge, Mass.: Harvard University, 1967. P. 334–45.
5. Brouwer L.E.J. The Unreliability of the Logical Principles/ Brouwer L. E. J. Collected Works (ed. A. Heyting). Amsterdam: North-Holland. P. 107–11.
6. Wittgenstein L. Philosophical remarks. Oxford: Blackwell, 1975.
7. Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle: from the notes of F. Waismann. Oxford: Blackwell, 1979.
8. Wittgenstein L. Remarks on the Foundations of Mathematics. Oxford: Blackwell, 1978.

Rodin Kirill A. Siberian State University of Telecommunications and Informatics (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: rodin.kir@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/15

Shaldyakov Maksim N. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: rodin.kir@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/15

WITTGENSTEIN ON THE LAW OF EXCLUDED MIDDLE IN MATHEMATICS**Key words:** Wittgenstein, Brouwer, Weyl, Intuitionism, the Law of Excluded Middle

In the paper we show in what degree Wittgenstein's remarks on the Law of Excluded Middle connected with intuitionism, especially with some works of Brouwer and Weyl. we argue that Wittgenstein's approach to the problem was sufficiently original and independent and that Wittgenstein used only general contra-examples to the Law of Excluded Middle propose by Brouwer. In other respects, he developed his own novel line of thought. Also we try to show how can be connected Wittgenstein's turn in philosophy in 1929 with the issue of the Law of Excluded Middle (and with the question of the status of general propositions).

References

1. Wright, G.H. (1971) Wittgenstein's Views on Probability. In: Granger, G.G. (ed.) *Wittgenstein et le problème d'une philosophie de la science* [Wittgenstein and the problem of a philosophy of science]. Paris: CNRS. pp. 113–33.
2. Weyl, H. (1968) Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik [On the New Fundamental Crisis of Mathematics]. In: Chandrasekharan, K. (ed.) *Gesammelte Abhandlungen* [Collected Essays]. Berlin: Springer. pp. 143–80.
3. Marion, M. (1998) *Wittgenstein, Finitism, and the Foundations of Mathematics*. Oxford: Clarendon Press.
4. Brouwer, L.E.J. (1967) On the Significance of the Principle of Excluded Middle in Mathematics, Especially in Function Theory. In: Heijenoort, J. van (ed.) *From Frege to Gödel: A Sourcebook in Mathematical Logic*. Cambridge, Mass.: Harvard University. pp. 334–45.
5. Brouwer, L.E.J. (1976) *Collected Works*. Amsterdam: North-Holland. pp. 107–11.
6. Wittgenstein, L. (1975) *Philosophical Remarks*. Oxford: Blackwell.
7. Waismann, F. (1979) *Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle*. Oxford: Blackwell.
8. Wittgenstein, L. (1978) *Remarks on the Foundations of Mathematics*. Oxford: Blackwell.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 303.4

DOI: 10.17223/1998863X/38/16

Н.В. Большаков

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ СМЕШИВАНИЯ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СООБЩЕСТВА ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Статья посвящена методическому и аналитическому рассмотрению применения стратегии смешивания методов при исследовании глухих и слабослышащих. Подобный дизайн является оптимальным в случае, когда перед исследователем стоят цели раскрытия определенных понятий и инструментальной проработки концептов, связанных с малоизученными группами. Автор также описывает собственный опыт использования дизайна последовательных вкладов для изучения культурного потребления данной группы.

Ключевые слова: глухие и слабослышащие, нарушение слуха, стратегия смешивания методов, методология социологического исследования, культурное потребление.

Введение

После подписания и ратификации в 2012 г. международной Конвенции о правах инвалидов Российская Федерация взяла курс на инклюзию людей с инвалидностью во всех областях жизни общества. Существующая в современном мире тенденция к гуманизации отношений должна явиться толчком к вступлению рассмотрения данной проблемы в новую фазу [1. С. 6]. В частности, речь идет о том, что необходимо не только всесторонне поддерживать людей с ограниченными возможностями, но и создавать систему, активизирующую потенциал каждого индивида.

Образование и культура являются основными институтами, которые способствуют всестороннему развитию личности индивида [2. С. 51], а потому играют особую роль в процессе социальной инклюзии людей с инвалидностью, наравне с трудоустройством или социальным обеспечением, обычно попадающими в исследовательский фокус. Полноценная инклюзия на индивидуальном уровне предполагает обладание определёнными культурными компетенциями [3. С. 76], формирование которых является одной из основных задач в рамках реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов. По этой причине оценка культурной инклюзии является очень важным индикатором общей ситуации с формированием доступной среды.

Говорить о том, что сообщество глухих и слабослышащих не изучено вовсе, а люди с нарушениями слуха совсем не принимают участия в социологических исследованиях, было бы ошибочным, так как данная категория, в числе людей с другими формами инвалидности, регулярно становится объ-

ектом различных социальных обследований [4–8 и др.], однако в большинстве из них, как правило, игнорируется специфика данной социальной группы (жестовый язык, культура глухих и т.д.), а глухота рассматривается в медицинском или социальном контексте, что недостаточно, если исследование посвящено темам, так или иначе связанным с данными специфическими для глухих феноменами.

С методической точки зрения дефицит внимания к людям с нарушениями слуха как к объектам в различных исследованиях, как правило, приводит к использованию исследовательского дизайна, который игнорирует культурные и лингвистические особенности сообщества. Применение стратегии смешивания методов в социологии позволяет адаптировать исследования к различным группам, имеющим культурную специфику, а также особенности в коммуникативных практиках: людям с трудностями в восприятии письменной и устной речи, глухим и слабослышащим, а также различным маргинальным группам [9, 10] и меньшинствам. Как правило, подобная ситуация возникает, когда мы имеем дело с новыми или малоизученными социальными группами и явлениями. Одной из таких групп в России являются люди с нарушениями слуха. В рамках данной статьи будут рассмотрены возможности совместного применения качественных и количественных методов к исследованию глухих и слабослышащих на примере личного опыта.

Понятие культурных практик в контексте объекта исследования

Исследование, о котором пойдет речь в статье, было посвящено изучению культурных практик глухих и слабослышащих, а также их связи с культурным капиталом, предпочтениями, мотивацией и социальными характеристиками респондентов. Культурные практики понимались, в первую очередь, как некоторые действия, направленные на включение индивида в более широкий культурный контекст. Речь идет о различных «досуговых» мероприятиях, посещении музеев, театров и т.д. Например, при анализе культурного потребления группы социальные инноваторы Р. Абрамов и А. Зудина выделяли такие практики, как чтение, посещение театров, походы в кино, прослушивание классической музыки [11. С. 69]. Очевидно, что рассмотрение культурных практик в данной работе требует немного иного подбора эмпирических индикаторов. Специфика эмпирического объекта требует более внимательного и осторожного подхода к ряду культурных практик, связанных со слуховым восприятием (посещение концертов, филармоний, театра, прослушивание музыки в домашних условиях и т.д.). Кроме того, существование такого феномена, как «культура глухих», требует включения в анализ специфических практик потребления культуры, характерных для людей, в той или иной степени включенных в сообщество глухих: посещение Театра мимики и жеста, спектаклей государственного специализированного института искусств, мероприятий Всероссийского общества глухих и т.д.

Изучая культурные практики и компетенции (навыки, необходимые для участия в культурной жизни, способности декодировать произведения искусства, опыт участия в различных мероприятиях) людей с инвалидностью, крайне важно выделять глухих и слабослышащих в отдельную группу. Начиная с 70-х гг. особые практики и потребности данной группы способство-

вали формированию представления о глухих как о культурно-лингвистическом или социолингвистическом меньшинстве [12–15 и др.], что даже было закреплено в Конвенции ООН о правах Инвалидов: «Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих» [16], поэтому культурное потребление людей с нарушениями слуха представляет особый исследовательский интерес. Ключевым является тот факт, что, в отличие от других категорий инвалидности, получивших возможность участия в культурной жизни общества относительно недавно, глухие и слабослышащие в России на протяжении многих десятилетий были включены в различные специфические для данной группы культурные практики. Достаточно вспомнить первый в мире Театр мимики и жеста, открытый в Москве в 1962 г. [17], концерты жестовой песни, специализированные издания и т.д. При этом специфические культурные практики глухих в России до последнего момента оставались за рамками интереса исследователей. Соответственно, основной целью исследования являлись выявление и анализ основных моделей практик, мотивов и предпочтений, образующих паттерны культурного потребления людей с нарушениями слуха, которые устанавливают групповые идентичности [18, 19], маркируют и легитимируют социальные различия [20–22], а также создают определенные символы и символические значения [23]. Так как цель исследования заключалась в измерении степени включенности индивида в различные как специфические, так и общедоступные культурные практики, а также в поиске связи между такими характеристиками, как уровень культурного капитала, наличие и степень потери слуха, включенность в сообщество глухих и т.д., то основным методом в рамках исследования стал количественный опрос. Однако специфика выбора глухих и слабослышащих в качестве объекта исследования потребовала включения дополнительного этапа, и было принято решение прибегнуть к стратегии смешивания методов.

Применение стратегии смешивания методов для исследования глухих

Релевантность выбранной стратегии совместного применения качественного и количественного этапов исследования для изучения данной группы диктуется следующими двумя особенностями изучаемого объекта.

Во-первых, последние десятилетия глухие все чаще стали рассматриваться как субкультура, основными характеристиками которой являются жестовый язык, самоопределение, схожие поведенческие паттерны, внутренние браки, общность исторического наследия и наличие сети формальных объединений и организаций [24. С. 74–75]. Это, в свою очередь, формирует «культуру глухих» («Deaf culture») – синтезирующую характеристику сообщества глухих [25], представляющую собой целый пласт специфических практик и установок, что находит свое отражение в культурно-досуговой деятельности. В связи с этим обязательным условием разработки анкеты являлось включение специфических культурных практик, характерных только для людей с нарушениями слуха. Специализированная литература по данной теме, которая раскрывала бы ситуацию в России, отсутствует, а редкие упоминания в прессе и в Интернете (как правило, заметки о прошедших мероприятиях или сообщения о предстоящих событиях) ограничиваются доста-

точно узким кругом практик и не носят системного характера. В данных условиях кабинетный метод исследования, применяемый обычно в процессе операционализации, интерпретации и разработки опросных инструментов, оказался нерелевантным. Было принято решение привлечь дополнительную информацию, известную ограниченному кругу профессионалов, для чего была проведена серия экспертных интервью со специалистами из различных областей, так или иначе связанных с культурно-досуговой деятельностью людей с нарушениями слуха.

Во-вторых, очень важной особенностью данной группы является использование глухими и слабослышащими в качестве основного способа общения жестового языка, который не является формой выражения русского языка, а представляет собой особую лингвистическую систему с собственной грамматикой и лексикой [26. С. 21]. В связи с этим для глухих, общающихся исключительно на жестовом языке, понимание письменной речи может представлять серьезную трудность [27. С. 13–16]. К данной категории могут принадлежать люди, выросшие в глухих семьях и привыкшие с детства общаться на разговорном жестовом языке или обучавшиеся в специализированных школах и интернатах, т.е. в среде, в которой регулярно ведется общение на жестовом языке. Примером лингвистических проблем общения с глухими могут служить результаты одного из немногих исследований о доступности различных культурных объектов людям с инвалидностью, выделяющих глухих и слабослышащих в отдельную категорию. При ответе на вопрос о причинах, препятствующих улучшению качества проведения досуга, инвалиды по слуху значительно реже других респондентов отмечали отсутствие необходимого оборудования, необходимой персональной помощи или недоступности досуговых учреждений и в 4–5 раз чаще других затруднялись ответить на вопрос, почему они не посещают данные заведения [4. С. 75], что говорит о том, что применение стандартных формулировок и шкал в опросах людей с нарушениями слуха может оказаться нецелесообразным. Заранее осознавая все трудности, с которыми могли возникнуть на этапе пилотажа, мы решили обратиться к экспертам за рекомендациями по формулированию вопросов и особенностям коммуникации с представителями сообщества.

Р. Винарчук и Э.Уилсон из Галадетского университета отмечают, что понимание комплексных феноменов, таких как «культура глухих», не может быть достигнуто с использованием только одного исследовательского метода [10. С. 274], и предлагают комбинировать глубинные интервью, фокус-группы, опросы, наблюдения и анализ естественных документов [10. С. 272] в рамках одного исследования. В исследовании первостепенных потребностей малазийского сообщества глухих [1. С. 272] они воспользовались стратегией пересекающихся результатов [28. С. 63–84], соотнося между собой результаты фокус-групповой дискуссии и количественного опроса и применяя тем самым принцип нескольких замеров разными методами сбора данных для повышения надежности, который является «одним из базовых элементов процедуры триангуляции» [29. С. 23]. В другом исследовании [30] по оценке программного обеспечения «Sueñalettras», предназначенного для помощи глухим детям в Южной Америке, авторы воспользовались стратегией

последовательных вкладов, в рамках которой результаты количественного исследования выступали как материал для анализа индивидуальных интервью и фокус-групп и последующей комплексной оценки и объяснения полученных данных. Авторы отмечают также ряд методологических трудностей, возникающих при работе с людьми с нарушениями слуха. В частности, перевод анкетных вопросов для людей с нарушениями слуха, который невозможен без тщательного пилотажа, адаптации формулировок и выбора переводчиков, которым доверяют представители сообщества [30. С. 273–274].

Дизайн исследования

Исследование было реализовано с применением принципа последовательных вкладов [28], в соответствии с которым последовательная реализация первого и второго этапов, непосредственно связанных между собой, позволяет развить определённое знание: разработать концепт, раскрыть его и подготовить для анализа в ходе количественного опроса. Несмотря на то, что основным этапом остается количественный и именно в его рамках решается поставленная в исследовании цель, качественный этап позволяет обеспечить возможность его проведения, а потому не может считаться менее значимым. Также можно отметить, что дизайн исследования носит разведывательный последовательный характер [31] и включает в себя анализ как качественных, так и количественных данных на разных этапах, что продиктовано, в первую очередь, задачами инструментального развития ключевого концепта исследования [32. С. 259; 33. С. 106].

Как отмечает Д. Морган, основная цель использования qual–QUANT дизайна заключается в том, чтобы на первом этапе создать материал для исследования и программу, которая будет использоваться в рамках полевого этапа: «Если Вам нужно знать больше о людях, которые будут респондентами в вашем исследовании, то преимущества качественных методов хорошо подходят, чтобы получить эту информацию» [28. С. 106]. Однако важно отметить, что в случае, когда речь идет о феноменах, которые еще не подвергались эмпирической проверке (как в нашем случае культура глухих или их специфические культурные практики), качественные методы являются единственным возможным способом обеспечить проведение исследования. Выбор в пользу qual–QUANT дизайна в данном случае продиктован, во-первых, развитием и раскрытием используемых в исследовании концептов (development-oriented), а во-вторых, поиском определений (definition-oriented) [28. С. 107], фактически раскрывающих основную тему исследования и тем самым повышающих его эффективность.

Первый этап включал в себя интервью со специалистами из различных областей, так или иначе связанных с культурно-досуговой деятельностью людей с нарушениями слуха или с исследованием сообщества. Всего в число экспертов вошло 7 человек, среди которых глухие, переводчики жестового языка, руководители специализированных культурных институций и учебных заведений, журналисты специализированных изданий и т.д. Отдельное интервью состоялось с руководителем исследовательской компании, проводившей одно из крупнейших в России исследование глухих на территории Саратовской области. Небольшой объем

выборки продиктован качественным насыщением данных: целевая выборка позволила отобрать информантов из различных областей, при этом эксперты демонстрировали единодушие в ответах на вопросы интервью, которые носили скорее инструментальный характер и не предполагали глубокой рефлексии.

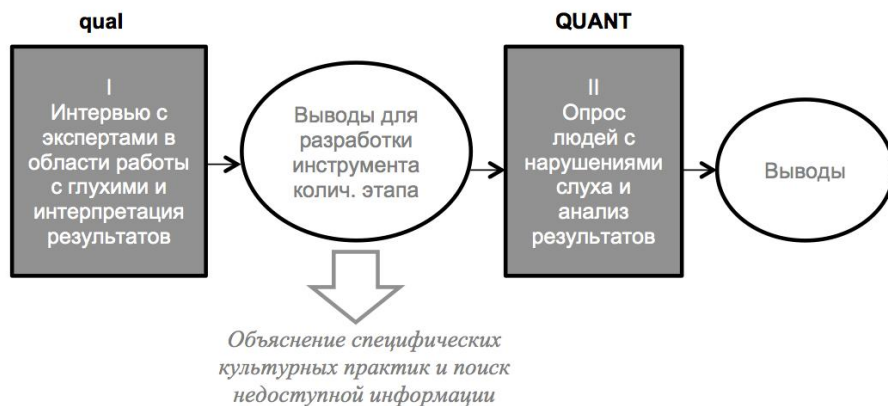


Рис. 1. Схема исследования в соответствии с дизайном последовательных вкладов

Данные на качественном этапе собирались с помощью слабоструктурированных интервью продолжительностью в среднем 40–50 минут. Интервью проводились, как правило, на рабочем месте информанта, благодаря чему у них была возможность демонстрировать в ходе беседы дополнительные материалы, имеющие отношение к ответам на вопросы. Выборка была набрана методом снежного кома, что позволило нам охватить экспертов из разных областей благодаря тому, что все специалисты, работающие с сообществом глухих, связаны между собой. Личная заинтересованность в результатах исследования некоторых экспертов обеспечила вхождение в достаточно закрытое сообщество и возможность проведения интервью, в том числе непосредственно с активистами сообщества глухих. Проведение экспертных интервью позволило не только, как предполагалось изначально, выявить основные культурные практики, характерные для глухих, и раскрыть понятие культуры глухих, но и выдвинуть дополнительные гипотезы для проверки на втором этапе исследования.

Второй этап включал в себя опрос людей с нарушениями слуха в возрасте 18–30 лет, проживающих в Москве. Основной массив данных собирался с помощью онлайн анкеты, адресно направляемой глухим и слабослышащим через социальные сети и личные электронные адреса, а также размещенной на специализированных интернет-площадках (группы в социальных сетях, сайты и т.д.). Всего было собрано 148 интервью, которые анализировались с помощью методов описательной статистики, корреляционного и регрессионного анализа, факторного и кластерного анализа, применяемых в рамках пакета для анализа данных SPSS.

Результаты

В соответствии с дизайном исследования были получены результаты нескольких уровней. Как и предполагалось, на первом, качественном, этапе были получены различные интерпретации понятия «культуры Глухих», а перечень специфических культурных практик сообщества был дополнен спектаклями ГСИИ и группы «Недослов», специализированными показами фильмов с субтитрами, дискотеками и клубами общения глухих, концертам, приуроченным к определенным праздникам (на базе ТМЖ к 8 Марта, Новому году и т.д.), посещением храмов (общины людей с нарушениями слуха, например, Храм Тихвинской иконы Божьей Матери патриаршего подворья Симонова монастыря, Московская церковь глухих «Вера и тишина») и т.д.

Все перечисленные экспертами варианты проведения свободного времени позволили сделать вопрос о культурных практиках глухих закрытым и, соответственно, пригодным для статистического анализа. Именно данный вопрос стал впоследствии основным при разбиении респондентов на кластеры, которые были использованы как базовые группы при построении паттернов культурного потребления.

Качественный этап позволил нам также построить гипотезы относительно культурных практик глухих и моделей объяснения их поведения, которые были позже проверены на данных опроса. Так, по мнению экспертов, глухая и слабослышащая молодежь нечасто посещает доступные для глухих массовые культурные мероприятия за исключением тех случаев, когда они носят специализированный характер. То есть для людей с нарушенным слухом крайне важно, чтобы ключевая тема мероприятия была в той или иной степени связана с глухотой. На количественном этапе данная гипотеза была проверена нами с помощью вычисления значения установки на культуру глухих для каждого респондента. Значение установки было получено индексным методом, в рамках которого согласие респондентов с определёнными суждениями, например, «Если мероприятие (выставку, концерт) организывает ВОГ, то для меня это всегда интересно» или «Я обязательно пойду в кино на фильм, если узнаю, что режиссер этого фильма обладает нарушением слуха», оценивалось одним баллом и респонденты с максимальной суммой обладали максимальной установкой на культуру глухих.

Кроме того, информанты отмечали, что все специфические виды досуга людей с нарушениями слуха обязательно включают в себя возможность общения, поэтому культурные практики, как правило, не подразумевают индивидуального участия, а для молодежи наиболее предпочтительной практикой, по мнению информантов, является совместный поход в парк. Любое мероприятие воспринимается глухими как возможность общения, т.е. коммуникативная функция культурных мероприятий для глухих и слабослышащих играет одну из первостепенных ролей. Исходя из полученных данных, в анкету был включен блок вопросов, касающихся реализации этих функций.

Полученные на основе экспертного опроса ответы были использованы для разбивки респондентов на определенные группы в соответствии с основной целью исследования, которая заключалась в выделении паттернов культурного потребления глухих и слабослышащих москвичей. На первоначальном этапе с помощью кластерного анализа методом К-средних были

выделены кластеры, объединяющие респондентов со схожими культурными практиками. После чего с помощью коэффициентов связи и методов сравнения средних значений (с помощью Т-теста для независимых выборок) было установлено, различаются ли данные кластеры между собой по мотивам, уровню культурного капитала и различным социально-демографическим характеристикам (возраст, уровень потери слуха и т.д.).

Всего были выделены три модели культурного потребления глухих и слабослышащих: паттерн культурной инклюзии, паттерн пассивного культурного потребления и паттерн культурной изоляции [34]. Кроме того, нами была подтверждена выработанная в ходе экспертного опроса гипотеза о том, что для глухих, ориентированных на культуру глухих, особую роль в их досуговом поведении играют мотивы коммуникации и развлечения.

Результаты данного этапа исследования соотносятся с результатами интервью: специалисты сходятся во мнении, что для глухих и слабослышащих особую роль играют специфические культурные практики, т.е. культура (посещение музеев, просмотр кино, спектаклей и т.д.) выполняет, по их мнению, в основном коммуникативную и социальную функции. Степень нарушения слуха не является основной доминантой, определяющей выбор человеком того или иного паттерна культурного потребления. В семьях с высоким накопленным культурным капиталом дети с нарушениями слуха с большей вероятностью будут ориентированы на культурную инклюзию и включение в более широкий культурный контекст.

Выявление паттернов культурного потребления людей с нарушениями слуха в ходе данного исследования дает дополнительные возможности осмысления явления «культуры глухих», а также культурного потребления глухих и слабослышащих в рамках социологической теории и позволяет оценить возможности социальной инклюзии данной специфической группы людей с ОВЗ.

Заключение

В целом, дизайн описанного исследования предполагал последовательную интеграцию качественного и количественного подходов с целью обеспечения комплексного понимания культурных практик глухих и слабослышащих. Выбор в пользу qual-QUANT дизайна в данном случае объясняется не только необходимостью привлечения «закрытой» информации, известной ограниченной группе профессионалов, но и в первую очередь важностью комплексного объяснения феномена культуры глухих и ее роли в процессах культурного потребления данной закрытой и малоизученной группы. Несмотря на то, что ключевые задачи исследования решались в рамках количественного опроса глухих и слабослышащих, его реализация без предварительного качественного этапа была бы невозможной, что позволяет считать оба подхода одинаково важными в рамках реализации поставленной цели. Именно подобный дизайн позволил раскрыть концепт «культуры глухих», уточнить виды специфических культурных практик глухих и выявить их три основных типа.

Результаты проведенного нами исследовательского проекта подтвердили опыт предыдущих исследований сообщества глухих: для изучения и концептуализации понятий, связанных с инвалидностью и глухотой, а также изучения меньшинств, обладающих культурной или языковой спецификой, стратегия смешивания методов оказывается крайне актуальной. Проводимое в настоящий момент исследование профессиональных траекторий глухих и слабослышащих, сочетающее в себя метод качественных интервью и количественного опроса студентов специализированных колледжей, позволит апробировать другие дизайны смешивания методов и проанализировать преимущества и недостатки каждого из дизайнов в контексте работы с данным исследовательским объектом.

Литература

1. Лебедев А., Кравченко Н. Стратегия независимой жизни: Программа соц. терапии: содействие личностному росту взрослых инвалидов и родителей детей с ограниченными возможностями. Орел, 2002.
2. Шеманов А.Ю. Понятие доступности социокультурной среды и его значение для методологии реабилитации // Инклюзивное образование: методология, практика, технологии / под общ. ред. О.Н. Ертановой, М.М. Гордон. М.: МГППУ, 2011. С. 50–53.
3. Попова Н.Т., Шеманов А.Ю. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическая наука и образование. 2011. № 1. С. 74–82.
4. Карпова Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // Социологические исследования. 2010. № 10. С. 74–80.
5. Наберушкина Э. Стратификационный анализ инвалидности: дис. ... канд. социол. наук. Саратов, 1998.
6. Романов П., Ярская-Смирнова Е., Вайтфилд С., Келли С. Социологическое исследование проблем инвалидности и реабилитации инвалидов в Российской Федерации: анализ основных результатов исследования. М.: Папирус, 2009.
7. Собкин В.С. Подросток с дефектом слуха: ценностные ориентации, жизненные планы, социальные связи: эмпирическое исследование. М.: Российская академия образования, Центр социологии образования, 1997.
8. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя // Социологические исследования. 2010. № 9. С. 50–57.
9. Mertens D. Transformative research and evaluation. New York, NY: Guilford, 2009.
10. Wilson A.T., Winiarczyk R.E. Mixed Methods Research Strategies With Deaf People Linguistic and Cultural Challenges Addressed // Journal of Mixed Methods Research. 2014. Vol. 8, № 3. P. 266–277.
11. Зудина А., Абрамов Р. Культурное потребление и досуговые практики «социальных инноваторов»: социологический анализ // Вестник Удмуртского университета. 2012. Т. 3, № 1. С. 52–64.
12. Meadow K. Sociolinguistics, sign language and the Deaf subculture // Psycholinguistics and Total Communication – The State of the Art (American Annals of the Deaf). Silver Spring: National Association of the Deaf, 1972. P. 19–33.
13. Padden C.A., Humphries T.L. Deaf in America: Voices from a Culture. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
14. Harris J. The cultural meaning of deafness: Language, identity and power relations. Aldershot: Avebury, 1995.
15. Базоев В., Паленный В. Человек из мира тишины. М.: Академкнига, 2002.
16. Конвенция ООН о правах инвалидов. [Электронный ресурс]. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
17. Кайатос А. Говорящие в беззвучии: скорее молчаливы, чем немые. Советский театр глухих и пантомима после Сталина // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 2, № 10. С. 213–234.
18. Warde A. Consumers, identity and belonging: reflections on some theses of Zygmunt Bauman // The Authority of the Consumer. London: Routledge, 2002. P. 58–74.

19. Lamont M., Molnár V. How Blacks Use Consumption to Shape their Collective Identity Evidence from marketing specialists // *Journal of Consumer Culture*. 2001. Vol. 1, № 1. P. 31–45.
20. Bourdieu P. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
21. Katz-Gerro T. Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and the United States // *Social Forces*. 2002. Vol. 81, № 1. P. 207–229.
22. Peterson R.A., Kern R.M. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore // *American Sociological Review*. 1996. Vol. 61, № 5. P. 900–907.
23. Bryson B. «Anything But Heavy Metal»: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes // *American Sociological Review*. 1996. Vol. 61, № 5. P. 884–899.
24. Reagan T. *Cultural Considerations in the Education of the Deaf Children, Educational and Developmental Aspects of Deafness*. Washington: Gallaudet University Press, 1990. P.73–84.
25. Turnen G. How is Deaf culture? // *Sign Language Studies*. 1994. Vol. 83.
26. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
27. Колесников В. К проблеме использования жестового языка в высшем гуманитарном образовании // *Инновационные проблемы современного развития дефектологии: материалы межвузовской научной конференции*. М.: Прометей, 2014. С. 13–16.
28. Morgan D.L. *Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach*. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2014.
29. Савинская О.Б., Истомина А.Г., Ларкина Т.Ю., Круглова К.Д. Концептуальные представления о стратегиях смешивания методов (mixed methods research): этапы развития и современные дискуссии // *Социологические исследования*. 2016. № 8. С. 21–29.
30. Wilson A., Winiarczyk R., Johnson C. *World of solutions innovations for persons with disabilities: Evaluation of Project Sueñalettras*. Washington, DC: InterAmerican Development Bank, 2012.
31. Clark V.L.P., Creswell J.W. *Designing and conducting mixed methods research*. LA: Sage, 2014.
32. Greene J.C., Caracelli V.J., Graham W.F. Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs // *Educational evaluation and policy analysis*. 1989. Vol. 11 (3). P. 255–274.
33. Bryman A. Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? // *Qualitative research*. 2006. Vol. 6 (1). P. 97–113.
34. Астахова Н. В., Большаков Н. В. Паттерны культурного потребления глухих и слабослышащих: инклюзия или изоляция? // *Журнал исследований социальной политики*. 2017. Т. 15, № 1. С. 51–66.

Bolshakov Nikita V. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

DOI: 10.17223/1998863X/38/16

THE POSSIBILITIES OF MIXED METHODS RESEARCH IN STUDYING OF THE DEAF COMMUNITY

Key words: deaf, deafness, hearing loss, mixed methods, cultural consumption

The analysis of the methodological and analytical experience of conducting the mixed methods research of deaf and hard of hearing people is considered in this article. Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities makes sociological study of people with various forms of disability especially relevant. At the same time, people with disabilities in most studies are analysed as a homogeneous group which does not require differentiation of methods of their study. The lack of attention to people with hearing impairments, as an objects of various studies, usually leads to the use of research design, which ignores the cultural and linguistic features of this community. R.Winiarczyk and E.Wilson note that understanding of complex phenomena such as "culture of the deaf" can not be achieved by using only one research method. They suggest combining in-depth interviews, focus groups, surveys, observations and analysis of natural Documents within one study in order to obtain a valid result. In the described study was used the consecutive mixed methods design, in which the first qualitative stage allowed the full understanding of the "Deaf culture" notion and selection of indicators for specific cultural practices of the community of people with hearing impairments. This information was later used during conducting a mass poll of deaf and hard of hearing respondents. The use of such design is optimal when the researcher needs the revealing of certain

concepts and instrumental elaboration of concepts related to poorly studied groups. In general, the analysis of the structure of interrelated practices, preferences and motives of cultural consumption, which form the patterns of cultural consumption of the deaf and hard of hearing people, made it possible to identify three key sustainable models: "cultural inclusion," "cultural isolation," and "passive cultural consumption". Interrelation of both stages of the study allows us to conclude that specific cultural practices play a special role for deaf and hard of hearing people. Moreover, cultural institutions perform primarily communicative and social functions.

References

1. Lebedev, A. & Kravchenko, N. (2002) *Strategiya nezavisimoy zhizni: Programma sots. terapii: sodeystvie lichnostnomu rostu vzroslykh invalidov i roditeley detey s ograniченными возможностями* [The strategy of independent life: The program of social therapy: Promoting the personal growth of adults with disabilities and parents of children with disabilities]. Orel: Trud.
2. Shemanov, A.Yu. (2011) Ponyatie dostupnosti sotsiokul'turnoy sredy i ego znachenie dlya metodologii reabilitatsii [The concept of the accessibility of the socio-cultural environment and its significance for the rehabilitation methodology]. In: Ertanova, O.N. & Gordon, M.M. (eds) *Inklyuzivnoe obrazovanie: metodologiya, praktika, tekhnologii* [Inclusive education: Methodology, practice, technology]. Moscow: Moscow State University of Psychology and Education. pp. 50–53.
3. Popova, N.T. & Shemanov, A.Yu. (2011) Inclusion in cultural perspective. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie* – Psychological Science and Education. 1. pp. 74–82. (In Russian).
4. Karpova, G. (2010) Invalidy i kul'turnaya politika: problemy dostupnosti [Invalids and cultural policy: problems of accessibility]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* – Sociological Studies. 10. pp. 74–80.
5. Naberushkina, E. (1998) *Stratifikatsionnyy analiz invalidnosti* [Stratification analysis of disability]. Sociology Cand. Diss. Saratov.
6. Romanov, P., Yarskaya-Smirnova, E., Whitefield, S. & Kelly, S. (2009) *Sotsiologicheskoe issledovanie problem invalidnosti i reabilitatsii invalidov v Rossiyskoy Federatsii: analiz osnovnykh rezul'tatov issledovaniya* [Sociological study of disability problems and rehabilitation of disabled people in the Russian Federation: Analysis of the main results of the study]. Moscow: Papirus.
7. Sobkin, V.S. (1997) *Podrostok s defektom slukha: tsennostnye orientatsii, zhiznennyye plany, sotsial'nye svyazi: empiricheskoe issledovanie* [A teenager with a hearing defect: Axiological orientations, life plans, social connections: An empirical study]. Moscow: Russian Academy of Education, Centre for Sociology of Education.
8. Romanov, P.V. & Yarskaya-Smirnova, E.R. (2010) Invalidy i obshchestvo: dvadtsat' let spustya [People with disabilities and society: Twenty years later]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* – Sociological Studies. 9. pp. 50–57.
9. Mertens, D. (2009) *Transformative research and evaluation*. New York: Guilford.
10. Wilson, A.T. & Winiarczyk, R.E. (2014) Mixed Methods Research Strategies With Deaf People Linguistic and Cultural Challenges Addressed. *Journal of Mixed Methods Research*. 8(3). pp. 266–277. DOI: 10.1177/1558689814527943 mmr.sagepub.com
11. Zudina, A. & Abramov, R. (2012) Kul'turnoe potreblenie i dosugovye praktiki "sotsial'nykh innovatorov": sotsiologicheskii analiz [Cultural consumption and leisure practices of "social innovators": Sociological analysis]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta* – Bulletin of Udmurt University. 3(1). pp. 52–64.
12. Meadow, K. (1972) Sociolinguistics, sign language and the Deaf subculture. In: O'Rourke, T.J. (ed.) *Psycholinguistics and Total Communication – The State of the Art*. Silver Spring: National Association of the Deaf. pp. 19–33.
13. Padden, C.A. & Humphries, T.L. (1990) *Deaf in America: Voices from a Culture*. Cambridge: Harvard University Press.
14. Harris, J. (1995) *The cultural meaning of deafness: Language, identity and power relations*. Aldershot: Avebury.
15. Bazoev, V. & Palenny, V. (2002) *Chelovek iz mira tishiny* [A person from the world of silence]. Moscow: Akademkniga.
16. UNO. (n.d.) *Konventsia OON o pravakh invalidov* [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. [Online] Available from: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
17. Kayatos, A. (2012) Govoryashchie v bezzvuchii: skoree molchalivy, chem nemy. Sovetskiy teatr glukhikh i pantomima posle Stalina [Speakers in silence: They are more silent than mute. Soviet

theater of the deaf and pantomime after Stalin]. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 2(10). pp. 213–234.

18. Warde, A. (2002) Consumers, identity and belonging: reflections on some theses of Zygmunt Bauman. In: Keat, R., Whiteley, N. & Abercrombie, N. (eds) *The Authority of the Consumer*. London: Routledge. pp. 58–74.

19. Lamont, M. & Molnár, V. (2001) How Blacks Use Consumption to Shape their Collective Identity Evidence from marketing specialists. *Journal of Consumer Culture*. 1(1). pp. 31–45.

20. Bourdieu, P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.

21. Katz-Gerro, T. (2002) Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and the United States. *Social Forces*. 81(1). pp. 207–229. DOI: 10.1353/sof.2002.0050

22. Peterson, R.A. & Kern, R.M. (1996) Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. *American Sociological Review*. 61(5). pp. 900–907.

23. Bryson, B. (1996) “Anything But Heavy Metal”: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes. *American Sociological Review*. 61(5). pp. 884–899.

24. Reagan, T. (1990) Cultural Considerations in the Education of the Deaf Children. In: Moores, D.F. & Meadow-Orlans, K.P. (eds) *Educational and Developmental Aspects of Deafness*. Washington: Gallaudet University Press. pp. 73–84.

25. Turnen, G.H. (1994) How is Deaf Culture?: Another Perspective on a Fundamental Concept. *Sign Language Studies*. 83. DOI: 10.1353/sls.1994.0017

26. Zaytseva, G.L. (2000) *Zhestovaya rech'. Daktilologiya* [Sign Language. Dactylology]. Moscow: VLADOS.

27. Kolesnikov, V. (2014) [On the use of sign language in higher humanitarian education]. *Innovatsionnye problemy sovremennogo razvitiya defektologii* [Innovative problems of modern defectology]. Proc. of the Conference. Moscow: Prometey. pp. 13–16. (In Russian).

28. Morgan, D.L. (2014) *Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach*. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

29. Savinskaya, O.B., Istomina, A.G., Larkina, T.Yu. & Kruglova, K.D. (2016) Conceptual ideas of mixed research methods: Stages of development and current debates. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 8. pp. 21–29. (In Russian).

30. Wilson, A., Winiarczyk, R. & Johnson, C. (2012) *World of solutions innovations for persons with disabilities: Evaluation of Project Sueñaletas*. Washington, DC: InterAmerican Development Bank.

31. Clark, V.L.P. & Creswell, J.W. (2014) *Designing and conducting mixed methods research*. Los Angeles: Sage.

32. Greene, J.C., Caracelli, V.J. & Graham, W.F. (1989) Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*. 11(3). pp. 255–274. DOI: 10.2307/1163620

33. Bryman, A. (2006) Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? *Qualitative Research*. 6(1). pp. 97–113. DOI: 10.1177/1468794106058877

34. Astakhova, N.V. & Bolshakov, N.V. (2017) Cultural consumption patterns among the deaf and hard of hearing: inclusion versus exclusion. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 15(1). pp. 51–66. (In Russian). DOI: 10.17323 / 1727-0634-2017-15-1-51-66

УДК 3.31.316.473
DOI: 10.17223/1998863X/38/17

А.И. Воронкова

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФЕНОМЕНА НАСЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Рассматриваются и анализируются гендерные аспекты процесса возникновения и распространения феномена малого семейного бизнеса в России с точки зрения социологических исследований. Отдельное внимание уделяется проблеме передачи семейных предприятий последующему поколению и освещению этого вопроса в литературе. Проводится обзор теорий и методов, используемых авторами для изучения положения женщин в системе наследования семейных фирм.

Ключевые слова: семейный бизнес, система наследования, гендерная диспропорция, малый семейный бизнес, гендерные стереотипы.

В современном мире развитие малого и среднего семейного бизнеса стало одним из ключевых показателей экономического роста. Стремительное расширение сектора предприятий данного типа привело к повышенному интересу со стороны экономистов, политологов, а также социологов. В отличие от доминирующей роли семейных предприятий в Европе, в России сфера семейного бизнеса появилась и стала развиваться на несколько десятилетий позже [1. С. 22]. Это стало одним из определяющих факторов в дисбалансе между исследованиями зарубежных авторов и отечественной социологией. Данное явление ярко просматривается уже на стадии определения самого понятия – «семейный бизнес», следовательно, изучение таких вопросов, как участие женщин в формировании своего собственного предприятия, влияние гендерных приоритетов и стереотипов в системе наследования семейных фирм, а также условия труда на рабочем месте, в современной российской социологии только начинается.

Таким образом, в России сложилась уникальная, двойственная ситуация: активный рост доли малого и среднего семейного бизнеса на экономической арене столкнулся с влиянием гендерных стереотипов и традиционным воспитанием. Ряд статей затрагивает эту тему, а также вопросы положения женщин в сложившейся практике наследования семейного бизнеса и доли их участия в управлении предприятиями, однако большой процент работ лишь косвенно исследует такие серьезные аспекты либо полностью обходит их стороной. Дифференциация факторов, влияющих на гендерную диспропорцию в управлении фирмами, принятие коллективных решений о дальнейшей стратегии развития предприятия, долевом или полном наследовании семейного бизнеса – все эти проблемы не могут долго оставаться вне внимания релевантных исследований.

Среди теоретических концепций, используемых авторами в работах, посвященных системе управления и передачи по наследству малого семейного бизнеса, следует выделить наиболее релевантные и часто встречающиеся

в исследованиях. Часто работы, посвященные интеграции, конкуренции и конфликтным отношениям между членами семьи, имеющими свою собственную фирму, базируются на системной теории («System theory»). Данный подход фокусируется на изучении семейного предприятия с точки зрения взаимодействия между объектами анализа, которыми обычно являются отношения в сфере бизнеса и в семье. В таком контексте «семья» и «бизнес» рассматриваются как две системы, имеющие свои собственные особенности и степень открытости для изменений и интеграции новых членов. В вопросах наследования, конкурентоспособности и гендерной диспропорции при передаче бизнеса второму поколению к двум базовым системам добавляется третья – «управление» [2. С. 200]. Такая модель считается более релевантной для получения конкретных результатов. Однако несмотря на удобство использования, данная теория подвергается жесткой критике со стороны других авторов, так как не затрагивает множество побочных сфер, которые косвенно или напрямую влияют на построение отношений, в особенности в семье [3. С. 168].

Другой теоретической парадигмой, часто используемой в статьях и книгах социологов, является теория Отношений агентов («Agency theory»), которая базируется в основном на исследовании отношений главы фирмы и наемных работников или владельцев крупных семейных предприятий и их наследников. Долгое время такой подход был ведущим только в процессе изучения разногласий, возникающих между менеджерами или наемными работниками и вышестоящими руководителями. Однако в последнее время исследователи указывают на специфическую форму проблемы «агентов» в исследовании семейных фирм. Поэтому данная теория стала концентрироваться и на анализе внутренних конфликтов между собственниками фирм и последующим поколением. Так, например, дух альтруизма в отношении родственников и близких может привести к тому, что на предприятии будет установлена система распределения обязанностей между членами семьи, не приспособленными к ведению бизнеса [2. С. 204]. Таким образом, данная теория является одной из высокорелевантных парадигм для исследования как развития семейного бизнеса, так и передачи его по наследству последующему поколению.

В противовес теории Отношений агентов часто ставится парадигма Попечительства («Stewardship theory»), которая рассматривает результаты корпоративного управления и развития предприятий, опираясь на две концепции – «психологическую» и «ситуационную». Таким образом, с точки зрения последователей данного суждения, релевантно рассматривать причины формирования специфической структуры семейных фирм, базируясь не только на поведенческих факторах и уровне мотивации агента, но и на контекстных, культурных условиях, существующих в рамках семейного предприятия. Эти два аспекта неразрывно переплетаются и не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга для получения наиболее точных результатов. Другими словами, теория Попечительства фокусируется на том, что стратегическое управление предприятием обусловлено не только личными качествами определенного агента, но и культурными условиями, созданными руководством фирмы [4. С. 277].

Часть теорий используется авторами для изучения напрямую положения женщин в бизнесе и системе наследования предприятий. Некоторые статьи опираются на теорию Лидерства («Leadership theory»), базирующуюся на анализе средств, процессов влияния и интеграции, посредством которых выбранный объект исследования достигает индивидуальных или организационных целей. В работах, посвященных гендерной диспропорции и дискриминации женщин в сфере бизнеса, авторы прибегают к сравнительной характеристике черт лидерства, а также различиям в стиле ведения переговоров, построения отношений с подчиненными и финансирования организаций. Данная теория акцентирует внимание именно на распределении влияния, властных отношениях и личностных барьерах, с которыми сталкиваются женщины-лидеры, развивающие свой собственный бизнес. В теории подчеркивается недостаточное количество примеров женского стиля управления или репрезентации успешного развития семейного бизнеса, полученного по наследству [5. С. 22].

Среди превалирующих методов, используемых авторами, следует выделить различные типы интервьюирования респондентов. Наиболее часто в исследованиях встречается неструктурированное интервью с женщинами, которые открыли свой собственный бизнес или получили по наследству семейное предприятие. Так, например, в работе А.Е. Чириковой было проведено 65 мягких интервью [6. С. 358]. Автор сконцентрировала свое внимание на анализе информации, полученной в процессе опроса респондентов, и сфокусировалась в большей степени на восприятии женщинами-предпринимателями потенциальных препятствий, стоящих на пути развития собственных предприятий и получения семейных фирм по наследству. В результате исследования, сконцентрированного на полуструктурированном опросе респондентов, автор пришла к выводу, согласно которому положение женщин в малом и среднем семейном бизнесе на данный момент остается двойственным. Большинство интервьюируемых женщин подчеркивали сложности интеграции семейного предпринимательства в России, неопределенность в сфере профессиональной компетенции и специального образования, отсутствие поддержки со стороны региональной власти. Среди основных трудностей и препятствий на пути развития своего бизнеса женщины также указали высокий уровень криминализации сферы и особенности политического воспитания. С другой стороны, Чирикова делает акцент и на некоторых положительных моментах, таких как готовность женщин активно развивать фирмы и социально-психологический потенциал представительниц бизнес-сферы.

Среди исследований, использующих метод неструктурированного и полуструктурированного интервью, следует выделить работу Роберта Насона и Пола Трумана «Father-Daughter Succession in Family Business: A Cross-Cultural Perspective». Данная книга является релевантной для исследований феномена гендерного неравенства, а также такого аспекта, как передача семейного бизнеса по наследству от отца – дочери, так как содержит большое количество эмпирической информации, базирующейся на интервью, и данных, анализируемых авторами. Более того, следует отметить, что часть глав посвящена ситуации с передачей малого и среднего бизнеса, сложившейся в

России в последние десятилетия. Авторы проводят анализ факторов, которые могут повлиять на положение женщин в среде семейного бизнеса, таких как возможность получить специальное образование, отношение к работающим женщинам в семье и обществе и других. В работе подтверждается вывод о том, что традиционный взгляд на развитие семейного бизнеса в России не может стать основой для дальнейших изменений в обществе с высокоразвитыми авторитарными структурами управления малыми и средними предприятиями. В исследовании подчеркивается важность изменений как на государственном и политическом уровнях, так и во внутрисемейной среде. С точки зрения авторов, женщинам в России предстоит преодолеть демотивирующее влияние других членов семьи (в особенности отцов) для дальнейшего развития своего бизнеса. Кроме того, в данной работе уделяется определенное место вопросу о наследовании семейного бизнеса в пользу сыновей, других родственников мужского пола или друзей. Основываясь на результатах, полученных при опросе респондентов, авторы оценивают состояние женского семейного бизнеса в России как «зарождающееся», требующее длительного пути развития и изменений во всех сферах жизни общества [7. С. 166].

Интересной работой, использующей метод интервьюирования, является статья «Property entails obligations – across generations Shareholder competence in family businesses» Николь Вепель и Тома Русена [8]. Значимость данного исследования заключается в том, что оно концентрируется на таком важном аспекте, как конкурентоспособность второго поколения в управлении семейными предприятиями. Авторами рассматриваются позитивные и негативные аспекты конкуренции между преемниками, их отношение к ведению семейного бизнеса, а также участие в специальных обучающих программах и курсах повышения квалификации для успешного управления фирмой. Отдельная глава исследования посвящена влиянию семейных отношений и интеграции членов семьи в решение вопросов, связанных с развитием предприятия. В конце статьи делаются выводы о значимости передачи опыта из поколения в поколение, а также внедрения большего количества обучающих программ для изучения возможностей развития семейного бизнеса в будущем.

Исчерпывающее исследование состояния малого и среднего семейного бизнеса в России проведено в статье Д.А. Волкова и С.О. Календжян «Семейное предпринимательство: анализ российской практики». Авторы представляют детальный обзор преимуществ небольших семейных компаний, а также анализируют влияние института семьи в России на дальнейшее развитие семейных предприятий. Отдельная часть работы посвящена отсутствию специфического образования и опыта совместного администрирования фирм. Среди причин данной ситуации указаны: коррумпированность региональной власти; неконкурентоспособность малых семейных фирм; отсутствие поддержки со стороны государственных органов; нестабильность бизнес-среды и нежелание вовлекать последующие поколения в процесс принятия решений и управления предприятием. Авторы подчеркивают, что только 32% респондентов готовы передать по наследству часть бизнеса своим детям [1. С. 23]. Кроме того, в статье сделан акцент на несерьезное отношение к проблеме мотивации преемников и роли второго поколения в при-

нятии решений. Авторы также затрагивают вопрос участия женщин и их положения в специфической системе управления и наследования семейных фирм. В исследовании делается вывод о недостаточном уровне заинтересованности старшего поколения в формировании навыков администрирования предприятий у преемников, а также отсутствие методов для решения проблем наследования семейного бизнеса в России.

Одним из трендов в направлении исследований положения женщин в семейном бизнесе стало использование метода кейсов («Case studies»). Многие современные социологи стали обращаться к данному типу анализа, так как считают метод кейсов релевантным и удобным для исследований, а также открывающим новые возможности для изучения таких сфер, как развитие семейного бизнеса и интеграция женщин в систему наследования. Одной из книг, базирующихся на данном методе, является «A Working Woman's Manifesto on Business and What Really Matters» (автор Маргарет Хефферман) [9]. В книге освещены проблемы, связанные как с учреждением нового предприятия, так и с передачей семейных фирм по наследству, много внимания уделяется ситуации, сложившейся в России. Автор концентрируется на специфических особенностях, таких как отсутствие специального образования для ведения бизнеса или неравный доступ к возможностям для мужчин и женщин, государственные законы и бюрократические препятствия, а также уникальные способности женщин выходить из сложных ситуаций, и даже истории триумфа отдельных семейных предприятий, переданных по наследству дочерям или открытых женщинами без помощи и поддержки со стороны отцов или мужей. Книга написана яркими, живым языком и содержит большое количество эмпирических данных из интервью и анализа различных кейсов, выбранных автором.

Кроме того, следует уделить внимание и методу сравнительного анализа. Этот метод может быть применен как в исследованиях, направленных на изучение гендерного неравенства, так и для сравнения положения женщин в системе семейного бизнеса разных стран. Ярким примером сопоставления может служить книга Лорен Хелены Рид «The Financing of Small Business: A Comparative Study of Male and Female Owners» [10]. В данном исследовании проведен теоретический и эмпирический анализ состояния женского предпринимательства, проблемы и препятствия, с которыми могут столкнуться малые и средние фирмы, а также контекстные факторы, влияющие на финансирование данного типа бизнеса банками. Много материала, посвященного проблемам, с которыми сталкиваются женщины в России. Отдельная глава отведена под анализ выбранных методов исследования, инструментария и выборки, использованной автором. Несмотря на значительное количество фактологического материала, обширного обзора литературы и подтверждение выводов автора, книга содержит определенные недостатки. Необходимо отметить, что эта работа сконцентрирована на узкой сфере проблем финансирования бизнеса для мужчин и женщин. Множество факторов, напрямую или косвенно влияющих на положение женщин в малом и среднем бизнесе, практически не учитывается.

Работой, представляющей значительный вклад в изучение феномена наследования семейного бизнеса и построения внутрисемейных отношений

в предпринимательстве, является статья Хезер Хаберман и Шарон Дейнс «Father-Daughter and Father-Son Family Business Management Transfer Comparison: Family FIRO Model Application». Целью данного исследования является анализ властных структур в отношениях «отец – сын» и «отец – дочь» при передаче малого и среднего бизнеса. Авторами выделены три типа измерений для изучения: включение второго поколения в семейный бизнес, контролирование принятия решений относительно предприятия и интегрирование в управление бизнесом. Работа концентрируется вокруг успешной адаптации женщин в системе наследования фирм. С точки зрения авторов, дочери, исключенные из института наследования семейного предприятия, чувствуют сильную изоляцию как в профессиональной, так и в личной сфере. В результате данная ситуация приводит к конфликтам и низким уровням интеграции между членами семьи, что негативно отражается и на дальнейшем развитии бизнеса. Однако женщины, привлеченные к решению вопросов по управлению фирмой, способны создать высокий уровень сотрудничества и взаимопомощи в управлении семейным предприятием. В процессе исследования, опираясь на сравнительный анализ и неструктурированное интервью со вторым поколением преемников семейного бизнеса, авторы приходят к выводу, что передача малых и средних предприятий должна происходить с участием всех заинтересованных членов семьи [11. С. 165].

Целый ряд работ посвящен обзору литературы и методологии, которая используется другими авторами в своих исследованиях. Среди российских авторов следует выделить обзор литературы, сделанный Еленой Викторовной Корчагиной – «Исследования семейного бизнеса в России. Подходы к определению и концептуальные особенности» [12]. В данной работе автор уделяет особенно много внимания появлению первых статей и книг, посвященных проблематике семейного бизнеса в российской научной среде. Кроме того, в статье проведен анализ подходов, разработанных другими социологами, и определены некоторые специфические отличия между российскими и зарубежными авторами в сфере использования методологии и инструментария. Е.В. Корчагина подтверждает вывод о том, что интерес российских социологов к вопросу развития семейного бизнеса до сих пор находится на стадии формирования. Также автор исследует появление проблемы передачи предприятия последующим поколениям и подходов к изучению данного вопроса. Отдельной частью исследования является определение подходов к формулировке самого понятия «семейный бизнес» и его интерпретаций российскими авторами. В процессе исследования Е.В. Корчагина приходит к выводу о том, что в последнее десятилетие в российской социологии формируется единая терминологическая база для понимания проблем взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса. Более того, автор указывает на повышение интереса к механизмам преемственности семейного бизнеса и организационной структуры институтов создания и развития семейных предприятий. Несмотря на важность данного исследования, следует отметить некоторые недостатки. Автором практически не затронуты гендерные аспекты наследования семейных фирм, литература для обзора выбрана в сфере использования определения термина «семейный бизнес» и

первичных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Таким образом, оставлено множество сфер для изучения.

Несмотря на то, что все работы, описанные нами, релевантны и содержат большое количество информации, невозможно не отметить и некоторые недостатки исследований, посвященных развитию семейного бизнеса в России. В большинстве статей и книг (в особенности российских авторов) тема положения женщин в семейном бизнесе и системе наследования предприятий затрагивается лишь косвенно либо полностью отсутствует. Вопрос наследования семейного предприятия дочерьми рассматривается в основном в работах зарубежных авторов. Кроме того, сравнительно немного исследований посвящено отношениям между дочерьми или женами, наследующими фирмы, и другими членами семьи. Таким образом, множество сфер, которые относятся к «гендерным аспектам» в семейном бизнесе, требуют дальнейшего, более глубокого изучения.

С точки зрения методологии следует отметить недостаточность использования микс-методов. Статьи, изучающие позицию женщин в семейном бизнесе, часто сконцентрированы на одном методе, таком как сравнительный анализ или интервью. Несмотря на то, что огромное количество книг и статей авторов часто основывается на единой методологии, на мой взгляд, наиболее значимым способом для достижения более точных результатов является реализация микс-методов как с эмпирической, так и с теоретической базой. Проанализировав некоторые исследования, посвященные «гендерным аспектам», а также наследованию и развитию семейного бизнеса, можно обнаружить, что интерес к данным вопросам сильно возрос в последнее десятилетие. Появились как новые сферы для изучения, так и новые методы, используемые авторами. Исследовательские проблемы приобрели более узкую и точную направленность – от изучения феномена семейного бизнеса в целом к описанию отношений между родственниками, наследниками предприятия. Однако, несмотря на повышенный интерес социологов к данным областям, тема положения женщин в семейном бизнесе все ещё остается малоизученной. Требуется дальнейшее исследование таких аспектов, как влияние воспитания и стереотипов, построение отношений между дочерьми-отцами, а также гендерная диспропорция в возможностях администрирования своего бизнеса.

Литература

1. Волков Д.А., Календжян С.О. Развитие семейного предпринимательства в России // Экономическая политика. 2011. № 5.
2. Davis J.A. & Tagiuri, R. Bivalent attributes of the family firm // Family business review. 1996. № 9.
3. Barret M. Theories to define and understand family firms // A window into business research. 2014. № 3.
4. Craig, J.B., Dibrell, C. & Neubaum, D. (2011) Stewardship behavior as governance in family businesses. In: Farrar, J. & Watson, S. (eds.) *Contemporary issues in corporate governance*. Christchurch, New Zealand: The Centre for Commercial & Corporate Law Inc. pp. 277–296.
5. Patel G. Gender differences in leadership styles and the impact within corporate boards. Social transformation program division. 2013.
6. Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998.
7. Thurman P.W., Nason R.S. Father-Daughter Succession in Family Business: A Cross-Cultural Perspective. NY. Routledge. 2011.

8. Vöpel N., Rüsen T., Calabrò A. Property entails obligations – across generations: Shareholder competence in family businesses // WIFU Working Paper Series. 2013. № 15.

9. Heffernan M. A. A Working Woman's Manifesto on Business and What Really Matters. San Francisco. Jossey-Bass. 2004.

10. Read L. H. The Financing of Small Business: A Comparative Study of Male and Female business owners. NY. Routledge. 1998.

11. Haberman H., Danes S.M. Father-Daughter and Father-Son Family Business Management Transfer Comparison: Family FIRO Model Application // Family Business review. 2007. № 20.

12. Корчагина Е.В. Исследования семейного бизнеса в России: Подходы к определению и концептуальные особенности // Социально-экономические исследования. 2015. № 6/4.

Voronkova Anastasia I. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

E-mail: avoronkova@hse.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/17

CONCEPTUAL THEORETICAL ANALYSIS OF THE RUSSIAN FAMILY BUSINESS INHERITANCE PHENOMENON IN GENDER ASPECTS

Key words: family business, inheritance system, gender disproportion, small family business, gender stereotypes

This work is devoted to the examination and analysis of the family business inheritance phenomenon, its emergence and specific system prevailing in Russia. The focus is made on the review of the most relevant and popular theories and methods used by the authors to study the position of women in the system of small family firms' inheritance, obstacles women face in the process of business transition to the second generation and the role stereotypical traditional Russian brought-up plays in these issues. The article concentrates on the "gender attributes" – inequality between male and female heirs both in administration of family firm and in the process of decision-making about the future development of the enterprise. The scheme of family business inheritance in Russia is one of the serious problems linked to both entrepreneurship and aspects related to gender inequality. Several theories can be considered the most relevant and practically used by sociologists and economists in different types of the research. This work analysis such paradigms, as: Systematic theory, which is focused on viewing the world in terms of the interrelationships of objects, such as "family relations" and "firm administration" with one another; so-called Agency theory aimed at examining and analysing the conflicts of interest between the owners and heirs of the previous firm-holders; Stewardship paradigm devoted to the specific combination of psychological and contextual fields. Moreover, the article contains overview on the issues, related to the gender disproportion in the system of the small business inheritance in the works of sociologists. The research based on several studies of "gender aspects", as well as inheritance and development of the family business in Russia, can display the increasing role of such issues in the works of sociologists in past decade. It can be also noted that both new areas for study and new types of methods used by the authors are extremely relevant nowadays. Research problems have acquired narrow and more precise focus - from the study of the family business phenomenon in general, to the description of relations between relatives and heirs of the enterprise. However, despite the increased interest of sociologists in these fields, the topic of women's position in the family business is still poorly understood. Further research is highly required on such aspects as the influence of upbringing and stereotypes, the construction of relations between daughters-fathers, as well as gender disproportion in the possibilities of administering their business.

References

1. Volkov, D.A. & Kalendzhyan, S.O. (2011) Razvitie semeynogo predprinimatel'stva v Rossii [The development of family business in Russia]. *Ekonomicheskaya politika* – Economic Policy Journal. 5. Pp.148–154.

2. Davis, J.A. & Tagiuri, R. (1996) Bivalent attributes of the family firm. *Family Business Review*. 9. pp.199–208. DOI: 10.1111/j.1741-6248.1996.00199.x

3. Barret, M. (2014) Theories to define and understand family firms. In: Hasan, H. (ed.) *Being Practical with Theory: A Window into Business Research*. University of Wollongong. pp.168–170.

4. Craig, J.B., Dibrell, C. & Neubaum, D. (2011) Stewardship behavior as governance in family businesses. In: Farrar, J. & Watson, S. (eds.) *Contemporary issues in corporate governance*. Christchurch, New Zealand: The Centre for Commercial & Corporate Law Inc. pp. 277–296.
5. Patel, G. (2013) *Gender differences in leadership styles and the impact within corporate boards*. *Gender Differences in Leadership Styles and the Impact Within Corporate Boards*. The Commonwealth Secretariat, Social Transformation Programs Division.
6. Chirikova, A.E. (1998) *Zhenshchina vo glave firmy* [A woman at the head of the firm]. Moscow: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences.
7. Thurman, P.W. & Nason, R.S. (2011) *Father-Daughter Succession in Family Business: A Cross-Cultural Perspective*. New York: Routledge.
8. Vöpel, N., Rüsen, T. & Calabrò, A. (2013) Property entails obligations – across generations: Shareholder competence in family businesses. *WIFU Working Paper Series*. 15.
9. Heffernan, M.A. (2004) *A Working Woman's Manifesto on Business and What Really Matters*. San Francisco: Jossey-Bass.
10. Read, L.H. (1998) *The Financing of Small Business: A Comparative Study of Male and Female Business Owners*. New York: Routledge.
11. Haberman, H. & Danes, S.M. (2007) Father-daughter and father-son family business management transfer comparison: Family FIRO model application. *Family Business Review*. 20. pp. 163–184. DOI: 10.1111/j.1741-6248.2007.00088.x
12. Korchagina, E.V. (2015) *Issledovaniya semeynogo biznesa v Rossii: Podkhody k opredeleniyu i kontseptual'nye osobennosti* [Studies of the family business in Russia: Approaches to definition and conceptual features]. *Sotsial'no-ekonomicheskie issledovaniya*. 6/4.

УДК 303.4

DOI: 10.17223/1998863X/38/18

В.В. Колодий, Н.А. Колодий, Ю.А. Чайка

АКТИВИЗМ И ПАРТИСИПАТОРНОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОРОДСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ «ПРОИЗВОДСТВА» ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Фокус исследований в системе гуманитарных наук в нашем обществе только в последнее время сместился в сторону городских исследований. «Поворот к городу» в культурологии, философии намечился на рубеже нулевых годов, до этого городская проблематика анализировалась в основном в области социологии, социальной географии, экономики. Тогда же сформировался дискурс «производства пространства». Понимание пространства как продукта производства возникло в силу того, что понадобилось представить себе город как процесс, в который вовлечены различные акторы, включая различные городские сообщества. В статье речь идёт о возможности и готовности городских сообществ участвовать в процессах трансформации российских городов, о том, как реальные или виртуальные группы жителей способны противостоять непродуманным проектным решениям.

Ключевые слова: городское пространство, урбанистика, городская политика, социальный городской менеджмент, Smart City, Culture-led Urban regeneration, партисипаторность, социальные сети, интернет-площадки, Community.

Удовлетворённость или неудовлетворённость жизнью, успешность или неуспешность самореализации личности, ощущение комфортности зависят от многих обстоятельств, в том числе и от той среды обитания, в которой непосредственно находится горожанин. Городская среда в широком смысле слова становится фактором конкурентоспособности городов. Но она в современных условиях не может быть высококомфортной, если она проектируется, формируется, развивается без участия горожан. В современной урбанистике проблема участия формирующихся городских сообществ и коммьюнити в принятии градостроительных решений, городском планировании трактуется как проблема создания справедливых условий городского развития на основе солидарности и взаимопомощи, так необходимых горожанам. В России – как проблема вовлечения граждан в создание «города равных возможностей», в котором и высокоресурсные группы, обладающие необходимым капиталом для развития, и низкоресурсные группы имеют возможность повысить качество жизни. Но – так или иначе – решение проблем городов с участием населения сегодня особенно важно, поскольку в них проживает большая часть страны. Соответственно, ключевым вектором в идеологии развития города должна стать стратегия создания модели жизни, обеспечивающей человеку защиту интересов, не учитываемых при реализации крупных городских проектов; оказание социальных услуг в тех сферах, где государство демонстрирует недостаточную состоятельность, а бизнес проявляет избирательную заинтересованность; инициирование и распространение социальных изменений, создание и привлечение социальных технологий, работающих на внедрение позитивных поведенческих

практик; стимулирование достижительных мотиваций, наращивание человеческого капитала и укрепление отношений доверия в обществе.

Главную проблему исследования можно сформулировать в вопросе, существуют ли реально действующие городские сообщества, локальные самоорганизующиеся общины, как они участвуют в «производстве пространства» и оказывают ли они влияние на философию и практики управления пространственным развитием города?

Цель исследования – выявить особенности партисипаторных методологий, теоретические основания сотрудничества с реальными и виртуальными городскими сообществами для конституирования оснований городской политики, базирующейся на осознании коллективной городской идентичности.

Методология исследования складывается из междисциплинарного подхода, позволяющего осуществить синтез концепта живого и комфортного города и теории развития постиндустриального города, а именно идей школы урбанистики, представленной новым городским социальным менеджментом, принципов междисциплинарного исследования качества городской среды, развиваемых культурной социологией пространства.

Дискуссия по проблеме

Мировой и отечественный опыт по поиску модели «города равных возможностей», новой пространственной структуры внутри городов позволяет выделить основные аспекты дискуссии.

Дискуссии о комфортном, здоровом, умном городе разворачиваются на фоне развития дискурсов о полицентрической городской системе, многоядерной социально-пространственной структуре с достаточно большим разнообразием акторов. Оживлённое обсуждение проблемы активизма населения в процессе модернизации городской среды находит отражение в литературе, посвящённой разумному росту городов. Вопрос о том, присутствует ли в процессах модернизации города партисипативность, наиболее активно обсуждается в урбанистической литературе постнеклассического этапа (K. Main, G.F. Sandoval) [1]. Обсуждение того, кто является коренным жителем и проводником самых необходимых решений по изменению города (J. MacLeavy), – длительное время существующий сюжет социального городского менеджмента в Европе [2].

В западной урбанистике (L. Binns) партисипативность рассматривается и как стратегия *culture-led regeneration*, т.е. совместная деятельность девелоперов, градопроектировщиков, горожан по реновации заброшенной территории, бывших промышленных объектов для создания объектов культуры, досуга. L. Binns, например, утверждает, что «третья, альтернативная стратегия восстановления, основанная на культуре, излишне фокусируется на достижении обновления «снизу вверх» [3. Р. 140].

Автор подчёркивает тем самым, что эта совместная деятельность инициирована рядовыми гражданами, не наделёнными никакими властными полномочиями. Есть представление, что партисипативность – это современный метод работы проектной команды с различными социальными группами, которые заинтересованы в конечном результате проектирования, «результаты включают в себя усиление социальной сплоченности; чёткое

осознание локальной идентичности, сокращение масштабов вандализма в городе; поощрение интереса к местным условиям; развитие уверенности в своих силах; налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами; общее видение будущего; укрепление организационного потенциала и поддержку независимости» [3]. Такими социальными группами могут быть инвесторы, заказчики, городские власти и потребители продукта – жители, арендаторы и т.д. В процессе проектирования архитектор выступает, в том числе, в роли модератора общения между всеми участниками. Он должен примирить интересы различных социальных групп, активно включая их в процесс создания архитектурного проекта, а также найти профессиональное решение, которое устроит все стороны. Одним из первых заметных проектов в режиме совместного планирования в Вологде, например, стал социально-средовой проект «Активация», в результате которого появились 5 новых общественных пространств.

Есть более широкий подход, согласно которому «жительство» (так переводят английское слово "permit"), как главная движущая сила пространственного развития, очень избирательно участвует в этом процессе. Чтобы определить, что в современном контексте значит «жительство» (M. Purcell), требуется найти баланс между соперничающими представлениями о городе, которых придерживаются те, кто активно живет в городе, а не просто является традиционным «местным жителем» [4. Р. 142]. Кто должен определять, какие жители являются «хорошими» и «полезными» для городского развития? Кто определяет то общее видение города, вокруг которого могут объединиться и начать действовать заинтересованные люди? Как эта борьба соотносится с устойчивым представлением об «уроженце» города? Все эти проблемы находят отражение в тех исследованиях, которые основаны на кейсовой исследовательской стратегии и не претендуют даже на восхождение к теории, которая объяснила бы исчерпывающим образом феномен партисипантности.

Дискурс об архитектонике акторов городской среды

Ключевые вопросы, обсуждаемые в этом контексте: кто может стать лоббирующей силой при реализации глобальных городских проектов (бизнес-структуры, градостроители, разные городские сообщества)? Каково соотношение сил в рамках такой иерархии? Эти вопросы особенно оживлённо обсуждаются в европейской урбанистике (R. Argenbright, T. Dixon), в культурной социологии пространства и даже с учётом реалий российских городских проектов [5–8]. Особую актуальность дебаты приобрели при возведении Москвы-Сити при участии знаменитого архитектора Фостера. Впрочем, опыт проектирования в Сити, по словам отечественного градопроектировщика Сергея Чобана, был довольно сложным: проект реализовывался в контексте жёсткого неприятия городским сообществом с нарушением всех сроков и со значительными искажениями. Архитектурное сообщество при этом удивительно солидарно в том, что даже великие архитекторы, если их усилия не объединяются с действиями местных архитекторов и не могут найти отклика среди строителей, терпят поражение. Протесты против проектов масштабных городских строек в Петербурге и Москве [5] показывают, что

это насущная проблема и российских городов. В Петербурге идет постоянная борьба, разворачивающаяся то вокруг газпромовского небоскреба, то по поводу сноса зданий, представляющих собой особую историческую ценность. Вопрос о том, оправдают ли экономические выгоды от налогов и появление новых рабочих мест, сменяется вопросом о том, перевесит ли вред, нанесенный праву и строительному кодексу вместе с воздействием непрозрачности на политический процесс [7]. Одна протестная форма сменяет другую. Но часто эти протесты становятся демонстрационными, незавершенными, не способными оказывать влияние на градостроительную политику, что, впрочем, еще мало исследуется в урбанистической литературе.

Если в европейских научных сообществах можно зафиксировать стремление к своеобразному балансу дискурсов социально-экономического развития города и дискурсов социального, экологического равенства, то среди российских урбанистов дискурс равенства, дискурс партисипаторности считается недостаточно перспективным.

Может быть, поэтому в принципе не определены однозначно понятия: городские общины, локальные самоорганизующиеся общины, городские сообщества. Тогда как в мире получило распространение целое направление: Community-based participatory research [2]. Согласно этому подходу, сообщество горожан можно относить как к классу реальных, так и к классу воображаемых. Для такого сообщества основная форма существования – уровень автостереотипов, воспроизводимых в ситуации создания презентативного текста или земляческого общения, а также стратегии противопоставления другим значимым окружающим сообществам (другим горожанам). А в целом в урбанистической и социологической литературе акцент в обсуждении, скорее, на реальных сообществах, которые могли бы способствовать имплементации концепта устойчивого города. Насколько изучение городского пространства может помочь пониманию масштабных социальных процессов в обществе в целом (N. Moore-Cherry, V. Crossa, and G. O'Donnell, H. Yoon and E. Currid-Halkett) – эта проблема изначально дебатировалась ещё с момента возникновения чикагской урбанистической школы [9, 10].

Для чикагских урбанистов город был «лабораторией», позволяющей на его примере судить о социальных процессах всего американского общества. Часть сегодняшних урбанистов также убеждена в том, что изучение городов может помочь критическому и аналитическому пониманию масштабных социальных процессов (Le Gales, Patrick), особенно в контексте smart growth [11]. Правда, проблема в том, что в разворачивающихся на наших глазах новых пространственных конфигурациях (H. Elsayahli, F. Ahmad and A. Shah Ali, J. Hugh Prior, G. Tavano Blessi) город как таковой уже не занимает того центрального места, какое он занимал в классической урбанистике [12, 13].

Взаимодействие Community и власти, градостроителей и градопроектировщиков – это один из наиболее актуальных урбанистических дискурсов в контексте исследуемой проблемы.

Как же обеспечить в городе взаимопонимание людей с различным происхождением, находящихся в различных жизненных обстоятельствах, имеющих различные ресурсы, ценностные представления и навыки? Как продуктивно преодолеть отчужденность и конфликты между ними?

Известно, что в социально неблагополучных районах снижается не только социальная интеграция населения, но и политическая и гражданская партисипация. Как усилить коллективную городскую идентичность? Помочь решить данные проблемы должна концепция межкультурного городского планирования и строительства (S. Huston, D. Wadley, and R. Fitzpatrick, Cheng-Yi Lin, Woan-Chiau Hsing), целью которой является создание условий для диалога между различными этническими и национальными группами [14, 15].

Анализ исследований по поиску новых подходов и инструментов для работы в изменившихся условиях городского социального пространства позволяет нам выделить мировой и отечественный опыт поиска социальных технологий сотрудничества с городским населением.

Так, например, мэрии городов чешских муниципалитетов в процессе вовлечения горожан в создание городской среды используют опросы общественного мнения, общественные собрания, целевые встречи, семинары и т.д. Темы, которые обсуждаются: стратегическое планирование, городское планирование, создание мест (реконструкция общественных пространств), благополучие города (транспорт, парковка, чистота, безопасность), общественное планирование социальных услуг, охрана общественного порядка и т.д.

Драйвером развития российского города должно стать осознание коллективной городской идентичности, вовлеченность большинства горожан в решение вопросов реконструкции и развития территории.

Если обратиться к деятельности самоформирующихся локальных томских сообществ, то следует обратить внимание на то, что она проявляется особым образом в конфликтных ситуациях. Конфликты чаще всего связаны с оспариванием права на освоение городского пространства. Городским конфликтом традиционно называется очевидное явное противостояние жителей города и власти, реализующей пространственные проекты, жителей и строителей. Изменение городской среды может осуществляться властью в двух основных направлениях: изменение нормативно-законодательной базы города или изменение «материальной» субстанции города (снос жилья, строительство зданий, автодорог и т.п.).

Данное разделение условно, поскольку любые изменения города должны опираться на ответственные решения администрации города, т.е. совмещать нормативные изменения и изменения «второй природы» города. Обратим внимание на один из городских томских конфликтов последнего времени.

Кейс 1.

Страна/Город: Россия/Томск

Суть кейса: Часовня как предмет обсуждения

«Как сообщается на сайте городской думы, на заседании 28 марта комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре депутаты приняли решение об изменении границ особо охраняемой природной территории «сквер на площади Новособорная» с целью строительства часовни на высвобожденном участке земли. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередном собрании думы Томска.

Отмечается, что ранее мэрия провела опрос среди томичей, в ходе которого 2,5 тысячи человек поддержали восстановление храма на Новособорной. Однако не все оказались согласны с таким решением.

«Непонятно, для чего нужна часовня на площади Новособорной. В 300 метрах от планируемого места постройки находится церковь. В целом ее планируется построить на основном месте отдыха горожан, большинство жителей города против, вопрос решился закрыто, не принимая во внимание мнение основной части населения», — пишет автор одной из петиций. Уточняется, что обращение будет направлено в администрацию города после того, как наберет 500 подписей. На момент написания материала данную петицию подписали 213 человек»¹.

Уже далеко не в первый раз томичи оспаривают проектные решения, связанные со строительством или восстановлением православных храмов. Так, в последние годы противодействие вызывал проект возведения храма в Зональном, церкви – на Каштаке, сейчас – часовни на месте разрушенного Троицкого собора. И дело заключается не в том, что жители недостаточно духовны, что у них специфическая культурная память, а в том, что они не участвовали в принятии таких градостроительных решений и не принимают такой городской политики. Как было отмечено, эффективное развитие города подразумевает многофункциональность застройки, когда создается жилая среда, более разнообразная и интенсивная по коммуникациям и отвечающая потребностям горожан. В данном случае практика опросов представляется большей части людей случайной, а результаты – не отражающими волю большинства. Таких конфликтов можно было бы избежать, если бы власть удерживала в актуальном состоянии уровень требований, предъявляемых к городской среде, и уровень недовольства жителей. Исследователи давно выяснили, что уровень недовольства горожан предопределен двумя наиболее значимыми обстоятельствами: ущемлением интересов строительством объекта и психологически-субъективной предрасположенностью жителей к эскалации конфликта, обусловленной недоверием горожан почти ко всем институтам власти. Кроме того, адекватное взаимодействие власти, бизнеса, городского сообщества осложняется противоречивостью либо неоднозначностью нормы, закона. Неопределенность, неоднородность правового поля может стать фактором затяжного конфликта между жителями и представителями власти.

Решение конфликта зависит и от степени сплоченности и самоорганизованности жителей. Часть исследователей объясняет это доставшимися в наследство формами отчуждения граждан при «производстве пространства».

Ещё одна часть конфликтов обусловлена тем, что у города нет единого общего видения стратегий пространственного развития, сохранения деревенного зодчества и его эффективного использования. Это видение могло бы сформироваться, если бы власть совместно с представителями науки использовала адекватный инструментарий для мониторинга и оценки комфортности городской среды, решения проблем города с участием населения; бы-

¹ Источник: Томичи собирают подписи против строительства часовни на Новособорной. URL: <https://news.vtomske.ru/news/139492-tomichi-sobirayut-podpisi-protiv-stroitelstva-chasovni-na-novosobornoi>

ла ориентирована на создание коммуникационных площадок и технологии вовлечения в коммуникацию заинтересованных сторон (бизнес, университеты и пр.); если бы использовала социальные технологии по популяризации использования социотехнических решений для повышения качества жизни людей.

То, что власть заинтересована в этом, не вызывает сомнения. Её реальные действия по реставрации тех же деревянных домов, по сохранению памятников зодчества или по их рациональному современному использованию, достаточно последовательны, но не находят широкой поддержки среди различных групп населения. Обратимся к анализу позиции власти, бизнеса, отдельных групп горожан в ситуации, связанной с передачей в аренду разрушающихся памятников деревянного зодчества.

Кейс 2. Дом с грифоном

Страна/Город: Россия/Томск

Суть кейса: сохранность или потеря?

«Администрация Томска передала в аренду инвестору памятник деревянного зодчества по ул. Тверская, 66а, сообщает пресс-служба муниципалитета. Дом по ул. Тверская, 66а станет десятым, по которому будет заключен контракт для передачи в аренду инвесторам сроком на 49 лет.

Из трех объектов деревянного зодчества, выставленных на повторный аукцион для сдачи их в аренду, только один заинтересовал инвестора – одноэтажное деревянное здание на Тверской, 66а, являющееся объектом ценной историко-архитектурной среды, сообщается на сайте муниципальных торгов».

То, что сохранить памятники деревянного зодчества важно, понимают все. Но из множества объектов востребованной оказалась лишь небольшая часть. Горожане готовы защищать их от сноса, но не готовы реконструировать дома сами. Дальнейшие попытки власти сдать разрушенные памятники зодчества в аренду за рубль пока тоже не очень успешны. В городе было много организованных протестов, осуждающих снос некоторых памятников деревянного зодчества или критикующих неаутентичную технологию реставрации, или непродуманное решение по его использованию. Но когда жителям была предоставлена возможность взять в аренду на достаточно справедливых условиях, отреставрировать здания и использовать в дальнейшем, то оказалось, что желающих не просто мало, а ничтожно мало. Это свидетельствует не только о низкой вовлечённости бизнеса и горожан в процессы модернизации города, но и о том, что все заинтересованные стороны плохо представляют, как будет меняться исторический центр города, как будут сносятся деревянные здания, находящиеся в аварийном состоянии; что будет строиться на месте так называемой «городской деревни». Горожане не уверены в том, что этот процесс будет успешен, что он будет постоянным, что надолго сохранятся «правила игры».

Проведенные исследования (конфликт в Зональном, конфликт, связанный с пространственным развитием Татарской слободы; противостояние

¹ Источник: <https://vk.com/woodentomsk>

строителей и горожан в «Южных воротах», споры о строительстве часовни на Новособорной) показывают отсутствие скоординированности во взаимодействии власти и населения, в поиске консенсуса между представителями власти, бизнеса и городскими общинами, сообществами по вопросам модернизации и развития городской среды. Какие городские сообщества, локальные самоорганизующиеся группы (и с помощью каких ресурсов) должны участвовать в этот процессе? Среди реальных городских самоорганизующихся групп и сообществ Томска, так или иначе участвующих в процессе трансформации города, можно отметить: группы и сообщества, связанные с деревянной архитектурой (сторонники консервации и сторонники модернизации), локальные объединения горожан (жители «Спутника» или жители «Южных ворот»), протестующие против несправедливой модернизации системы общественного транспорта или экологической несправедливости, долго существующие виртуальные паблик-группы (группа в социальных сетях, например, протестующая против стратегий джентрификации, осуществляемой девелоперами в Томске). Но все они больше ориентированы на организацию массового протеста, на критику власти за неумение создать «дружественное пространство». Отсутствие дружественного городского пространства объясняется многими обстоятельствами: дефицитом проектировщиков, которые в состоянии учесть данные социальных наук о меняющихся потребностях, ценностях, интересах, паттернах поведения современного человека в разных возрастных, культурных стратах; наличием заброшенных территорий, которые не поддаются адекватной реновации; проблемами транспорта, который в городах не обеспечивает даже простой трудовой мобильности; отсутствием пешеходной доступности, малым количеством зелёных парковых зон пошаговой доступности. Существует даже некоторая геттоизация тех микрорайонов, которые населяют сплочённые этнические группы (трудовые мигранты из стран СНГ, выходцы из азиатских стран). Но готовы ли горожане не просто критиковать, а менять эту городскую среду? Исследовательские кейсы продемонстрировали характерный для современной культуры внутренне противоречивый процесс взаимодействия власти, градостроителей, горожан. Зачастую горожане отчуждённо, с апатией относятся к тому городу, месту, в котором они живут. Эксперты связывают эту проблему с сокращением горизонтов планирования: люди не нацелены думать о том, какие последствия будут от их действий или бездействия в отношении городской среды через определённое время, десятки лет. Наиболее активные представители локальных самоорганизующихся групп убеждены, что одной из существенных проблем в рамках данных процессов является низкая способность горожан к самоорганизации, к проведению публичных дискуссий, а также невладение инструментами и технологиями обсуждения данных проблем. Ряд экспертов подчеркивает, что как в Томске, так и в некоторых других регионах не развиты сами институты такого участия. Эксперты отмечают, что серьёзной проблемой является низкий уровень правовой грамотности как у горожан, так и у представителей муниципальной власти. Необходимо и содействие в продвижении самой идеи партисипативности, со-проектирования. Реализация партисипаторных методологий приведёт к снижению вероятности криминализации городской

среды, ослаблению тенденций сегрегации, укреплению городской идентичности, разделению ответственности за проводимую политику между властью и обществом, к пониманию сути городской политики и адекватной оценке эффективности принимаемых мер.

Итоги и результаты

Среди основных стратегий решения поставленных проблем по взаимодействию с различными Community должны выступать:

- разработка платформы распространения и обмена контентом в интернет-среде, разрушающей информационные барьеры между администрацией и населением, между различными этническими и культурными группами, обеспечивающей со-участие в управлении пространственным развитием города;

- создание диалоговой среды для проведения районных референдумов по ключевым вопросам модернизации городской среды, а также по вовлечению горожан в данные процессы;

- мониторинг дискуссий и комментариев к публикациям на интернет-площадках, с дальнейшей выработкой корректирующих действий и выявлением удовлетворенности горожан городской средой.

Партисипаторный подход необходимо реализовывать, модернизируя городское пространство. Доступ людей к со-проектированию публичных пространств города и участие в создании практик со-проектирования является первым шагом к улучшению гражданской жизнедеятельности. Создание, защита, управление и использование общественного пространства предоставляют идеальную возможность для вовлечения всех граждан, трансформируя личные и дифференцированные интересы в практики сотрудничества. Поиск инструментов совместной деятельности при обеспечении безопасности и обслуживания общественного пространства будет стимулировать формирование мест (place-making), побуждать людей к коллективным решениям. Томску как городу-университету максимально «подходят» те стратегии взаимодействия с населением, которые ориентированы на усиление экономического процветания и занятости в городе; продвижение равенства, социальной вовлеченности; защиту и совершенствование городского пространства для достижения локальной и глобальной устойчивости; увеличение вклада в адекватное городское управление и наделение соответствующими полномочиями местных сообществ.

Литература

1. Main K., Sandoval G.F (2015) Placemaking in a translocal receiving community: The relevance of place to identity and agency // *Urban Studies* January. 2015. 52. P. 71–86.
2. MacLeavy J. (2009) (Re)Analysing Community Empowerment: Rationalities and Technologies of Government in Bristol's New Deal for Communities // *Urban Studies* April 2009 46: pp.849–875.
3. Binns L. (2005) Capitalising on culture: an Evaluation of Culture-led Urban Regeneration Policy. *Futures Academy*, Dublin Institute of Technology, 2005.
4. Purcell M. (2013) Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. // *Journal of Urban Affairs* 36(1): pp.141–154.

5. Argenbriht R. (2008) Avtomobilshchina: Driven to the Brink in Moscow, *Urban Geography*, 29 (7) (October1-November 15): pp.683–704.
6. Argenbriht R. (2010), Soviet Agitational Vehicles: Bolsheviks in Strange Places, in Mark Bassin, Chris Ely, and Melissa Stockdale, eds., *Place, Space, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History*. DeKalb: Northern Illinois Press: pp.142–163.
7. Dixon T. (2010) Sustainable urban development to 2050: complex transitions in the built environment of cities. In: The Oxford Programme for the Future of Cities , 26th October 2010, Saïd Business School , University of Oxford.
8. Dixon T., Cohen K. (2015) Towards a smart and sustainable Reading 2050 vision. Town and Country Planning, January. pp. 20–27. ISSN 0040-9960 (In Press)
9. Moore-Cherry N., Crossa V., O'Donnell G. (2015) Investigating urban transformations: GIS, map-elicitation and the role of the state in regeneration // *Urban Studies* September 2015 52: pp.2134–2150
10. Yoon H., Currid-Halkett E. (2015) Industrial gentrification in West Chelsea, New York: Who survived and who did not? Empirical evidence from discrete-time survival analysis // *Urban Studies* January 2015 52: pp.20–49.
11. Le Gales P. (2002) European cities. Social conflicts and governance, Oxford: Oxford University Press.
12. Elsawahli H. , Ahmad F., Shah Ali A. (2014) New urbanism design principles and young elderly active lifestyle: An analysis of TTDI neighbourhood in Kuala Lumpur, Malaysia// *URBAN DESIGN International* , 2014, 19, pp.249–258.
13. Prior, H.J. & Blessi, G.T. (2012) Social Capital, Local Communities and Culture-led Urban Regeneration Processes: The Sydney Olympic Park Experience// *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*. Vol 4. No 3. (2012).
14. Huston S., Wadley D., Fitzpatrick R. (2015) Bohemianism and Urban Regeneration: A Structured Literature Review and Compte Rendu // *Space and Culture* August 2015 18: pp.311–323.
15. Cheng-Yi Lin, Woan-Chiau Hsing (2009) Culture-led Urban Regeneration and Community Mobilisation: The Case of the Taipei Bao-an Temple Area, Taiwan *Urban Studies* June 1, 2009 46: pp.1317–1342 .
16. Chi Xu, Shubo Fang, Nao Long, Shuqing Teng, Mingjuan Zhang, Maosong Liu (2015) Spatial Patterns of Distinct Urban Growth Forms in Relation to Roads and Pregrowth Urban Areas: Case of the Nanjing Metropolitan Region in China// *Journal of Urban Planning and Development*. 141(1), (2015).

Kolodii Nataliia A. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: kolna@tpu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/18

Kolodii Vyacheslav V. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: strat1212@tpu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/18

Chayka Yuliya A. National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: kolna@tpu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/18

ACTIVISM AND PARTICIPATION: SOCIAL TECHNOLOGIES OF COOPERATION WITH URBAN POPULATION IN THE PROCESS OF "PRODUCTION" OF URBAN SPACE

Key words: urban space, urban planning , urban policy, social urban management, Smart City, Culture-led Urban regeneration, participatory planning, social networks, Internet sites, Community

It has been observed just recently that the focus of research in the humanities in our society has shifted towards urban studies. "Turn to the city" in cultural studies and in philosophy was outlined at the turn of the two-thousands. Before that the city problems were analyzed mainly in the field of sociology, social geography, and economics. At the same time, the discourse of "production of space" was formed. The understanding of space as the result of production has arisen due to the fact that it was necessary to conceptualize a city as a process in which various actors are involved, including various urban communities. The article deals with the possibilities and willingness of urban communities to

participate in the process of transformation of Russian cities, and reveals how real or virtual groups of residents are able to resist ill-conceived design decisions.

References

1. Main, K. & Sandoval, G.F (2015) Placemaking in a translocal receiving community: The relevance of place to identity and agency. *Urban Studies*. 52. pp. 71–86. DOI: 10.1177/0042098014522720
2. MacLeavy, J. (2009) (Re)Analysing Community Empowerment: Rationalities and Technologies of Government in Bristol's New Deal for Communities. *Urban Studies*. 46. pp.849–875. DOI: 10.1177/0042098009102132
3. Binns, L. (2005) *Capitalising on culture: an Evaluation of Culture-led Urban Regeneration Policy*. Dublin Institute of Technology.
4. Purcell, M. (2013) Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. *Journal of Urban Affairs*. 36(1). pp.141–154. DOI: 10.1111/juaf.12034
5. Argenbright, R. (2008) Avtomobilshchina: Driven to the Brink in Moscow. *Urban Geography*. 29(7). pp. 683–704. DOI: 10.2747/0272-3638.29.7.683
6. Argenbright, R. (2010) Soviet Agitational Vehicles: Bolsheviks in Strange Places. In: Bassin, M., Ely, C. & Stockdale, M. (eds) *Place, Space, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History*. DeKalb: Northern Illinois Press. pp.142–163.
7. Dixon, T. (2010) Sustainable urban development to 2050: complex transitions in the built environment of cities. In: *The Oxford Programme for the Future of Cities*. 26th October 2010. Saïd Business School, University of Oxford.
8. Dixon, T. & Cohen, K. (2015) Towards a smart and sustainable Reading 2050 vision. *Town and Country Planning*. January. pp. 20–27.
9. Moore-Cherry, N., Crossa, V. & O'Donnell, G. (2015) Investigating urban transformations: GIS, map-elicitation and the role of the state in regeneration. *Urban Studies*. 52. pp. 2134–2150. DOI: 10.1177/0042098014545520
10. Yoon, H. & Currid-Halkett, E. (2015) Industrial gentrification in West Chelsea, New York: Who survived and who did not? Empirical evidence from discrete-time survival analysis. *Urban Studies*. 52 (1). pp. 20–49. DOI: 10.1177/0042098014536785
11. Le Gales, P. (2002) *European cities. Social conflicts and governance*. Oxford: Oxford University Press.
12. Elsawahli, H., Ahmad, F. & Shah Ali, A. (2014) New urbanism design principles and young elderly active lifestyle: An analysis of TTDI neighbourhood in Kuala Lumpur, Malaysia. *URBAN DESIGN International*. 19. pp. 249–258. DOI: 10.1057/udi.2013.22
13. Prior, H.J. & Blessi, G.T. (2012) Social Capital, Local Communities and Culture-led Urban Regeneration Processes: The Sydney Olympic Park Experience. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*. 4(3). DOI: 10.1080/08985620110112079
14. Huston, S., Wadley, D. & Fitzpatrick, R. (2015) Bohemianism and Urban Regeneration: A Structured Literature Review and Compte Rendu. *Space and Culture*. 18. pp. 311–323. DOI: 10.1177/1206331215579751
15. Cheng-Yi, L. & Woan-Chiau, H. (2009) Culture-led Urban Regeneration and Community Mobilisation: The Case of the Taipei Bao-an Temple Area. *Taiwan Urban Studies*. 46. pp. 1317–1342. DOI: 10.1177/0042098009104568
16. Chi, X., Shubo, F. Nao, L., Shuqing, T., Mingjuan, Z. & Maosong, L. (2015) Spatial Patterns of Distinct Urban Growth Forms in Relation to Roads and Pregrowth Urban Areas: Case of the Nanjing Metropolitan Region in China. *Journal of Urban Planning and Development*. 141(1). DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000202

УДК 316.74:2 (0758)

DOI: 10.17223/1998863X/38/19

Л.Ю. Логунова, В.А. Рычков

ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Взаимоотношения Русской православной церкви и государства в советский период содержит аспекты социальной и культурной травмы. Ученые изучают эти взаимоотношения в историческом и социокультурном срезе, опираясь на концепцию исторической и культурной травмы П. Штомпки. Рассматриваются возможные траектории развития событийности, связанные с современными политическими дискуссиями и событиями культуры, их влиянием на будущее. Социальная прогнозика строится на концепции социальной памяти и социокультурном подходе. Сегодня травматические события прошлого преломляются в общественном сознании в виде противоречий исторической и социальной памяти. В структурах социальной памяти хранится актуальная информация для обеспечения повседневной жизни людей, их выживания. Содержание исторической памяти формирует идеологию общности. Эти виды памяти взаимозависимы и оказывают влияние на коллективное сознание общности, на восприятие ее членами актуальных исторических событий, на дальнейшую судьбу социальных групп и личностей. Противоречия между этими видами памяти существуют на макро- и микроуровнях и являются движущей силой для развития социальных инноваций, процессов национального самосознания. Политика памяти, решая ситуативные идеологические задачи, искажая образы прошлого, несет опасность рецидива травматических ситуаций в жизни последующих поколений. Авторы исследуют социокультурные противоречия и размышляют о возможности существования идеи православия в качестве интегрирующей идеологической концепции для российского общества с позиции законов функционирования социальной памяти, сохраняющей опыт исторической и культурной травмы.

Ключевые слова: культурная травма; историческая травма; социальная память, историческая память; политика памяти; жизненные сценарии.

Сегодня Россия выбирает ориентиры развития, которые невозможны без осмысления исторического прошлого. Важным становится оформление идеи, интегрирующей социальные институты и гражданское общество. Примером такой интегрирующей идеи становится православие. Государство создает условия для укрепления позиций Русской православной церкви: началось строительство и восстановление храмов, монастырей, создание сети духовных учебных заведений. Это выглядит попыткой закрыть страницу противоречивых последствий исторической травмы – опыта взаимоотношений церкви и государства в начале XX в.

Церковь презентует себя как силу, способную консолидировать общество. Однако исторический опыт неоднозначно осмысливается религиозными организациями, предпочитающими забыть травмирующие факты с целью обретения социальных или политических дивидендов. Проблема осмысления исторической и культурной травмы, ее влияния на современность остается актуальной для ученых и общественности.

Травма как метафора. Стэнфордская группа исследователей (Д. Александер, Н. Смелзер, П. Штомпка) выдвинула концепцию социокуль-

турной травмы на основе идеи П. Буга. Травма понимается как коллективный феномен, который порождает трагические события в жизни личности и социальной группы, нарушающие социокультурную целостность ментальных структур общности. В отличие от психологической науки, где травма рассматривается в качестве фактора влияния на личность, в социологии метафора травмы используется для осмысления событий, изменивших историческую судьбу народов. Эти события конвенционально интерпретируются, окрашиваются коллективными переживаниями, связанными с воспоминаниями о трагических ситуациях в жизни семей и личностей.

Социокультурная травма может принимать форму исторической травмы или культурной травмы, сохраняя факт давления на социокультурные изменения драматического характера в духовной сфере, на уровне судьбы (исторической судьбы общности или отдельных личностей и их семей).

Травмирующая ситуация развивается в сфере социокультурных изменений, разрушая «культурную ткань общества», судьбы людей, неоднозначно влияя на будущее потомков (процессы социальной мобильности, национальное унижение или гордость, попытка взять исторический реванш). П. Штомпка подчеркивает, что историческая травма «обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном подсознании, время от времени, при благоприятных условиях, проявляя себя» [1. С. 10].

Восприятие исторической и культурной травмы членами группы основано на особенностях функционирования социальной памяти (В.А. Колеватов, О.Т. Лойко, Л.Ю. Логунова). Данные особенности склоняют коллективное сознание общности к определенной интерпретации исторических событий, что, в свою очередь, влияет на специфику выстраивания отношений между членами общности и институтами власти. Перефразируя постулат феноменологической социологии, можно утверждать: если люди интерпретируют события как опасные для сохранения традиционных привычных социальных практик, то эти события воспринимаются как травмирующие. Тогда социально-культурная ткань общественной жизни теряет свою плотность, однородность: образцы нормативного поведения сталкиваются с невозможностью их воспроизведения в новых условиях. Воспроизводство традиций затрудняется, вследствие чего потомки дезориентированы в освоении социально полезных норм и моделей поведения. И хотя структуры власти имеют некоторое преимущество в виде «перехвата инициативы» для внедрения идеологических позиций «правильного» понимания исторических событий, законы жизни, в которые встроены законы памяти, все расставляют по своим местам: кольца событийности замыкаются, травмирующая ситуация угрожает трагическим повторением.

Социальную память мы предлагаем отличать от исторического наследия – совокупности событий прошлого, того, что принято потомками «на веру». Историческое наследие – это совокупность образов исторической памяти, которую аккумулируют, адсорбируют структуры социальной памяти. Содержание социальной памяти может не соответствовать содержанию исторической памяти, которая есть осмысленный архив событий, выбранных

историками и обоснованных в качестве судьбоносных. Историческая память является частью социальной памяти и обладает всеми ее характеристиками, в том числе селективностью, избирательностью [2. С. 71]. Социальная память сохраняет информацию, важную для выживания общности, историческая память презентует информацию, формирующую идеологию нации (общности).

Историческая память в России сегодня взрывоопасна. Она хранит неоднозначные образы героев и событий, которые в кризисных ситуациях могут быть использованы в качестве инструмента упрека, травмируя национальную идентичность, или орудия оправдания ситуативных политических решений. При этом страдает память об этих исторических личностях, нарушаются этические законы памяти (о мертвых принято говорить или хорошо, или ничего), возбуждаются информационные поля социальной памяти – внимание населения переключается с актуальных задач жизни на персон, делающих громкие заявления. Выигрывают от подобных игр с исторической памятью недальновидные политики и «медийные лица», которые суетливыми действиями начинают корректировать опыт исторической памяти для «правильного» понимания событий прошлого населением с целью политической мобилизации или продвижения персональной карьеры.

Социальная память хранит не только образы событий, но и латентные настроения общности. Определяя политику памяти, полезно понимать особенности этих настроений для сохранения баланса между памятью и дремлющими установками населения. Напоминания о драматических событиях могут не только травмировать членов общности, но и вызвать непредсказуемые поведенческие (электоральные) реакции. Демонстративное игнорирование особенностей ментальности населения опасно возрождением и актуализацией старых практик «двойного поведения»: на словах люди будут декларировать то, что хочет слышать власть, на деле – избегать действий, удовлетворяющих требованиям власти (саботаж). Например, в социальной памяти сибиряков заложен «молчаливый конфликт» с властью европейской части России. Это суровая правда, сохраняющая в социальной памяти родственной общности информацию о выживании, наполняющая содержанием историческое наследие сибирских семей. История старообрядческого движения, отношения старообрядцев с официальной православной церковью дополняют молчаливый конфликт духовным конфликтом.

Манипуляции с исторической памятью затрагивают структуры социальной памяти, в которых стабилизируются, «отстаиваются», селективируются ситуации, отторгая любые политические вмешательства, оставляя неизменно истинным восприятие общностью исторических событий. Социальная память – это ментальная оценка коллективного сознания общности всех политических игр и решений. Можно пытаться внедрять в коллективное сознание любые актуальные идеологемы. Население может сделать вид, что искренне их воспринимает. Однако структуры социальной памяти старше и энергетически сильнее всех актуальных идей и лозунгов. Население будет выбирать поведенческие стратегии в соответствии с содержанием социальной памяти, игнорируя в повседневной жизни информационный шум, исходящий от ситуативных политических тактик.

Социальная память автономна от исторической памяти, способна окрашивать событийность чувствами, мифологизировать ее, передаваться потомкам в виде легенд. Содержание исторической памяти формируют историки. Социальная память пишется судьбами представителей общности. Носителю социальной памяти может быть безразлично, что считают судьбоносным историки. Он считает истинным то, что рассказали ему прародители, нарисовав картины семейных историй на полотне повседневной жизни рода. Если в канву полотна социальной памяти входят травмирующие осколки исторической или культурной событийности, то память изменяет свой рисунок. Наследники начинают острее воспринимать исторические события. Энергетически сильные «пятна» в структуре менталитета могут изменить самосознание общности, ее восприятие новых социальных ситуаций и реакции на политические события. Это маркеры социального поведения членов общности, которые не в состоянии закрасить в унифицированный цвет политики представители власти. Среди факторов, влияющих на процессы такого искажения, мы выделяем события, связанные с репрессиями в сфере религиозного сознания в российском обществе начала XX в., курс которых определялся решениями государственной власти. Любое принуждение репрессивного типа обладает травмирующим фактором, проявляется в формировании у общности ложных (стыдливых или героических) представлений о реальности.

Симптомы исторической травмы. С начала своего утверждения советская власть объявила себя противником религии. «Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т.п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего» [3. С. 226]. С октября 1917 г. государством последовательно принимались законодательные акты, призванные лишить Церковь прав юридического лица, объявить религиозные убеждения несовместимыми со строительством социализма. Национализация церковного имущества, провозглашенная декретом 1918 г. об отделении Церкви от государства, стала юридическим основанием для закрытия монастырей. Декрет 1918 г. запретил «принудительное взыскание сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ» [4]. Хозяйственная деятельность Церкви, лишенной тем же декретом прав юридического лица, сместилась в сферу «частного предпринимательства», затем – незаконных сделок. Постановление ВЦИК «О религиозных объединениях» [5] значительно сужало сферу легальной церковной жизни: общинам запрещалось пользоваться услугами государственных предприятий при ремонте храмов, деятельность религиозных общин ограничивалась совершением богослужений. Началось массовое закрытие церквей. В 1928 г. было закрыто 534 церкви; в 1929 г. – 1129; в 1937 г. – более 8 тыс. В Москве из 600 православных церквей, к концу 1930-х гг. действовали только 23. В Ленинграде действовали 5 храмов из 300; в 25 областях РСФСР вообще не было ни одного. Были закрыты все сохранившиеся на территории СССР монастыри [6. С. 271]. Для искоренения религии первоочередной задачей было уничтожение ее материальной базы, воплощенной в кампании национализации церковных и монастырских земель, отделения церкви от государства, школы от церкви, прекращения финансирования церкви государством.

На территории Кузбасса в 1920–30-х гг. имелось более 180 церквей и молитвенных домов Русской православной церкви. Решениями исполкома Новосибирской области, Западно-Сибирского края в 1931–1937 гг. было закрыто 40 церквей, в 1939–1942 гг. – 70. К моменту образования Кемеровской области все действующие православные приходы были ликвидированы. Церковная организация была фактически уничтожена [7. С. 63].

Жизнь Церкви была поставлена в жесткие рамки, многие ее традиционные сферы были прямо запрещены, другие находились под постоянной угрозой запрещения. Жизнь приходов контролировалась инспекторами по наблюдению и негласными осведомителями НКВД, по любому доносу которых священнослужители подвергались аресту или выводились за штат.

Монашество оказалось в советской России вне закона. В 1930-х гг. монахи стали объектом первой волны репрессий: многие из них были арестованы и сосланы. В конце 1930-х гг. иноки стали возвращаться в родные места, где в 1937–1938 гг. они были захвачены новой волной репрессий с расстрельными приговорами.

Деструктивное действие исторической травмы. Когда волевые усилия института власти по реконструкции общества направлены на разъединение социальных групп, идет сортировка населения на «народ» и «врагов народа», на «мы» и «они». Так разрушается сплоченность общности, что ведет к ее ослаблению в сопротивлении внешним негативным воздействиям. На стороне власти эффект скорости – быстрое вторжение нового опыта, без осмысления, без возможности адаптации в новой социальной ситуации. Решения власти в подобных случаях являются внешним силовым давлением на повседневную жизнь людей.

В 1920-е советская власть пыталась сохранить видимость законности, понимая ее своеобразно: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы ... обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» [8. С. 190–191]. С 1928 г. в общественное сознание активно внедряется теория обострения классовой борьбы по мере строительства социализма, с помощью создания клише о том, что «буржуазные специалисты» на предприятиях совершают диверсии, зажиточные крестьяне отказываются сдавать хлеб государству. Священнослужителей объявляют «контрреволюционной силой», обвиняют в том, что они агитируют против сдачи хлеба, коллективизации, препятствуют социалистическому переустройству сельского хозяйства. Массовые репрессии, направленные против различных слоев населения, «отменили» необходимость каких-либо объяснений, достаточно было обвинения: «враг народа». В 1937–39 гг. было арестовано около 160 тысяч верующих, из них более 80 тысяч расстреляно.

Неожиданные и быстрые исторические и социальные изменения начала XX в. напрямую определили продолжительное парализующее влияние исторической и культурной травмы на социальное поведение людей. Травма («шоковое» событие) начала деструктурировать повседневный мир людей. Представители духовенства были лишены избирательных прав, ограничены в отдельных политических и гражданских правах. С 1930 г. они отдавали в казну 75 % своих «нетрудовых доходов», в том числе доходов от отправления культа. Священников выселяли из квартир как «лишенцев».

Но запрет многих сфер церковной жизни не уничтожил их автоматически. Вопреки советским декретам, постановлениям, инструкциям они продолжали существовать за пределами легальности, приспосабливаясь к новым условиям. «Жизнь Церкви уходила в подполье ... Не сама Церковь, но жизнь, деятельность ее» [9. С. 59].

Совладание и сопротивление травме. Стадия «совладания» завершает травматическую ситуацию под влиянием факторов давления. В обыденном сознании людей ощутимо влияние базовых ценностей благополучия семьи, прощения и милосердия, ценностей порядка, понимания отрицательного влияния саботажа. К этому добавляется фактор повседневности: ежедневные семейные и профессиональные заботы становятся для человека более актуальными, чем боль прошлых потерь. В процессе «совладания с травмой» постепенно переключается внимание людей на рутинные заботы, связанные с рождением и воспитанием детей, межличностными отношениями. Население старается восстановить утраченный порядок повседневности, жизненную энергию. Власть при этом теряет инициативу, а значит, рычаги влияния и управления.

Традиционно на данной стадии структуры власти волевым усилием переключают внимание населения, навязывая социальные проекты, которые отнимают большое количество энергетического и жизненного потенциала у людей (например, завершение «пятилетки в четыре года», «поднятие целины», события украинской кампании, включая ситуации с Крымом и Донбассом и т.п.). Эти патриотические вакцины вызывают волну политической активности, которая однажды утомляет население нескончаемой чередой референдумов, ток-шоу, выборов. Это снимает на некоторое время социальную напряженность, но является проблемным вариантом совладания с травмой: на открытую рану накладывается очередная травмирующая ситуация. В результате население, пережив дополнительный болевой травматический шок, отвлекающий от решения повседневных вопросов выживания, демонстрирует «низкий уровень политического сознания»: социальную и политическую апатию, внешнюю лояльность при высокой степени конформности. Но внешняя видимость социального согласия обманчива. Механизм функционирования социальной памяти не дает возможности для исторической амнезии, ибо определяющее свойство социальной памяти – невозможность уничтожения ее содержания.

Посттравматический синдром. Адаптация к последствиям исторической травмы может длиться не одно поколение. Инерция действия не осознанного общностью травмирующего события формирует прерванное переживание, когда напластование последующей событийности перекрывает главное травмирующее событие. Так формируются кольца незавершенных жизненных сценариев [10. С. 43–45] – типов развития ситуаций, которые фиксируются социальной памятью в виде незаконченных событий (длящихся латентных процессов) с тенденцией к повторению. Они придают специфическую смысловую окраску историческим фактам: следующие поколения получают противоречивые интерпретации событий, но практически ничего не знают о самом событии. Старшие поколения как будто оставляют переживание этих ситуаций «на потом»: люди отдыхают от болевых ощущений

травмы. Механизм социального наследования нельзя отменить и модернизировать. Не принятая коллективным сознанием, не пережитая населением травматическая ситуация без честного обсуждения фактов на основе архивных документов передается потомкам в качестве незавершенного жизненного сценария. Железная логика законов жизни кольцует неосмысленные событийные сценарии, которые в силу их модальности воспроизводятся в более жесткой форме в будущем [11. С. 29], повторяя травматическую ситуацию. То, что не пережито, должно быть «возвращено на круги своя» в принудительной форме («от судьбы не уйти»).

В России этот этап наполнился псевдопереживанием ситуации, при которой власть начала заигрывать с потомками и наследниками репрессированных категорий, в том числе со структурами церковных организаций. Церковь получает статус официальной «правой руки» власти, использует возможность продавливать введение религиозных курсов в школах, создание кафедры православия в МФТИ. Набирают силу организации черносотенного толка. Ряженные в костюмы «а-ля православный» маргиналы при негласной поддержке властей начинают диктовать художественные вкусы. Принимаются противоречивые законы, население разделяется на 5 % воцерковленных, обладающих особыми чувствами, и всех остальных. Это не способствует повышению степени уважения населения к церкви. Травматическая ситуация продолжает латентное разрушающее действие.

Это действие фиксируется в коллективном сознании российских граждан в виде конструкций с парадоксальными свойствами. Ж.Т. Тощенко определил их метафорой «кентаврической парадоксальности» [12]. А.С. Ахиезер обосновал особенности «исторической болезни» России с помощью метафоры «социокультурный раскол» [13]. Смысл такого состояния общества заключается в хронической неспособности преодолевать социокультурные противоречия. В обществе формируются противоположные парализующие и разрушающие друг друга силы, находящиеся в разных смысловых полях. В условиях перманентных противоречий формируется личность с парадоксальным «расколотым» сознанием.

Парадоксальность проявляет себя в стереотипах, упрощающих понимание реальности. Это особое «свойство ментальности и национального характера» россиян: в сознании и поведении существуют одновременно два взаимоисключающих и взаимно стимулирующих начала. В кризисные периоды истории государства эти кентаврические противоречия сознания обостряются, социокультурный раскол (в ценностях, верованиях, нормах – ключевых компонентах культуры) может привести страну на грань катастрофы. Парадоксальность исторической памяти приходит в противоречие с памятью социальной. Данные противоречия проявляют себя в сфере опыта взаимоотношений государства и церкви на макро- и микроуровнях. Разный уровень чувствительности к травматическому опыту могут проявлять представители разных слоев населения в структурах вертикальной дифференциации и горизонтальной (миряне, духовенство и церковные служащие).

Противоречия макроуровня.

– *Противоречия ценностей:* между повседневными духовными потребностями людей и стремлением церковной администрации воспользоваться

благами, которые предоставляет власть. Потребность в словах о любви, мире, солидарности нации используется инструментально для мобилизации населения в борьбе с оппонентами. Социальная память сохраняет образ священника как духовного лидера, утешителя страждущих, авторитета, к которому люди обращаются в минуты душевных и жизненных кризисов. Историческую память сегодня пытаются наполнить новыми смыслами ведущей роли церкви в исторических победах России. Отстаиваются интересы структур церковной власти, которые подменяют идеи возрождения духовности и нравственности с целью доступа к управлению широкими слоями населения. В такой ситуации клерикалы вынуждены одновременно «читать память палачей и их жертв»: и репрессированных священников, и «отца народов», курировавшего репрессии. От этой опасности предостерегал патриарх Алексей II.

– *Противоречия традиции*: между традиционными формами поведения (гражданского, семейного, христианского) и формальными поведенческими практиками с утраченными смыслами ритуалов. Наблюдая агрессивное поведение «блюстителей нравственности» разных сортов, можно констатировать отсутствие понимания смысла посещения литургии, участия в таинствах, отношений между христианами на принципах любви. Чувствуется некая тяга к «старине» с ее смыслами стабильности и понятности. Но современный среднестатистический россиянин вспоминает о принадлежности к православию 2 раза в год (на праздники Пасхи и Рождества), все остальное время он готов потрясать нравственностью как священным копьем с угрозами судебных разбирательств из-за «оскорбленных чувств» по любому поводу. Социальная память о солидарности и единстве в решении задач самосохранения общности замещается смыслами исторических побед за сохранение православной веры.

– *Противоречия власти*: раскол внутри церковной элиты между священством, пытающимся осмыслить новый опыт Церкви, и теми, кто ориентирован на структуры светской власти. Постперестроечное социальное сочувствие Церкви как коллективной мученице, пострадавшей от действий советской власти, сменяется критическим и взыскательным взглядом нового поколения. Молодежь с высшим образованием смакует в социальных сетях скандалы, связанные с коррупцией церковных чиновников, с курьезами из повседневной «простой и скромной» жизни служителей Господа, с одиозными заявлениями политических фриков в церковных облачениях. Церковь постигает опыт общественного презрения («общественной обструкции»), когда предъявляются требования финансовой «прозрачности», большей «строгости» к священнослужителям. Социальная память сохраняет образы духовного подвижничества и простоты, люди ждут реальные примеры святости, самопожертвования, скромности, а не исторические апелляции к «духовным скрепам» мобилизующего действия, но малопонятного содержания.

Противоречия микроуровня.

– *Противоречия опыта*: между субъективными переживаниями исторических событий, практиками, основанными на понимании духовного лидерства служителей церкви и ожиданиями восстановления интегрирующей роли «православных ценностей» в организации жизни. В реальности прерванная травмирующими событиями программа передачи и наследования социально-

го опыта определяет мучительные поиски моделей взаимодействия власти и церкви, человека и государственной религии (как в среде мирян, так и духовенства). Не имея в личном, семейном опыте образцов поведения в сфере нравственно-этической, в отпавлении требований религиозных культов, население формирует свои знания о «должном» из книг и семейных легенд. Так, практики пожертвований превратились буквально в показательные действия с целью самопиара. Внешнее следование духовным практикам при отсутствии смыслового их наполнения приводит к подмене сакральных смыслов бутафорией, профанации в виде курьезов (из серии «бизнесмен в храме») или откровенной агрессии (пикеты борцов православных ценностей против любых ценностей). «Рецепт успеха» национального возрождения многие увидели в воссоздании дореволюционной модели церковно-государственных отношений. Но историческая память натолкнулась на законы действия социальной памяти: в новых условиях старые модели не действуют, либо их действие превращается в показательные «ролевые игры».

– *Противоречия действия*: между ценностью жертвенной христианской любви и содержанием жертвы. Идея жертвенности, сохраненной в социальной памяти историями жития святых, вступает в конфликт с намерениями принести в жертву политических или идеологических оппонентов ради «блага государства», согласно историческим прецедентам. Личная лояльность к власти сегодня подкрепляется призывами использовать институты государства для подавления «инакомыслия» в церковной и государственной сферах. Образы святых мучеников и герои государственного исторического пантеона столкнулись на поле конфликтующего с самим собой коллективного сознания.

– *Противоречия чувств*: между законами христианской любви и правилами догматов веры. Эмоциональные сопереживания жертвам репрессий вступают в конфликт с требованиями «правильного» понимания действий государственных служащих, которые все чаще слышны из уст представителей церковной элиты. С одной стороны, живы ближайшие наследники репрессированных священников, в память о жертвах проводятся чтения имен репрессированных у «Соловецкого камня» в Москве, издаются «Книги памяти», исполняется закон «О пострадавших от политических репрессий». Но с другой стороны, в СМИ идет постоянное переключение внимания общественности на трагедию, осмысляемую в победоносном ключе: подвиги Великой Отечественной войны, воссоздание «лакированного» образа Советского Союза как общества социальной справедливости. Чувства скорби глушатся коллективными патриотическими настроениями, мобилизованными очередным политическим проектом. Призывы к возрождению веры без фундамента любви формируют структуры фанатизма, призрак реальности воплощения почти пророческой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом».

Политика памяти и мнемическая атмосфера. Реабилитированная память о жертвах сталинизма стала мощным детонатором исторической памяти. Однако, согласно мнению П. Штомпки, открытие новых фактов, доказательств, выставляющих события или личности в ином свете, требующих новых интерпретаций, переосмысление прошлого, – все это может потрясти культуру, вызвать новый травматический шок. Однако прошлое требует осмысления, принятия, прощения. Оно должно быть перенесено из разряда

рациональной исторической оценки на микроуровень с переживаниями всего комплекса чувств (боль утраты, гордость за своего родственника, удовлетворение от собственной живучести). Такое качественное переживание восстанавливает целостность ткани социокультурной реальности, успокаивает возбуждение мнемической атмосферы. Это означает, что население живет в размеренном предсказуемом мире. Опыт старших поколений снова беспрепятственно перетекает в жизненные стратегии и повседневные практики потомков, восстанавливаются традиции, закрепляются социально полезные инновации.

Выживает в катаклизмах и кризисах общность, члены которой научились принимать потери, понимать их смысл. В реальности то, что может дискредитировать группу в собственных глазах, подвергается атрибуции самооправдания или забвению. Но забвение не есть абсолютное уничтожение определенных ячеек содержания памяти. Образы прошлого присутствуют в настоящем в виде скрытых возможностей неудачного социального опыта. Вытесненные из памяти события не исчезают, а начинают настойчиво проявляться в структурах бессознательного, материализуясь в мнемических следах – своеобразной канве, цементирующей неприятные для общности воспоминания в коллективном сознании. Мнемические следы сохраняют особое эмоциональное и энергетическое напряжение, что говорит о коллективном несогласии с фактом события или с его официальной оценкой. Пустоты социальной памяти с вытесненными (вынужденно забытыми) событиями заполняются мифами, противоречащими фактам и логике событийности. Эти противоречия вызывают мнемический дискомфорт, который современники стараются преодолеть, успокаивая себя, мол, ничего страшного не произошло, или атакуя тех, кто пытается вскрыть историческую правду. Жизненная энергия общности тратится на защитную реакцию, на сопротивление травмирующим фактам прошлого. Там, где существует такое сопротивление, – гноится рана, которая может взорвать структуры мнемической атмосферы. Если группа защищает интерпретации, искажающие прошлое, она выбирает патологический путь будущего, чреватый неудачами, повторением травматического опыта.

Как правило, власть пытается влиять на пространство мнемической атмосферы с помощью стратегий «институционализации» забвения (игнорирование проблемы) или «идеологии упрека» (возвращение к болезненным событиям) [14]. Политические элиты редко руководствуются правдой памяти. Обычно используются стратегии односторонних интерпретаций прошлого, манипуляций с социальной памятью, которые не приводят к совладанию-исцелению. Конечно, память о недавнем трагическом опыте церковно-государственных отношений служит «немой укором», разрушает образ всегда и во всем успешной страны. Но отрицать опыт трагической событийности, предавать его забвению опасно.

Легко социально дезориентировать человека, сыграв на его болезненных воспоминаниях. Манипуляции с памятью приводят к тому, что в коллективном сознании общности вырабатывается условный рефлекс на очередной идеологический слоган. Население актуализирует ситуативные поведенческие практики, не позволяющие выстраивать долговременные стратегии бла-

гополучного будущего. Аккумулируется опыт фрагментарных действий-реакций. Вместо спокойного осмысления, принятия социального опыта (в том числе и травмирующего) в коллективном сознании идет пульсация рефлексий на калейдоскоп мнений, склоняющих к противоречивому пониманию ситуации. Это мешает формированию устойчивых позитивных социальных привычек у членов общности. На осмысление будущего не хватает времени, внимание к будущему замещается реакцией на мифические опасности, мобилизацией на поиски внутренних и внешних врагов. Раскол в общности ее ослабляет. Раскол в сознании парализует общность. Замалчивание правды памяти ее унижает. Право на забвение вступает в противоречие с правом на правду. Нам представляется, что данное противоречие может разрешиться с помощью права на дискурс, основанный на признании травмирующих последствий исторических событий. Будущее общности излечивает не институционализация мифов, а осмысление фактов, основанных на исследовании документальных материалов специалистами в сфере исторической памяти. Новое будущее обретается вместе с пониманием членами общности, что события, свидетелями которых станут потомки, уходят корнями в будни предков, наполненные дискуссиями, преследующими не всегда благородные, а иногда и прямо лукавые цели.

Исцеление от травмы. В актуальном настоящем у человека должно быть время на осмысление опыта. Прошлое может активно переосмысливаться как «проклятое прошлое», как трагический опыт. Для культуры жизненно важно выработать тот или иной компенсаторный механизм, позволяющий преодолеть травмирующий опыт, не отворачиваясь от мучительных воспоминаний [15. С. 8]. Но это возможно в случае, когда травматическое событие качественно пережито членами общности, покаяние власти (пусть символическое) принято, прощение свершилось, ситуация «отпущена» и больше не тревожит сознание людей. Такой процесс оздоравливает коллективное сознание населения. Блок осознания отправляется в «базу данных» социальной памяти качественным новообразованием. Это идеальный вариант развития посттравматической ситуации – исцеление-совладание. Противоречия нужны для развития ситуации, выработки жизненно важных социальных инноваций. Это сценарий добродетельного круга культурной реконструкции (П. Штомпка). Альтернативный сценарий принуждает общность воспроизводить «порочный круг разрушения культуры» с драматическими кольцами жизненных сценариев и их травматической последовательностью.

Противоречие между социальной и исторической памятью в церковно-государственных отношениях в XX в. создает особую атмосферу внутрицерковных дискуссий, делит людей на «консерваторов» (сторонников Сталина и Грозного) и «либералов» (последователей Нила Сорского и матери Марии Скобцовой), сторонников и противников государственного вмешательства в церковные дела. «Верхи» и «низы» Церкви все меньше понимают друг друга: «верхи» хотят укрепить вертикаль власти и единомыслие, а «низы» хотят, чтобы их не лишали обычных человеческих прав на свободу дискуссий, радостей и печалей повседневной жизни, охраняемых социальной памятью.

Литература

1. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.
2. Логунова Л. Ю. Семейно-родовая память: временные ипостаси и социальные ресурсы // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 379. С. 69–75.
3. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 48. URL: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/48.pdf> (дата обращения: 18.05.17).
4. Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 года «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_181.htm (дата обращения: 18.05.17).
5. Постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/9056238> (дата обращения: 18.05.17).
6. Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М.: Изд-во Библийско-Богословского института св. апостола Андрея, 1996. 356 с.
7. Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. Новосибирск: АНО «МАСС-Медиа-Центр», 2003. 304 с.
8. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во Политической литературы, 1970. Т. 45. URL: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/45.pdf> (дата обращения: 18.05.17).
9. Кашеваров А.Н. Государство и церковь. Из истории взаимоотношений советской власти и Русской Православной Церкви. 1917–1945 гг. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного технического университета, 1995. 124 с.
10. Логунова Л.Ю. Социокультурные основания социальной и политической мобилизации // Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация: кол. монография / ред. Л.Л. Шпак. Кемерово: ООО «ИНТ», 2016. 293 с.
11. Логунова Л. Ю. Социально-философский анализ семейно-родовой памяти как программы социального наследования: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Кемерово. КемГУ, 2011. 39 с.
12. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 543 с.
13. Ахизер А. С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1. 804 с.
14. Пробыца Д. Как императив памяти может стать основой объединения народов // Россия и Польша: долг памяти и право забвения: тез. докл. междунар. науч. конф. (Москва, 22–24 октября 2009 г.) / ред. А.Г. Васильев, Н.А. Кочеляева. URL: http://www.ricur.ru/userfiles/file/Prog_conf_Rus_and_Pol_rus.doc (дата обращения: 18.05.17).
15. Roth M. The Ironist's Cage. Memory, Trauma and the Construction of History. N.-Y.: Columbia Univ. Press, 1995. 225 p.

Logunova Larissa Y. Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation)

E-mail: vinsky888@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/19

Rychkov Vladislav A. Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation)

E-mail: 89045745215@ya.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/19

THE CONTRADICTIONS OF THE HISTORICAL AND SOCIAL MEMORY IN RELATIONS BETWEEN CHURCH AND STATE

Key words: cultural trauma, social memory, historical memory; politics of memory; real-life scenarios

Relations between the Russian Orthodox Church and the state in the Soviet period, includes aspects of social and cultural trauma. The authors look at the relationship between the historical and socio-cultural slice based on the concept of historical and cultural trauma P. Sztompka. The article are studied the possible trajectory of events related to contemporary political discussions events of culture, and their influence on the future. Social prognostication is based on the concept of social memory and social-cultural approach. Today, the traumatic events of the past are refracted in the

public mind as the contradictions of historical and social memory. The social memory structures stored date information for people's daily life, their survival. The structures of social memory stored date information for people's daily life, their survival. The content of the historical memory forms a common ideology. These types of memory are interdependent and influence the collective consciousness of the community, influence the perception of community members actual historical events, on the fate of social groups and individuals. The contradictions between these types of memory exist on the macro and micro levels and are the driving force for the development of social innovation, processes of national consciousness. Alternative scenario leads to self-destructive culture. At the macro level made out contradictions between the values of the official and everyday culture, the contradictions associated with the collapse of traditions and contradictions of power. These contradictions reflect the bifurcated state of collective consciousness in which social memory of the traumatic experience conflicts with ideologemes situational properties. The memory of politics, solving situational ideological problem, distorting images of the past, brings the risk of recurrence of traumatic situations in the future. The forming real-life scenarios rings include the stages of injury, capture the life of future generations. The authors explore the socio-cultural differences and reflect on the possibility of the idea of Orthodoxy as an ideological concept of integrating Russian society from the perspective of social memory functioning laws, preserving the historical and cultural experience of trauma. The authors explore the socio-cultural contradictions and speculate about possibility of the idea of Orthodoxy as an ideological concept of integrating Russian society from the perspective of laws of the social memory functioning, retaining the historical and cultural experience of trauma.

References

1. Shtompka, P. (2001) *Sotsial'noe izmenenie kak travma* [Social change as trauma]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 6–16.
2. Logunova, L.Yu. (2014) Family-patrimonial social memory: temporal subsistence and social resources. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 379. pp. 69–75. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/379/11
3. Lenin, V.I. (1970) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 48. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury. [Online] Available from: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/48.pdf>. (Accessed: 18th May 2017).
4. RSFSR. (1918) *Dekret SNK RSFSR ot 23 yanvarya 1918 goda "Ob otdelenii Tserkvi ot gosudarstva i shkoly ot Tserkvi"* [Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR of January 23, 1918, "On the separation of Church from State and School from Church]. [Online] Available from: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_181.htm. (Accessed: 18th May 2017).
5. Central Executive Committee and Council of People's Commissars. (1929) *Postanovlenie VTsIK i SNK ot 8 aprelya 1929 goda "O religioznykh ob"edineniyakh"* [Resolution of the Central Executive Committee and Council of People's Commissars on April 8, 1929, "On Religious Associations"]. [Online] Available from: <http://docs.cntd.ru/document/9056238>. (Accessed: 18th May 2017).
6. Vasilieva, O.Yu. (1996) *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov' i kommunisticheskoe gosudarstvo. 1917–1941. Dokumenty i fotomaterialy* [The Russian Orthodox Church and the Communist State. 1917–1941. Documents and photographs]. Moscow: Biblical-Theological Institute of St. Apostle Andrew.
7. *Kemerovskaya i Novokuznetskaya eparkhiya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi* [Kemerovo and Novokuznetsk Diocese of Russian Orthodox Church]. (2003) Novosibirsk: MASS-Media-Tsent.
8. Lenin, V.I. (1970) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 45. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury. [Online] Available from: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/45.pdf>. (Accessed: 18th May 2017).
9. Kashevarov, A.N. (1995) *Gosudarstvo i tserkov'. Iz istorii vzaimootnosheniy sovetskoy vlasti i Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. 1917–1945 gg.* [State and Church. From the history of the relationship between Soviet power and Russian Orthodox Church. 1917–1945]. St. Petersburg: Sankt-Petersburg State Technical University.
10. Logunova, L.Yu. (2016) *Sotsiokul'turnye osnovaniya sotsial'noy i politicheskoy mobilizatsii* [Socio-cultural foundations of social and political mobilisation]. In: Shpak, L.L. (ed.) *Politicheskoe soznanie i povedenie: evolyutsiya i mobilizatsiya* [Political consciousness and behavior: Evolution and mobilisation]. Kemerovo: INT.
11. Logunova, L.Yu. (2011) *Sotsial'no-filosofskiy analiz semeyno-rodovoy pamyati kak programmy sotsial'nogo nasledovaniya* [Socio-philosophical analysis of family-generic memory as a program of social inheritance]. Abstract of Philosophy Doc. Diss. Kemerovo.

12. Toshchenko, Zh.T. (2008) *Paradoksal'nyy chelovek* [Paradoxical man]. Moscow: YuNITI-DANA.
13. Akhiezer, A.S. (1997) *Rossiya: kritika istoricheskogo opyta* [Russia: Criticism of Historical Experience]. Vol. 1. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.
14. Probutska, D. (2009) [How the imperative of memory can become the basis of the unification of peoples]. *Rossiya i Pol'sha: dolg pamyati i pravo zabveniya* [Russia and Poland: Duty of Memory and Right of Oblivion]. Proc. of the International Conference. Moscow. October 22–24, 2009. [Online] Available from: http://www.ricur.ru/userfiles/file/Prog_conf_Rus_and_Pol_rus.doc. (Accessed: 18th May 2017). (In Russian).
15. Roth, M. (1995) *The Ironist's Cage. Memory, Trauma and the Construction of History*. New York: Columbia University Press.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 316.6

DOI: 10.17223/1998863X/38/20

А.В. Селезнева

ПАТРИОТИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Представлен политико-психологический подход к анализу патриотизма как политической ценности. Автор опирается на концепцию единства когнитивных, аффективных и поведенческих компонентов в структуре личности и рассматривает ценность патриотизма во взаимосвязи с чувствами и поведением граждан. На основе анализа эмпирических данных автор определяет проблемы и возможности формирования патриотизма в России.

Ключевые слова: патриотизм, политические ценности, политическая психология, политическое поведение, национализм, Родина.

Проблема патриотизма является сегодня актуальной и широко обсуждаемой в России. На уровне руководства страны и политической элиты активно декларируется курс на патриотизм. При этом «патриотизм (единственная, по мнению президента, допустимая государственная идеология) противопоставляется не просто космополитизму, но и новейшим изобретениям либеральной мысли в виде мультикультурализма» [1. С. 275].

Российские ученые рассматривают патриотизм как идеологический конструктор и политическую ценность, проводят анализ современных патриотических практик с позиций политологических и социологических подходов [2–4].

При этом как на уровне принятия и исполнения конкретных политических решений, так и в научном дискурсе нет однозначного понимания что такое патриотизм: его определяют как идею, ценность, чувство, поведение. А ведь с психологической точки зрения это совершенно разные вещи, хотя и тесно связанные между собой.

Концептуализация понятия «патриотизм»

Традиция осмысления сущности патриотизма в отечественной философии насчитывает уже более двух столетий: начиная с Н.М. Карамзина, дискуссии о патриотизме вели славянофилы и западники, мыслители «белой эмиграции» и идеологи марксистско-ленинского учения. В современной социологической науке патриотизм определяется как «любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства» [5. С. 164]. Патриотизм как ценностное понятие «характеризует национальное единение, идентификацию с прошлым, настоящим, будущим своей страны, ответственность за ее судьбе, ее защиту» [6. С. 125].

Нередко в научной и публицистической литературе синонимом патриотизма выступает гражданственность. Однако эти понятия не тождественны. Гражданственность понимается как интегральное качество личности, определяющее «сознательное и активное выполнение человеком своих гражданских обязанностей и гражданского долга, разумное использование своих гражданских прав и свобод» [7. С. 56]. Таким образом, объектом патриотизма является страна, Родина, Отечество, объектом гражданственности – государство.

Патриотизм ученые часто отождествляют с национализмом [8, 9], рассматривая их как «два конструкта одной линии развития» [10. С. 66]. При этом национализм является как бы «надстройкой» патриотизма, его более поздней формой. Например, Т.В. Беспалова отмечает: «Концепт патриотизма является метафизическим основанием идеологии национализма, т.к. связан с чувством любви к родине и нации, ее волей и политическим действием, приобретая значение эстетической ценности» [11. С. 20]. Мы склонны поддерживать иную позицию: патриотизм и национализм разные, но взаимосвязанные понятия, апеллирующие к восприятию дихотомии «мы – они» как основанию социальной и политической идентичности группы [12–14].

Политико-психологическое понимание патриотизма

Политико-психологический подход к пониманию патриотизма опирается на концепцию «фундаментальной психологической триады» [15], которая предполагает выделение когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов в структуре личности. Когнитивный компонент составляет основу политического сознания и включает в себя элементы, которые определяют интерес человека к политике и объясняют, как он видит мир (политические образы, представления, ценности, установки). Аффективный (эмоциональный) компонент связан со сферой бессознательного, определяет позицию человека по отношению к миру и самому себе (в первую очередь, эмоции, настроения, переживания). Поведенческий компонент в структуре личности является наиболее видимым, выражается в поведенческих актах.

Формирование ценности патриотизма у граждан осуществляется в процессе политической социализации под влиянием разных институтов и факторов (семьи и образовательных организаций, армии и церкви, молодежных движений и политических партий, СМИ). В процессе взаимодействия человека с окружающей социально-политической средой происходит присвоение ценности патриотизма и встраивание ее в структуру личности. Оптимальным результатом этого процесса с психологической точки зрения является формирование у граждан следующих компонентов.

1. На когнитивном уровне – имеющая высокую личную значимость *ценность патриотизма*, опирающаяся на структурированную систему представлений о своей стране, ее истории и геополитическом положении, культуре и традициях, государственном устройстве и политической системе. Патриотизм рассматривается в данном случае как политическая ценность, являющаяся ядром политического сознания человека и регулирующая его поведенческую активность [16]. Политическим ценностям присуще символическое начало, поэтому в системе ценностных представлений личности

находят отражение политические символы различных видов (объекты, персоны, идеи), относящиеся к разным эпохам (современные, советские, имперские) [17].

2. На эмоциональном уровне – *чувство любви и сопричастности к Родине и Отечеству*, основанное на позитивном восприятии социально-политической и этнокультурной специфики страны. Здесь речь идет о конкретных чувствах (гордость, сожаление, разочарование) и более общих настроениях, возникающих у граждан в отношении политических символов, историко-культурных и политических событий, явлений, процессов. Эмоциональный знак и сила чувств определяются их объектом и общим политическим контекстом ситуации. В частности, эмоциональное отношение к событиям прошлого усиливается в условиях социокультурного и идеентификационного кризисов [18. С. 30].

3. На поведенческом уровне – *гражданская активность и политическое поведение*, реализуемое на практике в социально значимых и общественно приемлемых формах. Это внешние наблюдаемые проявления патриотизма, отражающие ценностную значимость для граждан своей страны и эмоциональное отношение к ней.

Таким образом, политико-психологическое понимание ценности патриотизма предполагает не только и не столько значимость для граждан исключительно этой ценности как абстрактной категории, обозначающей «любовь к Родине». Оно подразумевает наличие тесной психологической связи данной ценности с эмоциональным и поведенческим компонентами личности.

Патриотизм в российском обществе

По данным ФОМ, в настоящее время 78% граждан считают себя патриотами (в 2006 г. таковых было 57%) [19]. При этом, по мнению 68% россиян, быть или не быть патриотом – личное дело каждого человека.

Таблица 1. Иерархия политических ценностей россиян в динамике (ранги)

Ценность	2007 год	2013 год	2015 год
Равенство	9	11	11
Демократия	10	13	12
Частная собственность	12	10	10
Национализм	15	18	18
Традиционность	11	16	16
Стабильность	–	8	8
Солидарность	13	15	14
Толерантность	–	14	13
Мир	1	1	1
Порядок	3	5	6
Свобода	6	7	7
Законность	2	3	3
Патриотизм	7	9	9
Безопасность	4	2	2
Справедливость	5	6	5
Коллективизм	–	17	17
Индивидуальная инициатива	–	12	15
Права человека	–	4	4
Суверенитет	8	–	–
Глобализация	14	–	–

По данным наших исследований [20], патриотизм как ценность на протяжении последних лет устойчиво входит в десятку наиболее значимых политических ценностей. Однако он занимает не лидирующее положение, а всего лишь 7–9-е место.

Значимость ценности патриотизма возрастает от младшего поколения к старшему. Это не удивительно, поскольку представители средней и старшей когорты социализировались и определенное время жили при советской системе, где патриотизм существовал как «номенклатурный конструкт» [21], который императивно формировался в общественном дискурсе и целенаправленно транслировался подрастающим поколениям.

Таблица 2. Поколенческая специфика политических ценностей россиян, %

Ценность	Молодое поколение	Среднее поколение	Старшее поколение	Среднее значение
Равенство	27,9	26,5	28,9	27,5
Демократия	25,3	23,8	24,0	24,4
Частная собственность	34,9	30,0	22,9	30,9
Национализм	11,4	9,5	8,3	10,0
Традиционность	16,0	19,6	20,9	18,5
Стабильность	44,2	55,8	57,3	51,6
Солидарность	20,8	19,6	22,9	20,7
Толерантность	23,8	23,7	25,6	24,1
Мир	66,0	73,8	77,7	71,5
Порядок	62,0	67,5	69,4	65,7
Свобода	59,7	60,0	49,6	58,0
Законность	60,7	71,0	71,6	67,1
Патриотизм	39,4	42,0	49,9	42,7
Безопасность	65,0	72,7	73,8	69,9
Справедливость	59,3	61,3	67,5	61,7
Коллективизм	12,8	12,6	20,7	14,1
Индивидуальная инициатива	27,1	24,8	19,6	24,8
Права человека	66,6	68,7	57,6	65,9

Содержательное наполнение ценности патриотизма связано с представлениями граждан о положительных чувствах – любви, гордости, уважении, почитании, которые они испытывают в отношении своей страны, ее истории и культуры:

- «любовь к тому месту, где ты живешь, и уважение традиций»;
- «патриотизм – это чувство гордости за свою страну, радость от того, что ты живешь, родился и вырос в России»;
- «патриотизм – это, прежде всего, твои национальные корни».

Таким образом, ценность патриотизма тесно связана с положительным эмоциональным отношением граждан к России. При этом объектом чувств (как позитивных, так и негативных) являются преимущественно военные события. Наибольшую гордость наши граждане испытывают за победу в Великой Отечественной войне, наибольшее разочарование – за войны в Чечне и Афганистане. Эти данные свидетельствуют о том, что предлагаемый властью патриотизм милитаристского типа, основанный на гордости за военные победы и достижения, находит отражение в массовом сознании. Однако система представлений об этих событиях, которая должна определять эмоциональное отношение к ним, является в целом относительно неопределенной, причем уровень размытости и когнитивной бедности представлений о войнах и вооруженных конфликтах возрастает от старших поколений к младшим.

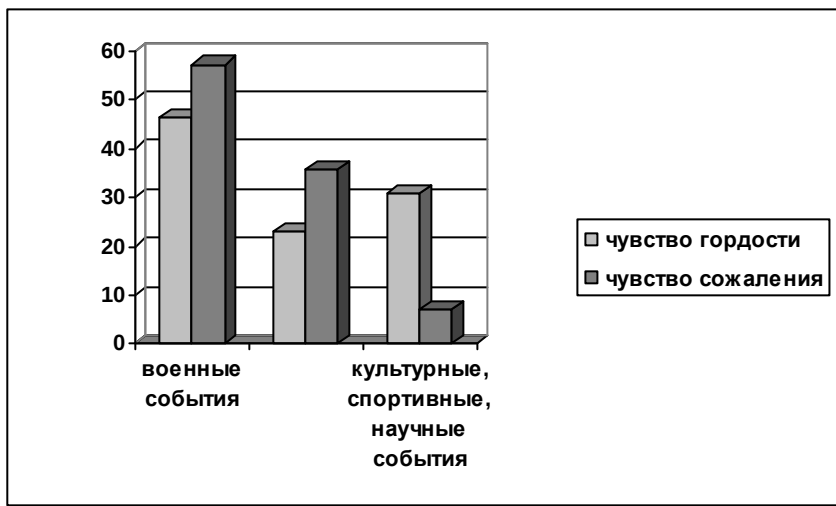


Рис. 1. Эмоциональное отношение граждан к событиям разных типов, %

Поведенческий вектор ценности патриотизма является слабо выраженным. Несмотря на то, что в представлениях граждан о патриотизме присутствуют категории действия – «защищать», «служить», «делать», они скорее выражают суждения оценочного характера, но не определяют реальной готовности к осуществлению данных действий. По данным ФОМ, в представлениях россиян патриотизм проявляется в таких поступках, как «служба в армии» – 8%, «активная гражданская позиция, участие в делах страны» – 5%, «хорошая, добросовестная работа, идущая на благо страны» – 4%, «благотворительность» – 4%, «участие в выборах, митингах» – 3% [22].

Представленные эмпирические данные показывают, что российские граждане активно декларируют значимость ценности патриотизма, определяют себя патриотами, испытывают положительные эмоции в отношении своей страны, но их поведение, которое можно было бы назвать патриотичным, тоже пока не осуществляется в должном объеме и социально приемлемых формах.

Проблемы и перспективы формирования патриотизма

Патриотизм – сложный политико-идеологический конструкт, который представляет собой национальную идею и ценность, провозглашаемую на уровне государства и имеющую общенациональное значение. Выработка содержательного наполнения ценности патриотизма является одной из приоритетных государственных задач, которая не может быть решена, пока в общественном и научном дискурсе существует терминологическая неопределенность в отношении базовой категории. Это, на наш взгляд, *первая проблема*, преодоление которой возможно путем концептуализации понятия «патриотизм», наполнения абстрактной формулы «любовь к Родине» конкретным содержанием, определение основных параметров выражения этой «любви» на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях личности. Кроме того, требуется пересмотр смысловых акцентов – отход от рос-

сийской традиции милитаристского понимания патриотизма и более широкое обозначение его как культурно-исторического и социально-психологического феномена.

Вторая проблема связана с тем, что в общественно-политическом дискурсе патриотизм представляется в качестве базового идеологического конструкта. При этом совершенно очевидно, что одной ценности патриотизма как основы национальной идеи для нашей страны явно недостаточно. Как справедливо замечает Е.Б. Шестопап, «при всей важности конструирования единой системы ценностей патриотизма, которые включают такие неполитические ценности, как ценности семьи, Родины, особенно малой Родины, веры, традиционализм и другие, эти неполитические ценности не могут заменить собой собственно политических и собственно партийных систем ценностей» [23. С. 69]. Таким образом, на уровне руководства страны и политической элиты как производителей ценностей и смыслов в политике требуется выстраивание целостной идеологической концепции, в которой патриотизм может быть центральным (но не единственным) элементом, тесно связанным с другими политическими ценностями и идеями.

Третья проблема связана с системой политических ценностей самих граждан, в которой патриотизм занимает не самое высокое место. На протяжении последнего десятилетия наиболее значимыми для россиян являются ценности мира, безопасности, порядка, законности, справедливости, свободы и прав человека, которые актуализированы неудовлетворенными потребностями в безопасности, отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Патриотизм для граждан, безусловно, важен, но это ценность второго уровня значимости. Таким образом, возникают своего рода «ценностные ножницы» – патриотизм как ключевой идеологический конструкт, предлагаемый сверху элитой, не согласуется напрямую с ценностным запросом, существующим в обществе. Отсюда, на наш взгляд, столь высокий уровень декларативности патриотизма у граждан, не подкрепляющийся реальными действиями на поведенческом уровне.

Тем не менее в настоящее время существуют значительные *возможности* для преодоления указанных проблем и эффективного формирования патриотизма в российском обществе.

Во-первых, на протяжении 2000–2010-х гг. приняты и реализуются государственные программы патриотического воспитания граждан. В частности, в ныне действующей четвертой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в качестве цели определяется «создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [24]. Таким образом, мы отмечаем наличие организационно-правовой базы для работы по формированию патриотизма.

Во-вторых, в современной российской и зарубежной науке накоплен значительный пласт теоретических разработок и эмпирических исследова-

ний в области патриотизма, которые могут стать основой для работы по концептуализации понятия «патриотизм» и определения его смысловых доминант в контексте отечественной политической традиции и культуры.

Таким образом, при всей сложности задачи формирования патриотизма в нашей стране существуют основания для оптимистического взгляда в будущее.

Литература

1. Федоров В. Новая Россия: лица и исполнители (эволюция российского общественного мнения в 1989–2014 гг.) // Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / сост. П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов; под ред.: Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 234–290.
2. Головченко А.В. Инверсии либерального патриотизма в современной России // Известия Саратовского университета. Серия Социология и политология. 2014. Т. 14, вып. 4. С. 98–102.
3. Воронцов С.А., Понедельков А.В., Вилков А.А. Патриотизм как базовая ценность современного государственного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 4. С. 70–74.
4. Касамара В.А., Сорокина А.А. «С чего начинается Родина»: патриотизм в представлениях студенческой молодежи // Общественные науки и современность. 2016. № 6. С. 99–110.
5. Социологическая энциклопедия: в 2 т. Национальный общественно-научный фонд / рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; гл. ред. В.Н. Иванов. М.: Мысль, 2003. Т. 1. 863 с.
6. Рожкова Л.В., Васильева Н.Д. Гражданственность и патриотизм как основания социальной консолидации российского общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 3. С. 123–129.
7. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб.: Лань, 1999. 524 с.
8. Dekker H., Malová D., Hoogendoorn S. Nationalism and its explanations // Political Psychology. 2003. V. 24, № 2. Pp. 345–376.
9. Druckman D. Nationalism, patriotism, and group loyalty: a social-psychological perspective // Mershon International Studies Review. 1994. V. 38, № 1. P. 43–68.
10. Хухлаев О.Е. Национализм и патриотизм как социальные установки: теоретический анализ и экспериментальные исследования // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2012. № 10. С. 66–70.
11. Беспалова Т.В. Патриотизм и нация как источники моральной мотивации в национализме // Философия права. 2012. № 4. С. 17–21.
12. Kosterman R., Feshbach S. Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes // Political Psychology. 1989. V. 10, № 2. P. 257–273.
13. Mummendey A., Klink A., Brown R. Nationalism and patriotism: National identification and out-group rejection // The British Journal of Social Psychology. 2001. V. 40, № 1. P. 159–172.
14. Хухлаев О.Е. Психология национализма в зарубежных исследованиях // Социальная психология и общество. 2012. № 4. С. 15–29.
15. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М.: Смысл, 1998. 685 с.
16. Селезнева А.В. Политико-психологический подход к исследованию политических ценностей // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 345. С. 56–60.
17. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Советское прошлое в ценностном и образно-символическом пространстве российской идентичности // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 25–39.
18. Евгеньева Т.В. Историческая память и национально-государственная идентичность в современной России // Ценности и смыслы. 2012. № 5. С. 27–36.
19. Патриотизм: динамика мнений. Пресс-выпуск ФОМ от 27 марта 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://fom.ru/TSennosti/13261> (дата обращения: 22.04.2017).
20. Селезнева А.В. Политические ценности в современном российском массовом сознании: психологический анализ // Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 2. С. 6–18.
21. Щербинин А.И. Патриотизм как номенклатурный конструкт // Вестник Томского университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 3 (35). С. 264–271.
22. Патриотизм: динамика мнений. Пресс-выпуск ФОМ от 27 марта 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://fom.ru/TSennosti/13261> (дата обращения: 22.04.2017).

23. Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики российского политического процесса и стратегия развития страны // Полис. Политические исследования. 2014. № 2. С. 61–71.

24. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkJHjsKAErrx2dE4q0ws.pdf> (дата обращения: 25.04.2017).

Selezneva Antonina V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

E-mail: ntonina@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/20

PATRIOTISM AS A POLITICAL VALUE: POLITICAL-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Key words: patriotism, political values, political psychology, political behavior, nationalism, Motherland

The article presents a political-psychological approach to the analysis of patriotism as a political value. The author pays attention to the conceptual polysemy of the concept of "patriotism", its relation to the concepts of "citizenship" and "nationalism". The author relies on the concept of the unity of cognitive, affective and behavioral components in the structure of the personality. The formation of patriotism occurs in the process of political socialization under the influence of its political and cultural conditions, institutions and factors. The result of this process is the presence of a triad of interrelated elements in a person: the values of patriotism, the content of which is revealed in the system of representations about one's own country, positive emotions for the Motherland and socially acceptable forms of civic engagement and political behavior. The author considers the state of patriotism in Russian society on the basis of his own empirical data and attracts data from research centers from open sources. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that Russian citizens have a common positive emotional attitude to their country, its history and culture. However, the value of patriotism is not the most important for them, the system of representations about patriotism is insufficiently formed, and behavioral attitudes are poorly expressed. For effective work on the formation of patriotism, it is necessary to define the semantic content of the concept of "patriotism" in its broad historical and cultural interpretation. At the same time, patriotism can not be the sole basis of a national idea. A broader coordinated system of political values is needed, which reflects the values and representations most important to citizens, including patriotic ones. At the same time, the author notes the existence of positive tendencies in the process of patriotic work. This, for example, the implementation of state programs on patriotic education of citizens and the active interest of scientists in carrying out theoretical and empirical studies of the problem of patriotism.

References

1. Fedorov, V. (2015) *Novaya Rossiya: litsa i ispolniteli (evolyutsiya rossiyskogo obshchestvennogo mneniya v 1989–2014 gg.)* [New Russia: Persons and performers (evolution of Russian public opinion in 1989–2014)]. In: Shestopal, E.B., Shutov, A.Yu. & Yakunin, V.I. (eds) *Chetvert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, reformy* [Quarter of the century after the USSR: People, society, reforms]. Moscow: Moscow State University. pp. 234–290.

2. Golovchenko, A.V. (2014) Inversion of Liberal Patriotism in Contemporary Russia. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya Sotsiologiya i politologiya – Izvestiya of Saratov University. New Series. Sociology. Politology*. 14(4). pp. 98–102. (In Russian).

3. Vorontsov, S.A., Ponedelkov, A.V. & Vilkov, A.A. (2015) Patriotism as a basic value of the Russian government. *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie – Public and Municipal Administration*. 3. pp. 70–74. (In Russian).

4. Kasamara, V.A. & Sorokina, A.A. (2016) "S chego nachinaetsya Rodina": patriotizm v predstavleniyakh studencheskoy molodezhi ["Where does the Motherland begin?": Patriotism in the representations of student youth]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 6. pp. 99–110.

5. Ivanov, V.N. (2003) *Sotsiologicheskaya entsiklopediya: v 2 t.* [Sociological Encyclopedia: In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'.

6. Rozhkova, L.V. & Vasilyeva, N.D. (2014) Citizenship and patriotism as a base for social consolidation of the Russian society. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 3(121). pp. 123–129. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2014.3.08

7. Yatsenko, N.E. (1999) *Tolkovyy slovar' obshchestvovedcheskikh terminov* [Explanatory Dictionary of Social Science Terms]. St. Petersburg: Lan'.

8. Dekker, H., Malová, D. & Hoogendoorn, S. (2003) Nationalism and its explanations. *Political Psychology*. 24(2). pp. 345–376. DOI: 10.1111/0162-895X.00331
9. Druckman, D. (1994) Nationalism, patriotism, and group loyalty: a social-psychological perspective. *Merston International Studies Review*. 38(1). pp. 43–68. DOI: 10.2307/222610
10. Khukhlaev, O.E. (2012) Natsionalizm i patriotizm kak sotsial'nye ustanovki: teoreticheskiy analiz i eksperimental'nye issledovaniya [Nationalism and patriotism as social attitudes: Theoretical analysis and experimental research]. *Uchenye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*. 10. pp. 66–70.
11. Bepalova, T.V. (2012) Patriotizm i natsiya kak istochniki moral'noy motivatsii v natsionalizme [Patriotism and the nation as sources of moral motivation in nationalism]. *Filosofiya prava*. 4. pp. 17–21.
12. Kosterman, R. & Feshbach, S. (1989) Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes. *Political Psychology*. 10(2). pp. 257–273. DOI: 10.2307/3791647
13. Mummendey, A., Klink, A. & Brown, R. (2001) Nationalism and patriotism: National identification and out-group rejection. *The British Journal of Social Psychology*. 40(1). pp. 159–172. DOI: 10.1348/014466601164740
14. Khukhlaev, O.E. (2012) Psychology of Nationalism in Foreign Research. *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo – Social Psychology and Society*. 4. pp. 15–29. (In Russian).
15. Vekker, L.M. (1998) *Psikhika i real'nost': Edinaya teoriya psikhicheskikh protsessov* [Psychic and Reality: A Unified Theory of Mental Processes]. Moscow: Smysl.
16. Selezneva, A.V. (2011) Political-psychological approach to the research of political values. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 345. pp. 56–60. (In Russian).
17. Evgenieva, T.V. & Selezneva, A.V. (2016) Soviet Past in value, image and symbolic space of Russian identity. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 25–39. DOI: 10.17976/jpps/2016.03.04
18. Evgenieva, T.V. (2012) Historical memory and national identity in contemporary Russia. *Tsennosti i smysly – Values and Meanings*. 5. pp. 27–36. (In Russian).
19. FOM. (2017) *Patriotizm: dinamika mneniy. Press-vypusk FOM ot 27 marta 2017 g.* [Patriotism: The dynamics of opinions. The press release of the POF of March 27, 2017]. [Online]. Available from: <http://fom.ru/TSennosti/13261>. (Accessed: 22nd April 2017).
20. Selezneva, A.V. (2014) Political values in contemporary Russian mass consciousness: Psychological analysis. *Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie – Human. Community. Managment*. 2. pp. 6–18. (In Russian).
21. Shcherbinin, A.I. (2016) Political and cultural codes and constructive creativity of contemporary Russian power. *Vestnik Tomskogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3(35). pp. 264–271. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/35/27
22. FOM. (2017) *Patriotizm: dinamika mneniy. Press-vypusk FOM ot 27 marta 2017 g.* [Patriotism: the dynamics of opinions. The press release of the FOM of March 27, 2017]. [Online]. Available from: <http://fom.ru/TSennosti/13261>. (Accessed: 22nd April 2017).
23. Shestopal, E.B. (2014) Tsennostnye kharakteristiki rossiyskogo politicheskogo protsessa i strategiya razvitiya strany [Axiological characteristics of the russian political process and strategy of the country's development]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 2. pp. 61–71.
24. Russian Federation. (n.d.) *Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2016–2020 gody"* [State program "Patriotic education of Russian citizens from 2016–2020 years"]. [Online] Available from: <http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkh1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf>. (Accessed: 25th April 2017).

УДК 323

DOI: 10.17223/1998863X/38/21

М.А. Сущенко

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

Статья посвящена изучению и классификации основных научных подходов в исследованиях отечественных и китайских авторов политической трансформации современного Китая. Автор исходит из того, что политический курс КНР является регулируемым сверху политическим процессом, рассчитанным на длительный период времени в обстановке внутренней стабильности и общественного согласия. Автором делается вывод о необходимости применения синтетического подхода к изучению трансформационной динамики политической системы современного Китая.

Ключевые слова: трансформация, модернизация, КНР, Китай, традиции, реформы, подходы.

Трансформация политической системы КНР вызывает интерес у многих учёных в связи с наметившимся процессом перехода ряда стран восточно-азиатского региона к постиндустриальному обществу. Модернизация, инициированная в экономической сфере с конца 1970-х гг., объявленная Дэн Сяопином основой всех реформ, способствовала трансформационным процессам во всей политической системе современного Китая.

Политико-культурный подход к исследованию политических процессов позволяет определить степень влияния традиций на трансформацию политической системы КНР. Как отметил А.В. Виноградов, современная китайская цивилизация вновь восстановила принцип регулирования общественной жизни через силу традиций, который автор связывает с возрождением конфуцианских норм в обществе. Целью Китая, пишет А.В. Виноградов, «на нынешнем этапе является поиск новой стратегии развития, формирующей новую идентичность. Опыт социалистического строительства, интегрировавшего западную индустриальную культуру в национальные традиции и создавшего феномен мобилизованности, стал основой для такого движения» [1. С. 31].

По мнению В.Ф. Бородича, разработка стратегии реформ в КНР выстраивалась с учетом баланса между новым и традиционным. В духовной сфере легитимизация либеральных ценностей ограничивалась областью гражданских и экономических отношений. Ценности личного благополучия, дабы не стимулировать массовый рост индивидуализма, не придавалось самостоятельного характера. По замыслу Дэн Сяопина часть общества не просто получала возможность стать состоятельным, а разбогатеть, чтобы затем помочь сделать то же самое другим. Традиционная ценность общего сохраняла приоритет над ценностью частного, не совершая резких разрывов с традиций даже при проведении либеральных экономических преобразований [2. С. 150].

Я.М. Бергер изучал патерналистский характер власти в Китае посредством традиционного подхода, соответствующего национальной культурной

традиции. Она понималась исследователем в качестве доминанты централизованной государственной власти в политической, хозяйственной и культурной жизни страны. Приверженность национальным ценностям в политике охраняет КНР от негативного влияния последствий интеграции в систему глобальной экономики [3. С. 75].

Национальные политико-культурные традиции в Китае выражают свойство китайской идентичности, которая рассматривается в качестве фактора стабильного, экономически сильного государства. При данном типе развития Г. Иришин определил два этапа. Во-первых, создание политического механизма для инициирования модернизации и необходимых научно-технологических, социально-экономических и общественно-политических реформ, которая определяет национальную идентичность и стимулирует эти преобразования. Во-вторых, формирование эффективной и стабильной политической системы, которая соответствует качественно новому типу общества и обновленной идентичности [4. С. 89].

Политическая культура и её элементы характеризуют отношения как между властью и обществом, так и среди участников политической жизни, поэтому для исследования генезиса и результатов трансформации политической системы КНР необходимо изучение устойчивых духовных явлений в процессе меняющихся политических институтов.

При **институциональном подходе** к исследованию политического процесса центральными являются понятия управления и власти, с помощью которых изучаются элементы организационного (институционального) компонента политической системы. Спецификой процесса политической трансформации КНР является главенствующая роль института партотократического государства с системой доминирующей партии, выступающей инициатором курса модернизационного развития общества.

Проблема китайских реформ с 1990-х гг. отечественными учёными трактовалась как стремление власти в соответствии с обстановкой найти возможности примирения идеалов китайского варианта марксизма с классическим либерализмом, добиваясь стабильности и одновременно преобразования общества, партии, армии и государства. Существенные изменения партии-государства в КНР, по мнению В.Г. Гельбраса, станут возможными только после трансформации общества, становления новых слоёв и групп населения, сформировавшихся в обстановке зрелых товарно-рыночных отношений, развития мелкого, среднего, крупного частного и государственного бизнеса в долгосрочной перспективе [5. С. 32].

При изучении политического развития КНР следует уточнить исследуемый объект, не нарушив методологической целостности. Модернизация политической системы в соответствии с общими представлениями западных учёных означает образование и развитие современных политических институтов и форм государственной деятельности в рамках существующей политической структуры. В Конституции КНР 1982 г. была закреплена в числе базовых задач развития необходимость «сосредоточить свои усилия на социалистической модернизации, следуя по пути строительства «социализма с китайской спецификой» [6]. Таким образом, представления о модернизации в обществе социалистической формации КНР и в западной научно-

методологической парадигме обладают своими специфическими особенностями. Именно поэтому отечественными авторами Ц.Ц. Чойроповым и О.Б. Бальчиндоржиевой отмечается, что модернизация политической системы КНР была вызвана необходимостью сохранения общественного порядка и усиления авторитета центральной власти для осуществления эффективного управления страной [7. С. 42–52].

А.Д. Смирнов, исследовав содержание реформы политической системы КНР на разных этапах её развития с помощью институционального подхода, пришёл к выводу, что китайское руководство осознало наличие проблемы соответствия сложившейся системы форм и методов управления страной в ходе её трансформации. При этом руководство КНР находится в состоянии специфического поиска пути решения этой проблемы в соответствии с китайскими реалиями и с учётом исторических и культурных традиций китайской нации [8. С. 290].

Китайскими учёными значительное внимание уделяется институциональному подходу к исследованиям трансформационных процессов в политической системе КНР на современном этапе развития. Политическую трансформацию китайский учёный Сян Голань понимает как процесс реформирования системы управления, не отвечающей уровню производительных сил. Перемены в социальных и культурных сферах составляют сущность трансформационных процессов. У изменения и развития духовной культуры есть глубокая историческая продолжительность, взаимное влияние и детерминированность, и все это создает основу для устойчивой обратной связи в реальной жизни. Перемены в экономико-политической жизни приводят к изменению психологии, образа жизни людей и способствуют социальной трансформации [9].

В качестве главных трансформационных направлений в развитии институционального компонента политической системы китайскими авторами определены следующие цели, которые находят реализацию во внутренней политике КПК в XXI в.:

- обеспечение стабильности политической системы как важного условия эффективного продолжения китайской модернизации;
- оптимизация системы государственного управления через развитие управляемой демократизации системы местного самоуправления;
- борьба с коррупцией;
- правовая реформа и др.

В интервью учёный-социолог из КНР Ли Пэйлинь следующим образом определил направления трансформации китайской политической системы: «В условиях глобализации мы должны также работать над повышением уровня правосознания граждан, совершенствованием демократии, борьбой с коррупцией, повышением уровня технологий и управления, обеспечением долговременной политической стабильности» [10]. Направления модернизации КНР президентом Академии общественных наук КНР Ли Теином понимаются в контексте «самосовершенствования социалистической системы» [11. С. 41].

Интересным выглядит исследование Ли Хуэйбина, который связывает успехи экономического развития КНР с внедрением специфической модели

государственного управления, в соответствии с которой партия руководит всеми сферами общественной жизни. Этот вид государственного управления представляет собой переходный тип периода трансформации, основными целями и задачами которой в Китае являются:

1. Создание условий для перехода правительства от модели «управления экономикой» к модели «обслуживания интересов общества».

2. Развитие системы государственного управления от регулирования инвестиционной активности к инвестиционным возможностям общества.

3. Формирование эффективного стандарта системы государственного управления в условиях рыночной экономики.

Со временем, отмечает Ли Хуэйбин, могут проявиться следующие недостатки этого типа управления:

1. Колоссальное разрастание правительственных структур, что влечёт за собой бюрократизацию системы государственного управления.

2. Непосредственный контроль за экономикой со стороны правительства может привести к совершенно неподконтрольной ситуации морального разложения официальных лиц.

3. Неоправданные риски правительства, возникающие в процессе построения новой модели экономики.

4. Катастрофический дефицит социального капитала, который может проявиться в кризисе доверия к власти [12].

Китайские учёные связывают трансформационные процессы с усилением роли КПК, что будет способствовать повышению управляемости социально-экономическими процессами в обществе. За время реформ структура социально-классовых прослоек в КНР заметно изменилась. Китайскими учёными подчёркиваются неизменность руководящей роли властей в этом процессе, которая проявляется в следующих явлениях современной политической жизни:

- рабочий класс по-прежнему представляет собой социально-классовую базу КПК;

- крестьянство является важной силой социалистической индустриализации Китая, массовой опорой КПК;

- китайское руководство весьма внимательно к положению и роли новых социально-классовых прослоек начального этапа социализма [13].

Руководящий характер правящей партии в трансформационных процессах КНР Бао Синьцзянь связывает с линией КПК по следующим направлениям:

- стимулирование социальной гармонии в КНР, которое автор сопоставляет с развитием внутрипартийной демократии;

- оптимизация внутрипартийной работы;

- всемерное усиление борьбы с коррупцией [14. С. 4–8].

Ван Шаосин считает, что успешность всесторонней трансформации экономики, политической системы, общества, реализации политики открытости современного Китая зависит от эффективности руководства этим сложным процессом, осуществляемого Компартией Китая. Под общественной трансформацией он понимает процесс глубоких социальных перемен, оказывающий неизбежное влияние на политическую сферу. Основой логики социаль-

ной трансформации и реформы правящей партии являются следующие положения:

- развитие рыночной экономики вызывает глубокие изменения в социальной жизни;

- структурные перемены в обществе способствуют совершенствованию функций (государственной) власти. Под руководством КПК осуществляется социальная трансформация, а в результате этого процесса изменяется сама партия, что является основной особенностью партийного преобразования в современной китайской (политической) практике. Адаптационная реформа (партии), вызванная тотальной социальной трансформацией, влияет на все стороны внутренней и внешней жизни, пронизывает процесс самоуправления, администрирования и политического руководства правящей партией, а также касается всех сторон политической и социальной жизни страны, становится частью процесса всестороннего подъёма гражданской активности и возрождения партии в новой ипостаси [15. С. 19–20].

О.В. Литвинов посредством институционального подхода уточнил трактовку модели модернизации общества КНР, согласно которой особенностью китайских реформ является ведущая роль компартии в регулируемом сверху политическом процессе. Это означает, что на данном этапе (начальная стадия строительства социализма) модернизация политической системы не затрагивает её фундаментальных основ, сохраняя пока без изменения принцип демократического централизма построения системы [16. С. 279].

Спецификой развития Китая является контролируемый государством политический процесс. В Китае традиционно развивается специфический тип отношений «государство – общество», которому характерно господствующее положение категорий власти и управления. В основе таких форм политического развития в обществах незападного типа находится установка на «нелиберальную модернизацию». Данные формы политических ориентаций государств догоняющего типа развития соответствуют стремлениям недемократических режимов к рационализации системы власти и утверждению политического порядка, который становится целью политической трансформации общества. Как отмечал С. Хантингтон, недемократические режимы обеспечивают эффективное государственное управление посредством утверждения политического порядка в обществе, который становится главной задачей любой модернизации. Идеология данных режимов служит основой легитимности, а их партийная организация обеспечивает институциональные механизмы для мобилизации поддержки и осуществления политических стратегий [17. С. 47].

В основе **системного подхода** к исследованию политической системы КНР находятся представления о разнохарактерном влиянии политических, экономических, культурных факторов развития общества, способствующих его целостности. Китайскими авторами сущность политической трансформации в современном Китае понимается как часть общего реформаторского процесса, исследуемого в рамках системного и многоуровневого процесса социальных преобразований, который предполагает не только масштабный экономический прогресс, но и определённые политические и культурные последствия. Представляется интересной точка зрения китайского учёного

Юй Кэпина, отметившего, что политический фактор китайской модернизации оказался даже более весомым, чем во многих экономически развитых странах. Начавшийся процесс экономической модернизации после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва привёл к реорганизации внутренней структуры КПК, изменил политические принципы её функционирования и основные задачи и цели партии в целом. Без этих политических перемен дальнейшие экономические реформы были бы невозможны [18. С. 120–121].

Китайская модернизация как многофакторный процесс с помощью системного подхода изучается многими исследователями. Коллективная монография китайских и белорусских авторов Дин Жуджуна, М.М. Ковалева, В.В. Новика посвящена экономическим реформам в КНР. Отмечается в качестве особенности китайской модели реформ решение вопроса о первичности экономического развития. Авторы отметили, что по сравнению с экономическими реформами, институциональные трансформации – это постепенный процесс. Это связано с тем, что трансформация экономического развития – эволюционный процесс, а политико-институциональная трансформация сталкивается с большим числом искусственных препятствий, прежде всего идеологического характера [19. С. 93].

В то же время политическая трансформация трактуется китайскими авторами в качестве оптимизации системы государственного управления, части общих структурных изменений в обществе. Изменения в политической системе развиваются параллельно с трансформационными процессами в экономической, социальной и культурной сферах. Бао Синьцзянь посредством инструментов системного подхода характеризовал период эпохи «реформ и открытости» КНР как время структурной трансформации. В ней происходят не просто изменения отдельных элементов (социальной) системы, а сущностная и всесторонняя реформа экономической и политической систем и их механизмов функционирования. Китайский исследователь определяет следующие особенности трансформационных процессов в политической системе КНР:

- структурная трансформация осуществляется на базе основных принципов функционирования социалистической экономической и политической систем;

- развитие и самосовершенствование социалистического строя проходит через процесс открытости внешнему миру;

- экономическая и социальная трансформации, вызванные продвижением по пути рыночных реформ, проявляются в следующих аспектах. Во-первых, в переходе от плановой к социалистической рыночной экономике. Во-вторых, в переходе от аграрного к индустриальному обществу. В-третьих, в переходе от «деревенского» к «городскому» обществу. В-четвёртых, в переходе от индустриального к информационному обществу нового типа. В-пятых, в переходе от традиционного к демократическому правовому обществу. Структурная трансформация затрагивает основы социалистической системы КНР и проявляется в широком спектре изменений, является фундаментом осуществления модернизации КНР и исторической предопределённостью. Она будет определять дальнейшее социально-экономическое развитие страны и после реализации программы реформ. Процесс структурной трансформации КПК происхо-

дит через новаторское строительство самой правящей партии посредством реализации следующего механизма:

- через повышение эффективности координации процесса структурных социально-экономических преобразований;
- через усиление идеологического строительства в партии;
- через расширение внутрипартийной демократии, которая должна стимулировать гражданскую демократию;
- через усиление борьбы с коррупцией, а также усиление существующих институтов, ограничивающих деятельность власти;
- через углубление реформы управленческой системы партии [14. С. 4–8].

Дин Юаньчжу видит задачу повышения правосознания граждан одной из приоритетных целей углубления политики реформ. Исследователь утверждает, что для управления страной в соответствии с законом необходимо строительство правового общества. Отмечается, что это новый путь управления государством на текущем историческом этапе. По мнению учёного из КНР, это приведет к экономическому развитию, политической ясности, культурному процветанию, формированию социальной справедливости и развитию экологически благоприятной обстановки. Укреплению правового государства, согласно концепции китайского учёного, должны сопутствовать решения следующих стоящих перед обществом задач:

- повышение благосостояния народа посредством развития системы социального обеспечения КНР;
- реформирование бюджетных организаций и создание государственных учреждений;
- оптимизация и рационализация системы государственной службы КНР [20].

В основе **социологического подхода** к политической трансформации КНР находится анализ социальных процессов, включающих в себя идентификацию их основных субъектов, методов, условий и складывающихся политических отношений между ними. Политическая трансформация понимается как процесс, являющийся частью общественной трансформации, частное направление в её развитии.

Представляется интересным исследование В.Ф. Бородича. Автор отметил, что для обществ с восточным типом институциональных матриц важна динамика положительных социально-экономических изменений, что является главным трансформирующим показателем. В этой связи автором разграничиваются понятия «трансформация» и «модернизация» следующим образом. Под модернизацией понимается процесс изменения системного объекта, производимый по замыслу и воле субъекта в интересах развития системного объекта. Трансформация общественной системы определяется её природой, внутрисистемными потребностями существования и развития. Кроме того, она обусловлена необходимостью отвечать на вызовы внешней среды. Вызовы среды не напрямую трансформируют общественную систему. Они проходят сквозь своеобразный «фильтр» природы любой общественной системы и согласуются в её ответах на вызовы, которые носят форму политических решений и шагов государства, а также организованных общественными структурами, либо спонтанных, социальных или индивидуальных действий.

Таким образом, под политической трансформацией понимается качественное изменение всей общественной системы [21. С. 24–30].

А.Д. Смирнов исследовал изменения в обществе КНР во время модернизации. Наиболее заметно, по мнению российского учёного, трансформация социальной структуры китайского общества выразилась, во-первых, в возрастании и автономизации социально-политической и экономической роли прослойки китайской бюрократии – ганьбу в сфере партийного, государственного и хозяйственного строительства. Во-вторых, в значительном расслоении социальной базы КПК – рабочих, крестьян, интеллигенции и нового среднего класса. В-третьих, в ускоренном процессе урбанизации. В-четвёртых, в формировании политически структурированного и осознающего свои интересы слоя крупных и мелких собственников – класса национальной буржуазии [8. С. 130–131].

Среди отечественных и зарубежных исследователей сложился **нормативно-ценностный подход** при комплексных исследованиях трансформационных процессов в обществе КНР с использованием других научных методов.

Отечественными учёными-востоковедами В.А. Абрамовым и Н.А. Абрамовой применён нормативно-ценностный научный подход – наравне с инструментами традиционного и социологического методов – к исследованию связей китайских социальных трансформаций и изменений внутри ценностных систем. Было отмечено, что процесс смены старых и включение в ценностную систему новых элементов («сяокан», «датун») является длительным и сложным. Социально-культурная трансформация проходит через приращение социокультурных ценностей с опорой на традиции с целью сохранения цивилизационного потенциала [22. С. 115].

В. Михеевым указывается на некоторые трудности трансформационных процессов в КНР: «Для локализирующегося Китая характерны интенсивные трансформационные процессы и противоречия, возникающие между формирующимися и сложившимися ценностями и проявляющиеся в нестабильности социальной идентичности» [23. С. 461].

Китайским исследователем Ван Шаосином трактуется смысл социальной трансформации через проявление ценностных устремлений общества, направленных на достижение цели социального развития. В исследовании использованы инструменты нормативно-ценностного, социологического и институционального научных подходов. Автор отмечает, что правящая партия должна переходить от стандартов осуществления прямого управления (жизнью общества) на эффективное регулирование в соответствии с основными требованиями социального самоуправления и изменениями функций государства (современного типа). Ван Шаосин указал, что необходимость преобразований правящей партии, вызванных структурной трансформацией общества, разрушит схему существующих политических интересов, что означает большее ограничение власти КПК и увеличение или расширение прав социальных масс. Всё искусство управления этим сложным процессом преобразований не только заключается в осуждении недостатков старого института и прославлении преимуществ нового, но и в умении использовать старый институт для благополучного становления второго [15. С. 18–25].

Мы исходим из того, что политический курс КНР с конца 1970-х гг. включает в себя развитие регулируемого сверху процесса всестороннего социального прогресса, рассчитанного на длительный период в обстановке внутренней стабильности и общественного согласия. Политическую модернизацию в КНР мы понимаем как часть общественных изменений в современном китайском государстве партократического типа, направленных на преобразования в системе государственного управления, проходящих по пути развития управляемой демократизации сверху, с апелляцией к ценностям национальной культуры и традиционным механизмам проведения политики. Модернизация в КНР, которая началась в экономической сфере, приводит к трансформации всей структуры политической системы. Успешная модернизация политической системы является частью всесторонней трансформации политической системы общества.

Наиболее близким подходом к исследованию политической системы мы считаем синтетический подход, означающий всестороннее развитие всех её подсистем. Поэтому мы будем понимать под политической трансформацией в КНР разновидность общественного процесса, предполагающего постепенные перемены во всех или некоторых областях политической системы, которые отличаются качественными или количественными изменениями в её структуре и отношениях, основанных на традициях китайской государственности и механизмах политико-культурной преемственности.

Таким образом, всестороннее развитие КНР в настоящий период времени характеризуется нами как стадия структурной трансформации общества, в котором изменения в политической системе направлены на укрепление политического порядка, одной из задач которого является достижение стабильности в государстве. Такое состояние политической системы КНР характеризуется устойчивостью её элементов, отражённых в китайских политических традициях.

Литература

1. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: социально-политические и социокультурные аспекты: политические аспекты: автореф. дис. ... д-ра полит. наук. М., 2006. 39 с.
2. Бородич В.Ф. Сравнительный опыт политической трансформации Китая и России // Общество и государство в Китае: XXXII научная конференция / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. Н.П. Свистунова. М.: Вост. лит., 2002. С. 149–154.
3. Бергер Я.М. Модернизация и традиция в современном Китае // Полис. 1995. № 5. С. 60–77.
4. Иришин Г. Политическая модернизация Китая // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 6. С. 88–98.
5. Гельбрас В.Г. Китай после Дэн Сяопина: проблемы устойчивого развития // Полис. 1995. № 1. С. 28–38.
6. Constitution of the People's Republic of China (Full text after amendment on March 14, 2004) (Конституция КНР 1982 г. Полный текст с поправками от 14 марта 2004 г.) [Электронный ресурс] // The National People's Congress (NPC). Official web. 14.03.2004. Электрон. дан. URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2826.htm (дата обращения: 10.05.2015).
7. Чойропов Ц.Ц., Бальчидоржиева О.Б. Особенности модернизации политической системы Китайской Народной Республики // Трансформация общества и партийно-политической системы России и Китая в XXI веке: сравнительный анализ: сб. ст. / под ред. Н.Г. Скворцова, Юй Кепина. СПб.: Астерион, 2007. С. 41–52.
8. Смирнов Д.А. Идеино-политические аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2005. 323 с.

9. Сян Голань. От «вассальной» культуры к «гражданской» культуре: необходимость культурной сознательности [Электронный ресурс] // Теория-Китай: сайт. Электрон. дан. URL: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120925_234899.shtml (дата обращения: 24.08.2016).
10. Построение гармоничного социалистического общества: взгляд социолога [Электронный ресурс] // Газета «Жэньминь Жибао» онлайн: сайт. Электрон. дан. URL: <http://russian.people.com.cn/31521/Te3237349.html> (дата обращения: 05.04.2016).
11. Ли Теин. Теория и практика экономических реформ в КНР. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2002. 130 с.
12. Ли Хуэйбин. Социальный капитал и трансформация системы государственного управления [Электронный ресурс] // Теория-Китай: сайт. Электрон. дан. URL: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120925_234906.shtml (дата обращения: 20.09.2016).
13. Ли Сингэн. Социально-экономическая трансформация и изменение структуры классовых прослоек в России и Китае [Электронный ресурс] // Теория-Китай: сайт. Электрон. дан. URL: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234767.shtml (дата обращения: 20.08.2016).
14. Бао Синьцзянь. Трансформационные процессы в современном Китае // Трансформация общества и партийно-политической системы России и Китая в XXI веке: сравнительный анализ: сб. ст. / под ред. Н.Г. Скворцова, Юй Кепина. СПб.: Астерион, 2007. С. 4–8.
15. Ван Шаосин. Преобразование правящей Партии в условиях социальной трансформации Китая // Трансформация общества и партийно-политической системы России и Китая в XXI веке: сравнительный анализ: сб. ст. / под ред. Н.Г. Скворцова, Юй Кепина. СПб.: Астерион, 2007. С.18–25.
16. Литвинов О.В. Китайский путь к демократии. М.: Научная книга, 2004. 352 с.
17. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.
18. Юй Кэпин. Демократия в Китае: вызов или шанс? // Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах XXI века. М., 2010. С. 120–121.
19. Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая: научное издание. Мн.: Издательский центр БГУ, 2008. 446 с.
20. Дин Юаньчжу. Реформа аппарата и усовершенствование общественной системы с точки зрения строительства правового общества // Теория-Китай: сайт. Электрон. дан. URL: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201501/t20150120_317134.shtml (дата обращения: 20.08.2016).
21. Бородич В.Ф. Проблемы трансформации политических систем России и Китая. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2008. 247 с.
22. Абрамов В.А., Абрамова Н.А. Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в проекциях глобального развития. М.: Восточная книга, 2014. 350 с.
23. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию / под ред. В. Михеева; Моск. Центр Карнеги. М., 2005. 646 с.

Sushchenko Maxim A. Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation)

E-mail: spacemirror@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/21

BASIC APPROACHES TO STUDY OF POLITICAL TRANSFORMATION OF MODERN CHINA

Key words: transformation, modernization, China, PRC, traditions, reforms, approaches

Studies of transformation of the political system of People's Republic of China are interest to many scientists in connection with the emerging process of transition a number of countries in the East Asian region to a postindustrial society. Politico-cultural approach to the study of political processes allowed A.V. Vinogradov, Y.M. Berger, V.F. Borodich and other scientists-sialologists determine the degree of influence of traditions on transformation of the political system of the PRC. The political-cultural approach allows to determine the degree of influence of traditions on transformation of the political system of the PRC. With the institutional approach, A.D. Smirnov, V.G. Gelbras, T.S. Choyropov, O.B. Balchindorgievoy used the concepts of governance and power, with the help of which elements of the organizational (institutional) component of the political system were studied. Among Chinese scientists (for example, Xiang Golan, Li Tein, Li Huibing, Li Singang, Bao Xinjiang,

Wang Shaoxing), much attention is paid to the institutional approach to studying the transformation processes in the PRC political system. At the heart of the system approach are the ideas about the diverse influence of political, economic, cultural factors of development society, contributing to its integrity. At the heart of the systematic approach of Chinese scientists Yu Keping, Ding Zhuan, Bao Xinjiang, Ding Yuanzhu, there are ideas about the diverse influence of political, economic, cultural factors of the development of society, contributing to its integrity. With the help of sociological approach, A.D. Smirnov and V.F. Borodich analyzed social processes, including the identification of their main subjects, methods and conditions, the emerging political relations between them. Political transformation is understood as a process that is a part of social transformation, a private direction in its development. Among domestic and foreign synologists (for example, V.A. Abramov, N.A. Abramova, V. Mikheyev, Wang Shaosing), a normative value approach has developed in complex studies of transformation processes in the PRC society using other scientific methods. In this scientific article, we will understand the political transformation of the PRC as a kind of social process that involves gradual changes in all or some areas of the political system that are characterized by qualitative or quantitative changes in its structure and relations based on the traditions of Chinese statehood and the mechanisms of political and cultural continuity. Thus, the comprehensive development of China at this time is characterized by us as a stage of structural transformation of society, in which changes in the political system are aimed at strengthening the political order, one of the tasks of which is to achieve stability in the state.

References

1. Vinogradov, A.V. (2006) *Kitayskaya model' modernizatsii: sotsial'no-politicheskie i sotsio-kul'turnye aspekty: politicheskie aspekty* [The Chinese model of modernisation: Socio-political and socio-cultural aspects: political aspects]. Abstract of Politology doc. Diss. Moscow.
2. Borodich, V.F. (2002) *Sravnitel'nyy opyt politicheskoy transformatsii Kitaya i Rossii* [Comparative experience of political transformation of China and Russia]. In: Svistunov, N.P. (ed.) *Obshchestvo i gosudarstvo v Kitae* [Society and State in China]. Moscow: Vostochnaya literatura. pp. 149–154.
3. Berger, Ya.M. (1995) *Modernizatsiya i traditsiya v sovremennom Kitae* [Modernisation and tradition in modern China]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 5. pp. 60–77.
4. Irishin, G. (2011) Political modernization of China. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International Relations*. 6. pp. 88–98. (In Russian).
5. Gelbras, V.G. (1995) *Kitay posle Den Syaopina: problemy ustoychivogo razvitiya* [China after Deng Xiaoping: The problems of sustainable development]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 1. pp. 28–38.
6. People's Republic of China. (2004) *Constitution of the People's Republic of China* (Full text after amendment on March 14, 2004) [Online] Available from: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2826.htm. (Accessed: 10th May 2015).
7. Choyropov, Ts.Ts., Balchindorzhieva, O.B. (2007) *Osobennosti modernizatsii politicheskoy sistemy Kitayskoy Narodnoy Respubliki* [Modernisation of the political system of the People's Republic of China]. In: Skvortsov, N.G. & Yu Capin. (eds) *Transformatsiya obshchestva i partiynopoliticheskoy sistemy Rossii i Kitaya v XXI veke: sravnitel'nyy analiz* [Transformation of society and party political system of Russia and China in the 21st century]. St. Petersburg: Asterion. pp. 41–52.
8. Smirnov, D.A. (2005) *Ideyno-politicheskie aspekty modernizatsii KNR: ot Mao Tszeduna k Den Syaopinu* [Ideological and political aspects of the modernisation of the PRC: From Mao Zedong to Deng Xiaoping]. Moscow: Institute for Far Eastern Studies, RAS.
9. Golan, X. (2012) *Ot "vassal'noy" kul'tury k "grazhdanskoy" kul'ture: neobkhodimost' kul'turnoy soznatel'nosti* [From "vassal" to "civil" culture: The need for cultural consciousness]. [Online] http://ru.theorchina.org/xsqy_2477/201209/t20120925_234899.shtml. (Accessed: 24th August 2016).
10. Anon. (n.d.) *Postroenie garmonichnogo sotsialisticheskogo obshchestva: vzglyad sotsiologa* [The construction of a harmonious socialist society: The view of a sociologist]. [Online] <http://russian.people.com.cn/31521/Te3237349.html>. (Accessed: 5th April 2016).
11. Lee, T. (2002) *Teoriya i praktika ekonomicheskikh reform v KNR* [Theory and practice of economic reforms in China]. Moscow: Institute for Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.
12. Lee, H. (2012) *Sotsial'nyy kapital i transformatsiya sistemy gosudarstvennogo upravleniya* [Social capital and the transformation of the system of public administration]. [Online] Available

from: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120925_234906.shtml. (Accessed: 20th September 2016).

13. Lee, S. (2012) *Sotsial'no-ekonomicheskaya transformatsiya i izmenenie struktury klassovykh prosloek v Rossii i Kitae* [Socio-economic transformation and changing the structure of class strata in Russia and China]. [Online] Available from: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234767.shtml. (Accessed: 20th August 2016).

14. Bao Xinjian. (2007) Transformatsionnye protsessy v sovremennom Kitae [Transformation processes in modern China]. In: Skvortsov, N.G. & Yu Capin (eds) *Transformatsiya obshchestva i partiynno-politicheskoy sistemy Rossii i Kitaya v XXI veke: sravnitel'nyy analiz* [Transformation of society and party political system of Russia and China in the 21st century]. St. Petersburg: Asterion. pp. 4–8.

15. Wang Shaoxing. (2007) Preobrazovanie pravyashchey Partii v usloviyakh sotsial'noy transformatsii Kitaya [Transformation of the ruling Party under China's social transformation]. In: Skvortsov, N.G. & Yu Capin (eds) *Transformatsiya obshchestva i partiynno-politicheskoy sistemy Rossii i Kitaya v XXI veke: sravnitel'nyy analiz* [Transformation of society and party political system of Russia and China in the 21st century]. St. Petersburg: Asterion. pp.18–25.

16. Litvinov, O.V. (2004) *Kitayskiy put' k demokratii* [The Chinese way to Democracy]. Moscow: Nauchnaya kniga.

17. Huntington, S. (2004) *Politicheskii poryadok v menyayushchikhsya obshchestvakh* [Political Order in Changing Societies]. Moscow: Progress-Traditsiya.

18. Yu Capin. (2010) Demokratiya v Kitae: vyzov ili shans? [Democracy in China: a challenge or a chance?]. In: Inozemtsev, V. (ed.) *Demokratiya i modernizatsiya. K diskussii o vyzovakh XXI veka* [Democracy and modernisation. Towards a discussion on the challenges of the 21st century]. Moscow: Evropa. pp. 120–121.

19. Dean Zhujun, Kovalev, M.M., & Novik, V.V. (2008) *Fenomen ekonomicheskogo razvitiya Kitaya* [The phenomenon of China's economic development]. Minsk: Belarusian State University.

20. Ding Yuanzhu. (2015) *Reforma apparata i usovershenstvovanie obshchestvennoy sistemy s tochki zreniya stroitel'stva pravovogo obshchestva* [The reform of the apparatus and the improvement of the social system in terms of building a legal society]. [Online] Available from: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201501/t20150120_317134.shtml. (Accessed: 20th August 2016).

21. Borodich, V.F. (2008) *Problemy transformatsii politicheskikh sistem Rossii i Kitaya* [Problems of transformation of political systems of Russia and China]. Moscow: Institute for Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.

22. Abramov, V.A. & Abramova, N.A. (2014) *Tsennostnyy potentsial kitayskogo "mogushchestvennogo kul'turnogo gosudarstva" v proektsiyakh global'nogo razvitiya* [The axiological potential of the Chinese "powerful cultural state" in the projections of global development]. Moscow: Vostochnaya kniga.

23. Mikheev, V. (2005) *Kitay: ugrozy, riski, vyzovy razvitiyu* [Threats, Risks, Development Challenges]. Moscow: Moscow Carnegie Centre.

УДК 32.019.51

DOI: 10.17223/1998863X/38/22

О.М. Хауер-Тюкаркина

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО АКТОРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Описывается важность формирования позитивного имиджа для политических акторов, желающих сохранить лидирующие позиции в системе международных отношений, обосновывается необходимость разработки антикризисной имиджевой стратегии в кризисных условиях, анализируются этапы комплексного процесса создания позитивного имиджа государства в условиях кризиса, а также даются практические рекомендации по созданию конкурентоспособной и устойчивой антикризисной имиджевой политики.

Ключевые слова: имидж, кризис, антикризисная имиджевая стратегия, управление кризисом, имидж государства.

Политические реалии современности зачастую оказывают негативное влияние на имидж акторов, затронутых теми или иными тенденциями актуальной мировой политики. Природные катастрофы и катаклизмы, глобальные вызовы, включающие терроризм, экстремизм, проблему неконтролируемого наркотрафика, экономические рецессии мирового уровня, культурно-цивилизационные и информационные войны, региональные и локальные конфликты, влияющие на глобальную безопасность – все эти и многие другие проблемы постбиполярного мира заставляют акторов искать новые средства сохранения репутации и, как следствие, переосмысливать значение некоторых концептов, одним из которых является политический имидж.

Стабильный и управляемый политический имидж становится одним из инструментов удержания власти в современном мире. Можно выделить следующие функции политического имиджа:

- позитивный политический имидж является одним из ресурсов «мягкой» силы актора (государства или надгосударственной организации): он делает актора привлекательным в глазах внутренних или внешних целевых аудиторий;
- позитивный политический имидж способствует повышению конкурентоспособности актора в различных сегментах: в сфере экономики – привлечение иностранного капитала и бизнеса; в сфере туризма – увеличение потока туристов; в сфере образования – повышение доли иностранных студентов, лоялизация иностранной интеллектуальной и политической элиты; в профессиональной сфере – приток квалифицированных кадров;
- позитивный имидж повышает репутационный капитал и политический вес актора в системе международных отношений (актор, обладающий позитивным имиджем, приглашается в качестве медиатора и посредника в решении споров, выступает в качестве арбитра, а также активно участвует в решении ключевых вопросов мировой политики);
- позитивный имидж позволяет актору создать прочную систему политических и бизнес-партнеров, что укрепляет его позиции;

- позитивный имидж является инструментом лоялизации целевых аудиторий, а также инструментом легитимации политического курса: так, правящая элита государства, обладающая позитивным имиджем, способна легче донести до публики необходимость принятия непопулярных решений без ущерба своей репутации;

- позитивный и устойчивый имидж является залогом успешного противостояния информационным атакам и манипулированию со стороны третьих сторон; мнению актора, обладающего позитивным имиджем и развитой системой коммуникаций, будет отдаваться приоритет в перегруженной информационной среде;

- позитивный имидж является необходимым условием для преодоления внутреннего или внешнего кризиса без утраты репутации, а, следовательно, без потери легитимности.

Таким образом, имиджевая политика становится осознанной необходимостью современных политических акторов, находящихся под постоянным воздействием факторов внешней среды, многие из которых носят кризисный характер.

Несмотря на то, что термин «кризис» активно используется в различных научных отраслях, а также в ежедневном лексиконе на бытовом уровне, не существует общепризнанного определения данного понятия. Известная исследовательница технологий управления кризисом (или кризис-менеджмента) Кэтлин Фирн-Бэнкс считает, что под кризисом следует понимать событие определенного масштаба, предполагающее потенциально негативный исход, а также негативно влияющее на актора (организацию, компанию и пр.), его целевую аудиторию, продукт, сервис, репутацию [1. С. 22].

Другой автор – теоретик и практик в области кризисных коммуникаций Т. Кумбс – считает, что кризис – это серьезная угроза для актора, его деятельности и репутации, которая может оказывать негативное воздействие в случае отсутствия мер противодействия [2].

Из определений становится ясно, что любой кризис – вне зависимости от его масштаба, характера, причины – является испытанием или вызовом для актора, а при отсутствии действенной антикризисной стратегии кризис может разрушить или ухудшить репутацию или имидж актора, повлечь за собой финансовые потери, а в худшем случае стать причиной дестабилизации безопасности людей.

Ситуация кризиса является чрезвычайной для актора. Важной категорией выступает понятие «кризисного менеджмента», подразумевающего создание системы средств, инструментов, технологий по управлению кризисной ситуацией, иными словами антикризисной стратегии.

В парадигме общей антикризисной стратегии можно отдельно выделить имиджевое направление, в рамках которого проводится работа по минимизации имиджевых и репутационных рисков и устранению понесенных ущербов. **Антикризисная имиджевая стратегия политического актора (АИС)** – это специально разработанная актором модель действий с целью управления имиджем и репутацией в условиях кризиса. Под управлением понимаются следующие аспекты: недопущение разрушения позитивного имиджа вследствие кризиса, противодействие манипуляции имиджем со

стороны недружественно настроенных третьих сторон, предупреждение ухудшения имиджа на протяжении развития кризисной ситуации, выстраивание базы для посткризисной корректировки имиджа.

Существует ряд особенностей формирования антикризисной имиджевой стратегий на различных стадиях кризисной ситуации. Исследователи выделяют разное количество фаз в динамике кризисного события. Например, российский исследователь конфликтов В. Ратников выделяет латентный период (предконфликтный), фазу открытого конфликта, которая условно делится на собственно конфликт с инцидентом, эскалацию и завершение конфликта, а также постконфликтный период [3. С. 114]. Конфликтолог Г.И. Козырев предлагает выделить четыре стадии кризиса, повторяющие вышеперечисленные с отдельным выделением фазы разрешения конфликта, для которой характерны переоценка ценностей и поиск компромиссов [4. С. 257].

Выделение как минимум трех основных стадий – предкризисной, фазы кризиса и посткризисной – является универсальным подходом к рассмотрению динамики кризиса. При этом в зависимости от *сценария* кризиса количество стадий может возрастать. Например, существует классический сценарий развития кризиса с образованием противоречия, эскалацией и разрешением. Можно также выделить сценарий спиралевидного развития кризиса, когда у кризиса есть несколько витков развития. Особый вид сценария – сценарий непрекращающегося кризиса, когда кризис застывает на кризисной стадии и не разрешается на протяжении длительного времени, превращаясь в латентный (например, корейский кризис) и так далее (рис. 1).

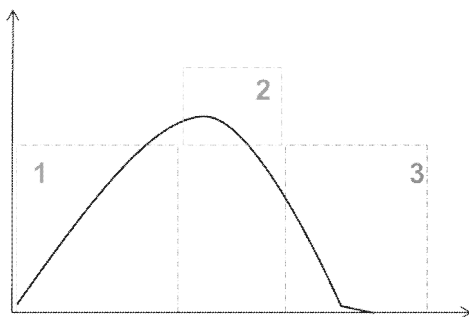


Схема 1. Фазы развития кризисной ситуации

Предкризисная фаза является периодом, который во многом определяет дальнейшее развитие кризисной ситуации. На данной фазе у актора есть шансы нивелировать кризис, не допустив перехода на кризисную стадию.

С точки зрения имиджевой политики на данном этапе важно учитывать следующие практические рекомендации по формированию антикризисной имиджевой стратегии:

- актор должен распознать сигналы надвигающегося кризиса, оценить потенциальный масштаб, сценарии развития кризиса (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный), определить вовлеченные стороны и их роль (роль жертвы, роль инициатора кризиса, роль посредника);

- актер производит анализ исторических аналогов, чтобы использовать накопленный опыт в конкретной ситуации;

- актер прогнозирует потенциальный резонанс в СМИ, который может нанести имиджевый ущерб;

- актер готовит общую антикризисную стратегию, частью которой является антикризисная имиджевая стратегия;

Основные действия актора, направленные на формирование антикризисной имиджевой стратегии, включают:

- определение имиджевого status quo: в каком состоянии находится текущий имидж актора, какие есть сильные и слабые стороны (во время кризиса слабые стороны станут самыми уязвимыми, поэтому важно обратить внимание на анализ текущего состояния имиджа для формирования предупредительных мер), какие факторы внешней среды позитивно или негативно влияют на имидж; в каком состоянии находится текущая имиджевая политика и информационно-коммуникационная инфраструктура, какие инструменты наиболее развиты, какие можно будет использовать в рамках антикризисной имиджевой кампании;

- определение основной цели и задач антикризисного имиджевого управления (зачем актору нужна АИС, что он хочет достичь в ходе реализации АИС); важно обозначить конкретные и измеримые показатели успешности (KPI – key performance indicators), которые помогут отслеживать эффективность реализации АИС и при необходимости проводить своевременную корректировку намеченного курса;

- определение целевых аудиторий (их может быть несколько, как на внутри-, так и на внешнеполитическом уровне); для каждой целевой аудитории впоследствии будет разработан свой набор инструментов;

- определение ресурсов – временных (временной план реализации АИС), финансовых (бюджетирование плана активностей), человеческих (определение структуры команды, которая будет отвечать за формирование и реализацию АИС);

- идентификация инструментов реализации АИС с учетом конкретных целевых аудиторий;

- формирование конкретного плана действий (мероприятий), который синхронизирует все направления, определяемые потребностями целевых аудиторий, различными инструментами и тактиками, в единый «Master Plan» (генеральный план);

- выбор ключевых коммуникационных стратегий и тактик, определение антикризисных нарративов, определение основных спикеров, создание антикризисного документа «Q and A» («Вопросы и ответы»), который будет служить инструкцией по ответам на возможные вопросы со стороны СМИ;

- поиск потенциальных союзников с высоким авторитетом и медийной узнаваемостью для того, чтобы они выступали в качестве послов-представителей интересов актора при общении с разными целевыми аудиториями;

- брифинг членов команды.

Для перехода кризиса на следующий этап – фазу непосредственного кризиса – требуется формальный инцидент. Фаза кризиса – это фаза активного

действия. Актор использует наработки, созданные в рамках предкризисной фазы. Разумеется, такой сценарий – когда актер сумел распознать сигналы заранее и подготовить наработки в рамках предкризисной фазы – является идеальным. Зачастую актер не готовится к кризисной ситуации, а действует по принципу «тушения пожара», что неблагоприятно сказывается на эффективности предпринимаемых мер.

Залогом успешности антикризисной имиджевой активности актора на кризисном этапе является наличие устойчивого имиджа и имиджевой инфраструктуры, существовавших вне кризиса, умение распознать кризисные сигналы и произвести предупредительную подготовку, а также четкий план по реализации намеченной стратегии. Если план АИС достойно спроектирован на предкризисном этапе, то во время кризиса актер может внести некоторые корректировки и уточнения и незамедлительно приступить к его реализации. Во время кризиса самым ценным ресурсом является время, поэтому промедление может поставить под угрозу успех антикризисной имиджевой кампании.

Основные действия актора в рамках **кризисной фазы**:

- проверка на соответствие и уточнение антикризисного имиджевого плана, сформированного на предыдущей фазе; в случае необходимости актору следует внести корректировки в намеченный план;
- уточнение роли актора в данном кризисе (роль «виновника» кризиса или роль «жертвы») позволяет четко сформулировать имиджевую стратегию и коммуникационную тактику;
- проведение анализа СМИ-ландшафта и сообщений, связанных с кризисом: присутствуют ли обвинительные послания, каков общий тон сообщений; в случае обвинительных сообщений – подготовка аргументированного ответа, соответствующего обвинению;
- определение антикризисной имиджевой миссии актора (общественно значимой роли);
- уточнение сценариев развития кризисной ситуации и – параллельно – уточнение имиджевого плана (включая цель и задачи, ресурсы, целевые аудитории);
- финальное определение инструментов реагирования для различных задач и ситуаций (инструменты *ad hoc* реагирования, инструменты средние и долгосрочного воздействия);
- финализация плана активностей по реализации АИС;
- реализация намеченного плана;
- мониторинг общей ситуации, а также отслеживание эффективности проводимых активностей и мероприятий, оценка соответствия результатов намеченным показателям эффективности (KPI); мониторинг может осуществляться на разных уровнях – от опроса общественного мнения до проведения контент-анализа ключевых СМИ, формирующих общественное мнение;

Степень активности актора во время кризиса зависит от ряда факторов. Существуют ситуации, когда актер избирает активную позицию, используя тактику «первого голоса», которая позволяет преподнести информацию в своей интерпретации. В иных случаях актер может избрать пассивную или же реактивную позицию, используя тактику «выжидания» (актор дает ответ только в том случае, если получает вопрос; или вовсе не реагирует на вопро-

сы общественности). Такая тактика не всегда уместна, так как может вызвать негативную реакцию со стороны целевых аудиторий («актор не отвечает, так как ответить нечего»; «актор виновен и не имеет контраргументов» и т.д.). Именно поэтому актер должен трезво оценить свою роль в кризисе и сформировать четкую стратегию поведения со СМИ и другими целевыми аудиториями (инвесторы, население, правительства других государств, страны-партнеры).

Посткризисная фаза – фаза восстановления имиджа, пострадавшего во время кризиса, подведения итогов и оценки эффективности реализованной АИС, а также фаза определения векторов дальнейшей имиджевой трансформации.

Посткризисный этап может иметь различную специфику, определяемую тем или иным сценарием развития кризисной ситуации.

Основные действия актора на посткризисном этапе:

- анализ состояния имиджа после кризиса (включая восприятие имиджа со стороны ключевых целевых аудиторий), оценка сильных и слабых сторон;
- оценка эффективности реализованной кампании; анализ опыта, полученного в ходе реализации АИС; вынесение «основных уроков» (key learnings), которые можно использовать в будущем;
- в краткосрочной перспективе: формирование «дорожной карты» по восстановлению утраченного имиджевого и репутационного капитала, включая определение целей и задач, миссии, ресурсов, инструментов, мероприятий;
- в средне- и долгосрочной перспективе: определение векторов имиджевой трансформации, которые станут началом новой имиджевой парадигмы;
- формирование основ новой имиджевой парадигмы.

Процесс формирования позитивного имиджа политического актора в условиях кризиса является комплексным и сложным. Его сложность обусловлена тем, что данный процесс разворачивается в рамках кризиса, заставляющего актора действовать в условиях цейтнота, под давлением угрозы частичной или полной утраты имиджа и репутации, а, значит, ухудшения конкурентоспособности и потери властного капитала.

Для акторов, желающих сохранить лидирующие позиции на мировой арене, четкая и последовательная имиджевая стратегия становится обязательной частью общеполитического курса. Современные государства и надгосударственные образования признали этот факт и активно работают над созданием и внедрением имиджевых и коммуникационных стратегий: США, Германия, Франция, Финляндия, а в последнее время и Россия активно начинают использовать новейшие имиджевые технологии для повышения экономической, культурной, туристической привлекательности, а также для создания прочной имиджево-коммуникационной инфраструктуры, являющейся залогом имиджа, устойчивого к воздействиям внешней среды (см.: [5]).

Антикризисный имидж-менеджмент постепенно становится все более востребованным направлением для политических акторов: так, например, ЕС, находящийся в ситуации затяжного системного кризиса, усугубленного кризисом Еврозоны, миграционной катастрофой после «Арабской весны», а также дезинтеграционными процессами, апогеем которых стал «Брексит»,

несет большие репутационные потери из-за отсутствия комплексной анти-кризисной имиджевой стратегии (см.: [6]).

Разумеется, антикризисная имиджевая стратегия не является единственным решением проблемы, она должна быть подкреплена действенной общеполитической стратегией по выходу из кризиса. Однако в мире, где привлекательность, имидж и репутация играют все возрастающую роль, политический актор, желающий сохранить конкурентоспособность, не может себе позволить отсутствие имиджевой политики.

Литература

1. Fearn-Banks K. Crisis Communications. A Casebook Approach. New Jersey, London, 2007. 385 p.
2. Coombs T. Crisis Management and Communications [Electronic resource] // Institute for Public Relations: site. Electronic data. September 23, 2014. URL: <http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/> (access date: 16.12.2015).
3. Конфликтология: учебник для студентов вузов / под ред. В.П. Ратникова. М.: Юнити-Дана, 2005. 543 с.
4. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 432 с.
5. Хауер-Тюкаркина О.М. Аспекты формирования внешнеполитической имиджевой стратегии современной ФРГ. Владимир: Транзит-Икс, 2013. 180 с.
6. Хауер-Тюкаркина О.М. Современная имиджевая политика Европейского союза. М.: Горячая Линия - Телеком, 2015. 168 с.

Hauer-Tyukarkina Olga M. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

E-mail: Olga.tjukarkina@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/22

ASPECTS OF CONSTRUCTING A POSITIVE IMAGE OF A POLITICAL ACTOR IN THE CRISIS

Key words: image, crisis, crisis image strategy, crisis management, state image

The political realities of the modern post-bipolar world, many of which have a crisis or conflict potential, such as natural and humanitarian disasters, global security threats, world economic recession, cultural-civilizational and information wars, regional and local conflicts, force the actors to seek new means of maintaining reputation and, consequently, to rethink the meaning of some concepts, one of which is political image. Positive, stable and controlled political image is one of the tools to retain power in the modern world, and is also a source of soft power – power of attraction – for States seeking to improve competitiveness. The article substantiates the necessity of formation of a positive image for political actors wishing to increase the competitiveness on the world stage, aiming to overcome the crisis with minimized reputational and image risks. Scientific novelty of the research lies in the author's determination of concept "crisis image strategy", which is understood as a pattern of actions specifically designed by the actor to manage image and reputation in a crisis. Management means in this case prevention of the destruction of a positive image which experiences negative influence of environmental factors, the establishment of measures for combating manipulation of the image by third parties, the development of preventive measures to minimize image risks, as well as building a base for post-crisis adjustments of the image and creation of a new image paradigm. In the analysis of the key features of the formation of the CIS in all phases of crisis – pre-crisis, crisis, post-crisis – as well as in the formulation of specific recommendations to create a positive image for actor in crisis. The author proposes a draft "road map" for the formation of the foundations of the crisis image strategy and formulates specific recommendations for designing or maintaining a positive image for actor in crisis. The study concludes that States and supranational structures, wishing to maintain its leading position on the world stage, must consider the image strategy and crisis image management as integrative part of their general political course.

References

1. Fearn-Banks, K. (2007) *Crisis Communications. A Casebook Approach*. New Jersey, London.
2. Coombs, T. (2014) *Crisis Management and Communications*. [Online] Available from: <http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/>. (Accessed: 16th December 2015).
3. Ratnikov, V.P. (ed.) (2005) *Konfliktologiya* [Conflictology]. Moscow: Yuniti-Dana.
4. Kozyrev, G.I. (2013) *Politicheskaya konfliktologiya* [Political conflictology]. Moscow: FORUM, INFRA-M.
5. Khauer-Tyukarkina, O.M. (2013) *Aspekty formirovaniya vneshnepoliticheskoy imidzhevoy strategii sovremennoy FRG* [Aspects of the formation of the foreign policy image strategy of modern Germany]. Vladimir: Tranzit-Iks, 2013.180 s.
6. Khauer-Tyukarkina, O.M. (2015) *Sovremennaya imidzhevaya politika Evropeyskogo soyuza* [The modern image policy of the European Union]. Moscow: Goryachaya Liniya - Telekom.

УДК 327.56

DOI: 10.17223/1998863X/38/23

С.Н. Чирун

ОПЫТ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ТОРУНЬ (ПОЛЬША) ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЯ – БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ – ЕС

Анализируются результаты V Международной конференции по изучению постсоветского пространства Россия – ближнее зарубежье – ЕС, проходившей в городе Торунь (Польша) 19–20 октября 2016 г.

Автор – участник конференции, излагает основные проблемы, которые обсуждались на конференции в Торунь: политическое, экономическое и военное соперничество России и ЕС на постсоветском пространстве; украинская политическая проблематика; российские интеграционные проекты на постсоветском пространстве; российские и европейские инструменты Soft Power (мягкой силы) относительно постсоветского пространства; позиция постсоветских стран относительно соперничества ЕС и России. Демонстрируется роль зарубежных школ и политологов в работе конференции.

Ключевые слова: региональная безопасность, региональные конфликты, постсоветское пространство, мягкая сила.

Международная научная конференция по изучению постсоветского пространства проходила в Польше, в городе Торунь в октябре 2016 г. уже в пятый раз. Она была организована факультетом политологии и международных исследований университета им. Николая Коперника в г. Торунь и Сеймиком Куявско-Поморского воеводства.

Проблематика конференции носила междисциплинарный характер и включала в себя процессы, происходящие в Восточной Европе и Центральной Азии, рассматриваемые достаточно широко. Конференция традиционно пользуется значительным вниманием и интересом исследователей из различных государств, в том числе России, Казахстана, Киргизии, Польши, Армении, Украины, Грузии и Белоруссии, и становится местом конструктивных дискуссий представителей научного сообщества по проблемам международной, региональной и национальной безопасности. Понятие безопасности государства или нации развивалось в связи с переменами как внутри-, так и внешнеполитических отношений. Сегодня безопасность, как отмечалось в одном из пленарных выступлений конференции, является важным элементом политики каждого государства. Меняющаяся международная обстановка начала XXI в. вызывает необходимость переопределения стратегии безопасности всех стран. Вызовы и угрозы, перед которыми оказался мир в XXI в., по мнению участников научной конференции, неизбежно влияют на общественное восприятие проблем безопасности.

Внимание участников конференции актуализировалось на обсуждении следующих узловых проблем: политическое, экономическое и военное соперничество России и ЕС на постсоветском пространстве; российские инте-

грационные проекты на постсоветском пространстве; позиция постсоветских стран относительно соперничества ЕС и России; влияние соперничества России и ЕС на внешнюю политику постсоветских стран; вызовы и угрозы для безопасности постсоветского пространства; военные конфликты на постсоветском пространстве и др.

Основной сферой интересов организаторов конференции является постсоветское пространство, и каждая из состоявшихся здесь предыдущих конференций была направлена на рассмотрение различных его аспектов. В 2016 г. конференция была в первую очередь посвящена анализу политики Российской Федерации в отношении так называемого ближнего зарубежья, а также позиции Европейского союза в отношении этого региона.

В докладах ряда европейских политологов делался акцент на позитивных направлениях и перспективах развития постсоветского пространства: расширяющихся возможностях использования общих достижений человечества, формировании регионального информационного пространства, взаимодействии ведущих субъектов региональной политики, расширении и активизации регионального сотрудничества, формировании регионального рынка труда, образования, идей, услуг и др.

Интересы большинства участников конференции, как явствовало из представленных докладов, связаны с компаративистскими исследованиями трансформации политических режимов и динамики политических процессов в постсоветских государствах. Одной из важнейших задач для участников конференции явилась презентация теоретических разработок и эмпирических исследований процессов трансформации в постсоветских государственных системах.

Выступающие особо акцентировали внимание на вопросе об уровне развития демократических процессов в Восточной Европе и Центральной Азии, а также поднимали тему причин успехов и неудач отдельных государств данных регионов.

Сама тематика постсоветского пространства для принимающей стороны не является случайной, поскольку опирается на обширный прикладной и методологический задел, связанный с работами польских исследователей. Наиболее яркими польскими авторами по данной проблематике являются Л. Адамски, С. Белень, А. Брыц [1. С. 263], В. Гурецки [2], З. Долива, Клепацки, Т. Капусьняк [3], М. Качмарски [4], М. Рась, А.Д. Ротфельд [5], А. Легуцк [6] и др.

При этом сама принимающая сторона, включая и участников конференции с польской стороны, стремилась, следуя принципам толерантности и исследовательской этики, в целом избегать острой и потенциально конфликтной проблемы украинских событий, обращаясь в своих научных изысканиях преимущественно к анализу проблем методологии и истории отношений. Тем не менее необходимо отметить, что, несмотря на значительные усилия организаторов, стремящихся снизить градус конфликтности, внешнеполитический фактор эскалации напряженности не мог не оказать негативного влияния на восприятие части представленных на конференции выступлений.

В центре внимания секционных заседаний конференции оказался анализ изменений, произошедших в Восточной Европе за последние 25 лет, а также определение возможностей и векторов грядущих системных трансформаций в контексте политических, экономических и социально-культурных переменных партнерства и соперничества.

Соперничество является одной из характерных черт международных отношений, и постсоветское пространство не является исключением. Здесь, на постсоветском пространстве, происходит отчетливое столкновение интересов многих региональных акторов.

Традиционно постсоветское пространство занимает особое место во внешней политике Российской Федерации. И российские политические лидеры априори рассматривают эту зону в качестве естественного объекта своего влияния. Для Европейского союза постсоветское пространство – это не только место соперничества с Россией, но и область состязаний между региональными игроками, образующими ЕС. Многие европейские государства преследуют здесь свои национальные интересы, не всегда сочетающиеся не только с российской, но и с общеевропейской политикой. Так, например, польские политологи отметили на конференции тот факт, что Польша, проводя свою внешнюю политику, всегда считала Литву своим стратегическим партнёром, безоговорочно поддерживая ее на международной арене, но зачастую при этом игнорируя проблемы поляков, проживающих в Литве.

В этой связи польскими коллегами были обозначены:

- проблемы сегрегации, когда поляки неприкрыто находятся в положении граждан второй категории в Литве, а ведущие позиции занимают граждане литовской национальности;
- проблемы образования, когда школы с польским языком обучения могут рассчитывать только на финансовую поддержку органов местного самоуправления, тогда как литовские школы финансируются государством;
- нормативное искажение записи польских имён и фамилий в литовском делопроизводстве, если имена и фамилии литовского населения в Польше записываются по-литовски (как литовским алфавитом, так и по звучанию), то у польского населения Литвы такой возможности нет;
- проблема двуязычных надписей в местах компактного проживания поляков. Вопрос пользования двуязычными названиями городов и деревень (для удобства польского меньшинства), но литовские власти отменили двуязычные таблички и ввели за их использование органами местного самоуправления очень большие штрафы.

Приведённый пример показывает, что в ходе конференции не только велся анализ областей соперничества России и Европейского союза на постсоветском пространстве, но также рассматривались и интересы национальных акторов ЕС.

В свете актуальных процессов на востоке Украины участникам конференции предлагалось задуматься, является ли еще востребованным тезис об уменьшении российского влияния на постсоветском пространстве? Какие инструменты будут использоваться Россией, чтобы сохранить свою доминирующую позицию в этом регионе? Является ли ЕС готовым к тому, чтобы предпринять попытку соревноваться с Россией за влияние в данном регионе?

Какой может быть реакция постсоветских стран в отношении усиливающегося соперничества крупнейших международных акторов? Возможно ли на постсоветском пространстве сохранение статуса внеблоковых государств? Участникам конференции предстояло также задуматься над потенциалом привлечения как ЕС, так и создаваемых Россией интеграционных структур, с учётом того, насколько отношения ЕС и России обусловлены геополитическим соперничеством и смогут ли они найти сферы регионального сотрудничества.

В ходе работы конференции обсуждались вопросы, ставшие своего рода вызовом для политической науки. Среди них – политическое, экономическое и военное соперничество России и ЕС на постсоветском пространстве, российские интеграционные проекты на постсоветском пространстве, влияние соперничества России и ЕС на внешнюю политику постсоветских стран, вызовы и угрозы для безопасности постсоветского пространства, военные конфликты на постсоветском пространстве, соперничество ЕС и России в области природных ресурсов в постсоветском пространстве, перспективы постсоветского пространства и многие другие вопросы, связанные с эволюцией терминологии и методологии политической науки.

Доклад профессора Романа Беккера [7], одного из крупнейших в Восточной Европе специалистов по теории политических переходов, был посвящен проблемам эволюции политического режима в России. По мнению Беккера, в РФ сформировался политический режим, сочетающий в себе черты авторитаризма и тоталитаризма. Так, в качестве ведущей характеристики авторитаризма, Беккер рассматривает политическую апатию населения. В тоталитаризме же отличительной чертой (по сравнению с авторитаризмом) выступает политическая мобилизация населения. В настоящее время в российском обществе всё ещё доминирует политическая апатия, но вместе с тем здесь также присутствуют и искусственно формируемые очаги политической мобилизации. Следовательно, политический режим в РФ, по мнению Беккера, находится между авторитаризмом и тоталитаризмом, причем первый (авторитаризм) доминирует над вторым.

Выступление проф. Беккера завершилось оживлённой дискуссией, в которой принял участие и автор данной публикации. Опора на использование комбинированного институционального анализа, сетевого подхода и теории «неформальной институционализации» позволила автору утверждать реальность существования наряду с формальными также и неформальных характеристик, присущих институтам региональной политической власти и политическим режимам. По мнению автора, «поле» деятельности постсоветских режимов, сформированное под влиянием неформальных институтов, зачастую противоречит демократическим институциональным изменениям, направленным на создание легально-рационального типа политического господства и сбалансированной модели разделения властей. Это приводит к разрыву между формальным устройством институтов и реальным характером власти, предопределяя специфический характер действующих здесь политических режимов.

Среди известных польских ученых, принявших участие в работе конференции, также следует отметить профессоров института политологии и ев-

ропейских исследований при университете г. Щецина: dr hab. Mateusz Smolaga и dr hab. Marcin Orzechowski. Их выступления были посвящены вопросам внешней политики ЕС, а также предотвращению и разрешению международных конфликтов с учетом фактора глобализации.

Проблемы национальных меньшинств в международной и региональной политике стали предметом внимания dr hab. Eugeniusz Mironowicz, профессора Белостокского университета. Процессы деидеологизации постсоветского пространства были освещены в докладе профессора университета им. Коперника в г. Торунь Антонины Козерской (dr hab. Antonina Kozyska). Проблеме российско-грузинских отношений был посвящён доклад профессора Ивоны Массака (prof. dr hab. Iwona Massaka).

В этих и некоторых других выступлениях (dr. Marcin Orzechowski, dr. Beata Goworko-Skladanek) акцент делался на конструктивных аспектах регионализации и глобализации, формировании институциональных структур регионального взаимодействия ведущих субъектов мировой политики; расширяющихся возможностях использования актуальных достижений политической регионалистики; расширении и оптимизации процессов регионального партнёрства, связанного с движением к интенсификации взаимодействия стран Восточной Европы.

Отметим, что, хотя российская школа исследований постсоветского пространства имеет богатый опыт и традиции, получившие отражение в работах таких исследователей, как Р.С. Гринберг [8], Л.С. Косикова [9], А.В. Мальгин [10], Е.Ф. Довгань [11], К.Ф. Затулин, Ю.В. Косов [12], М.М. Наринский [13], Е.И. Пивовар [14], А.Я. Бабаджанов [15], Ю.А. Никитина [16], С.В. Кортунова [17] и др., на конференции в Торунь она была представлена лишь автором данной статьи.

Важной идеей, доминирующей в докладах восточноевропейской политологической школы, была мысль о необходимости всемерного повышения роли самоуправления на постсоветском пространстве и оптимизации процесса передачи финансовых и административно-управленческих полномочий на первичный уровень управления, а также дальнейшего поощрения интеграционных процессов.

Остроактуальная проблематика международных отношений в Кавказском регионе была представлена в докладах грузинского и армянских политологов. Особый интерес вызвало выступление армянского эксперта Сергея Саркисяна (Sergey Sargsyan), представляющего исследовательский фонд «Нораванк» [18] и центр стратегического анализа «Спектр» [19]. В его докладе «Конкурентная динамика интеграционных процессов на Южном Кавказе: критические особенности современного этапа» было особо подчёркнуто, что сложившаяся в регионе Южного Кавказа геополитическая ситуация создает условия, в которых формированию осознанного, объективного и устойчивого отношения Армении к участию в интеграционных проектах способствует не столько информационное освещение двусторонних отношений Армении – ЕАЭС, сколько аналитическое сопровождение военно-политической и экономической деятельности всех активных в регионе акторов.

В конференции также принимала участие представительная делегация украинских коллег, политологов, историков и экономистов, представляющих

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, а также другие украинские научные центры.

В этих докладах процессы на постсоветском пространстве рассматривались преимущественно в контексте проблематики сохранения территориальной целостности Украины, в связи с чем ряд выступлений носил чрезмерно эмоциональный характер.

Так, Татьяна Ивановна Шинкаренко, представлявшая на конференции кафедру международных организаций и дипломатической службы Киевского национального университета им. Т. Шевченко, подвергла серьезной критике российскую внешнюю политику. В своём докладе, посвященном российской технологии мягкой силы, Шинкаренко высказала ряд критических замечаний относительно технологической эффективности российских инструментов *Soft Power*.

Так, по данным проведённых ею социологических исследований, за последний год усилилось негативное отношение украинцев к россиянам – 43%, а позитивное – 42%. Хотя к российской власти негативное отношение сильнее – 80%, тогда как лишь 8% респондентов указали позитивное отношение. Это, по мнению Т.И. Шинкаренко, свидетельствует о том, что украинцы четко разделяют в своих оценках российскую власть и российский народ.

Помимо этого, как было отмечено автором доклада, между Украиной и Россией фактически прекратились культурные отношения, научный обмен, сотрудничество в образовательной сфере. Кроме того, падает популярность Русской православной церкви, целые приходы массово переходят из Московского патриархата в Киевский патриархат. Причину этого Шинкаренко видит в кризисе самоидентификации России, он так и не завершился после распада СССР, имидж Россия так и не сумела сформировать, то же самое происходит с выбором путей модернизации. Следствием этого является стереотип восприятия Западом России, включающий в себя следующий коллаж: «ядерная дубинка, памятники кровавым царям и коммунистам и средневековое православие».

Ее коллега Галина Андреевна Пискорская обозначила тему своего доклада предельно жестко и тенденциозно: «Информационная война России против Украины». По мнению докладчика, итог этой войны оказался неожиданным: «В 2013 году Россию как врага воспринимало лишь 22% населения Украины, а в 2016 году их было уже 76%». Пискорская подчеркивает, что пропаганде не следует противопоставлять контрпропаганду, поскольку это «слишком грубо и малоэффективно». Следует, как считает Г.А. Пискорская, «противопоставить российскому информационному продукту наш мягкий, нежный, добрый, креативный, качественный украинский информационный продукт». Для оптимизации создания такого продукта Пискорская призывает опираться на научное наследие «стратегии не прямых действий», разработанной Б.Л. Гартон [20], а также стратегий «мягкой силы» Джозефа Найта [21]; «мемов» американского политолога Р. Докинса [22] и технологию медиавирусов Д. Рашкоффа [23].

По мнению, высказанному на конференции доктором политических наук, заведующей кафедрой международных отношений института социальных наук Одесского национального университета им. И.И. Мечникова Оль-

гой Брусиловской [24], «Россия позиционирует себя, как единственный международный актор, который противостоит «глобальному майдану». Но «что такое глобальный майдан в идеологии России» – ставит вопрос докладчик. Это «отрицание правил игры, это всеобщая анархия». То есть Украина и анархия – эти все вещи, по мнению Брусиловской, тождественные в сознании российской политической элиты. Брусиловская выразила категорическое несогласие с мнением Шинкаренко, согласно которому среди населения Украины существенно вырос процент негативных оценок, даваемых именно российской власти, но никак не российскому обществу. Брусиловская, ссылаясь на опросы Одесского национального университета, отмечает: «Опросы общественного мнения показывают, что, к сожалению, критически изменилось отношение украинцев к россиянам вообще, а не только исключительно к представителям российской власти. Вот это очень печальный факт». Вместе с тем Брусиловская отмечает и «позитивные», на её взгляд, последствия конфликта Киева с Москвой:

- 1) завершение экономической переориентации Украины с РФ на ЕС;
- 2) военные действия на Донбассе и утрата Крыма способствовали росту украинской политической идентичности и формированию национальной идеи.

Большинство отмеченных выше дискуссионных тезисов разделяет и Наталья Леонидовна Яковенко, доктор исторических наук, профессор кафедры международных организаций и дипломатической службы Киевского национального университета им. Т. Шевченко [25], уделившая в своём докладе особое внимание стратегии и тактике позиционирования государственного имиджа дипломатическими представительствами РФ за границей. В схожем умеренно-антироссийском русле звучали доклады и других членов украинской делегации, представляющей Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Елена Ковтун, Анатолий Яковец и др.).

Вместе с тем выступление Анатолия Владимировича Яковца [26] с докладом «Роль масс-медиа в информационном противоборстве Украины – РФ во время войны на востоке» отличалось наиболее существенным искажением реальных фактов или же их мифотворческими интерпретациями.

Так, например, докладчиком было заявлено, что в настоящий момент 89% информационного пространства Украины контролируется Российской Федерацией, а философ А.Г. Дугин является главным идеологом президента РФ В.В. Путина. Причём данные тезисы не были сопровождены сколь-либо достоверной научной аргументацией.

В очевидном диссонансе с большинством докладов представителей украинской делегации прозвучало выступление сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины, директора Института энергетических исследований Украины, эксперта Дмитрия Марунича [27] «Энергетическая безопасность Украины. Как ее обеспечить и какова в этом роль России».

Главная проблема, отмеченная докладчиком, заключается в том, что отношения Украины к РФ в энергосфере чрезмерно идеологизированы украинской властью, «...к сожалению, общество и украинские политики вмешались в экономику, и очень сильно здесь они напортачили ...».

Дмитрий Марунич фактически открыто оппонировал многим тезисам своих украинских коллег: «Является ли газ оружием Кремля, тут уже вспоминали коллеги, ну, в какой-то степени да, но мы должны четко понимать, например, в нашем энергетическом дискурсе, что любая капиталистическая компания пытается действовать, как сейчас действует Газпром к Украине. Она строит обходные маршруты трубопровода не только потому, что хочет плохо сделать Киеву, а просто потому, что, ну, возможно, открою тайну вам такую, к сожалению, поставки газа в Чехию через трубопровод «Северный поток» при текущих тарифах обходится дешевле, чем поставки газа через территорию Украины, но таковы реалии, это правда. И более того, Украина хочет поднять транзитные тарифы существенно, в 2,5 раза, что, как вы понимаете, сделает поставки газа через Украину совершенно неконкурентоспособными».

Мы, украинцы, продолжал Марунич, «хотим жить, как в Евросоюзе, но при этом, честно говоря, не совсем понятно, как может эффективно функционировать наша энергетическая система, если уровень износа сетей, системы хозяйства в главной распределительной сфере достигает 80%, ведь наши энергетические сети построены в 60–70-е годы, они не ремонтировались, амортизация сети в электрической сфере достигает 75%», такая ситуация, по его мнению, уже таит серьезные противоречия и риски, которые невозможно решить в одиночку без участия России.

В ходе продолжительной оживлённой дискуссии практически все украинские эксперты сошлись во мнении, согласно которому, если рассматривать отношения Украины и России с позиции теории игр, то в конфликте между Украиной и Россией оба участника проиграли, так, например, «Россия приобрела Крым, но потеряла Украину всерьёз и надолго».

Украинские эксперты называют два вероятных, по их мнению, сценария развития событий в 2017 г.: либо эскалация напряженности и вероятная война между Россией и Украиной; либо конфликт удастся заморозить на длительный срок (около 10 лет). Но заморозить конфликт, соглашаются украинские эксперты, – это наиболее оптимальный вариант для всех сторон конфликта.

В работе конференции принимали активное участие и представители научного сообщества Республики Беларусь, под руководством доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета Владимира Евдокимовича Снапковского [28], выступившего на конференции с аналитическим докладом «Белорусско-польские отношения: от заморозков к нормализации». В своем выступлении В.Е. Снапковский обратил внимание на объективные закономерности возрождения единого североевразийского геополитического пространства: «...это не прихоть политиков, а объективная реальность, достаточно выделенная в своем окружении, имеющая определенную сложившуюся структуру и его не отменить ни решениями мирового сообщества, ни заявлениями отдельных политических лидеров».

Итоги V Международной конференции по изучению постсоветского пространства Россия – ближнее зарубежье – ЕС носят в целом позитивный

характер. В частности, на ней был продемонстрирован хороший уровень сотрудничества ученых-политологов, представляющих различные страны постсоветского пространства. Конференция в Торунь дала возможность большому числу исследователей сопоставить состояние политической науки в целом и политической регионалистики в собственных странах с магистральными тенденциями ее развития, обсудить актуальные академические и прикладные проблемы. Конференция обогатила политическую науку новыми разработками и идеями, важными для углубленного понимания процессов на постсоветском пространстве. Конференция способствовала углублению понимания дискурса в теории и методологии политической науки, анализу дискурсивных практик политических акторов и их влиянию на политические переходы, политические технологии как «Soft Power» и др.

В целом большинство докладов было хорошо теоретически и методологически обосновано, широко использовались результаты прикладных исследований и достижений различных научных школ и центров. Работа конференции в г. Торунь показала, что глобализации, с одной стороны, открывает позитивные перспективы рационализации и регионализации для расширения возможностей демократического развития на гуманистической основе; с другой – создает предпосылки для элитарно-информационного и корпоративистского отчуждения обществ от политики. На конференции было обращено внимание на то, что в условиях региональных трансформаций, политических конфликтов, кризисов и усложняющегося развития общества роль институциональных структур объективно возрастает, однако в разных условиях (региональных, национальных, цивилизационных) реализация указанных процессов пока происходит зачастую десинхронно. Конференция ещё раз показала огромное значение политической науки в современном мире. Она подтвердила, что классические предметные области политологии не утратили своей актуальности. Скорее, наоборот, представляется крайне необходимым ответить на вопрос, что происходит с политическими институтами и практиками, сложившимися в государствах постсоветского ареала, поскольку политическая наука подчас не успевает давать соответствующие аналитические объяснения быстрым изменениям в мире политики, обеспечивать необходимый уровень эмпирических исследований.

Литература

1. Bryc A. Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Wydawnictwo akademickie i profesjonalne. Warszawa, 2009. 263 s.
2. Górecki W. Rosja umacnia się w Tadżykistanie. Tydzień na Wschodzie. OSW. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-10-10/rosja-umacnia-sie-w-tadzykistanie> (дата обращения: 19.05.17).
3. Kapuśniak T. Federacja Rosyjska. Wspólnota Niepodległych Państw. T. 2. Instytut Europy Środkowo-wschodniej. Lublin, 2011. 236 s.
4. Kaczmarek M. Rosja na rozdrożu. Wyd. Sprawy Polityczne. Warszawa, 2006. 201 s.
5. Rotfeld A. D. Myśli o Rosji i nie tylko. Świat książki. Warszawa, 2012. 351 s.
6. Legucka A. Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim. Warszawa; Difin, 2013. 406 s.
7. Институт политологии университета Н. Коперника в Торунь [Электронный ресурс] //официальный сайт— Режим доступа: <http://www.home.umk.pl/~ipwww/index.php?option=comcontent&task=view&id=83&Itemid=37> (дата обращения: 23.12.2016).

8. Гринберг Р., Вардомский Л. Десять лет после распада СССР: некоторые результаты и перспективы эволюции пространства СНГ. Доклад круглого стола «Экспертиза» на тему «Постсоветское пространство: десять лет спустя» во время конференции, организованной Фондом М.С. Горбачева. 06.09.2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_77/view_26373/ (дата обращения: 19.05.17).
9. Косикова Л. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и практика. Отд-ние межд. экономики и полит. исслед. М., 2008. 66 с.
10. Внешняя политика России. 1991–2012 / под ред. А. Торкунова, А. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Довгань Е.Ф., Розанов А.А. Организация Договора о коллективной безопасности (2002–2009). Минск: Ковчег, 2010.
12. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Независимых Государств. Институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия. М.: Аспект Пресс. 2-е изд., доп. 2009. 256 с.
13. Наринский М., Мальгин А. Десять лет Содружества Независимых Государств: некоторые итоги и перспективы. Доклад круглого стола «Экспертиза» на тему «Постсоветское пространство: десять лет спустя» во время конференции, организованной Фондом М.С. Горбачева. 06.09.2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_77/view_26374/ (дата обращения: 19.05.17).
14. Пивовар Е. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб.: Алетейя, 2008. 320 с.
15. Бабаджанов А. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств. Проблема сочетаемости национальных подходов. Научное издание. Серия «Постсоветские и восточноевропейские исследования». М.: Аспект Пресс, 2013. 256 с.
16. Никитина Ю. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Navona, 2009. 199 с.
17. Кортунов С. В. Становление национальной идентичности. Какая Россия нужна миру. М.: Аспект Пресс, 2009. 376 с.
18. Фонд «Нораванк» [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: <http://www.noravank.am/rus/> (дата обращения: 23.12.2016).
19. «Spectrum» [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: <http://www.spectrum.am/ru/publications/> (дата обращения: 23.12.2016).
20. Гарп Б. Л. Стратегия не прямых действий. М., 1957. 512 с.
21. Joseph S. Nye. Soft Power. The Means to success in world politics // N.Y. Public Affairs, 2004.
22. Dawkins R. The Selfsh Gene. Oxford University Press, 1976. 172 p.
23. Раикхофф Д. Медиавирус. М.: Ультракультура, 2003. 368 с.
24. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: <http://onu.edu.ua/ru/structure/institutes/isn/interrelations/staff/brusilovska> (дата обращения: 23.12.2016).
25. Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко (Яковенко Н.Л., Шинкоренко Т.И., Ковтун Е.Ю.) [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: http://www.iir.edu.ua/ru/education/international_relations/mvods/staff/ (дата обращения: 23.12.2016).
26. Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко (Яковец А.В.) [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: http://www.iir.edu.ua/ru/education/international_information/departement_imcct/staff/ (дата обращения: 23.12.2016).
27. Политнавигатор [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: <http://www.politnavigator.net/tag/dmitrij-marunich> (дата обращения: 23.12.2016).
28. БГУ, Шанковский В.Е. [Электронный ресурс] // официальный сайт. Режим доступа: <http://www.bsu.by/main.aspx?guid=86131> (дата обращения: 23.12.2016).

Chirun Sergey N. Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation)

E-mail: Sergii-tsich@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/23

EXPERIENCE OF PARTICIPATION IN THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE IN THE CITY OF TORUN (POLAND), FOR THE STUDY OF POST-SOVIET RUSSIA CIS – EU

Key words: regional security, regional conflicts, post-Soviet area, soft power

The article is devoted to the results of the conference on the study of the post-Soviet space, held annually in October in Poland, in the city of Torun. In all these conferences, a common theme was the post-Soviet space. At the same time, each of the conferences was devoted to the consideration of its various aspects. The author pays special attention to the 5th International Conference on the Study of the Post-Soviet Space Russia-Neighborhood-EU, held in Torun, Poland, on October 19-20, 2016. This conference was primarily devoted to the analysis of Russia's policy towards «near abroad», and also interests of the European Union in this region. The focus of this conference was not only an analysis of the problem areas of rivalry between Russia and the European Union in the post-Soviet space, but also opening a discussion on the prospects for the development of the post-Soviet space. In the light of the current processes in Ukraine, the participants of the conference were involved in the discussion of such issues as, for example: Is the thesis on reducing Russian influence in the post-Soviet space still relevant? What tools will Russia use to maintain its dominant position in this region? Is the EU ready to make an attempt to compete with Russia for influence in this region? What can be the reaction of the post-Soviet countries about the growing rivalry of international actors in their territory? Is it possible in the future to preserve non-aligned states in the post-Soviet space? The author of the article - the repeated participant of the conferences held in Torun, outlines the main problems that were voiced at the conference in Torun in 2016 on the study of the post-Soviet space Russia - near abroad - the EU: political, economic and military rivalry between Russia and the European Union. In the post-Soviet space; Ukrainian political issues, including topical issues of internal political issues, economic and energy problems in Ukraine; Efficiency and relevance of Russian integration projects in the post-Soviet space; A comparative analysis of Russian and European Soft Power (soft power) tools, as well as their use in the post-Soviet space; Positional dynamics of post-Soviet countries regarding the objects of rivalry between the European Union and Russia. The article demonstrates the role of foreign schools and the participation of individual political scientists in the analysis of current international issues during the conference. The author in the article reveals the discussion points of the analysis of the areas of rivalry between Russia and the European Union in the post-Soviet space, as well as discussions on the prospects for development and transformations of the post-Soviet space.

References

1. Bryc, A. (2009) *Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?* [Russia in the 21st century. World player or end of game?]. Warsaw: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne.
2. Górecki, W. (2012) *Rosja umacnia się w Tadżykistanie. Tydzień na Wschodzie*. OSW [Russia is strengthening in Tajikistan. EASTWEEK. OSW]. [Online]. Available from: <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-10-10/rosja-umacnia-sie-w-tadzykistanie>. (Accessed: 19th May 2017).
3. Kapuśniak, T. (2011) *Federacja Rosyjska. Wspólnota Niepodległych Państw* [Russian Federation. Commonwealth of Independent States]. Vol. 2. Lublin: Instytut Europy Środkowo-wschodniej.
4. Kaczmarek, M. (2006) *Rosja na rozdrożu* [Russia at the crossroads]. Warsaw: Sprawy Polityczne.
5. Rotfeld, A.D. (2012) *Myśli o Rosji i nie tylko* [Thought about Russia and beyond]. Warsaw: Świat książki.
6. Legucka, A. (2013) *Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim* [Geopolitical determinants and consequences of armed conflicts in the post-Soviet area]. Warsaw: Difin.
7. The Institute of Political Science of N. Copernicus University in Toruń. (n.d.) *The Institute of Political Science of N. Copernicus University in Toruń. Official Website* [Online]. Available from: http://www.home.umk.pl/~ipwww/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=37. (Accessed: 23rd December 2016).
8. Grinberg, R. & Vardomski, L. (2001) *Desyat' let posle raspada SSSR: nekotorye rezul'taty i perspektivy evolyutsii prostranstva SNG* [Ten years after the collapse of the USSR: some results and prospects for the evolution of the CIS space]. [Online]. Available from: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_77/view_26373/ (Accessed: 19.05.17).
9. Kosikova, L. (2008) *Integratsionnye proekty Rossii na postsovetskom prostranstve: idei i praktika* [Russia's integration projects in the post-Soviet space: ideas and practices]. Moscow: [s.n.].
10. Torkunov, A. & Malgin, A. (2012) *Vneshnyaya politika Rossii. 1991–2012* [Russian Foreign Policy. 1991–2012]. Moscow: Aspekt Press.
11. Dovgan, E.F. & Rozanov, A.A. (2010) *Organizatsiya Dogovora o kolektivnoy bezopasnosti (2002–2009)* [Organisation of the Collective Security Treaty (2002–2009)]. Minsk: Kovcheg.

12. Kosov, Yu.V. & Toropygin, A.V. (2009) *Sodruzhestvo Nezavisimyykh Gosudarstv. Instituty, integratsionnye protsessy, konflikty i parlamentskaya diplomatiya* [Commonwealth of Independent States. Institutes, integration processes, conflicts and parliamentary diplomacy]. 2nd ed. Moscow: Aspekt Press.
13. Narinskiy, M. & Malgin, A. (2001) *Desyat' let Sodruzhestva Nezavisimyykh Gosudarstv: nekotorye itogi i perspektivy* [Ten years of the Commonwealth of Independent States: Some results and prospects]. [Online] Available from: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_77/view_26374/. (Accessed: 19th May 2017).
14. Pivovarov, E. (2008) *Postsovetskoe prostranstvo: al'ternativy integratsii. Istoricheskiy ocherk* [Post-Soviet space: Alternatives to integration. A historical essay]. St. Petersburg: Aleteyya.
15. Babadzhanyan, A. (2013) *Voенно-politicheskoe sotrudnichestvo postsovetskikh gosudarstv. Problema sochetaniya natsional'nykh podkhodov* [Military-political cooperation of the post-Soviet states. The problem of compatibility of national approaches]. Moscow: Aspekt Press.
16. Nikitina, Yu. (2009) *ODKB i ShOS: modeli regionalizma v sfere bezopasnosti* [CSTO and the SCO: Regionalist models in the sphere of security]. Moscow: Navona.
17. Kortunov, S.V. (2009) *Stanovlenie natsional'noy identichnosti. Kakaya Rossiya nuzhna miru* [The formation of national identity. What Russia needs the world]. Moscow: Aspekt Press.
18. Noravank Foundation. (n.d.) *Noravank Foundation*. [Online] Available from: <http://www.noravank.am/rus/>. (Accessed: 23rd December 2016).
19. *Spectrum Center for Strategic Analysis*. (n.d.) [Online] Available from: <http://www.spectrum.am/ru/publications/>. (Accessed: 23rd December 2016).
20. Liddell Hart, B.H. (1957) *Strategiya nepriamykh deystviy* [The strategy of indirect actions]. Translated from English. Moscow: Inostrannaya literatura.
21. Nye, J.S. (2004) *Soft Power. The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
22. Dawkins, R. (1976) *The Selfish Gene*. Oxford University Press.
23. Rashkoff, D. (2003) *Mediavirus* [Mediavirus]. Translated from English by D. Borisov. Moscow: Ul'trakul'tura.
24. *I. Mechnikov National University in Odessa*. (2016) Official Website [Online] Available from: <http://onu.edu.ua/ru/structure/institutes/isn/interrelations/staff/brusilovska> (Accessed: 23rd December 2016).
25. *Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University*. (n.d.) Official Website (Yakovenko N.L., Shinkorenko T.I., Kovtun E.Yu.) [Online] Available from: http://www.iir.edu.ua/ru/education/international_relations/mvods/staff/. (Accessed: 23rd December 2016).
26. *Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University*. (n.d.) Official Website (Yakovets A.V.) [Online] Available from: http://www.iir.edu.ua/ru/education/international_information/departments/imcct/staff/. (Accessed: 23rd December 2016).
27. *Politnavigator*. (n.d.) Official Website [Online] Available from: <http://www.politnavigator.net/tag/dmitriy-marunich>. (Accessed: 23rd December 2016).
28. BGU. (n.d.) *Snopkovskiy V.E.* [Online] Available from: <http://www.bsu.by/main.aspx?guid=86131>. (Accessed: 23rd December 2016).

**Материалы Международной научной конференции
«МАЛЬЧИШЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ФЕНОМЕН»**

Томск, 17–18 ноября 2016 г.

УДК 355.01

DOI: 10.17223/1998863X/38/24

В.В. Бесценная, Г. Мпасси, Е.В. Федяева

**ПОД ЗНАКОМ ВОЙНЫ, ИЛИ ВЗГЛЯД
НА КУЛЬТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ МАЛЬЧИШЕСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОНГО**

Раскрыты типичные для Центральной Африки представления о мальчике как будущем мужчине, описаны и интерпретированы архетипы, лежащие в основе системы обучения и воспитания мальчиков, отмечена укорененность основных архетипов-образов и архетипов-сюжетов, касающихся мальчишества, в локальном фольклоре. Основное внимание уделено детскому военному образованию как социальному институту, функционирующему на эксплуатации основных центральноафриканских архетипов мальчишества – «воин», «герой», «охотник».

Ключевые слова: мальчишество, архетипы, архетипические образы и сюжеты Центральной Африки, детское военное образование.

Среди взрослого населения Конго 60% женщин и 40% мужчин. Такая разница вызвана несколькими гражданскими войнами последних лет, где погибали в основном мужчины.

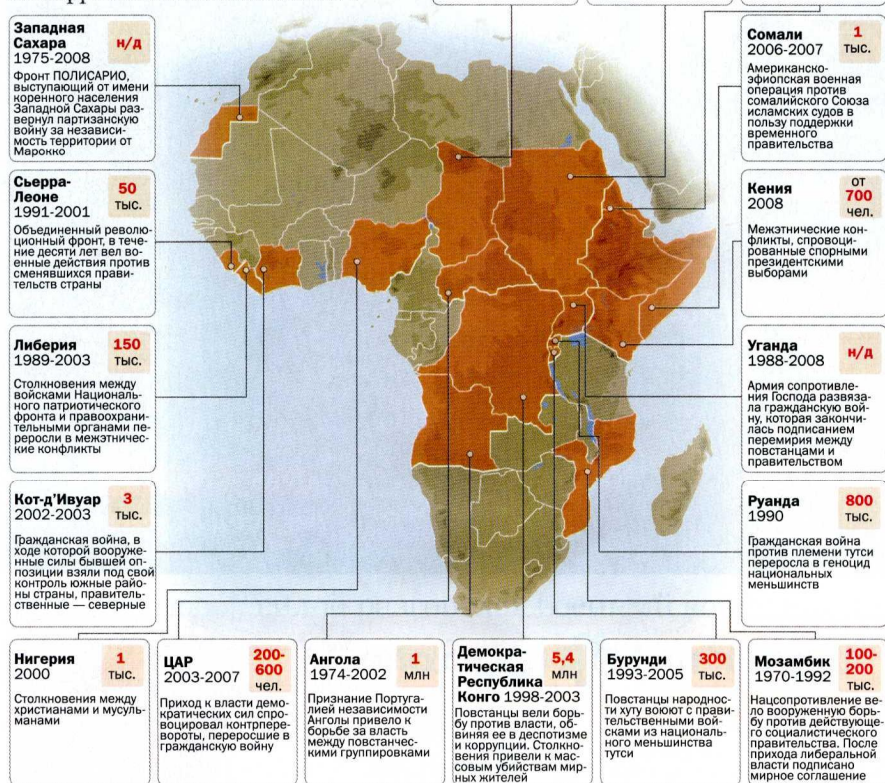
Чтобы отчётливее представить современную ситуацию, опишем её в цифрах:

- 33 из 48 беднейших стран мира находятся в Африке,
 - внешний долг Африки – 300 млрд долларов.
- С 1970 г. в странах Африки:
- произошло 78 государственных переворотов;
 - в государственных переворотах убито 25 президентов;
 - развязано 35 вооружённых конфликтов;
 - 10 млн чел. погибли (92% из них – это гражданское население);
 - 18 млн беженцев (50% общемирового количества беженцев);
 - 20 млн перемещённых лиц (60% общемирового количества) [1].

При взгляде на карту, иллюстрирующую историю гражданских войн и конфликтов на Африканском континенте [2], сразу бросается в глаза высокий уровень их концентрации в Центральном регионе. Республика Конго, хотя и находится недалеко от экватора, к счастью для её жителей, не так пострадала от локальных конфликтов, как соседняя Демократическая республика Конго, где с 1998 по 2003 г. погибло 5,4 млн человек – больше, чем во всех остальных странах Африки в сумме (рис. 1).

Не ходите в Африку гулять

История гражданских
войн и конфликтов
на Африканском континенте



Данные информационно-справочной службы Корреспондента

Рис. 1

Но населению Конго также пришлось пережить ужасы войны. Как и другие войны Африки, война имела комплексные причины, сочетающие в себе социально-политические, экономические (ресурсные), национально-этнические, территориальные и идеологические разногласия. Политическим поводом для начала войны стали грядущие выборы. И 2 претендента – Сасу-Нгессо и Паскаль Лисуба – сошлись в схватке, втянув в неё 4 млн человек. 5 июня 1997 г. не стало единой страны: она разделилась на Север и Юг, на «своих» и «врагов». И определялись они этнической принадлежностью. Во время сопротивления целые семьи были уничтожены. Семейные пары вынуждены были расстаться из-за давления родных, запрещающих свадьбы между южанами и северянами. Дети не ходили в школу, если она находилась на территории другого этноса из-за страха быть убитыми или сброшенными заживо в могильники. Это было время бандитизма, безнаказанности, страха и ненависти.

Дети часто являются не только свидетелями, но и участниками войн, в первую очередь это мальчики (рис. 2). Описанная выше война 1997–1999 гг. пришлось на детство одного из соавторов этой работы – Мпасси Гари Стюарта. Все мужчины его семьи чудом остались в живых после планомерного уничтожения мятежниками мужской части племён, оказавшихся на стороне действующего президента С. Нгессо. Избежали гибели лишь мальчики до 12 лет, которых мятежники забирали, чтобы они воевали на их стороне. Будучи 10-летним мальчиком, Гари Мпасси прятался в лесу с матерью и младшей сестрой целый год. Так мать пыталась скрыть его от мятежников. Отец был военнообязанным, воевал в отряде защитников действующего президента, помочь своим близким ничем не мог, так как сам был на волосок от смерти. Вот часть воспоминаний военного мальчишеского детства.

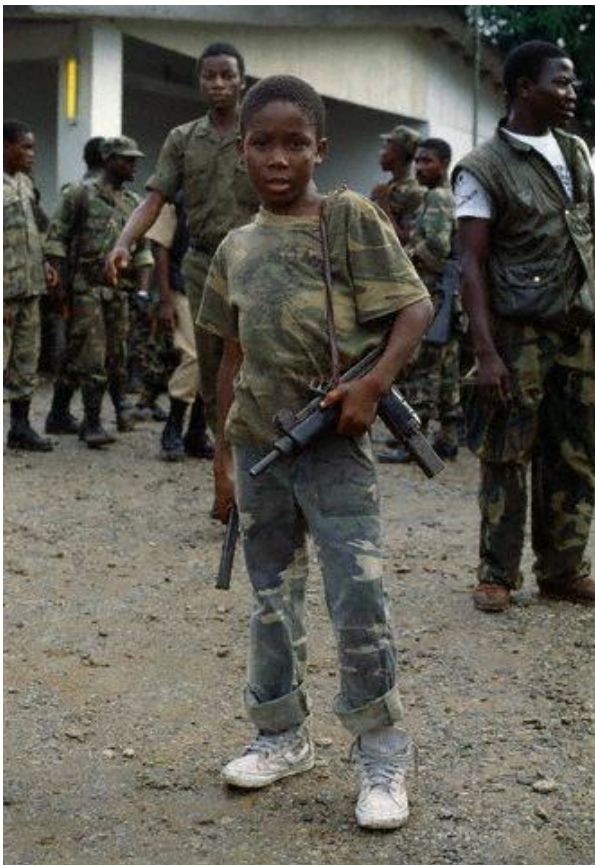


Рис. 2

«Эти 12 месяцев были самыми тяжёлыми в моей жизни. Как бы я хотел прожить их нормально, как ребёнок. А мне приходилось думать и работать, как взрослый, чтобы найти еду. С мальчишками мы собирали все фрукты в лесу, которые попадались на глаза, и приносили их в лагерь. Там старшие сортировали их, отбирая съедобные. Вокруг лагеря горели костры, чтобы отпугивать диких зверей. Лес кишел удавами, леопардами, шакалами, нередко проходили слоны. Спичек у нас не было, огонь приходилось поддерживать круглые сутки. «Смерть» огня привела бы и к нашей смерти. Нас мучили москиты. Чтобы как-то отпугнуть их, в огонь бросали листья эвкалипта. Но самой большой проблемой был голод. Весь день проходил в поисках еды. Поест удавалось 1 раз в день. Старший мужчина учил нас делать ловушки для птиц, мышей. Очень редко в ловушку попадались антилопы. Это был настоящий праздник. Ловили рыбу. Делали запруду из камней и вытаскивали рыбу руками. Единственным желанием было увидеть родной го-

род, вернуться к нормальной жизни. Но удалось это только через год, после объявления перемирия».

Условия затяжного военного конфликта не могли не отразиться на традициях воспитания, где главным участником военных действий является мужчина, юноша, а в Африке – и мальчик. Естественно, что в условиях постоянного военного конфликта обществом востребованы молодые люди определённого склада. Чтобы описать их с помощью архетипов, обратимся к теории вопроса.

Первые попытки категоризации лексемы «архетип» были предприняты в античной философии (Платон, Филон Александрийский, Плотин), средневековой патристике (Св. Павел, Ириней Лионский, Дионисий Ареопагит), схоластике (Эриугена, Фома Аквинский), в классической и неклассической философии (И. Кант, А. Шопенгауэр, П. Дойсен, Г.Г. Шпет). Категоризация термина «архетип» была осуществлена К.Г. Юнгом [3]. Трактовки архетипов в работах К. Юнга различны, но можно найти общие черты: 1) существуют в бессознательной деятельности и проявляются на поверхности сознания в форме глубинных первообразов-символов; 2) непосредственному наблюдению архетипы недоступны, проявляются в универсальной символике через проекцию на внешние объекты; 3) архетипы поддаются осмыслению и адекватному выражению в языке лишь частично. Таким образом, их можно описывать, интерпретировать и частично типизировать [4. С. 390]. Поэтому в работах Юнга нет чёткой классификации архетипов, приведены несколько из них: архетип Великой Матери, архетип Божественного Ребенка, архетип Предвечной Девы, архетип Мудрого Старца/Духа, архетип Трикстера, архетипы Анимы/Анимуса, архетип Самости, архетип Тени и т.д., – описанные на материалах мифов и сказок народов мира.

В современной культурологии под культурными архетипами понимают предельные основания культуры, наиболее устойчивые, базовые ее первоэлементы, «содержательные схемы» [5. С. 233], «глубинные культурные установки коллективного бессознательного, с величайшим трудом поддающиеся изменению» [6. С. 393]. Культурные архетипы – «базисные элементы культуры, формирующие константные модели духовной жизни» [7. С. 54–55], – имеют национальную специфику, «в каждой национальной культуре доминируют свои этнокультурные архетипы, существенным образом определяющие особенности мировоззрения, характера, художественного творчества и исторической судьбы народа» [8. С. 128]. Термин «культурный архетип» был введён и раскрыт в работах С.С. Аверинцева [8], Г.В. Драча [9] и П.С. Гуревича [10].

В различных источниках описываются мифологические архетипы кражи огня, двойников, мирового дерева, земли, воздуха, огня, воды, идея бессмертия [11. С. 55]. В диссертационном исследовании «Психосемантика обобщенных категорий в межкультурном взаимодействии» Е.Ю. Зарубко среди базовых архетипов называются Нападение, Помощь, Исцеление, Убежище, Искушение [12].

Таким образом, среди разнообразных архетипов можно выделить архетипы-образы и архетипы-сюжеты (ситуации). На наш взгляд, все названные архетипы описывают одни и те же феномены, поскольку архетип-образ все-

гда включён в ситуацию или ситуативный комплекс. Сам Юнг писал, что «архетипов ровно столько, сколько есть типичных жизненных ситуаций» [3].

Ведущим архетипом мальчишества в Конго является воин, по другим классификациям – герой, помощь, убежище, Анимус, охотник. Показательно отношение к мальчику в сказке «Судика-Мбамби, молния восточного неба», где ребёнок, рождаясь, поёт:

Мама, слышишь, вот моя сабля,
Мама, слышишь, вот моё копьё,
Мама, слышишь, вот моя дубинка,
Мама, слышишь, вот росток моей жизни,
Мама, смотри, вот и я!

Герой этой сказки становится взрослым за 5 дней и на шестой идёт с отцом на охоту. Появляясь во всеоружии (как охотник, воин), ребёнок проходит жизненный этап до инициации за предельно короткий срок, осуществляя мечту родителей – встать на ноги и быть помощником семье.

Ведущими архетипическими сюжетами являются инициация мальчика – ряд испытаний, которые обычно заканчиваются получением новой социальной роли и женитьбой («Нва-Мубия, истребитель чудовищ», «Сикулума», «Кирику»), – соперничество братьев («Смерть Мвамбы», «Колдун и подмённые овощи»), наказание за нарушение запрета («Сикулума»), победа над соперником с помощью хитрости («Сын ветра»), обретение родителей («Подкидыш Музинга»). В сказках прослеживается неразрывная связь человека и природы, во многих из них фигурирует Дерево жизни – росток, который появляется на свет вместе с мальчиком и отражает его состояние: если герою ничего не угрожает, дерево цветёт; если же жизнь его в опасности, он увядает и гибнет вместе с героем («Судика-Мбамби, молния восточного неба») [13]. Отметим, что в мифологии и сказках как положительные качества называются хорошая интуиция, способность сочувствовать, сопереживать другому человеку. Житель Центральной Африки живёт в гармонии с природой, подчинён суточным и сезонным ритмам. Для носителя африканской культуры на первом месте стоят форма и цвет, звук и ритм, запах и прикосновение. Не случайно такое важное место в африканской культуре занимают танец и песня как способ слияния с универсумом. Исследователи африканской культуры (Л. Сенгор и др.) отмечают принципиальную разницу отношения европейцев и африканцев к миру: «Если европеец живет разумом, логикой, расчетом, анализом, потреблением, действием, плотским, земным, то африканец – ритмом, взаимодействием с природой, объектом, сопереживанием, ощущением, космическим, духовным; ему присущи стремление к единству человека и природы, психология “прожиточного минимума”, доминирование коллективизма над индивидуализмом, стремление к гармонии, кооперации» [5. С. 218].

Жители Конго являются типичными представителями африканского менталитета, в том числе и в гендерных вопросах. Родители радуются рождению мальчика, так как он продолжатель рода. Женщина, выходя замуж, берёт фамилию мужа, мужчина даёт свою фамилию жене и детям. Мальчик продолжает род или останавливает его.

С раннего детства у мальчиков формируют черты будущего мужчины: мальчик – защитник слабых (Ты должен защищать девочек!); стойкость и выносливость (Мужчины не плачут!); мужчины немногословны (Не болтай, как девчонка!); ориентация на военного как образец («Быстро принимай решение!»); умение выжить, независимость («Умей выжить в любой ситуации!»). В семье на мальчике лежит вся работа во дворе (подмести двор, осуществить мелкий ремонт, например крыши). Если в доме нет дочерей, функции помощника матери также выполняет сын (вытереть пыль, подмести и вымыть пол, вымыть посуду после обеда), но готовит исключительно мама. Сын также помогает женщинам семьи донести покупки из магазина.

Мальчик в Конго рано начинает взрослеть и помогать в семье, но, конечно, у него остаётся время на игры. Различия в игрушках становятся актуальными после трёх лет. Мальчику покупают машинки, бэтмана, супермена, фигурки военных или полицейских. И мальчикам, и девочкам покупают игрушки животных, но мальчикам дарят медведей, динозавров, обезьян, тигров, львов, жирафов, т.е. животных, которые представляют опасность, а девочкам – кошек, зайцев, бабочек, лебедя, кенгуру, т.е. тех, которые символизируют красоту, нежность, материнство, семейственность. Мальчики в Конго с удовольствием прыгают на скакалке и играют в «резиночки», в отличие от российских детей мужского пола. Среди мальчиков популярны игрушки, сделанные своими руками из медной проволоки, например плетённые человечки и машинки, велосипеды.

Из дворовых игр популярны «шарики» (Les Billes), похожие на такие игры, как «кости», игры «война», «полиция и бандиты» (8–15 лет). Эти игры оттачивают ловкость, чувство локтя, лидерские качества, наблюдательность, навыки ручного труда (мальчики сами делают оружие из деревяшек и подручного материала). Распространены петушиные и собачьи бои – азартная и жестокая забава, часто имеющая финансовый интерес.

Мальчик формируется не только в семье и в дворовых играх, но и целенаправленно – в детских садах и школах, т.е. в различных образовательных учреждениях. Система образования в Конго создавалась французами во время колонизации и сохраняется до настоящего момента. В возрасте 3–5 лет мальчик по желанию родителей может ходить в детский сад. Детские сады делятся на три типа: государственные, частные и частные для привилегированных детей. Государственные заведения смешанного типа (там учатся и мальчики, и девочки), а частные могут быть для детей одного пола. Распространены католические школы для мальчиков и для девочек. Только для мальчиков существуют военные и спортивные школы, в которые ребёнок поступает в среднем в 12 лет, но возраст варьируется от 10 до 13 лет.

Остановимся на детском военном образовании мальчиков в Конго как социальном институте, функционирующем на эксплуатации основных центральноафриканских архетипов мальчишества – «воин», «герой», «охотник».

Наиболее престижной является военная школа им. генерала Леклерка, которая расположена в столице Конго. Это учебное заведение заканчивали не только знаменитые конголезцы, такие как президенты Мариен Нгуаби, Жан Жак Иомби, но и ведущие политики и военачальники других стран – президенты Чада и Центральноафриканской Республики. Чтобы поступить в

военную школу, абитуриент должен иметь сертификат CEPE (Certificat d'étude primaire élémentaire) об окончании начальной школы и пройти вступительные испытания. В них входят экзамены по математике, французскому языку, истории и географии родной страны. Кроме того, абитуриент проходит развёрнутое медицинское обследование.

Преподают в военных школах в основном мужчины, в прошлом – военные. Это школы пансионного типа: мальчики могут покидать школу только по воскресеньям при условии соблюдения всех требований школы. Для вновь прибывших существует правило: 3 месяца нет связи с семьёй (запрещены посещения родственников, нельзя позвонить домой), кадет не может покидать территорию школы.

В классе обычно до 25 человек, мальчики сидят за длинными столами по 3–7 человек. Занятия продолжаются с 7:00 до 13:00. Урок длится 60 минут, дневная норма – до 6 уроков. Наряду с общеобразовательной программой мальчики занимаются стрельбой, строевой подготовкой, изучают тактику, топографию, медицинское обеспечение, связь, общевойсковые уставы. После обеда кадеты спят в течение часа, это называется сiestой. С 15:00 до 17:00 проходит самоподготовка (выполнение домашнего задания). Большое внимание уделяется физическому развитию мальчика. После подъёма в 4:30 проходит зарядка 40 минут. В неё включается бег – 1 км, гимнастика, отжимание, «челночный бег», прыжки в длину. После душа кадеты занимаются общественной работой (уборка казармы и прилегающей к ней территории).

Для военных школ характерна строгая дисциплина, по российским меркам даже излишне жесткая. Существует дисциплинарный взвод – старшенины, осуществляющие надзор за дисциплиной, журнал замечаний – своеобразный кондуит, в который попадают фамилии кадетов, не соблюдающих требования устава к внешнему виду (грязная обувь, форма, нестриженные волосы или ногти), самовольно оставивших часть, пользовавшихся телефоном. В первую субботу месяца на построении осуществляются «показательные» наказания за пользование электронными устройствами. Замеченный в этом проступке кадет получает свой телефон или планшет и обязан разбить его перед строем молотком.

В систему наказаний входят: выговор, строгий выговор, лишение увольнения, наряд вне очереди, наряд в выходной день, гауптвахта (la maison sans famille – дом без семьи), отчисление из школы.

За мелкие проступки или оплошности наказание следует незамедлительно. Часто это пощёчина или какое-либо физическое испытание. Например, если мальчик не укладывается в отведённое время обеда (15 минут), его ожидают различные физические испытания (запрыгивать на лавку, заползть под неё, оббегать какие-либо объекты и т.д.). Если учащиеся разговаривают во время занятия, их ждёт «крокодил»: мальчик должен упереться ногами в стену и встать руками на пол. В таком положении нужно находиться до 15 минут. Отметим, что обид на такие наказания не возникает, они считаются справедливыми и эффективными. Самое неприятное наказание – это гауптвахта («тюрьма»). Туда попадают за грубость по отношению к преподавателю. Преподаватели и офицеры-воспитатели обладают непререкаемым авторитетом. Критика в их адрес (даже справедливая) наказуема, главное

качество, воспитываемое в кадетах, – беспрекословное повиновение. Жизнь на гауптвахте проходит под девизом: «Тюрьма – это не место отдыха». Гауптвахта длится 4–8 дней, проходит в комнате 2×3 метра, где может находиться до 25(!) человек. Окон нет, вместо них маленькие отверстия под толком для вентиляции. В туалет выводят по расписанию, место для сна – деревянный помост, занимающий половину комнаты.

Военная система предусматривает и поощрения: благодарность (выносятся за достижения в учёбе, за проявленные человеческие качества, например помощь другу), увольнение до утра, грамоты, ценные призы (канцелярские принадлежности, компьютер, машина и даже поездка во Францию), присвоение внеочередного звания (младший сержант, сержант).

В целом жизнь в военной школе требует огромной физической и психологической выносливости. Прочитируем отрывок из воспоминаний кадета школы им. генерала Леклерка о марш-бросках:



Рис. 3

«В военной школе в Конго бывали хорошие и трудные моменты. Могут сказать, что трудных было больше. Для меня самым сложным было, когда

мы ходили на поле. Все были грустные. 15 кг на спине плюс автомат – 20 кг. Поле было очень далеко, 25–40 км от города. А лучший момент, когда обратно с поля. Мы пели песни, помогали друзьям, которые устали. Это было очень красиво. Красота Армии...» (рис. 3).

Несмотря на спартанский быт кадетов, военное образование очень и очень востребовано. Это единственное образование, которое полностью оплачивает государство. Обучаясь в военной школе с 12 лет, ребёнок получает стипендию. Родители мечтают, чтобы дети учились в военной школе, особенно в Браззавиле, так как там получает образование будущая элита общества, там закладывается дружба на всю жизнь. *«7 лет я был без родителей, но там (в военной школе) я нашёл друзей. Моей семьёй стали мои друзья, которые работали вместе, плакали вместе, радовались вместе и пришли к финишу вместе».*

По достижении кадетом 19 лет и сдачи государственного экзамена l'examen de bac (в последнем классе военной школы) подписывается военный контракт. В общих чертах дипломы бакалавра (БАК) соответствуют российским профилям старшей школы:

ВАС D scientifique (la biologie + les math + la physique);

Профиль D – естественнонаучный (биология + математика + физика);

ВАС C scientifique (les math + la biologie + la physique);

Профиль C – естественнонаучный (математика + биология + физика);

ВАС A humanitaire (le français + la littérature).

Профиль А – гуманитарный (французский язык + литература).

Профили D и C содержат одинаковые дисциплины, но осваиваются они в разных пропорциях – с упором на биологию или на математику.

Кроме экзамена на степень бакалавра кадет сдаёт письменный военный экзамен и экзамен на выживание. На месяц его с группой забрасывают в лес. Это своеобразная профессиональная инициация. Группа должна доказать, что может выжить в условиях дикой природы, соседствуя с опасными животными (змеи, гиены, носороги и др.). Кадеты сдают экзамены по 17 военным предметам, включая тактику, топографию, боевую подготовку и др. Доказавший свою состоятельность получает диплом. Остальные остаются на второй год.

После подписания контракта государство начинает платить заработную плату и строит военному жильё. В Конго отсутствует служба по призыву. Как это объясняют сами военные, их армия достаточно профессиональна, чтобы отразить внешнюю агрессию и разрешить внутренние конфликты.

Военный – профессия, которая пользуется в Конго огромным уважением, военный в семье повышает её статус. Это связано с тем, что основными функциями мужчины в семье являются обеспечивающая и защитная функции. Последняя заключается в том, что все контакты семьи с внешним миром осуществляются через хозяина. Так, газовая служба, полиция, различные социальные работники спрашивают, дома ли старший мужчина дома (старейшина). В случае его отсутствия «дело» переносится на время, когда он будет дома. Таким образом, военный в семье – это её гордость и стабильность в настоящем и будущем, та самая «каменная стена», за которой спокойнее в нестабильном мире.

Сравнивая системы военного воспитания в Конго и России, отметим, что:

- основным архетипом мальчишества в Конго является «воин», что диктуется историческими корнями и современной политической обстановкой;
- существует негласное правило: «Только военный – настоящий мужчина, который может защитить Родину и семью, любимую женщину»;
- общество финансово и морально поощряет стремление мальчика получить военную профессию;
- система детского военного образования создана исключительно для мальчиков, содержит элементы спартанского воспитания (акцент на физическом развитии; наказания).

И в заключение личное наблюдение российских соавторов данной статьи: граница между детством и взрослостью для мальчика в Конго очень призрачна и иногда стоит ему жизни. Подросток считается недостаточно гибким, чтобы перейти из одного противоборствующего клана в другой и в локальных конфликтах попадает под расстрел.

Литература

1. *Анализ локальных конфликтов в Африке* [Электронный ресурс]: журнал «География», «Африка – континент конфликтов», В.П. Максаковский. URL: <http://geo.1september.ru/article.php?id=200304109> (дата обращения: 1.10.2016)
2. *История гражданских войн и конфликтов на Африканском континенте* [Электронный ресурс]: не ходите в Африку гулять URL: <https://fs00.infourok.ru/images/doc/103/121735/img2.jpg> (дата обращения: 1.10.2016)
3. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное: сборник / пер. с англ. А.А. Алексеева. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 76.
4. *Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений*. Ростов н/Д: Феникс, 1995. 576 с.
5. *Культурология: Учебное пособие* / под ред. проф. Г.В. Драча. М.: Альфа-М, 2003. 432 с.
6. *Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений*. Ростов н/Д: Феникс, 1995. 576 с.
7. Колчанова Е.А. «Архетип» как категория философии культуры: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Тюмень, 2006.
8. Аверинцев С.С. Архетипы // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980. 780 с.
9. Драч Г.В., Штомпель О.М. Культурология. СПб.: Питер, 2011. 384 с.
10. Гуревич П.С. Культура как объект социально-философского анализа // Вопросы философии. 1984. № 5. С. 45–96.
11. *Культурология: XX век: Словарь*. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 54–54.
12. Зарубко Е. Ю. Психосемантика обобщенных категорий в межсубъектном взаимодействии: автор. дис. ... канд. психол. наук. Тюмень, 2010. 22 с.
13. *Сын ветра: Сказки Центральной и Южной Африки* / пер. с англ., фр. и др. яз.; сост. и вступительная статья В. Бейлиса. М.: Художественная литература, 1989. 367 с.

Bestsennaya Victoriya V. Omsk Tank Automotive Engineering Institute (Omsk, Russian Federation)

E-mail: vikvl@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/24

Fedyeva Elena V. Omsk Tank Automotive Engineering Institute (Omsk, Russian Federation)

E-mail: suluguni@inbox.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/24

Mpassi G. Omsk Tank Automotive Engineering Institute (Omsk, Russian Federation)

E-mail: vikvl@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/24

UNDER THE SIGN OF WAR, OR A LOOK AT THE CULTURAL ARCHETYPES OF BOYHOOD IN CENTRAL AFRICA (THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF THE CONGO)**Key words:** boyhood, archetypes, archetypes-images and archetypes-themes of Central Africa, children's military education.

The basic archetype of boyhood in Kongo is "warrior", which has been predetermined by the historical background, modern political situation and at the same time by the significant disbalance of population with the number of women being notably larger, which intensifies typical manifestations of the archetype in the range of requirements for every individual male. This gender preponderance was caused by permanent local conflicts, the last of which was the war of 1997-1997. Like in any militarized society, among the leading archetypes of boyhood in Kongo we can distinguish "warrior", "hero", "hunter", which is reflected in fairy tales and myths of Central Africa, such as the story of a boy born with weapons in his hands and singing a battle song. Since early childhood the traits of a future man are formed in Kongolese boys: perseverance and endurance, survival skills, independence, reticence and a military role model in mind. The boys normally take part in militarized games with distributed roles (soldier, scout, field engineer), in law enforcement games where they are police officers or gangsters and other team games where they use handmade weapons. In a protracted military conflict, state-commissioned preparation of a "universal soldier" begins in the system of children's military education. Boys at the age of 12 enter General Leclerc School (Brazzaville) after passing through a severe competition with 1000 candidates for each place. There they study until they turn 18 and get a degree in science or arts. At the end of their education they are expected to take a most difficult complex examination for survival in the conditions of military training in the wild. The society encourages the ambition of boys to get a military profession. When in a military school the boys are on full pay and receive a scholarship. The best students receive valuable gifts, including cars and tours to France. An officer in the family means stability in the present and future, protection and a higher social status.

References

1. Maksakovsky, V.P. (n.d.) *Analiz lokal'nykh konfliktov v Afrike* [Analysis of local conflicts in Africa]. [Online] Available from: <http://geo.1september.ru/article.php?id=200304109>. (Accessed: 1st October 2016)
2. Infourok.ru. (n.d.) *Istoriya grazhdanskikh voyn i konfliktov na Afrikanskom kontinente* [History of civil wars and conflicts on the African continent]. [Online] Available from: <https://fs00.infourok.ru/images/doc/103/121735/img2.jpg>. (Accessed: 1st October 2016)
3. Jung, K.G. (1997) *Soznanie i bessoznatel'noe* [Consciousness and Unconscious Mind]. Translated from English by A.A. Alekseev. St. Petersburg: Universitetskaya kniga.
4. Drach, G.V. (ed.) (1995a) *Kul'turologiya* [Culturology]. Rostov on Don: Feniks.
5. Drach, G.V. (ed.) (2003) *Kul'turologiya* [Culturology]. Moscow: Al'fa-M.
6. Drach, G.V. (ed.) (1995b) *Kul'turologiya* [Culturology]. Rostov on Don: Feniks.
7. Kolchanova, E.A. (2006) "Arkhetip" kak kategoriya filosofii kul'tury ["Archetype" as a category of the philosophy of culture]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Tyumen.
8. Averintsev, S.S. (1980) Arkhetipy [Archetypes]. In: Tokarev, S.A. (ed.) *Mify narodov mira* [Myths of the peoples of the world]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1980. 780 s.
9. Drach, G.V. & Shtompel, O.M. (2011) *Kul'turologiya* [Culturology]. St. Petersburg: Piter.
10. Gurevich, P.S. (1984) *Kultura kak ob'ekt sotsial'no-filosofskogo analiza* [Culture as an object of social and philosophical analysis]. *Voprosy filosofii*. 5. pp. 45–96.
11. Levit, S.Ya. (1997) *Kul'turologiya: XX vek: Slovar'* [Culturology: The 20th Century: A Dictionary]. St. Petersburg: Universitetskaya kniga. pp. 54–54.
12. Zarubko, E. Yu. (2010) *Psikhoosemantika obobshchennykh kategoriy v mezhsob'ektnom vzaimodeystvii* [Psychosemantics of generalized categories in intersubject interaction]. Abstract of Psychology Cand. Diss. Tyumen.
13. Beylis, V. (ed.) (1989) *Syn vetra: Skazki Tsentral'noy i Yuzhnoy Afriki* [Son of the Wind: Tales of Central and South Africa]. Translated from English, French and other languages. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 130.2 + 37.0

DOI: 10.17223/1998863X/38/25

Р.А. Быков, Е.Ю. Быкова

УЧИТЕЛЯ И ДЕТИ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Анализируются проблемы формирования коммуникативного пространства в современной российской школе, при отсутствии которого невозможно достижение взаимопонимания, признания и доверия, являющихся наиболее важными условиями продуктивного и гармоничного развития школьников. Показано, что отсутствие доверительных, личностных отношений между учеником и учителем ведет к рассеиванию личности, «слабой» идентичности, в том числе и гендерной.

Ключевые слова: коммуникативное пространство, маскулинность, образовательный процесс, социализация.

Проблемы школьного образования не теряют своей актуальности вот уже несколько десятилетий. Различные исследователи в России и за рубежом часто уделяют внимание необходимости формирования адекватного коммуникативного пространства в процессе школьного обучения. Как правило, больше всего трудностей у учителей возникает при общении с мальчиками, которые, по сравнению с девочками, не чувствуют однозначной потребности в реализации классических школьных задач – получении хороших оценок, знаний, соответствии школьным шаблонам и одобряемым моделям поведения. Данные процессы можно увидеть на примере формирования маскулинности.

В обсуждении проблемы мальчиков и образования интересны споры о маскулинности как таковой, а также предложения по преобразованию маскулинности среди современных мужчин. В научном пространстве сформировались два полярных подхода к маскулинности. Согласно первому подходу, которого, например, придерживаются американский исследователь С. Forsey [1] и австралийский социолог Р. Коннелл [2], маскулинность понимается как нечто рациональное, холодное, черствое, соревнующееся, агрессивное и индивидуалистичное, в противоположность фемининности, которую описывают как эмоциональную, теплую, склонную к кооперации и общинности.

Такая дихотомическая модель была полезна для выявления доминирующих форм гендерной идентичности, но на практике, при описании реальных форм маскулинной идентичности, оказывается бесполезной. Например, человек может быть одновременно и рациональным, и склонным к кооперации, или эмоциональным и индивидуалистичным. Более того, на практике бывают ситуации, при которых лучше быть индивидуалистичным или, наоборот, вовлеченным в процессы кооперации. Таким образом, в современном постиндустриальном обществе, в эпоху разнообразия, многовариантности и всевозможных различий, простая дихотомическая модель не работает. По сути, данный подход рассматривает маскулинность как патологию, а столь

негативный тон в работе с мальчиками вряд ли принесет пользу и найдет положительный отклик в их рядах.

Альтернативный подход предлагает сфокусировать внимание на позитивных элементах идеальной маскулинности. Например, применение силы может быть интерпретировано в негативном ключе, если понимается только в терминах физической агрессии, демонстрации чьей-то силы перед лицом чьей-то слабости. Независимость можно интерпретировать как сопротивление подчинению или же формирование своей точки зрения. В отличие от предыдущего подхода здесь маскулинность видится как потенциально добродетельная, но испорченная в некоторых ее проявлениях. Е. Jordan [3. С. 81] предлагает определять маскулинность таким образом, чтобы насилие и агрессия воспринимались как слабость и трусость, а идея настоящей маскулинности понималась в терминах самоконтроля и моральной смелости. Однако, как отмечает австралийский исследователь Р. Гилберт [4. С. 36], такое отношение к позитивной маскулинности представляется очень полезным и желаемым как для мужчин, так и для женщин. Таким образом, данный подход к поведению не ассоциируется только с маскулинностью.

Мы придерживаемся взгляда, согласно которому маскулинность формируется в процессе самопрезентации, связанной с поиском себя, своей идентичности, что особенно важно в постиндустриальном обществе, она не является результатом искусственных стереотипов или, наоборот, тотально хаотичных и размытых представлений о гендере и его ролях.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: как создать условия, в которых мальчики смогут реализовать поиск собственной идентичности? Они, конечно же, будут опираться на уже существующие, но не перегруженные стереотипами представления о ролях, что необходимо для того, чтобы последствия плюрального и релятивного мышления современности не способствовали усилению ценностной дезориентации, апатии, рассеиванию личности и т.д. При этом атмосфера социализации основных агентов не должна тотально детерминировать их выбор, а самопрезентация мальчиков мешать учебному процессу. В процессе изучения данного вопроса сформировалось устойчивое представление о значимости формирования коммуникативного пространства, в котором все участники процесса, образовательного или иного, стремятся достичь согласия и взаимопонимания, а не просто «отыграть» формальные роли, поскольку социализация должна проходить качественно. Но в современной российской школе есть целый ряд проблем, мешающих формированию коммуникативного пространства:

Во-первых, это низкий престиж учителей, с точки зрения школьников и их родителей. В последние несколько лет на фоне экономического кризиса в нашем обществе продолжает ухудшаться отношение к профессии учителя. В 2016 г. по результатам проведенного ВЦИОМ социологического опроса граждан [5] было выявлено, что престижность педагогической профессии снизилась до уровня 2008 г., что связано, в первую очередь, с материальным аспектом существования учителей: по-прежнему, уровень доходов не позволяет считать труд учителя достойно оплачиваемым, а профессию престижной. Только 21 % россиян считают учительскую профессию престижной, 37 % склонны думать, что эта профессия однозначно не престижна. Более критичны

респонденты стали и в оценке качества работы учителей: 34 % опрошенных оценивают ее выше среднего, 41 % – удовлетворительно. 62 % респондентов, имеющих детей и внуков школьного возраста, довольны их преподавателями. Только 14 % считают, что большинство школьных учителей сегодня не справляются со своими обязанностями. Несоответствие профессиональным требованиям чаще всего связывают с низким уровнем зарплат (29 %), большой нагрузкой (12 %), а также отсутствием необходимой квалификации, опыта (10 %) и личной незаинтересованностью в работе (11 %). Кроме того, более половины (52 %) респондентов считают, что их учили лучше, чем сейчас [5]. Следовательно, преобладает тенденция, что тех, кто считает современных учителей более профессиональными, становится меньше.

Во-вторых, возрастание нагрузки и административного давления на педагогов (постоянные нововведения, «бумажная волокита», расширение обязанностей и т.д.) не может не сказаться на качестве преподавания и отношении учителей к своей профессии. Возрастание социального давления на учителей в современном обществе провоцирует такие негативные эффекты, как ухудшение у педагогов психосоциального самочувствия, качества преподавания, формирования негативного отношения к ученикам, и в итоге – уход из профессии [6. С. 79].

В-третьих, коммуникативное пространство характеризуется наличием тенденции к взаимному перекладыванию ответственности по воспитанию подрастающего поколения (родители считают, что это обязанность учителей, и наоборот). Данная ситуация часто является причиной конфликтов между педагогами и родителями, которые не хотят воспитывать детей вместе и сообща.

В-четвертых, можно отметить, что школьники (в основном мальчики) склонны к проявлению равнодушия к будущему школы и проводимым там мероприятиям, а зачастую – и к учебе вообще. Например, исследование вовлеченности основных стейкхолдеров в образовательный процесс, проведенное авторами в общеобразовательных школах Зырянского района Томской области в 2014 г., показало, что мальчики в 3 раза чаще, чем девочки, признавались, что им безразлично будущее школы, в которой они учатся, и мероприятия, которые там проводятся (26 против 9 %).

В-пятых, мальчики характеризуются более инструментальным отношением к процессу обучения. У школьников Зырянского района главные мотивы к хорошей учебе распределились следующим образом:

Таблица 1. Мотивы к улучшению учебной деятельности школьников Зырянского района

Что или кто, по Вашему мнению, подталкивает Вас учиться лучше?	Мальчики	Девочки
1. Деньги, которые я заработаю в будущем	19	8
2. Родители	55	54
3. Школьные учителя	20	13
4. Чувство долга	14	10
5. Желание улучшить свои оценки	15	30
6. Желание получать знания	35	60
7. Положительный пример знакомых	7	4
8. Другое	1	3

Как видно из табл. 1, для мальчиков почти в 2 раза более значимо влияние школьных учителей, а также деньги, которые они могут заработать

в будущем. При этом желание получать знания и улучшить свои оценки проявлено у них в 2 раза меньше, чем у девочек.

Наконец, самыми важными характеристиками коммуникативного пространства, отчасти вытекающими из вышеперечисленных, нам видятся следующие: *распространенность состояния социальной апатии среди педагогов*, а также *преобладание у учителей негативных стереотипов в отношении школьников*. О социальной апатии педагогов можно судить по таким косвенным признакам, как распространенность среди российских учителей пассивности, безынициативности, безразличия, отсутствие самокритичности, низкая мотивированность на образовательные результаты, тенденция к отчужденности от культуры, утрата интереса к своему делу и др. [7. С. 89]. Феномен социальной апатии можно считать фундаментальной характеристикой современного общества. Применительно к учителям данное состояние усиливается вследствие некоторых институциональных и социально-психологических особенностей профессии, при которых социальная апатия, пассивность и безразличие становятся своеобразными формами адаптации педагогов к сложному психосоциальному контексту их работы.

Различные исследования показали, что российские учителя имеют достаточно стереотипизированное представление о школьниках, причем, как правило, негативное. Л.А. Осьмук и соавторы приводят данные, согласно которым учителя описывают современного ученика следующим образом: в отношении паттернов поведения – «раскрепощенные, без комплексов, непоседливые, расторможенные, слишком сексуальны, невнимательны, быстро утомляются, слишком свободны»; в отношении воспитания – «некоторые плохо воспитаны, долго находятся под опекой, вседозволенность, избалованность, завышенные амбиции, индивидуализм, низкий уровень культуры, низкий уровень толерантности, иждивенцы, неухожены, циничны, безнравственны, вседозволенность, наглость»; относительно личностных качеств – «эгоистичны, прагматики, жестокость, уверенность в завтрашнем дне и в себе, расчетливы, более агрессивны, инициативны, мобильны, прямолинейны» [8. Т. 1. С. 98]. Г.С. Абрамова также отмечает наличие у учителей негативных установок в отношении школьников: например, на вопрос анкеты «Современные подростки – это...» 25% учителей с 10-летним стажем дали подросткам отрицательные характеристики – «потребители», «лодыри и верхогляды», «современные барчуки» и т.п. [9. С. 97]

Как видно из приведенных высказываний, большинство характеристик, которыми учителя наделяют учеников, имеют негативный характер: педагоги осуждают их интересы, излишнюю осведомленность, отсутствие мотивации к учебе. Возникает следующее противоречие: почти все учителя говорят о своем желании общаться с детьми, но при этом в отношении школьников у них сформирован устойчивый негативный стереотип. Кроме того, современные ученики отличаются даже от школьников 1990-х гг., большинству учителей при этом сложно воспринять подобные перемены. Они продолжают ориентироваться на прежний тип молодых людей, что разрушает условия эффективной коммуникации в современной системе образования и создает дополнительные предпосылки к усилению негативных стереотипов в отношении учеников.

Подобное отношение к ученикам в повседневности объективирует в сознании учителей идею о том, что их действительно важная профессия на самом деле достаточно проблемна и имеет имманентные недостатки. Включаются механизмы конструирования, при которых учителя определяют свою профессию как «нехорошую», и последствия такого мышления становятся реальными и негативными для всего образовательного процесса. Например, педагоги зырянских школ Томской области среди перечисленных недостатков профессии вторым по значимости считают «необучаемых детей» (35%), что говорит об отсутствии у трети учителей осознанного представления об истинных целях работы педагога (то же самое, как если бы врачи жаловались на невыздоровливающих пациентов).

Таблица 2. Оценка учителями Зырянского района недостатков своей профессии

Как Вы считаете, что является основными недостатками Вашей работы?	%
1. Необучаемые дети	35
2. Низкая зарплата	32
3. Высокая нагрузка	15
4. Отсутствие дисциплинированности детей	22
5. «Бумажная волокита»	62
6. Нововведения в области обязательной аттестации педагогических работников	9
7. Другое	5

На основе приведенных характеристик можно сделать вывод об отсутствии в современной российской школе здорового коммуникативного пространства, вместо которого распространено достаточно безразличное и зачастую негативное отношение основных стейкхолдеров друг к другу и к самому процессу обучения. Соответственно, для улучшения данной ситуации необходимо формирование коммуникативного пространства на основе здоровых отношений, в котором учителя и дети направлены на достижение согласия, взаимопонимания, в котором они могут услышать друг друга, мотивировать, что, в свою очередь, может помочь мальчикам в личностном самоопределении на гендерном уровне.

Изменения должны касаться всех стейкхолдеров образовательного процесса, так как изменения в школе какого-то одного субъекта не решат проблем. Предположительно на практике это должно быть представлено следующим образом. Учителя и дети должны слушать и слышать друг друга, «подружиться», найти в себе силы (несмотря на высокую нагрузку) для проведения встреч, не связанных напрямую с инструментальными образовательными задачами. Возможна работа с рефлексивными эссе школьников, проведение беседы вместо уроков и классных часов, семинаров по мотивации и т.д. Учителя должны глубоко понять, с кем они взаимодействуют, какова специфика поколения современных учеников. Для того, чтобы дети изменили свое отношение к учебе, необходимо активное участие родителей как первичных агентов социализации. Школьники действительно должны научиться слушать учителей, задавать вопросы, обсуждать то, что им действительно интересно. Вполне очевидно, что в начальной школе у детей присутствует интерес к учебе, так что же происходит в среднем звене? Для родителей в некоторых школах проводятся встречи, практикумы, семинары,

но, безусловно, есть необходимость в усилении данных тенденций. Только в здоровой среде, где все участники образовательного процесса стремятся понять друг друга, не навязывают стереотипизированное восприятие тех или иных взглядов, возможно появление творческих и активных начал, свободная самопрезентация, независимый поиск идентичности, особенно в сфере такой значимой характеристики, как гендер.

Относительно формирования гендерной идентичности Р. Гилберт предлагает в процессе социализации показывать мальчикам, как их жизнь строится из различных видов маскулинности [4. С. 39]. Некоторые из них, возможно, испытывают недостаток в отношениях со сверстниками и хотят большей эмоциональной близости, другие – участвовать в более широком круге деятельности без опасности быть прозванным «слабаком». Третьи, возможно, просто хотят более мирной атмосферы дома или в школе. Цель такого общения – показать мальчикам, что доминирующая маскулинность может навредить их общению с другими, включая девочек, женщин, учителей и других мальчиков. Так, им надо объяснить, что есть маскулинность, которую необходимо сдерживать и изменять ее направление (например, у кого-то есть опыт насилия в семье, жестокости отца, буллинга и т.д.). Вместе с этим необходимо осознать позитивные стороны традиционной маскулинности. Очень важно очистить доминирующий образ маскулинности от крайне негативных проявлений, но это нужно делать, давая альтернативное видение того, что значит быть мужчиной/мальчиком и предоставляя наставничество и руководство со стороны всех участников образовательного процесса.

Обращаясь к идеям таких ученых, как Ю. Хабермас, Э. Тоффлер, Д. Белл, З. Бауман, Жан Бодрийяр, Ж. Липовецки, становится понятно, что современный дезориентированный человек, живущий в изменчивом мире, с размытой или кратковременной идентичностью нуждается в некоторой стабильности, а если ее нет, ему необходимо доверительное пространство, в котором он сможет найти себя, проявить, в данном контексте, свою маскулинность. В противном случае есть вероятность формирования онтологически неуверенных личностей (при всей спорности данного термина) или скорее расщепленных, рассеянных личностей, которые не чувствуют свою целостность, смотрят на себя со стороны, как «в кино», не влияют активно на свою жизнь или считают, что не могут влиять. Эта проблема, скорее всего, будет касаться мальчиков, которые не могут формально следовать школьным стандартам, иметь выраженную, самостоятельно выработанную гендерную идентичность.

Таким образом, на маскулинность предлагается смотреть как на процесс, когда мальчики постоянно самопрезентируются в отношении к миру через набор поведений, стилей и форм выражения, наиболее подходящих им и более соответствующих контексту. В связи с этим основная задача для школ в рамках формирования коммуникативного пространства – сделать доступными разнообразие образовательных и социальных позиций и практик, возможность приобретения позитивного опыта того, как «быть мужчиной», и получения различных форм поощрения через имеющихся наставников.

Литература

1. *Forsey C. Hands Off!: The Anti-violence Guide to Developing Positive Relationships.* 1994. 119 p.
2. *Коннелл Р.* Структура гендерных отношений / пер. с англ. Т. Барчуновой // *Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics.* Cambridge, 1987. P. 91–119.
3. *Jordan E.* Fighting boys and fantasy play: the construction of masculinity in the early years of school // *Gender and Education.* 1995. Vol. 7, № 1. P. 69–86.
4. *Gilbert R. et al.* Masculinity crises and the education of boys // *Change.* Sydney, 1998. Vol. 1, № 2. P. 31–40.
5. *Профессия «учитель»:* вчера и сегодня // Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://wciom.ru/> (дата обращения: 19.05.17)
6. *Быкова Е.Ю.* Трансформация социальных ожиданий в отношении учителей: кросскультурный анализ // *Социальные явления.* 2015. № 3. С. 74–82.
7. *Быкова Е.Ю.* Специфика социальной апатии учителей // *Вестн. Том. гос. ун-та.* 2015. № 394. С. 84–91.
8. *Осьмух Л.А., Сафронова М.В., Захир Ю.С.* Психосоциальное благополучие и профессиональная деятельность российских учителей // *Идеи и идеалы.* 2013. Т. 1, № 3(17). С. 91–104.
9. *Абрамова Г.С.* Некоторые особенности педагогического общения с подростками // *Вопросы психологии.* 1988. № 2. С. 96–99.
10. *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.М. Беляева и др. М.: Весь мир, 2003. 192 с.
11. *Тоддлер Э.* Раса, власть и культура. М.: Транзиткнига, 2005. 412 с.
12. *Бауман З.* Признаки постмодерна. М.: Логос, 2002. 185 с.
13. *Липовецки Ж.* Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма / пер. с англ. В.В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2001. 336 с.

Bykov Roman A. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: nimai@sibmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/25

Bykova Elena Y. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: nimai.bykov@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/25

TEACHERS AND CHILDREN: THE FORMATION OF COMMUNICATIVE SPACE

Key words: communicative space, masculinity, educational process, socialization

This article discusses the main problems of communicative space formation in the modern Russian school, in the absence of what it is impossible to achieve understanding, recognition and trust - the most important conditions for productive and harmonious development of students. The results of many studies demonstrate that in the educational environment there is a spread of indifference, lack of initiative, lack of self-criticism and personal interest in high educational results, tendency to alienation from the traditional values of the school environment, loss of interest in his work. Despite of stated government priority role of the education system, in the modern school the quality of education continues to fall, what inevitably leads to a further decline in the prestige of the teacher profession, growing discontent of parents and society. The article highlights the main problems hindering the formation of communicative space: the low prestige of teachers from the perspective of students and their parents, the increase of workload and the administrative pressure on teachers, trends of mutual shifting of responsibility for the upbringing work of the younger generation (parents believe that it is the duty of teachers, and vice versa), apathy and indifference to the school activities and any practices, instrumental attitude towards the teaching process, the prevalence of social apathy among teachers, as well as the predominance among teachers the negative stereotypes of students. The article shows that the absence of a trusting, personal relationship between student and teacher leads to an increase in the number of ontologically insecure, scattered individuals, with weak gender or another identity. To a greater extent this applies to boys/men who think about the process of education increasingly instrumental than girls, and are in the educational process where there is implicit or explicit feminization. The paper shows possible ways of practical actions aimed at the formation of communicative space in the school, the approaches to masculinity, which as an example illustrates the relevance of the «consent discourse».

References

1. Forsey, C. (1994) *Hands Off!: The Anti-Violence Guide to Developing Positive Relationships*. West Education Centre
2. Connell, R. (1987) *Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge: Stanford University Press. pp. 91–119.
3. Jordan, E. (1995) Fighting boys and fantasy play: the construction of masculinity in the early years of school. *Gender and Education*. 7(1). pp. 69–86. DOI: 10.1080/713668458
4. Gilbert, R. et al. (1998) Masculinity crises and the education of boys. *Change*. 1(2). pp. 31–40.
5. Russian Public Opinion Research Centre. (n.d.) *Professiya "uchitel'": vchera i segodnya* [The profession of the teacher: Yesterday and today]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115829>. (Accessed: 19th May 2017)
6. Bykova, E.Yu. (2015) Transformatsiya sotsial'nykh ozhidaniy v otnoshenii uchiteley: krosskul'turnyy analiz [Transformation of social expectations for teachers: Cross-cultural analysis]. *Sotsial'nye yavleniya – Social Phenomena*. 3. pp. 74–82.
7. Bykova, E.Yu. (2015) The specific of teachers' social apathy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 394. pp. 84–91. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/394/14
8. Osmuk, L.A., Safronova, M.V. & Zakhir, Yu.S. (2013) Psychosocial well-being and professional occupation of Russian teachers. *Idei i idealy – Ideas and Ideals*. 3(17). pp. 91–104. (In Russian).
9. Abramova, G.S. (1988) Nekotorye osobennosti pedagogicheskogo obshcheniya s podrostkami [Some features of pedagogical communication with adolescents]. *Voprosy psikhologii*. 2. pp. 96–99.
10. Habermas, Yu. (2003) *Filosofskiy diskurs o moderne* [Philosophical Discourse on Modernity]. Translated from German by M.M. Belyaev et al. Moscow: Ves' mir.
11. Toffler, E. (2005) *Rasa, vlast' i kul'tura* [Race, power and culture]. Translated from English by N.L. Polyukov. Moscow: Tranzitkniga.
12. Bauman, Z. (2002) *Priznaki postmoderna* [Signs of postmodernity]. Translated from German by V. Inozemtsev. Moscow: Logos.
13. Lipovetski, Zh. (2001) *Era pustoty. Ocherki sovremennogo individualizma* [The era of emptiness. Essays on modern individualism]. Translated from English by V.V. Kuznetsov. St. Petersburg: Vladimir Dal'.

УДК 111

DOI: 10.17223/1998863X/38/26

Е.С. Гизбрехт, Н.А. Тарабанов

ФОРМИРОВАНИЕ МАСКУЛИННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ АСИММЕТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСТВА

Обосновывается необходимость рассмотрения феномена «отсутствующего отца» не изолированно, а в качестве элемента бинарной оппозиции «отсутствующее отцовство vs. квазиматеринство». Делается вывод, что гендерные установки в организации родительства в целом – и отдельные элементы этой организации в частности – приводят к трудностям в формировании маскулинной идентичности.

Ключевые слова: маскулинность, асимметричная структура родительства, отсутствующий отец, квазиматеринство.

Теоретики *men`s studies* («мужеведение») обычно полагают, что, хотя маскулинная модель развития долгое время признавалась универсальной, она требует дополнительной рефлексии. В связи с этим набирает популярность «мальчишеведение» (*boyhood studies*): в разных культурах мальчики осмысляются как лица, сущностно определенные задачей формирования маскулинной идентичности. Актуальность изучения проблем мальчиков и мужчин обусловлена преобладанием физической агрессии, частотой совершенных суицидов и пр. В результате, особенности мальчиков и мужчин объясняются трудностями, возникающими в процессе обретения и подтверждения собственной идентичности. Проблематичность этих процессов, как правило, связывается с принуждением к реализации какого-либо одного варианта маскулинности вместо возможности выбора, зачастую репрессивным характером мальчишеской и мужской субкультур, а также требованиями реализации порой внутренне противоречивых идеалов маскулинности [1].

Некоторые из этих аспектов рассматриваются в качестве проявления внутрисемейной организации: властные, трудовые, эмоциональные и символические отношения, которые описаны в качестве элементов гендера, в своей взаимосвязи реализуются в семье [2]. Для мальчиков особенно значимым признается влияние отца. Однако установки на самореализацию в публичной сфере, соревновательность и эмоциональную сдержанность нередко препятствуют тесному контакту между отцом и сыном. Ситуация, при которой отец не имеет психологического или физического контакта со своими детьми вне зависимости от своего формального присутствия в семье, – феномен «отсутствующего отца» [3. С. 57]. В настоящей статье, вопреки сложившейся практике широкого употребления данного термина, вводится понятие «отсутствующее отцовство», которое фиксирует феномен «отсутствующего отца» в качестве не только внутрисемейной практики, но и социокультурного явления, имеющего нормативное измерение.

На наш взгляд, значимым достижением в философском осмыслении отсутствующего отцовства является признание данного явления в качестве

обусловленного (через опосредование гегемонной маскулинностью) философским дуализмом: бинарные оппозиции, будучи основой западной антропологии, закладывают дихотомию мужского и женского. Разум, духовность, сверхчувственность как презрение к чувственности, т.е. качества, соотносимые с мужчиной в оппозиционной структуре метафизики, формируют представления о роли эмоционально холодного отца, дистанцирующегося от ребенка (так можно охарактеризовать и традиционного отца, и «отсутствующего») [3].

Однако исследование отсутствующего отцовства вне связи с материнством и родительством может быть воспринято исследователями как исходящее из патриархатной метафизики. Кроме того, такая разработка проблемы уделяет внимание отсутствующему (отцовству), исключая наличное (материнство).

Противоположный одностороннему рассмотрению внутрисемейной организации подход был применен Нэнси Чодороу [4]. Исследовательница вводит понятие «асимметричная структура (организации) родительства». Этот термин фиксирует такое положение вещей, при котором нормативно определено, что первичным родителем является мать, вторичным – отец. Асимметричная структура родительства сама по себе не предполагает меньшую вовлеченность отцов в жизнь детей с необходимостью. Напротив, роль вторичного родителя значительна: это содействие ребенку в обретении независимости, в преодолении первичной идентификации с матерью; последнее особенно значимо в свете теории субъекции, предлагаемой Джудит Батлер, где первичная идентификация закладывает уязвимость к власти [5]. Причиной распространения «ставшего социальной нормой длительного отсутствия работающего отца» Н. Чодороу считает капитализм [4. С. 208]. Это одна из причин невозможности применения данного подхода без преобразования в настоящем анализе, тем более что отсутствующее отцовство широко распространяется с момента окончания Второй мировой войны [3]. Кроме того, понятие «отсутствующий отец» в работе Чодороу фактически не встречается, используются лишь описания схожих явлений: сосредоточенности мужчин на карьере в противовес семье, отцовству и пр. Также применяется достаточно специфичный метод, соединяющий в себе социологический и психоаналитический подходы; однако этот метод использован для рассмотрения проблемы воспроизводства преимущественно женского, но не мужского.

Научная новизна предлагаемого в статье подхода состоит в рассмотрении феномена отсутствующего отцовства в качестве элемента бинарной оппозиции для объяснения фиксируемых проблем мальчиков и мужчин. Описать искомую оппозицию можно как «недостаточное родительство» vs. «чрезмерное родительство», причем обе составляющие этой оппозиции необходимо рассматривать в качестве возможных социальных норм. «Чрезмерным родительством» можно назвать квазиматеринство – окказиональный термин, пришедший из научно-популярной литературы [6]. Это понятие обозначает устойчивую практику чрезмерной заботы женщины о лицах, не являющихся ее детьми.

Становление мальчика, формирование его маскулинности в контексте бинарной оппозиции «отсутствующее отцовство vs. квазиматеринство»

представляется иначе. Исполнение запрета на проявление «эмоций слабости», фиксируемые трудности мальчиков и мужчин в разрешении конфликтов мирным способом могут быть поняты не только в качестве проявления влияния маскулинной субкультуры, но и как следствие процесса формирования собственной идентичности. А именно: не имея доступа к ролевой модели отца, мальчик обращается к материнской – с тем, чтобы инвертировать ее. В качестве такой ролевой модели выступает квазиматеринство. Оно предполагает эмпатию, сотрудничество, эмоциональную теплоту. Эти установки мальчик инвертирует и претворяет контраридикторные материнским установки в жизнь. Получается, что из-за отсутствия первичного позитивного образца маскулинности мальчик вынужден определять мужское как противоположное женскому.

Таким образом, рассмотрение отсутствующего отцовства вне связи с квазиматеринством затрудняет объяснение ряда проблем мальчиков. Гегемония асимметричной структуры родительства является более вероятной причиной трудностей в формировании маскулинной идентичности и производных от них проблем мальчиков, нежели отсутствующее отцовство само по себе, рассмотренное вне его социальной роли.

Литература

1. Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М.: Время, 2009. 704 с.
2. Берд Ш. Теоретизуя маскулинности: современные тенденции в социальных науках // Наслаждение быть мужчиной: западные теории маскулинности и постсоветские практики. СПб., 2008. С. 7–37.
3. Хитрук Е.Б. Философские предпосылки формирования феномена «отсутствующий отец» в современной культуре // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368. С. 54–59.
4. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социология гендера / пер. с англ. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 496 с.
5. Butler J. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford: Stanford University Press. 1997. 218 p.
6. Здравомыслова Е., Темкина А. История и современность: гендерный порядок в России // Гендер для «чайников». М.: Звенья, 2006. С. 55–84.

Gizbrekht Evgeniya S. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: ev.gizbrekht@gmail.com.

DOI: 10.17223/1998863X/38/27

Tarabanov Nikolay A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: nikotar@mail.tsu.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/27

FORMATION OF MASCULINE IDENTITY IN THE CONTEXT OF THE ASYMMETRICAL STRUCTURE OF ORGANIZATION OF PARENTING

Key words: masculinity, asymmetrical structure of parenting, absent father, pseudo-mothering

According to Nancy Chodorow, boys-specific problems arise because of the asymmetrical structure of parenting. Manifestation of this structure is actively researched concept of the “absent father” which is used to describe not only incomplete families, but those where the self-actualization seeking male is poorly involved in relationship with his children. Researchers conclude that lack of contact between the man and the boy results in identity formation and some relationship establishing difficulties. In the philosophical literature “absent father” is formulated as a manifestation of well-known from the beginning of western culture dualism. Meanwhile, in corresponding contemporary sources position of the phenomenon of “absent father” itself is not found. The development of this problem has been started by N. Chodorow, although features of psychoanalytical discourse and perspective of

her work “The Reproduction of Mothering” in general made it impossible to use the researcher’s conclusions in a philosophical discussion. That justifies scientific novelty of the approach which is suggested in the present paper: consideration of statistically recorded problems of boys and males in the context of “absent fatherhood vs. pseudo-mothering” opposition. It can be described as lack of parenting vs. overparenting and both alternatives are persistent social norms and considered as such. Becoming of the boy, the formation of his masculinity in such context seems slightly different. Execution of ban on showing “emotions of weakness”, some recorded difficulties of boys and males in resolution of conflicts in a peaceful way may be understood not only as an effect of the influence of boys subculture but as a result of the identity formation process. More precisely, not having an access to the father’s role model, boy turns to the mother’s to invert it. As such role model, pseudo-mothering appears – the social norm of nearly maternal care of woman about persons other than her own children. Pseudo-mothering implies empathy, cooperation, emotional warmth. A boy inverts those attitudes (because of the absence of positive primary model of manliness he is forced to define masculine as opposite to feminine) and implements contradictory attitudes. Thus, “absent fatherhood vs. pseudo-mothering” is binary opposition and problems of boys and males are provoked not by itself, but as a part of gender attitude of parenting as a whole.

References

1. Kon, I.S. (2009) *Mal'chik – otets muzhchiny* [The boy is the father of a man]. Moscow: Vremya.
2. Bird, S. (2008) Teoretiziruya maskulinnosti: sovremennyye tendentsii v sotsial'nykh naukakh [Theorizing masculinity: Modern trends in social sciences]. In: Bird, S. & Zhrebkin, S. (eds) *Naslazhdenie byt' muzhchinoy: zapadnye teorii maskulinnosti i postsovetkie praktiki* [Pleasure to be a man: Western theories of masculinity and post-Soviet practices]. St. Petersburg: Aleteyya. pp. 7–37.
3. Khitruk, E.B. (2013) Philosophy preconditions in formation of “missing father” phenomenon in modern culture. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 368. pp. 54–59. (In Russian).
4. Chodorou, N. (2006) *Vosproizvodstvo materinstva: Psikhooanaliz i sotsiologiya gendera* [Reproduction of motherhood: Psychoanalysis and sociology of gender]. Translated from English. Moscow: ROSSPEN.
5. Butler, J. (1997) *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford: Stanford University Press.
6. Zdravomyslova, E. & Temkina, A. (2006) Istoriya i sovremennost': gendernyy poryadok v Rossii [History and modernity: Gender in Russia]. In: Tartakovskaya, I. (ed.) *Gender dlya “chaynikov”* [Gender for “Dummies”]. Moscow: Zven'ya. pp. 55–84.

УДК 316.74

DOI: 10.17223/1998863X/38/27

А.К. Жапарова, И. Да Силва

ВЗРОСЛЕНИЕ МАЛЬЧИКА В ПЛЕМЕНИ МАКОНДЕ (МОЗАМБИК): РИТУАЛЬНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО БЫТИЯ

Рассматривается ритуальность социокультурного бытия на примере взросления в племени Маконде как пример трансляции «нормальной» мужественности. Авторы проблематизируют становление мужественности в современных обществах с «размытой» мужественностью.

Ключевые слова: ритуал, инициация, культура, гендер, мальчик, Мозамбик, Маконде, племя.

Ритуал как социокультурное явление все больше привлекает сегодня внимание социальной антропологии, культурологии, философии культуры и др. Чем вызван интерес к ритуалу?

Как известно, «ритуал – одна из форм символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей и лишенная какого-либо утилитарного или самоценного значения» [6. С. 560]. В таком значении ритуал имеет следующие особенности: четкую регламентацию, психоэмоциональное напряжение; обособленность от повседневной-практической жизни (что подчеркивается атмосферой торжественности); преодоление трудностей с целью перехода в другую социальную категорию; наличие медиатора (посредника между соответствующими крайностями). Сущность ритуала – символический переход между различными формами космического и социального бытия (жизнь – смерть, человеческое – сверхчеловеческое, мужское – немужское, природное – социальное и т.д.).

Секуляризация социального бытия и норм лишает ритуал ореола сакральности и превращает его в некую условность, символ признания определенных норм, ценностей или статуса.

В эпоху становления цивилизации, социально дифференцированного общества ритуал утрачивает свой мифологический характер, выступая зачастую как признак выделения высших страт. При этом значительная часть общества отстраняется от активного участия в ритуальном спектакле, довольствуясь ролью пассивной массовки.

Недооценка роли ритуалов, коллективного опыта приводит, как правило, к стиранию групповой памяти, идентификационным затруднениям. Коллективный опыт можно передать только стереотипно – на основе подражания образцу, в качестве которого может выступать жесткая ритуализация в виде инициаций. С одной стороны, инициация выполняет сакральную функцию и представляет собой «встречу со священным». Нельзя не согласиться с Уолтером Кэлбером, что инициация – процесс преобразования личности, экзистенциальной и духовной трансформации и обновления человека (см. [3]).

С другой стороны, инициация – это культурный и социальный код, который прописывается не только в душах, но и телах иницианта [2. С. 13]. Инициант тем самым приобретает человеческий статус, проходя определенное испытание души и тела.

Инициации довольно внятно транслируют рамки идентичности. Гендерной в том числе. Попытаемся проследить это на примере процесса взросления мальчика в племени Маконде (Мозамбик).

Несколько слов о народах Мозамбика. Мозамбик расположен на юго-востоке Африканского континента, с востока и юго-востока омывается Мозамбикским проливом Индийского океана. Площадь – 802 тыс. кв. км. До 1975 г. Мозамбик был колонией Португалии. Официальный язык – португальский. Почти половину страны занимает Мозамбикская низменность, достигающая на юге ширины 400 км, а на севере сужающаяся до нескольких десятков километров. Слабовсхолмленная равнина полого поднимается на запад до 350–400 м над уровнем моря.

На севере находится плато Ньяса (средние высоты 500–1000 м, но отдельные вершины поднимаются до 2000 м), обрывающееся к одноименному озеру; на западе и северо-западе страны – кристаллические плато Мозамбик, Ангони, Мотабели с высшей точкой – горой Бинга (2436 м). На юго-западе, у границы с ЮАР, высятся вулканические горы Лебомбо. По территории Мозамбика протекают крупные реки Замбези и Лимпопо и множество более мелких рек (Лурио, Сави, Лигонья и др.), изобилующих порогами и водопадами в пределах горной части. Северо-западная часть страны является побережьем гигантского пограничного озера Ньяса, на границе с Малави расположено также озеро Чилва.

Север страны испытал на себе влияние мусульманской культуры и ислама. Культурные традиции существенно различаются в четырех областях страны: побережье, территория расселения макуа, яо и малави, территория Маконде и территория к югу от реки Замбези. Народы Макуа, Яо и Малави, хотя и испытали влияние ислама, но во многом придерживаются старинных африканских традиций.

Многие народы Мозамбика обожествляли силы природы и умерших предков; нередко эти два культа переплетаются между собой. Стоит отметить, что религиозные нормы для мозамбикских племен зачастую заменяют нормы морали, этику и право. Среди части населения Мозамбика распространена вера в действенность колдовства. Самые известные мозамбикские колдуны, которые, как они уверяют, способны исцелить от любого недуга. В Мозамбике и сегодня, в век компьютерных технологий, большинство людей обращается за помощью не к врачам, а к местным целителям. К основным видам деятельности Маконде относятся сельское хозяйство и резьба по дереву [4].

Культура Маконде, их образ жизни испытали внешнее влияние в меньшей степени. Им удалось сохранить сильную культурную сплоченность, несмотря на влияние португальцев. Традиционная религия оставалась доминирующей, распространение христианства началось только в 1930 г. [5]. Эпицентром культуры и традиций племени Маконде считается провинция Кабо Делгаду (район Муэда).

Как и во многих провинциях Мозамбика, рождение мальчика в семье маконде – большая радость, с ним связывают продолжение рода. С рождения мальчик спит рядом с матерью. После того как его отнимают от груди, главной нянькой становится отец или дядя, но женщина ни в коем случае не может заниматься его воспитанием. Семьи маконде обычно многодетные, в случаях, когда родители заняты работой, за старшего оставляют мальчика, даже если по возрасту он младше старшей сестры. Каждый ребёнок поэтому здесь дисциплинируется и социализируется ответственностью за младшего брата или сестру. Родители заранее готовят старшего сына как будущего отца семейства в случае смерти родителей. До ритуала инициации мальчика воспитывают относительно нестрого. Маконде придают большое значение периоду детства и стараются не отягощать его трудностями, поскольку с ними мальчик познакомится в ходе взросления.

Большое значение в социализации мальчика имеет охота с отцом (на кабана или газель в основном). Однако их берут не с ранних лет, а с одиннадцати. Девочек к охоте не допускают. В отличие от других африканских племен в племени маконде к женщине относятся как к слабому существу, нуждающемуся в защите и помощи. Несмотря на патриархальность основных традиций маконде, мальчики наравне с девочками помогают по дому делать «женскую» работу. Однако сервировать стол и подавать еду – это исключительно «женские» занятия. За столом драматургия гендерных отношений разыгрывается строго в патриархальных рамках.

Все маконде, как и многие другие народы, придают огромное значение ритуалам, наиболее важный из которых – инициация. Этот ритуал носит обязательный характер. Прохождение такой инициации является способом укрепления связи с племенем и гарантом успешной жизни в социуме, основой гендерной идентичности. Остановимся на наиболее важных особенностях этой инициации и ее значении в становлении личности мужчины.

Инициацию проходят как юноши, так и девушки в возрасте 12–15 лет (хотя бывают и исключения). Инициация для мальчиков называется *likumbi*, для девочек – *mualu*. Многие подростки не догадываются о своей поездке на «длительное испытание», поскольку не каждый из них готов к трудностям, которые их ждут в джунглях вдали от дома, и родители и близкие, таким образом, скрывают это от них.

Инициация проходит в дни осенних каникул (декабрь, январь), когда нет дождей. И мальчиков и девочек бреют наголо. Матери должны собрать волосы своих детей после ритуального пострижения. Одежду сжигают. Это символизирует своеобразное «умирание», подготовку к последующему рождению. Во время пребывания в лесу подросткам запрещено есть мясо и мыться. Наступление времени «дороги испытаний» обозначается священным танцем *mariko*.

Девочек и мальчиков расселяют отдельно в хижины, которые для них построили заблаговременно. Посещать детей может только мать и те, кто прошел этот ритуал. Руководит инициацией *Nalombu* («оно» – ср. род), его назначают из числа старейших и уважаемых людей, обладающий сверхъестественными способностями – вызывать дождь, ветер, лечить людей и т.п. Ему помогают *mbuana* (друг, брат) – помощники для мальчиков и девочек.

На время обучения инициантам дают имена животных в зависимости от их личных качеств.

Жизнь в лагере строго регламентирована, нарушение правил влечет за собой порой суровые наказания. Подростки получают знания по разным аспектам жизни: этике, народной мудрости, этикету, обрядам (связанным с прохождением определенных этапов – жизни, смерти, вступления в брак и т.д.), разрешению конфликтов, сексуальному воспитанию (для девочек – искусство обольщения), охоте, домоводству. Последний экзамен самый сложный для подростков – ритуальные операции на половых органах и татуирование ножом, которые завершают процесс перевоплощения, подготовку к новой, взрослой жизни. Все эти знания позволяют юному маконде быть достойным членом общества, наделяют его правом быть «своим». «Свой» для маконде – это человек, воспитанный в рамках традиций и свято чтящий их. Настоящий маконде – это человек, живущий в гармонии с природой и подчиняющийся ей. Но, несмотря на это, маконде – это и тот, кто не сдается перед лицом трудностей и добивается своей цели до самого конца.

После ритуала мальчик официально становится мужчиной. Несмотря на его юный возраст, матери, сестрам запрещается прикасаться к телу мальчика. Матери теперь следует запираить комнату в спальню родителей. И вообще, с этого момента мальчику не нужно доказывать свой мужской статус, и вряд ли кто-либо может его оспаривать.

Мальчики, не прошедшие этот ритуал, воспринимаются неполноценными: им достаточно сложно вступать в контакты, найти спутника жизни и т.д. Даже за столом в доме неинициированные мальчики становятся сыновьями второго сорта.

Таким образом, данный ритуал конституирует довольно типичный патриархальный образ мужественности, но не лишённый мягкости в отелных аспектах. Безусловно, многие особенности этого ритуала не вписываются в сознании современного человека, они могут показаться жестокими и несправедливыми. Но, может быть, эта жертва оправдана, если речь идет о целостности, самобытности, единстве идеалов и ценностей. Д. Гилмор утверждает: «В большинстве обществ временная связность культурной трансмиссии всегда находится под прямой или косвенной угрозой» [1. С. 231]. В этом смысле драматургия инициации показывает весьма четкие контуры мужественности и позволяет членам данного общества быть уверенными в социальных ожиданиях. Авторы придерживаются того мнения, что гораздо приятнее жить в обществе с внятыми ролями, нежели получать сюрпризы от гендерного дисбаланса.

Литература

1. Гилмор Д. Становление мужественности: культурные концепты маскулинности / пер. с англ. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. 264 с.
2. Зайцев П.Л. Агональный конфликт: Мужские инициационные практики и конфликты в современном мире. Омск: Амфора, 2011. 156 с.
3. Кэлбер У. Инициация: мужские инициации [Электронный ресурс] // Религиозная жизнь: энциклопедия / пер. с англ. и прим. И.С. Анофриев. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://religious-life.ru/2012/mens-initiations/> (дата обращения: 31.01.16).
4. Традиции народов Мозамбика [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://schoolmozambik.edusite.ru/p85aa1.html> (дата обращения: 20.01.2016).

5. Ntaluma F.A. Quem são os Makonde? [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://makonde.no.sapo.pt/cultura_makonde.html (дата обращения: 01.02.2016).

6. *Философский энциклопедический словарь* / редкол. С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815 с.

Zhaparova Aliya K. Omsk Tank-Automotive Engineering Institute (Omsk, Russian Federation)

E-mail: alfil82@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/27

Da Silva Inocencio Omsk Tank-Automotive Engineering Institute (Omsk, Russian Federation)

E-mail: icalu.silva@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/27

A BOY GROWING IN THE MAKONDE TRIBE (MOZAMBIQUE): FUNERAL OF SOCIO-CULTURAL LIFE

Key words: ritual, initiation, culture, gender, boy, Mozambique, Makonde, tribe

In the article "Growing up in the Makonde tribe boy (Mozambique): socio-cultural ritual of life" deals with the problems of growing up thinking boy in Makonde tribe. The key argument of the author is to appeal to the ritual practice in the tribe. The main of these tribe rituals is passage of the growing up initiation. The authors are candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the department of Humanities and Socio-Economic disciplines of Omsk Tank-Automotive Engineering Institute Zhaparova Aliya Kaigeldyevna, special faculty's cadet of Omsk Tank-Automotive Engineering Institute Da Silva Inocencio. The authors of this article had the task of explaining the features of growing model in the tribe in the process of passing the ritual of growing up. The authors believe the initiation of broadcast quite clearly the scope of identity, gender as well. On the one hand performs the sacred initiation function and is an "encounter with the sacred." On the other hand, the initiation of this cultural and social code which is prescribed not only in hearts but initiate bodies. Initiate thereby acquires a certain status, passing a certain test of body and soul. In the main part of the article the authors describe the features of the life and culture of Mozambique people, meaning of rituals in the life of the Makonde tribe, especially growing up, boys educating. The authors show the difference in gender education of Makonde. In conclusion, the author leads the reader to believe that this ritual constitutes a fairly typical image of patriarchal masculinity. The authors note that the initiation drama shows very clear contours of masculinity and allows members of society to be confident in social expectations.

References

1. Gilmore, D. (2005) *Stanovlenie muzhestvennosti: kul'turnye kontsepty maskulinnosti* [The formation of masculinity: Cultural concepts of masculinity]. Translated from English. Moscow: ROSSPEN.

2. Zaytsev, P.L. (2011) *Agonal'nyy konflikt: Muzhskie initsiatsionnye praktiki i konflikty v sovremennom mire* [Agonal conflict: Male initiation practices and conflicts in the modern world]. Omsk: Amfora.

3. Calber, W. (2012) *Initsiatsiya: muzhskie initsiatsii* [Initiation: Male initiations]. Translated from English by I. Anofriev. [Online] Available from: <http://religious-life.ru/2012/mens-initiations/>. (Accessed: 31st January 2016).

4. Embassy of Russia in Mozambique. (n.d.) *Traditsii narodov Mozambika* [Traditions of the peoples of Mozambique]. [Online] Available from: <http://schoolmozambik.edusite.ru/p85aa1.html>. (Accessed: 20th January 2016).

5. Ntaluma, F.A. (n.d.) *Quem são os Makonde?* [Who are the Makonde?]. [Online] Available from: http://makonde.no.sapo.pt/cultura_makonde.html. (Accessed: 1st February 2016).

6. Averintsev, S.S., Arab-Ogly, E.A., Ilichev, L.F. et al. (1989) *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical Encyclopaedic Dictionary]. 2nd ed. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

УДК 130.2

DOI: 10.17223/1998863X/38/28

Ю.С. Осаченко

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ МАЛЬЧИШЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Рассматриваются проблемы мифологических аспектов конструирования мальчишеской идентичности. Они рассматриваются в контексте соотносительности с мифами детства, мифами гендера и мифами массовой культуры.

Ключевые слова: миф, мифологическое сознание, мальчишество, идентичность.

А. «Миф» – 1) в отличие от обыденного словоупотребления – не вымысел, не сказка, не идеологическая деформация или форма «ложного сознания». Миф – форма опыта «самоочевидности», определенного само-собой-разумеющегося образа реальности, опыта неотрефлексированного сознания (опыт воображения, поэтическое измерение разума), моделирующая мир как целое, приводящая мир в осмысленное наличие (опыт сознания тут понимается феноменологически как опыт различения, способ видения, понимания и структурирования действительности);

2) мифологемы (символы) и мифологии (повествования) как культурные императивы, жизненные сценарии или фреймы уменьшают «экзистенциальное беспокойство» повседневности, поскольку задают формы возможного (само-)понимания прошлого, настоящего и будущего (миф «побеждает время»);

3) мифы – формы жизни (индивидуальной и коллективной) определяются традицией (спасительной возможностью символизировать социальную и экзистенциальную жизнь, конструировать символическую вселенную).

Таким образом, мифическое имеет отношение к конструированию персональной и групповой идентичности.

Пространство культуры и динамичное социальное поле ныне утратили логическое единство, оно во многом децентрировано, диверсифицировано и полипарадигмально. Кризис культуры связан с тенденциями гипертрофированного индивидуализма, нарциссизма, свойственного человеку общества потребления.

С другой стороны, процессы глобализации приводят к унификации и «обезличиванию» культурного ландшафта, информационный взрыв и «футур-шок» [1. С. 466] – к утрате чувства «подлинности присутствия» и ностальгии по «потерянному основанию бытия». Противоречивые тенденции способствуют обострению присущих мифическому началу амбивалентности и метаморфизма, актуализации как его отчуждающе-манипулятивных, фетишистски-тотемистических рудиментов, так и интегративно-мобилизующих, компенсаторных механизмов социокультурной самоорганизации, реализации механизмов образования групповой и персональной идентичности, экзистенциального аутопойезиса, востребованно-

сти мифологических схем аутентичности в культуре и персональном способе существования «потерянного человека» (пост-)современности. В современных социокультурных условиях (виртуализация и эстетизация культурного пространства, аудио-визуальный взрыв, кризис идентичности, клиповое сознание, цинический модус социализации, инфантилизация массовой культуры) «мифическое» актуализировано, в том числе как основание конструирования идентичности.

По верной мысли Р. Барта, «мифом может быть все... ибо наш мир бесконечно суггестивен» [2. С. 265]. Миф – структура сознания, выразимая в имени и образе, отнюдь не любая, но синкретичная, констеллятивная [3. С. 44–45] неявно-сумеречная зона первичных различений, без отчетливого самосознания и рефлексии; образно-аффективная, захватывающая и «пленяющая» фаза переживания. В мифическом можно различить символическое (мифологическое) измерение, и его нелинейную корреляцию с измерением опыта (переживания, воображения, памяти, желания). Типы чувственности как перцептивности, аффективности, динамика приобщения к «мифическому пространству совместности» коллективного опыта, усвоения и присвоения архетипического пласта переживания – все это сложно организованное целое с большим трудом поддается концептуализации. Мифическое является фактом нашего личного опыта, воображения, памяти, аффекта и в то же время мифологическим фактором социальной жизни, традиций понимания, познания действия и коммуникации.

Мифическое как способ концептуализации и построения «картины мира», т.е. как особая активность сознания в его сопряженности с бессознательным, реализуется не только в архаике, но и активно функционирует в современности. Мифотворческая активность имманентна сознанию любой эпохи, реализуема не только в границах архаического или традиционного общества, но ярко проявляется в (пост-) современном социуме, в ситуации (пост-)секулярности. Особенности мифологического концептирования: построение гармоничной модели мира (бытия), целостной, завершенной, претендующей на тотальность объяснения всех насущных противоречий и конфликтов, исходя из обращенности к некоторым «вечным, вневременным основам», сакрализуемым и воспринимаемым безусловно, в качестве «самой реальности», задающей структуру жизненного мира и контекст экзистенциального самоосуществления. И осуществляться такого рода концептирование может на различных уровнях, в многообразных формах, на разном содержательном материале, что проявляется в имманентной смене фаз демифологизации и ремифологизации в социокультурной динамике.

С начала XX в. ремифологизация находит выражение в художественном творчестве, в идеологии и политике (миф «золотого века», реинкарнированный в построении «коммунистического общества», «арийский миф» национал-социализма, мифологизация фигур вождей), в массовом сознании (мифы общества потребления, описанные Ж. Бодрийяром) [4. С. 12–13] мифологии обывательского сознания, описанные Р. Бартом) [2].

Ремифологизация проявляется, с одной стороны, в мотивах обращения к «архаической традиции» (как бы ни тематизировалась последняя) в качестве «золотого века, прекрасного прошлого» [5. С. 420]. С другой стороны,

ремифологизация – это оперирование содержательными (сюжетными, архетипическими, образными) мифологическими заимствованиями в различных планах и всевозможных аспектах, во всем многообразии артефактов, и порождающих новые модификации мифологем [6. С. 13–14].

Шаблоны, стереотипы, профанные рутинные практики и не осознаваемые в своей актуальной архетипичности лейтмотивы, многообразие рудиментов мифического содержания образуют «осадочные породы прошлого» в любой эпохе. Характерны они и для нынешнего века «информации» и «аудиовизуального взрыва». Широкая представленность мифоподобных конструкторов, манипулятивные технологии, использующие квазимифологические и псевдоархетипические образы в информационно-коммуникативном пространстве, виртуализация социальной реальности, эксплуатирующая эрзац-мифологемы – все это обостряет вопрос о понимании сути столь сложного феномена, как мифическое.

Миф многолик – он, как правило, эксплицитно повествовательный объект, но в то же время может имплицитно предстать в ипостаси визуально-иконической репрезентации, при этом миф подразумевает единство с ритуально-практическим осуществлением и поддержанием «живого опыта традиции». Кроме того, миф может рассматриваться как почва образцов и нормативных социокультурных практик самоидентификации, обретения идентичности – как партиципаторной, так и персональной. Мифология – и матрица производства значений традиции мироистолкования, принцип миромоделирования, и тип коммуникации.

Мифологические конструкторы обнаруживаются в коммуникативной циркуляции перцептивно-аффективных образов и концептов «бытия-как-целого», во множественности систем суггестивных коннотаций и особых форм номинаций (имена собственные, персонифицирующие сущее). Интерференция фаз «демифологизации – ремифологизации» в культуре иллюстрирует неизбежность смены критической де(-кон)струкции утверждений предшествующей парадигмы – новым мифогенным утверждением

Б. Идентичность – самоотождественность, горизонт социально-психологических характеристик, в рамках которых индивид чувствует себя и действует как единое целое в изменчивом мире – эта важнейшая ментальная структура претерпевает кризис, и всё из-за нестабильных новых условий.

Идентичность имеет два измерения. Первое – персональная идентичность, Я – самоидентификация во времени («я могу в темпоральном потоке распознавать некоторую последовательность состояний сознания, переживания, восприятия как собственные»). Современный человек имеет проблемы именно с персональной идентичностью («Кто я? Откуда? Куда иду?»)

Второе измерение – групповая (партиципаторная) Мы-идентичность. Здесь важнейшей составляющей выступает со-участие, вовлеченность в группу (причем не по функции, а по признаку «свои – чужие», «мы – здесь, они – там»). Мы-идентичность также имеет темпоральный аспект – вхождение в группу, пересечение границ, ритуалы инициации, маркеры принадлежности – знаковые, дискурсивные, поведенческие.

Современная идентичность – **перформативная** во многом (конструируется, но не сознательно, а в модусе экзистимности [7. С. 9], ленты Мёбиуса, внешнего-внутреннего взаимодействия).

Отношение человека ко времени, преодоление «ужаса временности» своего бытия, темпоральности как всепоглощающего потока, ведущего к смерти, тлену, издавна связываются с функцией мифа. Мифы – культурные императивы и жизненные сценарии, фреймирующие и моделирующие наше настоящее, прошлое и, главное, будущее, смягчая его опасную неопределённость. Мифы – габитусы, инкорпорированные в структуру субъективности, истории, ставшие его «природой». Отношение к самому себе, память, история становления Я, само-понимание – это и определяет нашу идентичность как опыт переживания, «себя самого». Формы жизни – как коллективные, так и индивидуальные – определяются мифологической основой, традицией, тем, что относится во многом к фольклору и постфольклору. Фольклорная традиция имеет отношение к тому, что либо табуировано, либо не рефлексится в качестве формы жизни, будучи в коллективном бессознательном. Но они нуждаются в именовании, так как играют важную социальную роль. Репертуар социальных ролей, комбинация поведенческих стереотипов у каждого человека задаются базовой парадигмой или моделью, т.е. мифологической матрицей.

В. Мальчишество – тема, затрагивающая демографические аспекты формирования образа мальчика (младенца, отрока, подростка, юноши). Все эти образы **имеют мифологическую составляющую**.

Во-первых, она связана с **мифологией детства** и мифом как «детством сознания». Детство – как особый мир выделяется недавно – со времен Руссо [8]. Ранее ребенок понимался как «недо-взрослый». В настоящее время «детство» как категория переосмысливается: либо оно пребывает в кризисе, ибо детство – пора невинности и неведения, но в связи с развитием информационных технологий и пространства массовых коммуникаций современные дети столь рано знакомятся с «табуированными темами» (сексуальность, насилие и т.д.), что пересечение символической границы между детством и взрослостью сдвигается в этом отношении во все более ранний возраст. С другой стороны, инфантилизация сознания в обществе потребления, напротив, раздвигает границы «детскости». Социализация, длящаяся всю жизнь, все более продолжительный период учебы и отодвигание возраста вступления во взрослую ответственную жизнь превращают современного тридцатипятилетнего человека – в вечного «мальчика» (синдром Питера Пена).

Во-вторых – мифология **гендера**, связанная со становящейся маскулинностью и обрядами перехода, пересечения границ не возрастных, но социальных («не хнычь, как девочка, ты же мальчик», «слова не мальчика, но мужа...», «армия – посвящение для настоящего мужика, как роддом – для бабы»). Культурный плюрализм отражается в богатом репертуаре гендерных маркировок мужского и, соответственно, связан с многообразием моделей маскулинности, воспринимаемых в качестве «своих – чуждых». Стереотип доминирующей или гегемонной маскулинности – сильный, сдержанный, обладающий властью, неуязвимостью, «крутой», успешный – идеологизированная реализация в качестве нормы лишь одной мифологической структу-

ры. Поскольку миф – этот «политеизм воображения», по выражению Шеллинга, издревле предлагает множественность моделей маскулинности. Мальчик – герой, становящийся мужчиной, это – эталонная модель. Но мужчина – это не только Воин, Властитель, но и Герой-демиург, и Отец, и Хозяин, и Трикстер, и Нарцисс, и Андрогин. В современной социокультурной ситуации ослабления традиционных патриархальных идеологических норм мы видим реализацию различных моделей маскулинности или их сочетания. Гендерные дифференциации, изменчивость моделей маскулинности/феминности обусловлены культурными особенностями и могут весьма сильно различаться от культуры к культуре, от эпохи – к эпохе. Весьма важным является также контекст абсолютизации либо релятивизации противопоставления мужского/женского (что первично – эта бинарность либо общечеловеческий контекст?).

В-третьих, она связана с мифами **массового сознания и массовой культуры**, с паттернам коллективного бессознательного, актуализированными в эпоху глобализации, клипового мышления, инфантилизации массовой культуры. Это связано и с теми формами коммуникаций, которые оказывают значительное влияние на формирование идентичности – виртуальный мир игры, социальных сетей и постфольклорных форм (анонимных мемов, виртуальных/игровых идентичностей, аудио-визуальных практик самоидентификации, субкультурных кодов и дискурсов). Актуализация постфольклорных стратегий идентификации (интернет-коммуникации, пространство анонимной «аудио-визуальной молвы», мемов, игровых идентичностей) рассматривается как фоновое условие формирования гендерной идентичности. Мифологические составляющие «множественной» идентичности современного мальчика (подростка, юноши) рассматриваются в качестве конституирующих базовые смысло-жизненные установки, задающие стили жизни и экзистенциального самоосуществления, организующие субкультурные практики, дискурсы и ритуалы.

Литература

1. Тоффлер Э. Шок Будущего. М.: АСТ, 2002.
2. Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2008.
3. Осаченко Ю.С. Структура мифического: констелляция как конфигурация опыта сознания // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2014. № 2 (26). С. 41–48.
4. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
5. Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания / отв. ред Е.С. Ноник, М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998.
6. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.
7. Лакан Ж. Семинары книга 11. Четыре основные понятия психоанализа. (1964). М.: Гнозис/Логос, 2004.
8. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: в 2 т. / под ред. Г.Н. Джибладзе; сост. А.Н. Джуринский. М.: Педагогика, 1981. Т. 1: Эмиль, или О воспитании.

Osachenko Julia S. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: july11@list.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/28

MYTHOLOGICAL ASPECTS OF CONTEMPORARY CONFIGURATIONS OF BOYISH IDENTITY

Key words: myth, mythological consciousness, childhood, boyhood, identity

Myth is a form of experience of understanding representing the world as a unity. And the unity becomes as a comprehend existence. Mythologemes (symbols) and mythologies are presented here as cultural imperatives and life scenarios. The myth refers to construction of personal and collective identity. These cultural imperatives and life scenarios are modeling our past, present and, the foremost, our future by moderating its critical uncertainty. The identity is a self-relation, the unity of understanding of an inner man. A man as part of it feels and acts as a unity in the inconstant world. We have a crisis of personal and collective identity today. This identity is performative. Life forms are determined by mythological basis, tradition or something from folklore and post-folklore. (In one hand the folklore tradition refers to things being under taboos. In other hand it could be unreflect in unconscious collective.) These life forms needs to be named because of great importance in social matter. A mythological matrix creates a combination of behavior stereotypes and variety of social roles. The boyhood is a subject that refers to demographic aspects of boy image forming (as baby, child, teenager and youth). All the images comprehends a mythological aspect. Firstly, the subject of boyhood is connected with mythology of childhood and myth as a 'childhood of conscious'. Secondly, its connected with the mythology of gender and thus with growing masculinity and rites of crossing social borders. And thirdly the subject of boyhood is connected with myths of mass conscious, mass culture and patterns of unconscious collective.

Referenceas

1. Toffler, E. (2002) *Shok Budushchego* [Shock of the Future]. Translated from English by E. Rudnev. Moscow: AST., 2002.
2. Bart, R. (2008) *Mifologii* [Mythologies]. Translated from French by S. Zenkin. Moscow: Akademicheskii proekt.
3. Osachenko, Yu.S. (2014) Ontological structure of mythical experience: The constellation as a dynamic configuration of consciousness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy. Sociology. Political Science*. 2(26), pp. 41–48. (In Russian).
4. Baudrillard, J. (2006) *Obshchestvo potrebleniya* [Consumer Society]. Translated from French by E. Samarskaya. Moscow: Kul'turnaya Revolyutsiya.
5. Meletinskiy, E.M. (1998) *Izbrannye stat'i. Vospominaniya* [Selected Articles. Memories]. Moscow: Russian State University for humanities.
6. Eliade, M. (2000) *Aspekty mifa* [Aspects of the myth]. Moscow: Polyarnaya zvezda.
7. Lacan, J. (2004) *Seminary. Kniga 11. Chetyre osnovnye ponyatiya psikhoanaliza* [Seminars. Book 11. Four basic concepts of psychoanalysis]. Translated from French. Moscow: Gnozis/Logos.
8. Rousseau, J.-J. (1981) *Pedagogicheskie sochineniya: v 2 t.* [Pedagogical works: in 2 vols]. Vol. 1. Translated from French. Moscow: Pedagogika.

УДК 316.614.6

DOI: 10.17223/1998863X/38/29

Т.Д. Подкладова

МАЛЬЧИШЕСКОЕ ЛИЦО СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ МАЛЬЧИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ

Актуальность исследования специфики социализации мальчиков в условиях интернатного учреждения и замещающей семьи обусловлена несколькими причинами: устойчивостью проблемы сиротства (социального, прежде всего), развитием института замещающей заботы и, соответственно, возрастанием рисков как для ребенка, так и для семьи (в первую очередь рисков вторичного сиротства), наличием выраженного гендерного аспекта в проблеме социального сиротства. «Опыт» социального сиротства оказывает значительное влияние на становление мальчика, проживание периода детства во многом определяет его взрослую жизнь.

Ключевые слова: социальное сиротство, мальчик, семья, дети, замещающая семья, социализация, гендерная идентификация.

Проблема социального сиротства в современной России сохраняет свою актуальность и высокую степень остроты. За последнее десятилетие государством и обществом сделаны серьезные шаги в сторону решения данной проблемы: утвержден приоритет профилактического семейно-ориентированного подхода в работе с детским и семейным неблагополучием, развивается семейное жизнеустройство, происходит профессионализация организаций и специалистов по работе с семьей и с детьми, в том числе с замещающими семьями. Тем не менее остаются и в определенной степени обостряются социальные проблемы, являющиеся зачастую причинами социального сиротства: растущая бедность семей с детьми, по-прежнему значительное число семей, выявляемых на поздней стадии неблагополучия, определенная стагнация в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно в такой форме, как усыновление (удочерение), возвраты детей из замещающих семей. Указанные причины создают высокий риск расширения масштабов социального сиротства в России и снижают эффективность позитивных изменений в этой сфере.

Гендерный аспект социального сиротства получил свое развитие в исследованиях Т.З. Козловой, И.И. Осиповой, Т.И. Юферевой, Е.А. Сергиенко, А.Н. Пугачевой, К.А. Салиховой, Н.Г. Тихонцевой, а также А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, Л.И. Дубетска. Предметом исследований выступают особенности социально-психологического портрета социального сироты в зависимости от пола, отказ от ребенка как следствие трансформации гендерных ролей, особенности гендерной социализации детей-сирот, воспитывающихся в приемной семье и в детском доме, гендерная идентификация у детей-сирот, гендерное воспитание детей-сирот, гендерный аспект взаимоотношений, в том числе межпоколенческих, в замещающих семьях, девиации мате-

ринского поведения. Большая часть исследований связана с изучением гендерной идентификации девочек-сирот.

Одним из востребованных, но малоизученных аспектов социального сиротства является мужской, мальчишеский вопрос. Актуальность и интерес к данной области исследований обусловлены рядом причин. Во-первых, в последние годы в России в целом возрос интерес к исследованию мужского вопроса в гендерной тематике в философском, социологическом и социально-психологическом аспектах [1]. Американский исследователь У. Поллак (William Pollak) совместно с коллегами на протяжении двадцати лет наблюдал мальчиков в разных ситуациях, используя различные психодиагностические и социологические методы. Результаты исследования «Слушая голоса мальчиков» («Real boys' voices») были опубликованы в 2000 г. [2]. «У современных мальчиков проблемы, даже у тех, кто, по всей видимости, “в полном порядке”». Многие из них чувствуют грусть и разобщенность, которую им сложно описать, из-за противоречивых представлений общества о том, какими должны быть мальчики, а впоследствии мужчины <...> наше представление о мальчиках слишком искажено мифами, распространенными в нашем обществе. Тысячи моделей мальчишества соединились и растворились в одном на всех стереотипе» [3]. Эта развивающаяся область исследований имеет серьезный потенциал для понимания и анализа многих процессов, происходящих не только с мальчиками и мужчинами, но и с современной семьей. Во-вторых, длительный гендерный дисбаланс в семейной (увеличение числа детей, воспитывающихся только мамой), воспитательной, образовательной среде (кадровый состав учреждений образования – женщины) оказывает ощутимое влияние на социализацию детей, в том числе мальчиков. В-третьих, основываясь только на подсчете анкет детей-сирот, можно утверждать, что у сироты в России мальчишеское лицо. В Федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей [4], по данным на ноябрь 2016 г., около 37 тыс. анкет мальчиков (3688 страниц) и 23 тыс. анкет девочек (2470 страниц).

Необходимо отметить, что федеральная и региональная статистика ведутся только по возрасту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в численности детей, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в разрезе по возрастам на начало 2016 г. более 2/3 составляли дети старше 10 лет [5]. Таким образом, число мальчиков-сирот превышает число девочек-сирот практически в 1,5 раза и ребенок-сирота в России сегодня – это мальчик-подросток.

Отсутствие данных, в том числе официальных, открытых и в динамике, по половому составу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целом, а также детей, переданных на воспитание в семьи, и детей, воспитывающихся в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей, значительно усложняет исследование данного вопроса и вынуждает строить выводы и предположения на основе анализа деятельности отдельных учреждений, экспертных мнений и другой информации (например, анализ форумов для приемных родителей).

Основываясь на анализе имеющихся данных, с высокой степенью достоверности можем предположить, что мальчиков-сирот, проживающих в организациях для детей-сирот в России, больше, чем девочек, и их реже, чем девочек, передают на воспитание в замещающую семью.

В первую очередь на социализацию, в том числе гендерную, влияют «история» ребенка до получения статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, опыт проживания ребенка в учреждении и в замещающей семье. Становление гендерной идентичности в условиях родительской депривации и нарушений детско-родительских отношений имеет свою специфику.

Семья традиционно относится к базовому институту гендерной социализации, через нее обеспечивается сохранение и преемственность гендерных стереотипов и установок на взаимоотношение полов, в том числе в рамках системы супружеских и детско-родительских отношений [6]. Дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, длительное время находятся в усугубляющейся травмирующей среде, получают искаженный образ этих взаимоотношений. Как правило, отец в этих семьях отсутствует или его роль минимальна, зачастую негативна, что является одним из факторов детского неблагополучия. В силу как некоторых объективных факторов, так и ряда стереотипов в реабилитационной работе с семьей и в оценке ресурсности семьи для дальнейшего воспитания в ней ребенка матери придается гораздо более серьезное значение, чем отцу. Одним из признаков неблагополучия семьи являются изменения в поведении ребенка, в том числе выражаемые протестными действиями ребенка. Зачастую мальчик в такой ситуации быстрее и легче может уйти в асоциальные и противоправные действия, что усложнит семейную ситуацию и выступит определенным фактором при решении судьбы семьи.

Следует учитывать тот факт, что на протяжении длительного времени ежегодно в среднем на 100 девочек у нас рождается 105 мальчиков [7]. По мнению директора Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь Н.С. Поспеловой: «Женщина, родив мальчика, <...> типичного представителя мужского племени “обманщиков”, отказница скорее и без особых колебаний решает предать сына “того, который бросил”. Сын – он продолжение “его, того обманщика”. А девочка – мое продолжение. Что же мы, девчонки, не справимся? Справимся. Так у мальчишки, в отличие от девочки, появляется дополнительный шанс пополнить ряды социальных сирот прямо с самого рождения» [8].

Лишение родителей прав или смерть одного или обоих родителей является серьезной травмирующей ситуацией для ребенка. Причем переживание и последствия травмы у мальчиков имеют свою специфику. Например, Н.Г. Дозорцевой [9] изучалась подверженность подростков из неблагополучных семей эмоциональной травматизации в результате смерти близких. Оказалось, что девочки и мальчики по-разному переживают смерть близких членов семьи. Девочки чаще, чем мальчики, связывали смерть родителей, особенно отца, с тяжелыми, оставившими неизгладимый след эмоциональными переживаниями. Социализация мальчика отличается от социализации девочки, к ним предъявляются разные требования. В целом, у девочек гораздо больше возможностей проявить свои эмоции, переживания, в отличие от мальчиков,

которые стыдятся своей уязвимости, проявлений слабости и, не осознавая влияния стереотипов и общественных ожиданий, скрывают свое подлинное лицо. Зачастую и само общество, в том числе в лице специалистов, работающих с детьми, не готовы слышать и воспринимать «голос мальчика» без «смирительной рубашки пола» [3]. Длительное неблагополучие в семье, затем лишение родительской заботы и дальнейший «опыт» социального сиротства, воспитание в замещающей семье или в интернатном учреждении – все это тяжелейшая травма и испытания для ребенка.

Выявленные Т.Ю. Юферовой особенности представлений о маскулинности/фемининности у воспитанников интернатных учреждений могут стать основой для психологической проработки, рефлексии детьми-сиротами собственного отрицательного опыта, негативных характеристик мужчины и женщины, которые черпаются ими из своего раннего опыта общения с родителями, или из редких, часто совсем безрадостных встреч с ними. Зачастую ребенок-сирота ориентирован на то, чтобы забыть этот опыт или на односложное его отрицание [10].

Данные психодиагностических исследований гендерной социализации детей-сирот младшего школьного возраста свидетельствуют о том, что мальчики-сироты, воспитывающиеся в учреждениях, в 1,5 раза реже осознают свою гендерную роль и хуже, в отличие от девочек, понимают различия между мальчиками и девочками. При этом дети, живущие в учреждениях, слабо проявляют гендерные стереотипы [11. С. 35, 48]. Дети-сироты, не имеющие опыта проживания в биологической семье и находящиеся с самого рождения в учреждении длительное время, также проходят специфическую стихийную (влияние СМИ, значимых взрослых, сверстников) и искусственную (уроки гендерного воспитания) гендерную социализацию. Гендерное воспитание в условиях учреждений, где проживают и учатся дети-сироты, как правило, носит эпизодический характер. А учитывая специфику кадрового состава учреждений для детей от 0 до 18 лет, «женский» тип воспитания преобладает.

В целом, ни одна из возрастных потребностей общения не удовлетворяется полностью в рамках закрытого учреждения и неблагополучной семьи, что приводит к серьезным депривационным нарушениям у сирот [12]. Это происходит в связи с нарушением механизма формирования привязанности, эмоциональных, коммуникативных связей с матерью и специфики организации жизни в учреждении. Наиболее трудной для детей-сирот является роль семьянина, они быстро исчерпывают первоначальный интерес и привязанность, не умеют развить содержание супружеских отношений, испытывают трудности в выстраивании детско-родительских отношений.

В ходе исследования К.А. Салиховой выяснилось, что «около 72% воспитанников детских домов любят своих родителей, 14% жалеют пап и мам, несмотря на то, что по их вине попали в детский дом, 45% детей никого не обвиняют в своем несчастье, 33% считают виновной мать, 15% – отца, 9% обвиняют себя. 43% воспитанников хотели бы остаться с родителями. Только 5,8% сирот негативно относятся к своим родителям, а 9% затруднились определить чувства к ним. Ненавидят своих родителей чаще девочки, чем мальчики» [13].

В психодиагностическом исследовании К.А. Салиховой кроме того, что девочки-сироты более активны по сравнению с мальчиками-сиротами во всех формах игровой, помогающей и учебной деятельности, выявлено, что семейное неблагополучие ребенка-сироты способствует трансформации отношений с противоположенным полом. Мальчики-сироты в 3 раза, а девочки-сироты в 4 раза чаще проявляют негативное отношение к своему полу по сравнению со своими сверстниками, воспитывающимися в условиях семьи. В сопоставлении с детьми из обычной школы мальчики-воспитанники детского дома в 2,5 раза чаще проявляют негативное отношение к детям противоположного пола, в то время как у девочек-сирот негативных стереотипов по отношению к мальчикам значительно меньше, чем у девочек из семьи [13].

Существует мнение, что настоящее отчуждение ребенка от своей биологической семьи наступает в момент передачи ребенка-сироты в замещающую семью. Кого лучше взять в семью (усыновить, удочерить): мальчика или девочку – это один из частых вопросов, тем, обсуждаемых на родительских форумах, в том числе на тематических сайтах для замещающих семей. По результатам анализа ряда родительских форумов, где речь шла о принятии ребенка-сироты в семью, можно говорить о существовании следующих точек зрения, зачастую основанных на стереотипах, при ответе на этот вопрос:

– «с девочками проще, с мальчиками сложнее»:

«девочки послушнее, мальчики интереснее», «я почему-то мальчишек боюсь. И старшая девочка у меня, и младшая. Сейчас приглядываю за соседскими мальчиками, когда родители на работе, вроде справляюсь и не страшные»;

«от девочек толк больше, чем от мальчиков, и вероятность удачного воспитания выше», «возрастным родителям легче с девочкой, а мальчику нужно больше энергии и движения»;

– «фактор мужа и отца»:

«когда с мужем решили усыновить ребеночка, я уговаривала взять девочку, но мужу всегда хотелось сына. Теперь у нас растет замечательный сыночек Ванечка»;

«прочитала на днях, что по статистике из количества усыновленных 70 % девочки. Почему? Девочек усыновляют больше (и женщине с дочкой легче выйти замуж, чем женщине с сыном), потому что мужчина/муж девочку воспринимает несколько абстрактно, что ли, очень привязано к маме, а в мальчике ему четко видны гены другого мужчины»;

«усыновляют больше девочек, я думаю, по двум причинам: они больше умиляют мужчин и думают, что с ними меньше проблем, чем с мальчиками», «про детдомовца согласиюсь, папа нужен. Но все-таки девочка без отца лучше будет, чем мальчик без отца»;

«девочка без папы вырастет более-менее нормальная, а мальчика хорошего без папы однозначно не воспитаешь»;

– «эмоции и этика»: *«но я смотрю фото детей в роддомах и больницах, мальчики отсекаются сразу. А девочки вызывают столько эмоций, что хо-*

чется удочерить их всех. Как думаете, стоит ли с этим бороться? Или поддаться волнам своей односторонней чувственности?»;

«вы любили бы также, т.к. это был бы РОДНОЙ ребенок. А начинать процесс усыновления и первым пунктом ставить выбор пола, обозначает так ничем его и не закончить»;

–«девочка ближе к семье и матери»:

«она и в старости досмотрит, и одним своим присутствием поддержку родителям давать будет. А мальчик вырастет, женится, от невестки-чужой дочке внимания не дождешься».

Как показывает практика, инициатива принятия ребенка-сироты в семью и основные действия в подавляющем большинстве случаев принадлежат женщине. Роль мужчины в этой ситуации скорее пассивна: от отрицания такой возможности до принятия решения жены и участия в необходимых процедурах и действиях (например, совместное обучение в школе приемных родителей).

В ситуации опеки – самой распространенной формы семейного жизнеустройства в России опекуном чаще всего выступает женщина. Если опекуном назначен родственник, то, как правило, это бабушка. Необходимо отметить, что в этой ситуации усиливающиеся по мере взросления ребенка и старения опекуна противоречия и трудности взаимопонимания становятся причиной возврата ребенка. Дополнительным фактором выступает необязательность обучения в школе приемных родителей близких родственников ребенка, которого планируют взять под опеку. Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что бабушка скорее возьмет (оставит) под опеку внучку, чем внука.

В рамках исследования¹ социального самочувствия замещающих семей (2011 и 2016 гг.) в Томской области нами было выявлено, что основной проблемой наряду с трудностями взаимопонимания между опекуном и взрослеющими опекаемыми детьми является комплекс «школьных» проблем: поведение, успеваемость, отношения со сверстниками. Опекунские семьи, воспитывающие мальчиков, гораздо чаще сталкиваются с этими проблемами и зачастую признаются в собственном бессилии их решить, которое, в свою очередь, серьезно увеличивает риск отказа от опекаемого ребенка и приводят ребенка к вторичному сиротству.

В.Н. Ослон полагает, что различия между семьями стандартными, т.е. семьями без приемных детей, и замещающими, прежде всего, связаны с представлениями обоих супругов об идеальном образе мужа и отца [14. С. 160]. Кроме того, в замещающих семьях, особенно в эффективных, от женщины в большей степени, чем в стандартной семье, требуется готовность к отказу от широких социальных связей. Матери из эффективных семей могут быть ориентированы на личностное развитие, но при этом не всегда отвергают стереотип «матери-жертвы». Организация жизни женщины вокруг детей в данном случае является наиболее оптимальной и делает замещающие семьи более эффективными, приближая их к обычным многодетным семьям.

¹Фокус-группы с замещающими родителями (2011–2012 гг.) и мониторинг (анкетирование) социально-психологического самочувствия замещающих семей и приемных детей проводились Т.Д. Подкладовой на территории нескольких районов Томской области и в г. Томске (2016 г.).

Адаптация ребенка в замещающей семье – длительный процесс, требующий полного включения родителей и сопровождения специалистов. Мальчики и девочки по-разному развиваются, по-своему проживают и переживают период взросления, имеют свои особенности восприятия и поведения. Фактор пола необходимо учитывать более тщательно на всех этапах работы с ребенком и его семьей: от ситуации раннего выявления неблагополучия кровной семьи до подбора ребенку замещающей семьи и адаптации его к самостоятельной жизни.

Комплексное гендерное исследование и мониторинг социального сиротства позволят преодолеть существующие стереотипы в обществе и профессиональной среде и привлечь важный пласт информации, которая необходима как для планирования семейной политики и политики защиты детства, так и для расширения возможностей и повышения эффективности деятельности специалистов (педагогов, психологов, социальных работников, специалистов по опеке), непосредственно работающих с детьми и семьями.

Литература

1. Хитрук Е.Б. «Мужской вопрос» в современном обществе: постановка проблемы // «Мужской вопрос» в XXI веке: развитие комплексного подхода к изучению маскулинности: сборник материалов круглого стола. Томск, 2016. С. 4–7.
2. Pollack W. Real boys' voices [Electronic resource] 2000. URL: http://www.williampollack.com/voices_intro.html (дата обращения: 19.11.2016).
3. Поллак У. Настоящие мальчики. Как спасти наших сыновей от мифов о мальчишестве, 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://mexalib.com/read/480760> (дата обращения: 19.11.2016).
4. Федеральный банк данных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Интернет-проект Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.usynovite.ru/db/?last_search=Y&p=2245 (дата обращения: 21.11.2016).
5. Усыновление в России. Интернет-проект Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.usynovite.ru/statistics/2015/2/> (дата обращения: 21.11.2016).
6. Dubetska L.I. The impact of identifying images on the formation gender concepts and competencies of preschool orphanage children [Electronic resource], 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.academia.edu/8699942/Gender-role_socialization_of_orphans (дата обращения: 21.11.2016).
7. Demoscope.ru Сайт Института демографии национального исследовательского университета Высшая школа экономики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0131/analit01.php> (дата обращения: 21.11.2016). http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r12/akrobat/glava3.pdf (дата обращения: 21.11.2016).
8. Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <http://child.edu.by/main.aspx?guid=1731&page=6> (дата обращения: 21.11.2016).
9. Дозорцева Е.Г. Психологическая травма подростков с проблемами в поведении. Диагностика и коррекция. М.: Генезис, 2006. 126 с
10. Юферова Т.И. Образы мужчин и женщин в сознании подростков // Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 84–90.
11. Маллаев Д.М., Омарова П.О., Салихова К.А. Особенности гендерной социализации детей-сирот младшего школьного возраста. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2000. № 4. С. 33–48.
12. Селенина Е.В. Модели постинтернатной социализации выпускников сиротских учреждений // Другое детство: сб. науч. ст. М., 2009. С. 250–260.
13. Салихова К.А. Гендерная идентификация как условие социализации детей-сирот младшего школьного возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Махачкала, 2009. 22 с.
14. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.: Генезис, 2006. 368 с.

Podkladova Tatiana D. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: tanyatomsk@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/29

BOYISH FACE OF SOCIAL ORPHANHOOD IN RUSSIA: SOCIALIZATION OF BOYS IN INSTITUTIONAL CARE AND FOSTER FAMILIES

Key words: social orphanhood, boy, family, children, foster family, socialization, gender identification

The article discusses the socialization of boys in orphanages and foster families. In modern Russia most of the orphans are boys-teenagers. Socialization of boys has its own characteristics. They are associated with a high influence of stereotypes on the education of boys: a boy can't be emotional, he's not crying, he must be strong. When a child is left without parents is a big trauma for him. Professionals who work with family and children usually do not take into account the specifics of the sex of the child. Professionals are also influenced by the stereotypical image of «a real man».

References

1. Khitruk, E.B. (2016) "Muzhskoy vopros" v sovremennom obshchestve: postanovka problemy ["The Men's Question" in modern society: The formulation of the problem]. In: Khitruk, E.B. (ed.) "Muzhskoy vopros" v XXI veke: razvitiye kompleksnogo podkhoda k izucheniyu maskulinnosti ["The Men's Question" in the 21st Century: Developing an Integrated Approach to the Study of Masculinity]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 4–7. DOI: 10.21064/WinRS.2016.2.9
2. Pollack, W. (2000) *Real boys' voices*. [Online] Available from: http://www.williampollack.com/voices_intro.html. (Accessed: 19th November 2016).
3. Pollack, W. (2014) *Nastoyashchie mal'chiki. Kak spasti nashikh synovey ot mifov o mal'chishestve* [Real boys. How to save our sons from the myths about boyishness]. Translated from English by E. Zholnina. [Online] Available from: <http://mexalib.com/read/480760>. (Accessed: 19th November 2016).
4. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (n.d.) *Federal'nyy bank dannykh detey sirot i detey, ostavshikhsya bez popecheniya roditeley* [Federal database of orphans and children without parental care]. [Online] Available from: http://www.usynovite.ru/db/?last_search=Y&p=2245. (Accessed: 21st November 2016).
5. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (2015) *Usynovlenie v Rossii* [Adoption in Russia]. [Online] Available from: <http://www.usynovite.ru/statistics/2015/2/>. (Accessed: 21st November 2016).
6. Dubetska, L.I. (2000) *The impact of identifying images on the formation gender concepts and competencies of preschool orphanage children*. [Online] Available from: http://www.academia.edu/8699942/Gender-role_socialization_of_orphans. (Accessed: 21st November 2016).
7. Demoskope.ru. (2003) *Sayt Instituta demografii natsional'nogo issledovatel'skogo universiteta Vysshaya shkola ekonomiki* [The site of the Institute of Demography of the National Research University Higher School of Economics]. [Online] Available from: <http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0131/analit01.php>. (Accessed: 21st November 2016).
8. Ministry of Education of the Republic of Belarus. (n.d.) *Natsional'nyy tsentr usynovleniya Ministerstva obrazovaniya respubliki Belarus'* [The National Adoption Center of the Ministry of Education of the Republic of Belarus]. [Online] Available from: <http://child.edu.by/main.aspx?guid=1731&page=6>. (Accessed: 21st November 2016).
9. Dozortseva, E.G. (2006) *Psikhologicheskaya travma podrostkov s problemami v povedenii. Diagnostika i korrektsiya* [Psychological trauma of adolescents with problems in behavior. Diagnosis and correction]. Moscow: Genезis.
10. Yuferova, T.I. (1985) *Obrazy muzhchin i zhenshchin v soznanii podrostkov* [Images of men and women in the minds of adolescents]. *Voprosy psikhologii*. 3. pp. 84–90.
11. Mallaev, D.M., Omarova, P.O. & Salikhova, K.A. (2000) *Osobennosti gendernoy sotsializatsii detey-sirot mladshego shkol'nogo vozrasta* [Gender socialisation of orphaned children of primary school age]. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psikhologo-pedagogicheskie nauki*. 4. pp. 33–48.
12. Selenina, E.V. (2009) *Modeli postinternatnoy sotsializatsii vypusnikov sirotskikh uchrezhdeniy* [Models of socialization orphanage graduates]. In: Obukhova, L.F., Yudina, E.G. & Korepanova, I.A. (eds) *Drugoe detstvo* [Another Childhood]. Moscow: Moscow State University of Psychology and Education. pp. 250–260.
13. Salikhova, K.A. (2009) *Gendernaya identifikatsiya kak uslovie sotsializatsii detey-sirot mladshego shkol'nogo vozrasta* [Gender identification as a condition for socialisation of orphaned children of primary school age]. Abstract of Pedagogy Cand. Diss. Makhachkala.
14. Oslon, V.N. (2006) *Zhiznneustroystvo detey-sirot: professional'naya zameshchayushchaya sem'ya* [Life-support of orphaned children: A professional substitute family]. Moscow: Genезis.

АРХИВ

УДК 340.113.1 + 340.115.3
DOI: 10.17223/1998863X/38/30

В.В. Оглезнев, В.А. Суровцев

В КАКОМ СМЫСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСТИННЫМИ ИЛИ ЛОЖНЫМИ: О РАБОТЕ А. ПАПА «ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ»¹

Рассматривается вопрос о возможности оценивать определения как истинные или ложные. Показано, что такого рода оценка к определениям не относится. Истинными или ложными бывают суждения или высказывания. Оценка определений основана на формальной правильности или неправильности. В приложении в переводе на русский язык приводится работа А. Папа «Теория определений».

Ключевые слова: теория определений, истинность и ложность определений, эпистемология, формальная теория.

Всегда, когда вопрос касается определений, которые понимаются как особая логическая форма прояснения понятий или выражающих эти понятия терминов, возникает вопрос: когда даётся определение некоторому понятию или предмету, подпадающему под это понятие, является ли то, что мы говорим, истинным или ложным? Да и вообще, могут ли определения быть истинными или ложными? Этот вопрос немаловажен. В классической логике возможность быть истинными или ложными, как правило, закреплена за суждениями или высказываниями. Последние претендуют на то, что они в той или иной степени описывают существующее положение дел. Если описание соответствует, то суждение или высказывание – истинно, если – нет, то ложно. К примеру, высказывание «Снег бел» считается истинным, поскольку при соответствующих условиях, это действительно соответствует фактам. А высказывание «Луна состоит из зелёного сыра» считается ложным, в силу других соответствующих обстоятельств. В этой ситуации вряд ли кто согласится, что выражения «Снег бел» или «Луна состоит из зелёного сыра» являются определениями. За определениями, как считается, закреплена иная функция.

Возьмём, к примеру, предложение «Человек – это живое и разумное существо». Трактовать это выражение можно двояко. Во-первых, оно может рассматриваться как суждение, в котором определённым предметам предписываются некоторые признаки. В этом случае выраженное данным предложением суждение приемлемо рассматривать как истинное или ложное. Во-вторых, данное предложение может трактоваться как способ раскрытия содержания соответствующего понятия, что в явной трактовке будет выглядеть следующим образом: «Человек, по определению, – это живое и разумное

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект № МД-4664.2016.6) и в рамках программы повышения конкурентоспособности НИ ТГУ.

существо». Во втором случае соответствующее предложение раскрывает то, что содержится в определяемом понятии через ближайший род (*genus*) и специфические признаки (*differentia*). Такие определения в традиционной логике называются родовидовыми (*per genus proximum et differentiam specificam*). Понятно, что предложение «Человек – это живое и разумное существо» может использоваться и в том, и в другом смысле, в зависимости от того, какие эпистемологические задачи мы перед собой ставим. Но возникает вопрос, а каким образом можно различить эти эпистемологические задачи? Когда мы используем это предложение для выражения суждения, а когда с его помощью формулируем определение? Проблема осложняется тем, что обе функции могут использоваться в одном и том же дискурсе.

Очевидно, однако, что эпистемологические задачи установления истины и прояснения понятий с прояснением соответствующего словоупотребления различны. Для того, чтобы это различие пояснить, воспользуемся сравнением предложения «Человек – это живое и разумное существо» со сходным по грамматической структуре предложением «Человек – это по природе доброе существо». Грамматически одинаковая структура не обеспечивает равнозначность эпистемологических функций. Ясно, что предложение «Человек – это по природе доброе существо» не может трактоваться во втором смысле, а в первом смысле, скорее всего, является ложным, несмотря на все теоретические усилия Сократа и Платона. Продемонстрировать это можно достаточно легко.

Что, вообще говоря, требуется от определений? Определения даются затем, чтобы в сомнительной ситуации было понятно, с чем или с кем имеют дело. Другими словами, если возникает ситуация, когда необходимо прояснить контекст, то понятию или термину, употребляемому в данном контексте, даётся определение. При таком подходе контекст задаёт основания проверки определения. Возьмём, например, в качестве контекста следующее высказывание: «Один человек зверски убил другого человека». В этом контексте предложения «Человек – это живое и разумное существо» и «Человек – это по природе доброе существо» будут вести себя по-разному. Разъяснение понятия «человек» с помощью первого будет отличаться от такого же разъяснения с помощью второго. Если сказать, что «Одно живое и разумное существо убило другое живое и разумное существо», контекст вряд ли изменит смысл, а всё высказывание – истинностное значение. Совсем иначе получается в случае следующей замены: «Одно по природе доброе существо зверски убило другое по природе доброе существо». Контекст, очевидно, меняется или, во всяком случае, требует дополнительного прояснения.

Таким образом, критерий оценки того, в каком из двух смыслов могут пониматься грамматически сходные выражения, существенно зависит от того, как эти выражения могут использоваться для прояснения непонятного контекста. Когда говорят об определениях, имеется в виду именно то свойство предложения «Человек – это живое и разумное существо», которое позволяет без изменения смысла разъяснить контекст типа: «Один человек зверски убил другого человека». Разъяснение контекста в данном случае происходит простой подстановкой того, что считается эквивалентом неяс-

ному понятию или термину. При этом самое главное требование заключается в том, чтобы контекст не изменил своего смыслового значения.

Такой подход к определениям рассматривает соответствующие выражения как способ замены одних выражений другими без изменения смысла всего контекста. Определения в этом случае не считаются истинными или ложными. Определения являются просто конвенциями, т.е. соглашениями, в которых устанавливается способ употребления понятий и выражающих эти понятия терминов. Трактовка соответствующих предложений типа «Человек – это живое и разумное существо» будет существенно отличаться от рассмотрения их как суждений или высказываний, истинность которых подтверждают факты. Понятно, что о фактах здесь речь не может идти уже в силу того, что сообразность соответствующего предложения основывается не на том, каким образом оно связано с действительностью, но на том, каким образом оно участвует в прояснении контекста.

Самое главное в том, что прояснение контекста и установление истины – это разные эпистемологические задачи. И эпистемологическая задача определений не заключается в установлении истины. Они действительно имеют другую познавательную функцию. Эта функция заключается в том, чтобы уточнить, что имеется в виду при употреблении того или иного понятия или того или иного выражающего это понятие термина. Могут ли тогда выражения, считающиеся определениями, оцениваться как истинные или ложные? Приведённый выше пример показывает, что определения в целом служат прояснению контекста, но никак не установлению истинности, основанной на фактах. Истинность контекста не имеет отношения к определениям. Вернее, она имеет отношение в том смысле, что если при замене определяемого термина на то, как его определили, контекст изменяется, то определение считается неверным. И, в общем, это – единственное основание. Определения в том смысле, в котором они рассматриваются в контексте, проясняя употребляемые понятия и термины, не бывают истинными и ложными. В этом заключается смысл определений как особой логической формы, отличной от суждений. Когда рассматривается предложение «Человек – это живое и разумное существо», оно действительно должно рассматриваться в своих различных функциях. Его можно оценить как истинное или ложное суждение, но можно рассматривать его и как определение. Оценки здесь должны быть другие. Определения не бывают истинными и ложными. Это противоречило бы самой сути определений, с помощью которых предполагается нечто разъяснить, а не запутать.

Определения ничего не говорят о действительности, они разъясняют, в каком смысле понятие и выражающий его термин употребляются в соответствующем контексте. Но, несмотря на то, что определения не бывают истинными или ложными, они всё-таки бывают правильными и неправильными. Правильность и неправильность должна, конечно, рассматриваться не с точки зрения соответствия действительности. Правильность и неправильность должна рассматриваться с точки зрения предложенного выше способа установления того, что может, а что не может считаться определением. Замена выражений без изменения смысла контекста здесь является самым важным критерием.

Этот важный критерий сформулировал ещё Готфрид Лейбниц: «При замене равное на равное целое не меняется». По сути дела определения являются не истинными или ложными суждениями, но способами выразить одно и то же разными способами. Определения в этом смысле являются конвенциями, имеющими следующую форму: $DFD =_{dfn} DFN$ (где “DFD” – определяемое, “DFN” – определяющее, а “ $=_{dfn}$ ” – равенство по определению). «Равенство по определению» в данном случае является самым главным компонентом. Как и любое равенство, равенство по определению должно удовлетворять принципу, сформулированному Лейбницем. Если меняется равное на равное, целое не должно измениться. Это касается любого равенства. Пусть это будет арифметическое равенство, когда пишется, что $(a+b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2)$. Ясно, что оба члена равенства могут быть заменены друг на друга, без изменения смысла целого. Разложение определяемого на части здесь не имеет никакого значения в том отношении, что смысл выражения, в котором части равенства могут быть заменены друг на друга, не изменяется.

Если в таком отношении трактовать равенство по определению (т.е. “ $=_{dfn}$ ”), то такое равенство также должно удовлетворять требованию Лейбница, и вообще требованию для любого равенства. Равенство должно приводить к тому же самому контексту, если равное заменяется на равное. Определения, в этом смысле, являются просто удобными заменами и должны трактоваться как своеобразный способ замены одних понятий или выражающих эти понятия терминов на другие. Подобный подход заменяет анализ определений, поскольку речь здесь идёт уже не о том, что определения в каком-то смысле должны соответствовать действительности, но о том, что их оправданность должна соответствовать их словоупотреблению.

Правильность или неправильность определений, конечно, ни в коем случае не соотносится с возможностью их соответствия с действительностью. Последнее отнесём на случай суждений или высказываний. Соответствие фактам оставим этой логической форме. Но как же должна тогда определяться правильность определений? Так вот и должна, через соответствие контексту. Самое главное отличие определения от суждений заключается, конечно, не в том, что предложение «Человек – это живое и разумное существо» считается выражающим истинное или ложное суждение. Главное выражается в том, каким образом мы его используем. Использование подобных выражений определяет, что же имеется в виду. А в виду имеется следующее. Когда предложение используется в качестве определения, то выражаемое им понятие может быть заменено в предложенных контекстах. И если контекст не соответствует, то и определение не может считаться правильным. Правильность определения задает только контекст его употребления и только контекст.

В качестве примера рассмотрим распространённый случай. Во многих учебниках грамматики зачастую встречается такое определение: «Предложение – это последовательность слов, выражающих законченную мысль». Это выражение не рассматривается как истинное или ложное суждение, оно, как правило, выступает в качестве определения. Зададимся вопросом, в каком смысле это определение является истинным, если такой вопрос вообще имеет смысл. Этот вопрос может иметь смысл только в том случае, если от-

вет на него воспринимается как суждение, основанное на фактах или опровергаемое ими. В целом же учебники грамматики дают совершенно иную трактовку этого утверждения. Вот под этим мы и будем понимать, что такое предложение. Это удобно, если уж требуется использовать какое-то выражение. Но возникает вопрос, а правильно ли это определение? Если бы считать подобные выражения суждениями или высказываниями определённого рода, то вопрос стоил бы лингвистического исследования, касающегося употребления языковых выражений. Но, очевидно, это не так. Данное выражение просто устанавливает, что мы будем считать предложением, а что – нет. Если последовательность слов выражает законченную мысль, то это – предложение, а если не выражает, то – нет.

С подобным случаем всё бы ничего. Но как проверить правильность данного определения. Считать, что это соответствует фактам, вряд ли было бы правильным. Мало ли что можно считать предложением. Единственный способ проверить подобный подход к определению того, что такое «предложение», опять-таки заключается в том, как употребляется данное понятие. А данное понятие в тех же учебниках по грамматике употребляется крайне интересно. Например, говорится, что «Если мысль в предложении не закончена, то ставится многоточие». Очевидно, что данное словоупотребление понятия предложения не соответствует данному контексту. Но если данное словоупотребление не соответствует контексту, то предложенное определение и не должно считаться правильным. Правильность и неправильность в отношении определений не должны рассматриваться как аналог истины и лжи. Быть правильным или неправильным не значит быть истинным или ложным.

Вопрос об эпистемологической функции определений является главной темой работы А. Папа, перевод которой на русский язык приведён ниже, в этом отношении она, прежде всего, и интересна, хотя её смысл совершенно не совпадает с нашей позицией. Приведённые выше аргументы относятся только к эпистемологическим аспектам теории определений, и не затрагивают их формальных характеристик. Ясно, что приведённые выше замечания касаются только явных определений.

Артур Пап

Теория определений¹

Определения могут быть классифицированы (по крайней мере) по двум различным основаниям. Можно спросить, какого рода высказывания (statements) являются определениями, как они должны подтверждаться и какой

¹ За несколько лет до своей смерти Артур Пап написал этот текст для использования на занятиях по «Введению в логику». Этот материал изначально не предполагалось публиковать, но изложенные здесь идеи представляют теоретический интерес, который, по нашему мнению, заслуживает широкого распространения. Рукопись издается в том виде, в котором она написана профессором Папом, за исключением незначительных формальных изменений и корректорских правок в третьем параграфе «Формальная классификация». Рукопись подготовлена к публикации Джоном Уилкоксом, доцентом университета Эмори. (Перевод с английского выполнен В.В. Оглезневым и В.А. Суровцевым по изданию *Pap A. Theory of Definition // Philosophy of Science*. 1964. Vol. 31, No 1. P. 49–54.)

цели они служат в процессе получения научного знания? За неимением более простого слова назовем опирающуюся на это основание классификацию определений *эпистемологической*. Можно также выделять различные формы определений, и классификацию, опирающуюся на это основание, обычно называют *формальной*.

Эпистемологическая классификация. Часто возникает и обсуждается вопрос, могут ли определения быть истинными или ложными или же это произвольное соглашение по поводу определённого употребления слова. Очевидный ответ заключается в том, что некоторые высказывания, которые в повседневной жизни и в науке называются «определениями», являются просто соглашениями, а другие – нет. Однако, глядя лишь на последовательность слов, нельзя сказать, что перед нами, соглашение или *суждение* (proposition), т.е. то, что можно назвать истинным или ложным. Например, «Старая дева – это незамужняя женщина старше 25 лет». Это было бы определением по *соглашению*, если бы оно было равнозначно предложению: «Словосочетание ‘старая дева’ будем употреблять как сокращение для ‘незамужняя женщина старше 25 лет’». Можно принять или отвергнуть это предложение, но поскольку предложить не значит нечто *утверждать* (assert), вопрос об истинности или ложности здесь не относится к делу. Такое высказывание, однако, может подразумевать указание на фактическое употребление словосочетания «старая дева». Как бы там ни было, носители английского языка используют словосочетание «старая дева» в отношении женщин, подпадающих под это описание. В этом случае определение является суждением, а потому вполне уместно спросить, истинно оно или ложно.

Первое различие, таким образом, обнаруживается между (лингвистическими) выражениями (proposals) и суждениями. Определения в виде суждений (propositional definition), в свою очередь, можно классифицировать по двум важным основаниям: они могут быть эмпирическими или аналитическими суждениями. Они могут относиться к словам (вербальному употреблению) или к объектам, на которые указывают слова, или в них могут анализироваться понятия, выраженные посредством слов. Эмпирическое суждение – это суждение, истинность или ложность которого можно установить только посредством опыта (в самом широком смысле слова «опыт»). И даже если есть убедительные основания признать её истинность, все ещё логически допустимо (т.е. внутренне не противоречиво предполагать), что она будет ложной. Аналитическое суждение, с другой стороны, получается в результате анализа того, что подразумевается под словоупотреблением. Нельзя принять, чтобы таким образом могло бы быть опровергнуто, что «Все матери являются женщинами». Можно, конечно, изменить обычные значения слов, но это будет отличаться от обнаружения того, что суждение, выраженное этими словами *в данный момент*, является ложным.

Следуя Копи¹, определение, которое является эмпирическим суждением о словоупотреблении, мы называем *лексическим*. Но мы будем разделять категорию «теоретических» определений у Копи на *теоретические*, в смысле эмпирических суждений о научных объектах, и на *анализ* понятий. Для того

¹ Речь идет о книге: Copi I.M. Introduction to Logic, 1st ed. New York, Macmillan, 1953. – Прим. Джона Уилкокса.

чтобы увидеть это различие, сравним «Вода – это субстанция, молекула которой состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода (H_2O)» и «Окружность – это замкнутая кривая, любые две точки которой равноудалены от заданной точки». Первое высказывание должно подтверждаться ссылкой на экспериментальные результаты, интерпретируемые научной теорией (например, атомарной теорией). Но второе высказывание представляет собой точный анализ свойства, охватываемого значением слова «окружность». Я могу побудить человека, который усвоил употребление слова «окружность» посредством остенсивного определения, т.е. который привык применять слово «окружность» к замкнутым кривым определенной формы и только к таким кривым, к тому, что только анализ заставит задуматься его над тем, чем отличается окружность от эллипса, квадрата и от других обычных замкнутых кривых. Но приведённое выше определение воды нельзя получить подобным образом. Оно выражает эмпирическое обобщение, что если нечто обладает качествами, охватываемыми значением термина «вода», используемого в повседневной жизни, то оно также обладает соответствующей химической структурой и наоборот.

Лексическое определение легко спутать с анализом, потому что есть склонность смешивать *употребление* слова с его *упоминанием*. Когда я говорю: «Джон высокий парень», я употребляю имя «Джон», чтобы сказать о парне; таким образом, несовместимо, писать: «Джон высокий парень» и одновременно «Джон – это имя», поскольку одна и та же вещь не может быть как парнем, так и именем. Правильным способом записи был бы: «‘Джон’ – это имя», где внутренние кавычки служили бы для именованя имени. Так, рассмотрим определение: «Дядя – это человек, у которого те же самые родители с человеком, который сам является родителем». Если это – лексическое определение, значит, это – суждение о слове «дядя», и тогда оно утверждает то, что носители английского языка намереваются сказать о человеке *x*, когда они говорят «*x* – дядя» означает, что *x* – это человек, имеющий общих родителей с человеком, который сам является родителем. Но если это – анализ, тогда это – высказывание о *свойстве*, охватываемом значением слова «дядя». Оно говорит, что свойство быть дядей – это свойство быть человеком, имеющим общих родителей с человеком, который сам является родителем. Если изменились соответствующие правила английского языка, скажем, если слово «дядя» стало употребляться в том смысле, в котором сегодня употребляется слово «племянник», то должно было бы измениться и словарное определение слова «дядя», но анализ всё равно оставался бы правильным, поскольку отношение родства не изменяется, когда изменяется его английское название. Кроме того, француз, который утверждает «*Un oncle est un homme qui a les meme parents que quelque autre personne qui est un parent*» (при условии, что ваше руководство по переводу с французского – правильно), делает то же самое утверждение, что и американец, когда произносит «*An uncle is a man who has the same parents as some other person who is a parent*». Иными словами, американец и француз выражают одно и то же суждение посредством разных предложений. Но, если американец и утверждал о том, как в Америке и Британии употребляется слово «uncle», а француз о том, как во Франции употребляется слово «*oncle*», все равно видно, что

они утверждали разные суждения (в самом деле, возможно, чтобы одно было бы истинным, а другое – ложным, поскольку допустимо, что слово «*oncle*» могло бы и не быть французским синонимом слова «*uncle*»).

Между определениями в форме суждения и определениями в форме соглашения чёткую границу можно провести не всегда. То, что Копи называет *устанавливающим* (*precising*) *определением* неясного термина, нарушает эту границу, поскольку оно частично является определением в форме суждения, а частично – определением в форме соглашения. Допустим, например, вы определяли «богатого американца» как «американца, чей годовой доход превышает 15,000\$». Это определение может рассматриваться как истинное в том смысле, что подавляющее большинство американцев, которые считаются богатыми, попадают под предлагаемое определение (т.е. имеют годовой доход выше 15,000\$), и подавляющее большинство, которые считаются «небогатыми», не попадают под *definiens*. Но говорить, что определяемый термин до того, как дать проясняющее определение, не ясен, означает лишь то, что есть пограничные случаи, т.е. есть те, которых нельзя назвать «богатые», и те, которых нельзя назвать «небогатые». Устанавливающее определение тем самым сводится к решению закрепить эти пограничные случаи либо за категорией «богатые», либо за категорией «небогатые».

Аналитические определения понятий могут привести к *аналитическим высказываниям* (*statements*). Так, данное выше аналитическое определение «дядя» приводит к аналитическому высказыванию: «Все дяди являются мужчинами». О последнем высказывании можно сказать, что оно *истинно по определению*, но само не является определением. Аналитическое высказывание истинно по определению в том смысле, что при помощи правильного определения, т.е. когда определяемому термину придается значение, в котором он обычно употребляется, оно преобразовывается в логически истинное высказывание. Логически истинное высказывание – это высказывание, истинность которого можно увидеть благодаря его форме, т.е. благодаря значениям логических констант, вроде констант «все», «некоторый», «который», «или». Сказать, что все дяди являются мужчинами, значит сказать, что все мужчины, у которых есть общие родители с каким-то другим человеком, который сам является родителем, являются мужчинами. Это высказывание имеет форму «Все *A*, которые есть *B*, есть *A*», и любой, кто понимает логические константы «все», «который», «есть», может видеть, что такое высказывание истинно независимо от того, какие термины могут быть подставлены вместо схемных букв «*A*» и «*B*» (при условии, конечно, что термины используются единообразно).

Упражнение: Установите, какие высказывания в следующей группе являются аналитическими, и обоснуйте, что они являются аналитическими посредством: а) формулировки корректных определений, согласно которым они являются истинными; б) трансформируя их с помощью данных определений в логически истинные высказывания.

Высказывания: 1) Все квадраты равносторонни; 2) Ни одна старая дева не замужем; 3) Родителями являются либо мать, либо отец; 4) Если Джон толковее Билла, то он – толковее; 5) Либо Джон толковее Билла, либо Билл толковее Джона; 6) Если Джон толковее Билла, то Билл тупее Джона; 7) Ка-

ждый час содержит шестьдесят минут; 8) Если одна коробка находится внутри второй, а вторая коробка находится внутри третьей, то первая коробка находится внутри третьей коробки.

Формальная классификация. Копи различает определения посредством примера (включая остенсивные определения в качестве особого случая) от определений, *касающихся значений* (*connotative definition*), т.е. определений, устанавливающих (критерий применения) значение термина по соглашению. Но второй вид определения может принимать разные формы. Он не ограничивается тем, что Копи называет «синонимичным» определением и определением «через ближайший род и видовое отличие». Одно важное формальное различие – это различие между *явными* и *контекстуальными* определениями. Явное определение уравнивает *definiendum* и *definiens* так, чтобы одно можно было заменить на другое в любом контексте без изменения остальной части предложения. Так, «Отец – это родитель мужского пола» является явным определением, посредством которого предложение «Мой отец беден» можно преобразовать в синонимичное предложение «Мой родитель мужского пола беден». Аналогично эксплицитным определением является и «Брат – это родственник мужского пола». Эти определения к тому же могут принимать форму родовидового определения, но можно показать, что явное определение не обязательно имеет такую форму.

Предположим теперь, что вас просят определить «брат» в терминах «мужской пол» и «родитель» (какие логические константы здесь были бы необходимы?). Вы не смогли бы подобрать синоним, который мог бы заменить слово «брат» в предложении «Билл – это брат Джона» или «У Джона нет брата». Верно, что слово «брат» можно уравнивать с «человек мужского пола, имеющий общих родителей с другим человеком», но если вам потребуется заменить слово «брат» этим выражением, то вы получите крайне непонятное предложение «Билл – это человек мужского пола, имеющий общих родителей с другим человеком, Джона»!

Контекстуальное определение называется так потому, что оно определяет термин в контексте предложения (более точно, в пропозициональной форме), которое его содержит. Так, контекстуальное определение выражения «брат кого-то»¹ в терминах «мужской пол» и «родитель» выглядит следующим образом: x брат y = x человек мужского пола, отличный от y , и родители x являются родителями y . Для того чтобы применить это определение к вышеупомянутым предложениям, мы должны целиком перевести их в эту форму. Мы не можем просто извлечь из них термин «брат» и заменить его на синоним. Из предложения «Билл брат Джона» получаем «Билл человек мужского пола, отличный от Джона, и родители Билла являются родителями Джона». Точно так же из предложения «У Джона нет братьев» получаем «Нет ни одного человека мужского пола, отличного от Джона, родители которых являлись бы родителями Джона».

¹ Нельзя путать термин свойства «брат» с термином отношения «брат кого-то». Первый термин, как было показано выше, явно определяется через «мужской пол» и «родитель», но не последний. Следует отметить, что как только дано определение «брат кого-то», то вполне обоснованно определять «брат» в терминах «брат кого-то»: брат – это человек, который является братом какого-то человека.

Наш пример предполагает, что контекстуальное определение предназначено, прежде всего, для терминов, связанных по значению. В общем, термины, которые не имеют значения как-то обособленно, но только в контексте целостного высказывания («синкатегорематические» термины), могут быть определены только контекстуально. Объяснить, что означает «все», – значит объяснить, что означает высказывание формы «Все A есть B »; объяснить, что означает «или», – значит объяснить, что означает высказывание формы « p или q » (где буквы « p » и « q » представляют высказывания); раскрыть двусмысленность слова «есть» – значит объяснить, чем по значению отличаются такие высказывания, как «Этот человек как раз и есть тот преступник, которого мы искали» (тождество), «Этот человек есть силач» (предикация), «На кушетке есть кот» (существование). Контекстуальное определение слова «все»: все A есть B = нет ни одного A , которое не есть B . Контекстуальное определение исключающего смысла слова «или»: p или q = не-(не- p и не- q) и не-(p и q).

Нужно различать следующие виды явных определений: *родовидовые*, *дизъюнктивные* и *квантитативные*. Слово «сиблинг» можно определить дизъюнктивно как «брат или сестра» (при условии, что вы не будете определять «брат» как «сиблинг мужского пола», а «сестра» – как «сиблинг женского пола»!)¹, слово «супруг» – как «муж или жена». Эта процедура сводит объяснение коннотаций родового термина к перечислению видов, образующих род. Это оправданный способ объяснения значения незнакомого слова при помощи знакомых слов, но его не следует путать с анализом. Едва ли таким образом можно провести анализ понятия «животное», перечисляя разные виды животных: животное – это или лев, или мышь, или собака и т.д. Пример квантитативного явного определения: импульс тела – это произведение массы этого тела на его скорость. Здесь определяется термин, обозначающий величину (измеряемое свойство), а не класс объектов; следовательно, терминология общего рода, вида, отличительного свойства, обобщения и ограничения здесь не применима. Импульс – это не разновидность скорости, в том смысле, в котором львы являются разновидностью животных. Сходным образом явными являются определения « $x^3 = x \cdot x \cdot x$ », « $2 = 1 + 1$ », « $i = \sqrt{-1}$ », но они не обладают ни родовидовой, ни дизъюнктивной формой. С другой стороны, некоторые определения математических понятий имеют форму собственно родовидового определения. Например, простое число – это число, которое делится только на единицу и на само себя.

Разновидностью контекстуального определения, имеющей важное значение для эмпирической науки, является *операциональное* определение. *Definiens* такого определения имеет форму импликации: *если* проводится опре-

¹ Надо сказать, что в словаре вы, вероятно, обнаружите, что «сиблинг» определяется в терминах «брат» и «сестра», а эти последние в терминах первого. Когда такие содержащие *круг* определения забираются, это связано с тем, что «определение» понимается как объяснение значения слова посредством слов, значение которых уже известно тому, кто требует объяснения. Но составитель словаря просто не может предугадать, какие слова уже понятны, а какие слова будут «искать» продвинутые пользователи словаря. Для страховки он может определить «сиблинг» через слова «брат» и «сестра» для тех, кто не знает значения слова «сиблинг», но знает значения слов «брат» и «сестра», и также может определить слова «брат» и «сестра» через слово «сиблинг» для тех, кто, может быть, знает значения слов «сиблинг», «мужской пол» и «женский пол», но не знает значения слов «брат» и «сестра».

деленный тест, *то* наблюдается определенный результат. Например, *x* растворяется в воде = если *x* поместить в воду, то *x* растворится; *x* является магнитом = если поместить небольшое металлическое тело рядом с *x*, то оно начнет двигаться относительно *x*; *x* мстительный = если *x* обидели, то *x* жаждет мести; *x* незлопамятный = если *x* обидели, то *x* не держит зла на обидчика (по крайней мере, не более, чем до того, как его обидели). Понятия, которые определяются операционально, как показано выше, часто называются *диспозиционными* понятиями. Приписать *предрасположенность* (disposition) объекту – значит предсказать, как он будет реагировать на определенное воздействие при определенных обстоятельствах.

Заслуживает упоминания еще одна форма определения, которая используется главным образом в математике и формальной логике: *рекурсивное определение*. Так, арифметическое сложение можно рекурсивно определить как $(x + y)' = (x + y)'$ и $(x + 0) = x$. Здесь «*y'*» означает «число, которое непосредственно следует за *y*»; понятия о непосредственном следовании и нуле являются неопределяемыми, но используются для того, чтобы дать (рекурсивное) определение «плюс». Применяя это определение к выражению формы $(x + y)$, можно за конечное число шагов избавиться от знака сложения. Так, « $2 + 3$ » можно привести к такой форме, заменив «3» на определяющее его « $2'$ ». Пошаговое устранение «плюс» проходит следующим образом: $2 + 2' = (2 + 2)' = (2 + 1')' = (2 + 1)'' = (2 + 0')'' = (2 + 0)''' = 2'''$. Последнее выражение может быть заменено на «5», учитывая эксплицитное определение «5» (тем самым мы, между прочим, формально доказали « $2 + 3 = 5$ », хотя такое формальное доказательство ничего не говорит нам о том, как мы могли бы обращаться с равенством в практической жизни).

Упражнения: 1) Постройте контекстуальные определения для терминов отношения «дядя кого-то», «дедушка кого-то», «племянник кого-то» и для терминов свойства «невестка» и «кузина», используя следующие термины: «мужчина», «женщина», «родитель» и «состоять в браке».

2) Постройте операциональные определения следующих терминов: «опасный», «гибкий», «огнеопасный», «упрямый».

3) Дайте классификацию следующих определений, согласно перечисленным формам:

а) Физически однородное вещество – это вещество, все образцы которого имеют равную плотность и плаваются, затвердевают или испаряются (при стандартном давлении) при одной и той же температуре;

б) Родитель – это мать или отец;

в) Ускорение – это показатель изменения скорости;

г) Сказать, что человек имеет свободу слова, – значит сказать, что ему по закону разрешено говорить всё, что он хочет сказать, в любое время и в любом месте;

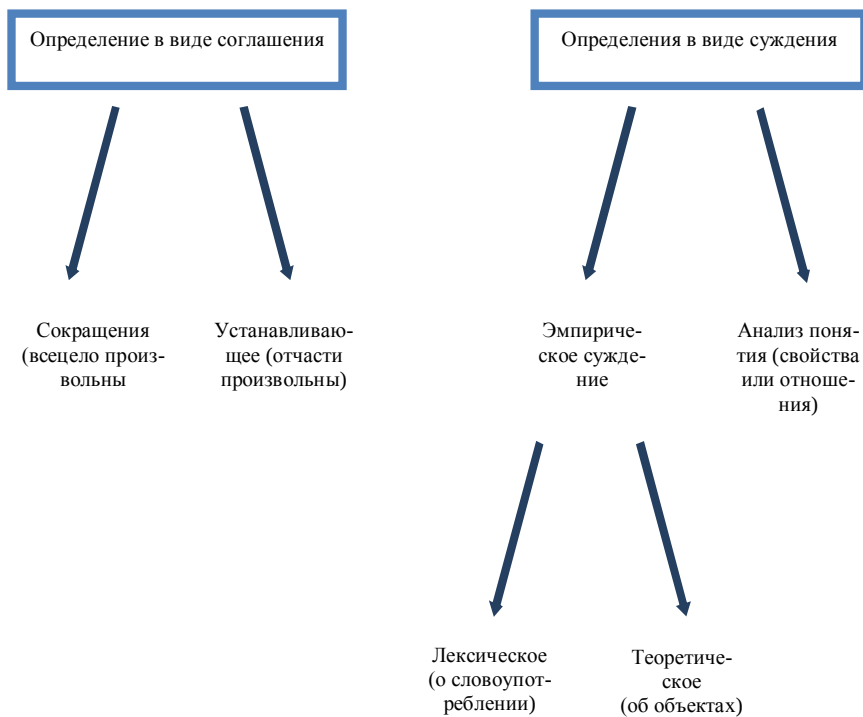
д) Два тела имеют равную массу, если они одинаково упруги.

е) $n! = n((n - 1)!)!$, и $0! = 1$.

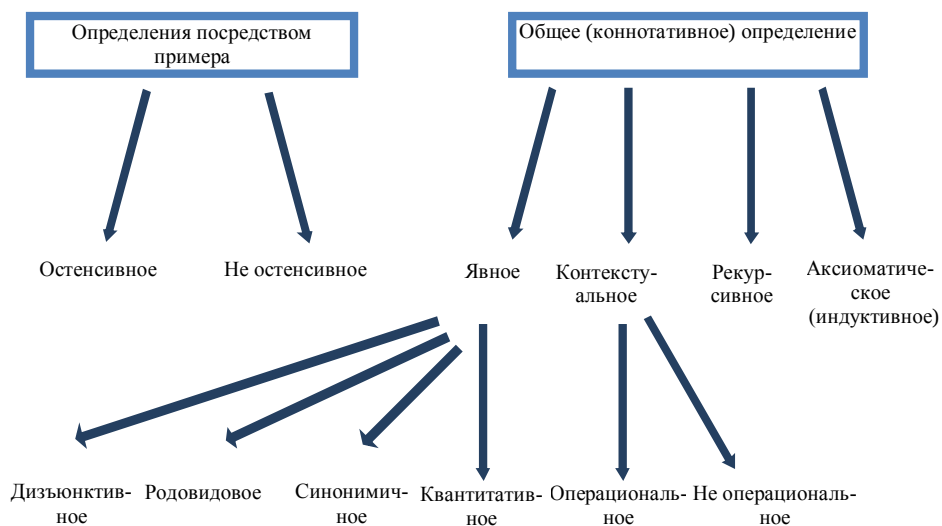
ж) Определите 5! На основе определения, данного выше в в).

з) Определите контекстуально неисключительный смысл «или» в терминах его исключительного смысла, используя «и» и «не».

Эпистемологическая классификация



Формальная классификация



Ogleznev Vitaly V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: ogleznev82@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/30

Surovtsev Valery A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: surovtshev1964@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/30

**IN WHAT SENSE DEFINITIONS MAY BE TRUE OR FALSE: SOME REMARKS ON
THE ARTICLE OF A. PAPA'S "THEORY OF DEFINITION"**

Key words: Theory of definition, true or false, epistemology, formal theory

The question on possibility to estimate definition as true or false is considered. It is shown that such estimation does not apply to definitions. Judgements or statements are true or false. The estimation of definitions is based on formal correctness or abnormality. The translation into Russian A.Papa's work «The Theory of Definitions» is presented in appendix.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 316.77

DOI: 10.17223/1998863X/38/31

В.И. Красиков

ДОМИНАНТНАЯ ГРУППА В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФИЛОСОФСКОМ СООБЩЕСТВЕ¹

Предмет исследования – генезис, основные вехи становления групп эпистемологической и сциентистской ориентации в России начала XXI века, выявление их концептуальных позиций посредством анализа фокусных дискуссий, состоявшихся на страницах ведущих философских журналов. Автор рассматривает историко-философские основания этих новых складывающихся традиций, их представленность в институтах и особенности теоретических платформ.

Ключевые слова: эпистемологи, философы науки, аналитические философы.

Любое профессиональное философское сообщество – в той или иной развитой культуре – имеет сформировавшееся при его возникновении общее поле интеллектуального внимания и ряд соперничающих между собой групп интеллектуалов, объединяемых внутри групп относительно близкими взглядами [1]. Это – норма и свидетельство относительной развитости духовной жизни в стране и, в частности, в ее философском секторе. В настоящее время в этом секторе российской духовной жизни наблюдается присутствие нескольких групп, которых можно обозначить условно как «неомарксисты», «философы мышления и языка», «традиционалисты», и та группа, рассмотрение внутренней динамики которой и составит содержание этой статьи.

Представители наиболее влиятельной и сильной сейчас группы в сообществе отечественных любомудров – *конstellация приверженцев эпистемологии, философии науки и аналитической философии*. По-другому ее можно обозначить как «научно-философскую позицию ... где главным источником философских суждений являются достоверные научные истины. К ней примыкает аналитическая традиция, опирающаяся не на научные данные, а на логический анализ высказываний. Общим является характер обоснования, который должен быть ясным и логически выверенным» [2. С. 104].

Эта группа устанавливает свою преемственность от «носеологов» конца 70-х – середины 80-х гг. прошлого века в советской философии, к которым тогда относились Н.С. Автономова, И.С. Алексеев, В.А. Бажанов, В.Н. Борисов, Е.К. Быстрицкий, А.С. Кармин, М.С. Козлова, С.Б. Крымский, В.А. Лекторский, Л.А. Микешина, А.П. Огурцов, Б.И. Пружинин, К.А. Свасьян, Г.Л. Тульчинский, М.А. Розов, В.П. Филатов, Э.М. Чудинов, В.Г. Швырев, Ю.А. Шрейдер, Э.Г. и Б.Г. Юдины и др. [3. С. 63]

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-03-00087.

Она оформляется в нынешнем ее виде в конце перестройки, в условиях «деидеологизации» российской философии. В то время заниматься гносеологическими и методологическими вопросами, решать междисциплинарные проблемы, разрабатывая категориальный инструментарий для естествознания стало синонимом реального дела в философии. Тем более что именно в отечественной гносеологии и методологии, хотя в целом и марксистско-материалистического толка, были созданы и серьезные работы, и целые школы (П. Копнина, А. Зиновьева, Г. Щедровицкого, В. Смирнова, В. Лекторского, В. Степина, Д. Горского, И. Блауберга – В. Садовского, В. Штофа, М. Розова и др.)

Не в пример «диалектическим материалистам», заключенным в формат канонических категорий диалектики и материализма, гносеологи и эпистемологи в советской философии имели широкое поле для маневра, так как классики не удосужились оставить сколько-нибудь внятных разработок по процессу познания и статусу знания. Ведь в сравнении с метафизическими спекуляциями гносеология требует ясно мыслимых и, что важнее всего, верифицируемых гипотез. Наблюдалось также серьезное влияние на формирующееся в 70–80-е гг. отечественное науковедение неопозитивистской, постпозитивистской традиций и аналитической философии, которым позволялось проникать к нам в силу их идеологической безобидности.

Истоки влияния группы эпистемологов – контроль над важными государственными философскими институтами, а также поддержка ученых-естествоиспытателей. Лидеров группы знают не только в естественно-научных сообществах, их труды также хорошо известны и рядовым философам-преподавателям – «пролетариям умственного труда» провинциальных и столичных вузов. Можно сказать, что на сей день это «верхи» казенной институциональной философии в России, если позволительно ее так называть. Именно они определяют, что изучать в вузах и что почитать за «серьезную философию» в отличие от всяких там постмодернистов.

Исходное единство стало возможным благодаря общности познавательной тематики и сциентизму, а также противостоянию другим, совершенно неприемлемым позициям. Объединяющим началом является признание сердцевиной теоретической философии исследований в области эпистемологии, а их основными регулятивами – методологическую рефлексию и рационально-критическую установку [4].

Эмоционально их сплачивает своего рода «гносеологический мессианиззм», полагающий, что «эпистемологи синтезируют современные философские подходы со всем интеллектуальным богатством культуры ... помогают культивировать рациональное мышление, будят творческие интенции, наконец ...берут на себя ответственность за судьбу философии в целом» (курсив автора цитаты. – В. К.) [5. С. 95].

Организационное оформление группы произошло в Институте философии РАН, первоначально на ежемесячном семинаре по эпистемологии (с 2002 г.), затем – вокруг журнала «Эпистемология и философия науки» (с 2004 г.). Организаторами семинара были проф. Д. Дубровский и член-корр. РАН И. Касавин. Помимо формальных лидеров группы, сюда часто наведывались Р. Апресян, В. Аршинов, Л. Баженов, Л. Буева, И. Герасимова,

В. Казютинский, Г. Левин, В. Лекторский, Е. Мамчур, Л. Маркова, И. Меркулов, Л. Микешина, А. Никифоров, В. Порус, Б. Пружинин, В. Розин, М. Розов, Ю. Сачков, В. Самохвалова, Г. Сориная, В. Степин, В. Филатов, Н. Юлина, В. Яковлев и др.

Однако подлинным «организатором и агитатором» стал, конечно же, журнал. Устные выступления, аргументы и дискуссии быстро забываются, но то, что зафиксировано в печатном (сейчас и в электронном) тексте, остается надолго, в потенции – навечно, если это кому-то впоследствии будет интересно в представимом будущем.

Начиная с первого номера, в течение последнего десятилетия, с завидным постоянством воспроизводятся и обновляются на страницах рубрики «Панельная дискуссия» стержневые темы фокусных для данной группы споров: истина, объективность, субъект, объект, релятивизм. Их регулярные, довольно эмоциональные обсуждения выявляют наличие серьезных разногласий между двумя, пока еще составными, частями общей эпистемологической коалиции, которые условно можно назвать «реализмом» и «конструктивизмом».

Позиция «реализма», или, можно сказать, «традиционалистского рационализма», образуется, во-первых, *противостоянием* «непомерному распространению в современной культуротворческой деятельности тенденций иррационализма, скепсиса, деструктивности, эстетизации абсурда» [6. С. 81].

Второй объединяющий фактор, – это *полемика* с релятивистами в своих рядах – с «рискованными культурологическими подходами (вроде этнометодологии)» [7. С. 65], социологией науки, психолингвистическими изысканиями в эпистемологии и философии науки, которые оцениваются как «схоластические» и «бесплодные» [8. С. 73]. Часто оппонентам приписываются шаржированные мнения.

В-третьих, «реализм» мотивируем *защитой* ценностей классического рационализма: объективности познания и истины как его цели. Науке просто необходимо быть уверенной в том, что «мы имеем дело с миром, существующим независимо от нашего познания и сознания, и что именно характеристики этого мира мы в принципе (хотя и не всегда фактически) можем знать» [9. С. 19]. Наука – по крайней мере естествознание – преодолевает релятивизм личностей, школ, наций. Познание – это стремление к абсолютному знанию, к истине, остающейся истиной во всех возможных культурах и мирах [10].

В-четвертых, «реализм» здесь – это *опора* на фундирующие принципы некоторых прежних философских традиций. Это может быть и классический трансцендентализм с его установками на определение «всеобщих условий познавательного отношения человека к миру, выявление горизонта универсальных ценностей познания, моделирования субъекта познания как представителя познающего человечества» [11. С. 73].

И «деятельностный реализм», в котором внешний мир схватывается, «берется» через активные действия, а человек постигает окружающее с помощью технически опосредованной деятельности и систем языка [12. С. 47].

Наконец, мы можем встретить и причудливую комбинацию диалектического материализма с неопозитивизмом – «пересказ учения о соотношении абсолютной и относительной истины диалектического материализма и учения о возрастании степени правдоподобности научных теорий К. Поппера» [10. С. 72].

«Конструктивистский рационализм» (или как несколько ругательно он обозначался в первых панельных дискуссиях – «релятивизм») представляет собой специалистов, позиционирующих себя как «прогрессивных», более свободно, широко интерпретирующих рациональность и основные форматные категории научного исследования – в духе новомодных веяний последних двух-трех десятилетий на эпистемологическом Западе. По необходимости обобщенно и упрощенно их позиция может быть представлена в следующих тезисах.

Во-первых, научное знание коррелировано не с «объективным миром», который есть не что иное, как идеологема-абстракция классической рациональности, как и «трансцендентальный субъект». Оно соотносимо с конкретным психологическим и историческим субъектом (научным сообществом). *Субъектность – важнейшее качество научного знания*, заменяющее дискредитированную «объектность». Конечно же, это не банальный индивидуальный субъективизм «феноменалистического антиреализма» в духе Беркли, Юма или же махистов.

Новый субъект, порождающий здесь знание, коллективен и контекстуален, а «фундаментальные параметры живого релятивного познания включают в себя: эмпирические элементы, изменчивость, временность, ценностные предпочтения, культурно-историческую обусловленность» [13. С. 61]. Отвлечение от последних – в пользу «чистого сознания» и абстракции «природы» – неправомерно.

Что же познает культурно-исторический субъект? «Мы познаем не мир как таковой, а нашу деятельность в этом мире» и «не должны приписывать законы или теории науки самой Природе» [14. С. 64, 65].

Собственно, в понимании «субъекта и объекта» и находим главный пункт разногласий. Он же порождает и дальнейшие логические следствия – в отношении к истине и к пониманию характера генезиса научного знания.

Второй тезис «конструктивистов» вытекает из относительности-плюрализма в понимании «субъекта-объекта» познания и касается ревизии места и функций концепта «истины» в научном познании.

Истина – очень условное и малоприспособное для науки понятие. Так, теоретические знания «ложны по определению», представляя собой сильные идеализации, которым мало что соответствует в реальности. Знания – неявные и непосредственные образцы деятельности – также не обладают «презумпцией истины», так как «не имеют какого-то достаточно точного определенного содержания». Сильные идеализации (теории) могут считаться оправданными, если соответствуют неким конкретным практическим условиям, выбираемым интуитивно (неявно) [15. С. 90].

«Истина здесь – довольно-таки мимолетное свойство знания. Им обладает только господствующая на данный момент теория, и то очень непродол-

жительное время: она постоянно пребывает в состоянии ожидания неизбежного опровержения» [16. С. 83].

Что же взамен? К примеру, это – *смысл*, который «нейтрален к истине и лжи ... нивелирует их противоположность и смещает интерес исследователя к границе наука – ненаука, к рождению науки из контекста, а не из прошлого знания, к пространственным отношениям скорее, чем к временным» [17. С. 55].

Или это «идея *правдоподобности*». Поворот к «идее правдоподобности научных теорий вместо понятия "истина" избавит философию науки и историко-научные реконструкции от неоправданных отождествлений и допущений, от идеологических иллюзий и теоретических амбиций, позволив сделать методологическое оснащение историков науки более строгим, корректным и подвластным математическим измерениям. Такого рода подход позволит избавиться от неявного допущения историко-научных реконструкций о том, что история науки – это современная научная теория, опрокинутая в прошлое» [18. С. 67].

Третий тезис, собственно, созвучен самому теоретическому брэнду данной эпистемологической фракции – *научное знание имеет радикально конструкционный характер*, впрочем, как и любое другое.

«Сторонники социального конструктивизма в исследовании научного познания исходят из того, что все теоретические построения не имеют реальных референтов и принятие той или иной теории в любой науке – как естественной, так и социальной – может быть объяснено коммуникативными взаимодействиями между учеными-теоретиками и экспериментаторами... То, что самому ученому кажется изучением некой реальности, на самом деле есть не что иное, как конструирование, создание этой реальности» [9. С. 21, 22]. Вполне понятно, что модальность принятия этого тезиса разными представителями этой группы различна.

Как и в случае с «реалистами», своеобразие взглядов здесь также определяется в зависимости от теоретических пристрастий в отношении кумиров, будь это Дж. Гибсон, Р. Рорти, П. Фейерабенд, М. Полани, Д. Блур или Н. Луман.

Группа «аналитических философов» имеет своим началом переводческую и исследовательскую деятельность выдающихся столичных специалистов по «современной буржуазной философии» еще с советского периода: М.С. Козловой («Философия и язык», 1976); А.Ф. Грязнова («Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна», 1985, «Язык и деятельность. Критический анализ витгенштейнианства», 1991); З.А. Сокулер («Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в.», 1994) и др.

Конечно, как и следует ожидать, наиболее видные представители отечественной аналитической традиции представлены в обеих столицах. Они уже заняты не только переводами, но и теоретическими исследованиями, которые вполне могут быть охарактеризованы как принадлежащие к аналитической философии: М.В. Лебедев, А.З. Черняк, Д.Б. Волков, А.С. Карпенко, Л.Б. Макеева, Е.Г. Драгалина-Черная и др.

Особенностью аналитической группы является ее выдающаяся сибирская представленность – в Томске и Новосибирске. Большая часть новых

переводов философов-аналитиков, которые появились за последние пятнадцать лет, – результат деятельности томичей В.А. Суровцева и В.А. Ладова (ТГУ). В Новосибирске это – В.В. Целищев, А.В. Бессонов, В.В. Петров, А.Л. Блинов (философский факультет НГУ и Институт философии и права СО РАН) [19].

Именно с «аналитиками» оказалось связанным другое противоречие, появившееся внутри российской эпистемологической коалиции. Оно воспроизводит на нашей почве напряжение между рационализмом западноевропейской традиции последних 40 лет («постпозитивизм», «историческая школа») и его англо-американским аналитическим вариантом.

Обнаружилось это в 2009 г. – на V Российском философском конгрессе в Новосибирске. Здесь состоялась косвенная полемика между московскими эпистемологами и лидерами сибирской группы «аналитической философии» (В.А. Суровцев и В. В. Целищев). Их пленарные доклады на конгрессе – что уже само по себе представляло некую заявку и манифестацию – были посвящены презентации и притязаниям аналитической философии в России.

Рецепция аналитической философии у нас идет с трудом, отмечал один из докладчиков, чему способствуют особенности и мышления нашего (метафоризм, спекулятивность, особые претензии), и наносы традиции идеологии. «В результате АФ прижилась в нашей стране в двух крайних формах: а) сильная школа философской логики с упором на логическую технику; б) методология науки в стиле постпозитивизма» [20].

Зачем это нам нужно – опять что-то перенимать? Автор полагает, что это просто необходимо, особенно учитывая многозначность, метафоричность и велеречивость нашего языка. И как бы мы ни чурались трудно даваемых нам логических формул, требований четкости и ясности в изложении – придется все это осваивать, чтобы не остаться на задворках современных тенденций в развитии мирового философского знания. И вопреки тому, что «у многих отечественных философов стремление оперировать эффектными метафорами, за которыми не стоят отчетливо мыслимые понятия, содержание которых можно проанализировать и представить в виде последовательной системы, перевешивает тягу к здравому смыслу», строгие методы современной рациональной философии все равно придется осваивать» [20].

Резонно, однако, напомнить, что чтение текстов самих аналитиков представляет собой отнюдь не легкое занятие, вопреки провозглашаемым ими принципам точности и ясности. Как и всякое оригинальное направление, они придумали себе язык не менее эзотерический, чем в феноменологии, экзистенциализме или же в постмодернизме. Также они интенсивно переописали традиционный философский словарь – в классические философские значения вкладываются другие, уже свои, смыслы, требуя, чтобы профессиональный жаргон, «простота и логика» именно их направления стали одним и единственным образцом для всех философов – если, конечно, они хотят быть рациональными. Причем аналитическая философия охраняет свои дисциплинарные и терминологически-смысловые границы более бдительно, чем это имеет место в большинстве гуманитарных и социальных наук.

Все эти рассуждения пока еще оставались в рамках вполне понимаемого «чувства избранности», которым отличаются любые неофиты, в том числе

и отечественные ревностные последователи аналитизма. Однако прозвучал и явный теоретико-идеологический вызов аналитической фракции прямоком в адрес центральной эпистемологической группы – заявление о своей большей научной аутентичности: «Когда философия вступает на территорию естественнонаучного поиска, мы имеем дело с аналитической философией. В некотором смысле это претензия философии на позитивное знание...», – утверждалось в другом пленарном докладе [21].

Тем более что наши «аналитики» охотно подражают их англо-американским коллегам в отношении континентальной традиции, понимаемой как «ненаучная», «антинаучная». Это выражается в том удовольствии, с каким они подбирают и обильно цитируют уничижительные характеристики для западноевропейской философии со стороны их кумиров (Б. Рассел, Х. Патнэм, С. Хэмпшир и др.): отсутствие точности, ясности, неискренность, тривиальность, «равильная елейность» и т.п. [21]

Вряд ли могла понравиться и констатация того, что «большинство "толстых" философских журналов в мире, если не считать узкоспециализированных, сознательно ориентированы на аналитическую философию, а значительная часть философов являются приверженцами аналитической философии, а не сторонниками континентальной, русской или какой-то другой национальной философии» [21].

Подобные суждения, в которых присутствовали вполне недвусмысленные намеки на отсталость и провинциализм, были восприняты с явной неприязнью консервативно настроенными философскими массами на конгрессе, пребывающими в прекраснодушных маниловских мечтаниях об особо духовной природе отечественной философии.

И довольно ревниво – со стороны традиционалистски мыслящих эпистемологов, что представляется странным, ибо сибирские аналитики показали себя в представленных текстах пленарных докладов более консервативными рационалистами, чем московские «реалисты». Однако, видимо, есть другая логика – логика коммуникации и влияния. Пока аналитики были «младшим партнером», их терпели. Но вот оформляется претензия на более последовательный сциентизм и научную аутентичность (лучший логический техницизм и тематическую конкретность) – и тотчас следует резкая отповедь. «Можно утверждать, что аналитическая философия как исследовательская программа оказалась неосуществимой... Элиминация метафизики не состоялась ... вся аналитическая философия сегодня во многом выродилась» [22]. Единственно приемлемый «символ веры» или идеал – «междисциплинарное исследование познания» – анализ науки в ее эпистемологических, метафизических, этических измерениях.

Однако последователи аналитической философии имеют хороший методологический иммунитет, не менее, чем у эпистемологов, развитое чувство собственной научно-философской избранности, тесные коммуникации внутри общероссийской группы и фракционную самодостаточность. В 2012 г. в Санкт-Петербурге они смогли провести «первое всероссийское научное мероприятие по аналитической философии в целом» [23. С. 234], которое, с точки зрения их лидеров, оказалось несколько неудовлетворительным с точки зрения идеалов (мелкотемье и техницизм) – носило чересчур «метафило-

софский» характер, ощущался «недостаток результатов работы над конкретными проблемами» [23. С. 234].

И последние вести. Недавно, эпистемологическая группа Института философии РАН, позиционируя себя в виде репрезентантов «российских логиков, методологов, историков и философов науки» предприняла следующий шаг на пути своей институционализации. Она учредила – на Всероссийской конференции «Философия науки и техники в России: концепция и дисциплина» 25–26 марта 2016 года – «Русское общество истории и философии науки». Конференция (85 человек) объявила себя первоначальным корпусом общества, приняла за основу проект устава, выбрала совет и президента. В совет общества избраны В.И. Аршинов, В.А. Бажанов, Д.А. Баюк, И.Н. Грифцова, В.Г. Кузнецов, Т.Г. Лешкевич, В.И. Маркин, И.Д. Невважай, А.А. Печенкин, В.Н. Порус, Б.И. Пружинин, А.В. Родин, И.Е. Сироткина, В.В. Целищев. Совет избрал президентом общества И.Т. Касавина.

В наблюдательный совет согласились войти также иерархи: академик РАН В.А. Лекторский (председатель), член-корреспондент РАН В.В. Миرونнов, член-корреспондент РАН Г.А. Тосунян, член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин [24].

Судя по составу совета общества, радикальные консерваторы в него не попали, хотя и включены умеренные традиционалисты. Можно сказать также, что нет здесь и радикалов плюрализма, приглашен и представитель аналитического направления. Вероятно, это должно обеспечить достижение компромисса, поддержание некоторого необходимого баланса и предотвращение внутрифракционных расколов.

Итак, лучше всех перенесла годы лихолетья, дезориентации и прогрессирующей утраты статуса эпистемологическая группа, которая волею судеб оказалась наиболее подготовленной к вызовам деидеологизации, плюрализации, вторжения в духовную жизнь и преподавание рыночных отношений. Речь идет о наборе предпосылок, которые и оказались решающими для выживания, консолидации и сегодняшнего ее доминирования:

- концентрация сторонников в институционально наиболее влиятельном учреждении российской философии (ИФ РАН), создание здесь консолидирующих образований (семинар, журнал, общество), сильные позиции в руководстве институции;

- создание широкой клиентской сети сторонников в крупных провинциальных центрах (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Томск) – благодаря патронированию со стороны ключевых фигур ИФ РАН;

- формирование сциентистской идеологии экспансионистского характера: эпистемология и философия науки – новая содержательная мировоззренческая альтернатива, объединяющая платформа не только для современной российской философии (она – «жесткое ядро междисциплинарного взаимодействия всех социально-гуманитарных дисциплин» [25. С. 6].

Пожалуй, у этой группы отечественных философов сегодня наиболее уверенные перспективы для дальнейшего развития, учитывая ее ключевое институциональное положение в отечественном философском сообществе, представленность в важнейших научных и образовательных учреждениях в основных мегаполисах России, цеховую сплоченность.

Литература

1. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1281 с.
2. Розов Н.С. Русская философия в поворотах истории: фатальна ли периферийность? // Философия и общество. 2016. № 3. С. 96–115.
3. Бажанов В.А. Связь поколений // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. № 1, Т. I. М.: Канон+, 2004. Т. II, № 2. С. 63–64.
4. Касавин И. Т. Журнал «Эпистемология и философия науки»: контуры замысла // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам.. М.: Канон+, 2004. № 1, т.1. С. 5–14.
5. Касавин И. Т. Зона ответственности за судьбу философии // Эпистемология и философия науки. 2004. Т. II, № 2. С. 90–95.
6. Дубровский Д.И. К проблеме релятивизма // Эпистемология и философия науки. Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. М.: Канон+, 2004. № 1, т. I. С. 81–83.
7. Пружинин Б.И. Я все еще надеюсь // Эпистемология и философия науки. Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2004. Т. II, № 2. С. 65–69.
8. Никифоров А.Л. Анализ понятия «знание»: подходы и проблемы // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2009. № 3. С. 61–74.
9. Лекторский В.А. Конструктивизм vs реализм // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2015. № 1, № XLIII. С. 19–26.
10. Никифоров А.Л. Необходимость абсолютного // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. М.: Канон+, 2004. № 1, т.1. С. 70–72.
11. Порус В.Н. Гносеология в ретроспективе и перспективе // Эпистемология и философия науки. 2004. Т. II, № 2. С. 70–75.
12. Лекторский В.А. Ответ на дискуссию // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2015. № 1, № XLIII. С. 47–53.
13. Микешина Л. А. Релятивизм как эпистемологическая проблема // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. М.: Канон+, 2004. № 1, т. 1. С.53–63.
14. Розов М.А. Об относительности знаний к культуре // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2004. Т. I, № 1. С. 64–66.
15. Розов М.А. Несколько слов об истине // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2008. Т. XVI, № 2. С. 88–90
16. Маркова Л.А. Об особенностях современной полемики, о понятии истины, об уступках и компромиссах // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2008. Т. XVI, № 2. С.80–83.
17. Маркова Л.А. Смысл как альтернатива истине // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2009. № 4. С. 48–57.
18. Огурцов А.П. Альтернатива истине: смысл или правдоподобие? // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2009. № 4. С. 63–67.
19. Иванов Д.В. Рецепция аналитической философии в России // Философия науки и техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 106–117
20. Суровцев В. А. Аналитическая философия: всеобщее и нюанс // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 23–30. Сайт журнала «Вопросы философии». Все публикации на сайте. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=52 (дата обращения 27.10.2106).

21. Целищев В. В. Аналитическая философия и сайентизм // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 11–17. Сайт журнала «Вопросы философии». Все публикации на сайте. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=52 (дата обращения 27.10.2016).

22. Лекторский В. А. Философия, общество знания и перспективы человека // Вопросы философии. 2010. № 8. С.30–35. Сайт журнала «Вопросы философии». Все публикации на сайте. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52 (дата обращения 27.10.2016).

23. Тискин Д.Б. Аналитическая философия в России: настоящее и будущее. Всероссийская конференция с международным участием «Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России». Санкт-Петербург, 29–31 мая 2012 // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. 2012. Т. XXXIII, № 3. С. 230–234.

24. Институт философии РАН. URL: http://iphras.ru/25_03_2016.htm (дата обращения: 26.09.2016).

25. Касавин И.Т., Порус В.Н. Философия науки в России: от интеллектуальной истории к современной институционализации // Эпистемология и философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам, 2016. Т. XLVIII, № 2. С. 6–17.

Krasikov Vladimir I. All-Russian State University of Justice (Moscow, Russian Federation)

E-mail: KrasVladIv@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/38/31

THE DOMINANT GROUP IN CONTEMPORARY RUSSIAN PHILOSOPHICAL COMMUNITY

Key words: epistemologists, philosophers of science, analytical philosophers, realists, constructivists, rationality, truth, relativism, the subject of knowledge, the object of knowledge

The object of study of this article is the Russian philosophical community in the post-Soviet period, the basic ideological and institutional its transformation, meaningful characteristics and internal differentiation. The subject of the study is the genesis, the main milestones of formation of groups of scientific and epistemological orientation in Russia at the beginning of the XXI century, the identification of conceptual positions through the analysis of the main discussions in the leading philosophical journals. The author examines in detail aspects such topics as historical and philosophical foundations of these new emerging traditions, their representation in the academic and educational institutions, especially the theoretical platform of their leaders. The research methodology is based on an approach under which the network structure determines the relationship between intellectuals universally valid intellectual attention space, which is structured into several competing positions. The author believes that this group of domestic philosophers has the most confident prospects for further development, given its key position in the domestic institutional philosophical community, represented in the most important scientific and educational institutions in the major metropolitan areas of Russia and guild cohesion. The main results of the study are:

- Description of the history, theoretical characteristics, composition and institutional representation of the two intellectual groups in post-Soviet Russia: epistemology and the philosophy of science, analytical philosophy;

- Description of the theoretical data platforms leaders of communities;

- Description of the lines of the communication of these groups with other similar.

References

1. Collins, R. (2002) *Sotsiologiya filosofiy. Global'naya teoriya intellektual'nogo izmeneniya* [Sociology of Philosophy. Global theory of intellectual change]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.

2. Rozov, N.S. (2016) *Russkaya filosofiya v povorotakh istorii: fatal'na li periferiynost'* [Russian philosophy in the turning points of history: Is peripheralism fatal?]. *Filosofiya i obshchestvo – Philosophy and Society*. 3. pp. 96–115.

3. Bazhanov, V.A. (2004) *Svyaz' pokoleniy* [Communication of generations]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 63–64.

4. Kasavin, I.T. (2004a) Zhurnal "Epistemologiya i filosofiya nauki": kontury zamysla [Journal "Epistemology and Philosophy of Science": Contours of the plan]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 5–14.
5. Kasavin, I.T. (2004b) Zona otvetstvennosti za sud'bu filosofii [Zone of responsibility for the fate of philosophy]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(2). pp. 90–95.
6. Dubrovskiy, D.I. (2004) K probleme relyativizma [To the problem of relativism]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 81–83.
7. Pruzhinin, B.I. (2004) Ya vse eshche nadeys' [I still hope]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(2). pp. 65–69.
8. Nikiforov, A.L. (2009) Analiz ponyatiya "znanie": podkhody i problemy [Analysis of the concept of "knowledge": Approaches and problems]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 3. pp. 61–74.
9. Lektorskiy, V.A. (2015) Konstruktivizm vs realizm [Constructivism vs realism]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(XLIII). pp. 19–26.
10. Nikiforov, A.L. (2004) Neobkhodimost' absolyutnogo [Necessity of the absolute]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 70–72.
11. Porus, V.N. (2004) Gnoseologiya v retrospektive i perspektive [Gnoseology in retrospect and perspective]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(2). pp. 70–75.
12. Lektorskiy, V.A. (2015) Otvet na diskussiyu [Reply to the discussion]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(XLIII). pp. 47–53.
13. Mikesheva, L.A. (2004) Relyativizm kak epistemologicheskaya problema [Relativism as an epistemological problem]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 53–63.
14. Rozov, M.A. (2004) Ob otnositel'nosti znaniy k kul'ture [On the relativity of knowledge to culture]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 1(1). pp. 64–66.
15. Rozov, M.A. (2008) Neskol'ko slov ob istine [A few words about the truth]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(16). pp. 88–90.
16. Markova, L.A. (2008) Ob osobennostyakh sovremennoy polemiki, o ponyatii istiny, ob ustupkakh i kompromissakh [On the peculiarities of modern polemics, on the notion of truth, about concessions and compromises]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(16). pp. 80–83.
17. Markova, L.A. (2009) Smysl kak al'ternativa istine [Meaning as an alternative to truth]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 4. pp. 48–57.
18. Ogurtsov, A.P. (2009) Al'ternativa istine: smysl ili pravdopodobie? [An alternative to truth: meaning or credibility?]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 4. pp. 63–67.
19. Ivanov, D.V. (2015) Reception of Analytical Philosophy in Russia. *Filosofiya nauki i tekhniki – Philosophy of Science and Technology*. 20(2). pp. 106–117. (In Russian).
20. Surovtsev, V.A. (2010) Analiticheskaya filosofiya: vseobshcheye i nyuans [Analytical philosophy: General and Nuance]. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 23–30. [Online] Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=52. (Accessed: 27th October 2016).
21. Tselishchev, V. V. (2010) Analiticheskaya filosofiya i sayentizm [Analytical philosophy and scientism]. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 11–17. [Online] Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=52. (Accessed: 27th October 2016).
22. Lektorskiy, V.A. (2010) Filosofiya, obshchestvo znaniya i perspektivy cheloveka [Philosophy, society of knowledge and human perspectives]. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 30–35. [Online] Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52. (Accessed: 27th October 2016).
23. Tiskin, D.B. (2012) Analiticheskaya filosofiya v Rossii: nastoyashcheye i budushcheye [Analytical philosophy in Russia: the present and the future]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 23(3). pp. 230–234.
24. Institute of Philosophy RAS. (2016) *Filosofiya nauki i tekhniki v Rossii: kontseptsiya i distsiplina* [Philosophy of Science and Technology in Russia: Concept and Discipline]. All-Russian Conference. March 25–26, 2016. [Online] Available from: http://iphiras.ru/25_03_2016.htm. (Accessed: 26th September 2016).
25. Kasavin, I.T., & Porus, V.N. (2016) Filosofiya nauki v Rossii: ot intellektual'noy istorii k sovremennoy institutsializatsii [The philosophy of science in Russia: From intellectual history to modern institutionalization]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 2(48). pp. 6–17.

УДК 130.31

DOI: 10.17223/1998863X/38/32

А.С. Тимошук

**РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ КУТЫРЁВА В.А.
«ПОСЛЕДНЕЕ ЦЕЛОВАНИЕ. ЧЕЛОВЕК КАК ТРАДИЦИЯ». –
СПБ.: АЛЕТЕЙЯ, 2015. – 312 С. – (СЕРИЯ «ТЕЛА МЫСЛИ»)**

Владимир Александрович Кутырёв известен как философ-алармист, сторонник управляемого прогресса. Его статьи и книги – это событие для российской интеллектуальной жизни. Его читают, цитируют, публикуют. Издания Кутырёва отличает сплав высокого гуманизма и пространной эрудиции профессионального философа, яркий художественный стиль, делающие каждую его книгу привлекательной для широкой аудитории

Ключевые слова: гуманизм, коэволюция, консерватизм, технологические пределы.

Новые публикации В.А. Кутырёва – всегда заметное явление в российской интеллектуальной жизни. Его труды отличает сплав высокого гуманизма и пространной эрудиции профессионального философа, яркий художественный стиль, делающие каждую его книгу привлекательной для широкой аудитории. «Последнее целование. Человек как традиция» выделяется ещё и кросскультурной тематикой.

Привычно Владимир Александрович предостерегает читателя от деградации, критикуя постмодернизм/трансмодерн, и раскрывает смысл истории как традицию человека. Конец истории усматривается ещё у Парменида и Канта, положивших начало когнитизации реальности. Если отвлечься от трагической диалектики истории, то обосновывается вполне здравая мысль – не все, что технически возможно, следует воплощать в жизнь. Этический контроль должны осуществлять философы, а для самых буйных учёных может существовать игровая наука, атомные бомбы и адронный коллайдер как музейные экспонаты (С. 17).

Подобно тому, как мы не торопимся к смерти в индивидуальной жизни, такой должна быть модель поведения родового человека – жить, смеяться и верить, как дети и влюбленные.

Несомненным достоинством книги является глубинное погружение в каждую обозначенную проблему. Нижегородский философ докапывается до самых оснований когнитивной науки: Гоббс – Буль – Тьюринг – computer science; никто не уходит от внимания консервативного романтика, даже «популярный у молодёжи Фредерик Бегбедер.

В первой части «ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» автор критикует замещение метафизической философии позитивизмом. Владимир Александрович фиксирует весьма тонкие модификации замены гносеологии с традиционными вопросами соотношения субъекта и объекта эпистемологией, теорией и методологией науки. Он полагает, что имеет место радикальный когнити-

визм или редукция всего многообразия философского знания к теме научного познания.

Подтверждает он свои утверждения анализом современных философских текстов, содержания новых философских энциклопедий, откуда изымаются традиционные ранее философские категории – человек, субъект, объект. Вместо этого – смерть Бога, эстетика пустоты, складки зла и территории перверсий. Цивилизация, заигрывающая со смертью, провозглашающая идеологию самоубийства и глумления над жизнью, в прямом смысле призывает апокалипсис.

В.А. Кутырёв предлагает самобытную интерпретацию истории философии Лейбница, Канта, Гегеля, Гуссерля, Витгенштейна, Хайдеггера сквозь призму вопросов познаваемости мира и укоренённости человека в бытии.

Позитивный итог первой части суммируется в максиме – сначала надо быть, а потом меняться; развиваться надо для того, чтобы быть. Sustainable development – это когда изменение и становление не самоцен(ль)ны, не движение в дурную бесконечность, а служат сущему и Бытию (С. 85). Для философии же в качестве диеты и здорового моциона Кутырёв прописывает диалектико-феноменолого-синергетическую методологию.

Часть вторая, «ЧЕЛОВЕК XXI: УХОДЯЩАЯ НАТУРА, УГАСАЮЩИЙ ДУХ...», начинается с итерации известных прогрессистских штампов перехода от первобытного состояния к сапиентному. Жаль, что критицизма Кутырёва не хватило на редукцию этой затёртой и эмпирически не проверенной мифологемы. Культура, личность, духовность предстают здесь как банальные эволюционные исторические завоевания, достигнутые за тысячелетия дикости и варварства.

Следом идёт ещё одна мифологема. После скачка к целерациональному действию Вебера в качестве гипертрофированного примера приводятся слова немецкого социолога, обличающие стремление к наживе в США – «бездушные профессионалы, бессердечные сластолюбцы» (С. 91). Увы, антиамериканизм наших неоконсервативных интеллектуалов носит книжный и оценочный характер. Дальнейшие рассуждения о становлении Актора-технократа взамен обычного человека – готовый конспект для выступления в молодёжном лагере на Селигере.

Кутырёв порицает замену человека архаического личностью динамической, рыночной и либеральной, отрицающей добуржуазную историю, историю Советского Союза. Это, действительно, свежий взгляд на историю! Особенно, если мы вернёмся вновь на фундаментальное основание неизменности человека в истории.

Злословие по поводу электронного человека, как всегда у Владимира Александровича, очень хлёсткое и метафоричное. Здесь и «ручной или виртуально-технический аутизм человека-фактора, потерявшего интерес к сексу», «роль человека как поставщика эмпирического материала», «мыслящий зомби», «воля к потреблению», «кремниевое бессмертие», «неомания», «словесные “консервы” хранятся неопределенно долго», «Деррида, Делёз, – операторы по клинингу», «культура смерти» и пр.

Пафос по поводу наступления космо-электро-кибер эры настолько велик, что по прочтении книги складывается впечатление, что мы живём в стране

из сценария Джорджа Лукаса, а не в обществе, где часть населения пользуется уличным туалетом, дровяным отоплением и все NBICS технологии рухнут перед традиционностью 6-миллиардного Третьего мира. Информационно-космические технологии остаются лишь тонкой ширмой, за которой проглядывают Средневековье и варварство. Наш технологический прорыв до транзисторов – это лишь кратковременное упущение метеоритного пояса Койпера.

Книги Кутырёва всегда заманчивы онтопоэтическим рифмачеством. В духе Хайдеггера он делает неожиданные переходы и аллюзии: точная наука: точка – тычка – тычинка и пестики – мужское и женское; на(ви)сельники виртуальной реальности; тело: тло, зола, земля, глина, прах, вещество, вещь(ит), весит, телец, теленок, тяжесть, при-тяжение (тела к телу) в космосе и жизни; кожа: кожура, кора, корки, корень, шкура, шура, с(ш)корняки, скуратовы, кожаное пальто или сапоги; уд[^] удалец,...(м)удило, Лука Мудишев,ударник (винтовки, труда), (м)удак, (м-удо)звон, бл-уд-ница...заблуждение, удо-вольствие, удовлетворение,... буй-тур, горный козел, турнир ...турак, дурак... (С. 35, 306)

Справедлива критика технократического романтизма Вернадского и Циолковского. Представления о ноосфере как научном рае, где будут горы хлеба и бездны могущества, оказались поверхностны и несбыточны. Согласен с автором, что никакие действительные тенденции эту счастливую надежду не подтверждают. Напротив, наблюдается достижение технических пределов в космосе, а это означает переориентацию инженерной мысли с экстерналистской программы на интерналистскую по энергосбережению и устойчивому развитию на Земле. Именно поэтому книги В.А. Кутырёва чрезвычайно нужны сегодня для гуманистического и гуманитарного образования, противостоящего наивному технократизму. В России чрезвычайно востребована программа сбалансированного подхода к хозяйствованию и инновациям. Гонка за водой на Марсе не должна перевешивать заботу о собственных водных и лесных ресурсах. Особенно в условиях дефицита бюджета.

Заключительная третья часть «В КОНЦЕ БЫЛА ЦИФРА...» посвящена критике выхода из плена языка и увяданию традиционной сигнальной системы. Кутырёв ратует за возврат влияния языковой философии и артикулирование смыслов христологической цивилизации.

Делается обзор современных контрлингвистических революционеров. Разгромлена философия языка А.С. Нилогова, ибо есть веер противоречивых предположений и утверждений во главе с главным оксюмоном – для того чтобы повысить культуру молчания в нашей стране, необходимо высказаться на 216 страницах. Кутырёв полагает, что автор подменяет антиязык невербальной коммуникацией, медитацией, бессознательным.

Все, кто сидит за компьютерами, заняты, в сущности, скрипторикой. 3-D принтеры сделают мир письмом! Творить – значит печатать. Автоматы, печатающие сами себя. Скрипторика как идеология пишущего класса. «Глухие демоны», т. е. самоуправляемые компьютерные программы будут беседовать друг с другом вообще “без мозгов”» (С. 257–260).

Осуждена риторическая теория числа С.Е. Шилова, предлагающего перейти к восприятию физического мира без метафор (клей, супы, цветность, четность, темная материя) и призывающего вернуться к первичному элементу кодирования языка – числу: «Цифра беспредметна, поэтому лишена воображения и моделирования. Новый тип рациональности – философия электронного мышления» (С. 260–265).

Себя Кутырёв не включает в число революционеров. А надо бы! Его программа сопротивления проста в своей естественности. Радикальный поворот философии – забыть Дерриду (Нилогова? Шилова? Эпштейна?)

Закключение подводит нас к программе консервативного поворота. В.А. Кутырёв увещевает не участвовать из моды в программе умертвления и расчеловечивания мира – агенты сциентизма и техницизма, одумайтесь, не будьте слепым орудием самоапокалипсиса.

Нижегородский мыслитель артикулирует консерватизм как философию хранителей мира. Литургия, спасение, христианская проповедь противостоят либертарным заявлениям «Прогресс не остановишь», «Иного не дано», «Техника – наша судьба». Прогрессиизм не должен быть поистине неотвратимым как смерть, приходит к заключению автор.

Что вместо технического поступательного развития? Звучат лозунги «исповедовать парадигму коэволюции и полионтизма», «заботиться о продолжении своей, нашей, человеческой формы», «поощрять безвозвратный отлёт на Марс всех технократов и при этом бороться за сохранение живой колыбели разума», «Земля как гомопарк», «борьба за Традицию», «Всемирное Движение Человеческого Сопротивления!», «консерватизм как творческое действие по сохранению, памятованию и благодарности» (С. 268–276).

Либеральный прогрессиизм – это установка на то, чтобы забыть, ссылается Кутырёв на интеллектуальный бестселлер П. Крусанова «Ворон белый. История живых существ» (СПб., 2012). Прогрессом следует управлять, соотнося с целями и благом человечества.

Книга снабжена интервью автора по поводу выхода предыдущей книги «Философия Mortido». Кутырёв даёт прямолинейные ответы на такие каверзные утверждения и предложения, как: «отечественное восприятие постмодернистской философии весьма поверхностно, а потому – крайне агрессивно», «ваша трактовка небытия носит не чёткий методологический характер, а паразитирует на волне всеобщего отрицания – того самого нигилизма, чья причина – забвение вопроса о ничто», «Ваша критика трансгуманизма однобока, а потому – непродуктивна», «посмотрите позитивно на основные положения доктрины «Бессмертие – 2045», «пора с почестями похоронить труп Человека», «прогресс / консерватизм – это старая бинарная привычка», «философия – не женское дело».

Общий вывод: книга В.А. Кутырёва, несомненно, блистательна! Такая оппозиционная философия необходима человечеству перед фактом экспансии высоких технологий. Кутырёва нужно читать уже ради того, чтобы узнать новинки литературы и получить свежий взгляд на историю философии от Парменида до А. Зиновьева.

И пускай временами автор борется с фантомами технократии, его критика эконометрического подхода к хозяйствованию, построенного на ВВП,

потреблении и инновациях, тренда преодолеть остатки ценностного подхода к социальным проблемам вплоть до провозглашения «приоритета права над благом», справедлива и своевременна. Технократы в российском образовании уже победили! Менеджмент качества образования – чистая кибернетика, которая проверяет воспитанность и образованность студента входами, выходами, процессами и количественным методом их подсчёта.

Философия сопротивления консервативного романтизма проста и изящна – поставь жизнь выше поисков её смысла. В провозглашении глубинной экологии как заботы о предметном макромире автор в лучших традициях русской литературы превозносит Человека обыкновенного, а значит, и повседневность православной Софии.

Timoschuk Alexey S. Vladimir Law Institute FSIN of Russian Federation (Vladimir, Russian Federation)

E-mail: a@timos.elcom.ru

DOI: 10.17223/1998863X/38/32

REVIEW OF THE BOOK BY KUTYREV V.A. LAST KISSING. MAN AS THE TRADITION. - SPB.: ALETHEIA, 2015. - 312 P. - ("BODY OF THOUGHT" SERIES)

Key words: humanism, co-evolution, conservatism, technological limits

Every new book by V.A. Kutyrev is always a significant event in Russian intellectual life. His works are distinguished by a high alloy of humanism and erudition, lengthy professional criticism, pungent style, all that is needed to make every new book a novelty. Customarily Vladimir warns the reader against degradation in a new, criticizing postmodernism / transmodern and reveals the meaning of history as a human tradition. The end of history is seen more in Parmenides and Kant, that ushered knowledge based understanding of reality. Apart from the tragic dialectic of history, it is proved quite a sensible idea - not everything that is technically possible, should be put into practice. Ethical control must be implemented by philosophers, as for atomic bombs and Hadron Collider – they should be displayed as museum exhibits. Kutyrev's philosophy of conservative romantic resistance is simple and elegant – put the life above the quest of meaning. The proclamation of deep ecology as care about the things around us is done in the best traditions of Russian literature and Orthodox Sofia.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛЕКСЕЕВ Роман Владимирович – кафедра культурологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: leop0ld@mail.ru

АРДАШКИН Игорь Борисович – доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии науки и техники Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

БЕСЦЕННАЯ Виктория Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных и русского языков Омского автобронетанкового инженерного института (г. Омск).

E-mail: vikvl@mail.ru

БОРОВИНСКАЯ Дарья Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сургутского государственного педагогического университета (г. Сургут).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

БОРОВКОВА Ольга Владимировна – доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры общественных дисциплин Рубцовского института (филиал) ГОУ ВПО «Алтайского государственного университета», РИ АГУ (г. Рубцовск).

E-mail: o.v.borovkova@gmail.com

БОРОВКОВ Александр Михайлович – кандидат философских наук, доцент кафедры общественных дисциплин Рубцовского института (филиал) ГОУ ВПО «Алтайского государственного университета», РИ АГУ (г. Рубцовск).

E-mail: o.v.borovkova@gmail.com

БОЛЬШАКОВ Никита Викторович – преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации, аспирант департамента социологии НИУ ВШЭ (г. Москва).

E-mail: nbolshakov@hse.ru

БРАЛГИН Егор Юрьевич – кандидат философских наук, доцент Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина (г. Бийск).

E-mail: egor-bralgin@yandex.ru

БЫКОВ Роман Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: nimai@sibmail.com

БЫКОВА Елена Юрьевна – аспирант кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: nimai.bykov@gmail.com

ВОРОНКОВА Анастасия Игоревна – аспирант 1-го года обучения, аспирантская школа социологических наук Национального исследовательского университета ВШЭ (г. Москва).

E-mail: avoronkova@hse.ru

ГАРИН Сергей Вячеславович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Кубанского государственного университета (г. Краснодар).

E-mail: svgarin@gmail.com

ГИЗБРЕХТ Евгения Сергеевна – студентка 3-го курса философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ev.gizbrekht@gmail.com.

ГОЛОВАШИНА Оксана Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и методологии науки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (г. Тамбов).

E-mail: ovgolovasina@mail.ru

ГРИЦКОВ Юрий Викторович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии Сибирского федерального университета (г. Красноярск).

E-mail: devlal86@gmail.com

ГУЛИУС Наталья Сергеевна – кандидат философских наук, доцент кафедры управления образованием факультета психологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: guliusn@yandex.ru

ДА СИЛВА Иносенсио – курсант специального факультета Омского автобронетанкового инженерного института (г. Омск).

E-mail: icalu.silva@gmail.com

ДОЛИН Вячеслав Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина (г. Белгород).

E-mail: v.a.dolin@mail.ru

ЖАПАРОВА Алия Каиргельдыевна – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Омского автобронетанкового инженерного института (г. Омск).

E-mail: alfil82@mail.ru

ЖЕЛЕЗНОВ Андрей Сергеевич – кандидат философских наук, ассистент кафедры социальной философии Уральского федерального университета им. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: andrey.zheleznov@live.ru

КИРСАНОВА Екатерина Анатольевна – аспирант кафедры истории и философии науки и техники Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: ekirsanova@yandex.ru

КОЛОДИЙ Наталия Андреевна – доктор философских наук, профессор кафедры социальных коммуникаций Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: kolna@tpu.ru

КОЛОДИЙ Вячеслав Владимирович – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: strat1212@tpu.ru

КРАСИКОВ Владимир Иванович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва).

E-mail: KrasVladIv@gmail.com

ЛОГУНОВА Лариса Юрьевна – доктор философских наук, кандидат социологических наук, доцент, профессор кафедры социологических наук Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).

E-mail: vinsky888@mail.ru

ЛЫСАК Ирина Витальевна – доктор философских наук, профессор кафедры философии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

E-mail: ivlysak@sfedu.ru

ЛЬВОВ Денис Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (г. Красноярск).

E-mail: devlal86@gmail.com

МАТРОСОВА Надежда Константиновна – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания института философии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: matrosovank@mail.ru

МПАССИ Гари – курсант 2-го курса Омского автобронетанкового инженерного института (г. Омск).

E-mail: vikvl@mail.ru

ОСАЧЕНКО Юлия Станиславовна – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной

философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: july11@list.ru

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

ПАК Вадим Дмитриевич – магистрант кафедры управления образованием факультета психологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: vadick.pak@yandex.ru

ПОДКЛАДОВА Татьяна Дмитриевна – кафедра социальной работы философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: tanyatomsk@mail.ru

РОДИН Кирилл Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории гуманитарного факультета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

РЫЧКОВ Владислав Андреевич – магистрант 1-го курса социально-психологического института Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).

E-mail: 89045745215@ya.ru

СЕЛЕЗНЕВА Антонина Владимировна – кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики, факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ntonina@mail.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

ного университета, профессор Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск).

E-mail: surovitsev1964@mail.ru

СУЩЕНКО Максим Алексеевич – преподаватель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»; соискатель ученой степени кандидата политических наук Кемеровского государственного университета(г. Кемерово).

E-mail: spacemirror@mail.ru

ТАРАБАНОВ Николай Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: nikotar@mail.tsu.ru

ТИМОЩУК Алексей Станиславович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимирского юридического института ФСИН России (г. Владимир).

E-mail: a@timos.elcom.ru

ФЕДЯЕВА Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных и русского языков Омского автобронетанкового инженерного института (г. Омск).

E-mail: suluguni@inbox.ru

ХАУР-ТЮКАРКИНА Ольга Михайловна – кандидат политических наук, преподаватель кафедры политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: Olga.tjukarkina@mail.ru

ЧАЙКА Юлия Александровна – аспирант кафедры социальных коммуникаций Национального исследовательского Томского политехнического университета (г.Томск).

E-mail: kolna@tpu.ru

ЧИРУН Сергей Николаевич – доктор политических наук, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет», действительный член Сибирской академии политических наук (г. Кемерово).

E-mail: Sergii-tsch@mail.ru

ШАЛДЯКОВ Максим Николаевич – аспирант кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

ШАПИРО Ольга Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь).

E-mail: olalesha@rambler.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE**

2017. № 38

Редактор *В.С. Сумарокова*

Оригинал-макет *Т.В. Дьяковой*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 26.06.2017. Дата выхода в свет 04.07.2017.
Формат 70х100 $\frac{1}{16}$. Печ. л. 20,0; усл. печ. л. 28,5; уч.-изд. л. 29,0 .
Тираж 250 экз. Заказ № 2620. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru